МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

С. М. СОЛОВЬЕВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА



С. М. Соловьев

Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева



Москва
Берлин
2019

УДК 1(09)
ББК 87.3(2)
С60

Соловьев, С. М.

С60 Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева / С. М. Соловьев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 599 с.

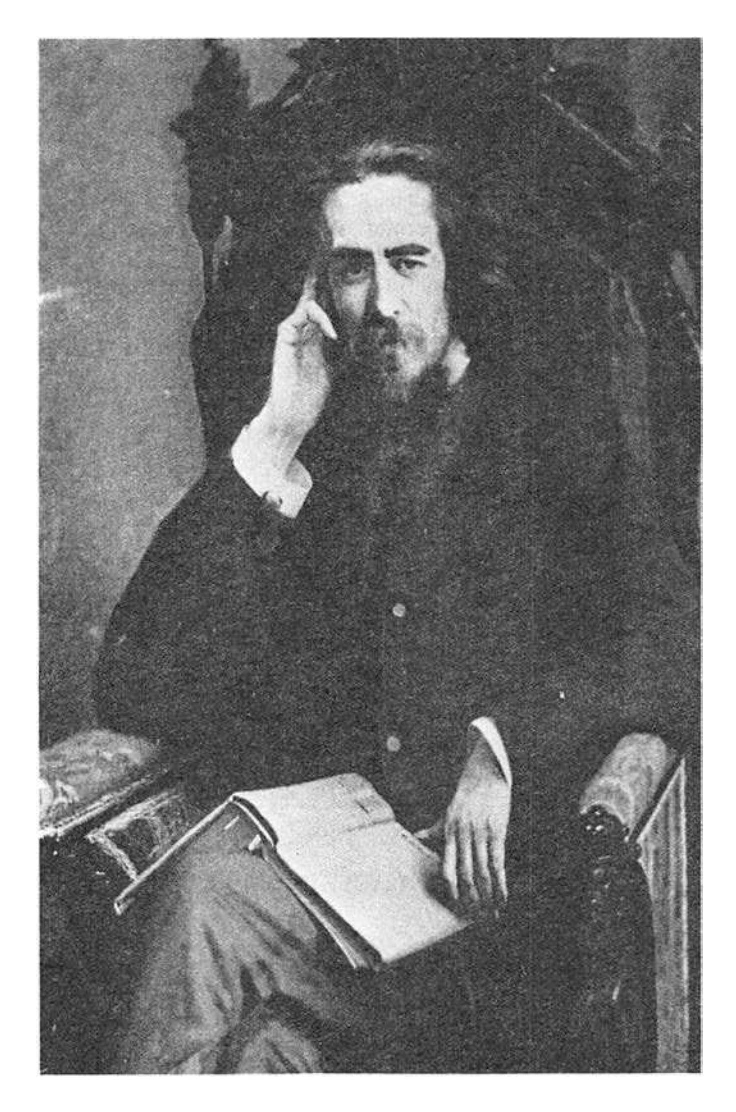
ISBN 978-5-4499-0232-0

В издании рассказывается о жизни и творчестве русского религиозного мыслителя, литературного критика, поэта и публициста Владимира Сергеевича Соловьева (1853—1900 гг.). Автор книги о. Сергий Соловьев – племянник Вл. С. Соловьева, лично знавший его в отрочестве, связанный с ним узами близкого родства, выросший в семье, где о Владимире Сергеевиче сохранилось много личных воспоминаний. Это уникальное произведение появилось в результате терпеливого, долголетнего труда, осуществленного для «правдивого освещения Соловьева как человека, богослова, поэта и публициста».

УДК 1(09)
ББК 87.3(2)

ISBN 978-5-4499-0232-0

Содержание



Портрет Вл. Соловьева работы Н. К. Крамского, январь 1886

Предисловие

Эта книга писалась мною менее года, и однако, оканчивая ее, я могу сказать словами А. С. Пушкина:

«Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний». Я собирал материалы для биографии В. Соловьева с отроческих лет. Составленная мною ранее биография была слишком сжата, чтобы удовлетворить читателей. Теперь, когда на помощь мне пришел Лукьянов, осветивший в своих «Материалах» менее всего известную мне юношескую пору жизни Соловьева, я не счел возможным откладывать этот труд. Если я смогу передать читателям хотя бы часть того духовного наслаждения, которое я испытывал этот год, воскрешая образ дорогого умершего, я исполнил мою задачу.

Соловьев оказал огромное влияние на развитие моего собственного миросозерцания, начиная с 4-го класса гимназии, когда я впервые прочитал «Национальный вопрос». Впоследствии многое в Соловьеве стало для меня чужим, и мои взгляды пережили некоторую эволюцию. Я бы не решился теперь перепечатать без небольших изменений моей статьи «Идеал Церкви в поэзии В. Соловьева» и моей первой биографии. Позволю себе повторить слова А. М. Лопатина, что мне приходилось вырабатывать свое собственное миросозерцание не только под влиянием Соловьева, но и в упорной мучительной борьбе с ним. Кричащие противоречия между идеями Соловьева в периоды его творчества (70, 80, 90 г.г.) делает неизбежным распадение его последователей на несколько групп, между собой несогласных. Прежде чем примирить эти противоречия и понять ту основную идею, которая проходит сквозь всю жизнь Соловьева, необходимо объективно принятъ эти противоречия, не закрывая на них глаза. Приношу мою глубокую благодарность С. М. Лукьянову и Э. Л. Радлову, неустанные труды которых значительно

облегчили задачу биографии, а также книгоиздательству «Колос» в лице Ф. И. Вашерова и В. П. Бровкина, пошедших навстречу моему желанию дать русскому обществу полную биографию Соловьева.

Не будучи специалистом по философии, я считал слишком смелым высказывать свои суждения в вопросах «чисто философских» и следовал в этих случаях суждениям людей, более меня сведущих, воздерживаясь от собственных заключений. Чисто философская сторона творчества Соловьева была уже неоднократно исследована специалистами в этой области: Е. Трубецким, Л. Лопатиным, Э. Радловым, В. Эрном. Я исследовал Соловьева более как человека, богослова, поэта и публициста.

Ближайшей моей задачей теперь по отношению к наследию Соловьеву является издание и перевод его французского сочинения «Sophie» или «Les principes de la religion universelle», написанного в 1876 г. в Каире и Сорренто, полного собрания его стихотворений и нескольких статей по церковному вопросу, написанных в Вене и Загребе в 1886 году.

28 авг. 23 г.
С. Соловьев

Введение

Скоро исполнится 25 лет со дня смерти В. С. Соловьева, и чувствуется настоятельная потребность в полном его жизнеописании. Уже неоднократно было замечаемо, что история жизни Соловьева представляет не меньший интерес, чем его творения. Мережковский прав, говоря, что, в противоположность Толстому, который раскрывал себя в своих писаниях, Соловьев постоянно закрывал себя для публики. Тут возникает вопрос: хорошее ли дело приоткрывать завесу, которую писатель набросил на свою интимную жизнь, в праве ли мы восстанавливать его внутренний облик на основании материалов, никогда не предназначавшихся автором к напечатанию?

Но таков удел большого человека: его интимная жизнь рано или поздно делается всеобщим достоянием. Я приступаю к моему труду с надеждой, что подробная биография Соловьева прольет свет на многие, неосвещенные до сих пор, стороны его миросозерцания и деятельности. Жизнь Соловьева текла бурно. За свою недолгую жизнь он пережил не один, а несколько кризисов мировоззрения. И тем не менее, когда мы проследим ход его развития шаг за шагом и вскроем его противоречия, в результате мы получим одно цельное миросозерцание, увидим, что в девяностых годах он дословно повторяет то, что утверждал в 70-х. Идеал органического синтеза, положительного всеединства – основная идея Соловьева. Он никогда не мог пристать ни к одному из «двух враждебных станов», ни к светской культуре, ни к церковному аскетизму, ни к западникам, ни к славянофилам, ни к представителям свободной мистики, ни к носителям церковного авторитета. Между тем, стремление к действию, к влиянию на общество, к проведению своих идеалов в жизнь, побуждало его заключать временные

сделки с тем или другим лагерем и даже, как он сам выражался, «вести дипломатию».

Естественно, что со смертью Соловьева начался ожесточенный спор за его наследие и, как говорит поэт Андрей Белый, «разнообразные, бессмысленные касты причли его к своим». Те касты, которые при жизни философа в один голос кричали ему: «ты – не наш!», теперь с не меньшим ожесточением закричали: «он – наш и только наш!». И еще раз оправдались слова Христа о народе, который камнями побивает своих пророков, а потом воздвигает им гробницы.

Жизнь Соловьева прежде всего разбивается на три периода. Первый – чисто умозрительный и славянофильский – борьба с материализмом и позитивизмом; второй – церковно-публицистический – борьба с национализмом; третий, синтетический период – возвращение к философии, занятие поэзией и критикой – борьба с Ницше и Толстым. Этот период открывается «Оправданием добра» и заканчивается «Тремя разговорами» и поэмой «Три свидания».

Это деление жизни на три периода находит аналогию у основателя западного богословия блаж. Августина, столь родственного Соловьеву в основных идеях, как уже указывал Э. Л. Радлов. У Августина первый период – чисто умозрительный: пользуясь оружием платонизма, он полемизирует с мистическим натурализмом манихеев; второй период – обоснование догмата о Церкви – борьба с донатистами; третий период – нравственно-мистический – учение о благодати и борьба с Пелагием. Соловьев особенно любил трехчленное деление, и мы будем верны его духу, разбив наш труд на три части, согласно трем периодам его развития. Первый период завершается в начале восьмидесятых годов, третий намечался в начале 90-х. Наша задача значительно облегчается предшествующими трудами друзей и почитателей Вл. Соловьева. Непосредственно за его смертью В. А. Величко опубликовал

книгу «Владимир Соловьев. Жизнь и творения», где сообщается много интересных фактов. Друзья покойного Э. А. Радлов и С. М. Лукьянов предприняли большой и бескорыстный труд. Э. А. Радлов собрал и издал три тома писем В. Соловьева (4-й том подготовлен к печати). С. М. Лукьянов выпустил три тома материалов к биографии В. Соловьева. В этих трех томах детально исследуется жизнь философа до конца 70-х годов, а попутно приводится ценный материал для изучения той эпохи, в частности история Московского Университета и Московской Духовной Академии. В восстановлении юношеских лет Соловьева биографу можно только послушно идти за Лукьяновым, взяв себе примером его строго-научный метод, его объективность, восполняемую чувством сердечной любви к изображаемому герою. Дальше мы должны вступить на самостоятельный путь. Если вначале мы находимся в прекрасной местности, возделанной терпеливой рукой Лукьянова, то с 80-х годов нам приходится самим прокладывать дорогу сквозь темные дебри. Но чем ближе мы подходим к современной эпохе, тем легче труд биографа: для 90-х годов мы располагаем богатым материалом собственных воспоминаний.

Нельзя не упомянуть о двух выдающихся трудах по биографии Соловьева: Е. Н. Трубецкой «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» Москва 1913 год, 2 тома и Michel d'Herbigny «*Un Newman russe*». В противоположность труду Лукьянова, эти книги всего менее можно назвать объективными. Книга Трубецкого носит полемический характер. На протяжении 2-х томов Трубецкой ведет упорную борьбу с Соловьевым, принимает в нем весьма немногое, характерное для последних лет (теоретическая философия, эстетика, поэзия, «Три разговора»). Жизнь Соловьева рисуется Трубецким как история заблуждений: его философия первого и среднего периода целиком относится к Шеллингу, его теократические замечания квалифицируются как «искушение», его теория

любви преподносится как розовая романтика. Биографических сведений в книге Трубецкого не так много, но есть среди них весьма ценные. Небольшая книжка французского богослова *d'Herbigny* весьма изящно написана и проникнута духом и чувством благоговейного почитания.

Что касается других отдельных статей о Соловьеве, как например прекрасная статья Лопатина, то мы будем указывать на них в соответствующих главах биографии.

В той части русского общества, которое интересуется вопросами философии и религии, за последнее время заметно охлаждение к Соловьеву. Отрицательное отношение к Соловьеву Розанова и Мережковского с одной стороны, специалистов по философии – с другой – не может не оказывать своего влияния. Интересуются личностью В. Соловьева, его чудачествами, его шутками, его оккультными занятиями, но его капитальные труды как «Критика отвлеченных начал», «История и будущность теократии», «Оправдание добра», одними более почитаются, чем читаются, со стороны других встречают пренебрежительное отношение, как тяжеловесные построения отжившей схоластики. Часто приходится слышать пренебрежительные отзывы о Соловьеве от представителей так называемого нео-православия, тесно связанного со старым славянофильством. Мы всегда держались того мнения, что нам неинтересны романтические и оккультные эпизоды жизни Соловьева, решающим является его собственный взгляд на его призвание и дело. Нельзя, подобно Мережковскому, утверждать, что настоящий, «интересный» для нас Соловьев был только немым пророком, а фундаментальные труды его – только маска, обращенная к людям. Соловьев по природе был прежде всего философом, и его «змеиная» диалектика также коренится во «святом святых» его души, как и его «голубиная» поэзия. Построение всеобъемлющей, синтетической системы знания навсегда осталось его основным устремлением. Нельзя также понять и оценить Соловьева,

закрывая глаза на его упорную публицистическую деятельность. «Выносить сор» русской общественной жизни он считал своей религиозной обязанностью, своего рода «послушанием», и прелесть нежной красавицы Саймы не заглушила в его душе молитву Богу правды:

Чтобы насилия прилив
О камни финские разбился.

Соловьев стремился не выявлять свою личность, а «пахать» и строить на камне. Считая любовь зиждительным и организующим началом жизни, он искал осуществления этой любви через философский синтез и общественную справедливость. Синтез духовного и материального, Востока и Запада, России и Европы, православия и католицизма – вот что всего характернее для Соловьева.

Соловьеву в его средние года пришлось резко разойтись с русским правительством и обществом. Два его основных труда «История и будущность теократии» и «Россия и вселенская Церковь» могли появиться только заграницей: первый был напечатан в Загребе, второй – в Париже. Став при жизни писателем не только русским, но и европейским, Соловьев остался таким и теперь. Популярность его в Германии и Франции возрастает. Думаю, что опубликование полной биографии Соловьева является своевременным, тем более что некоторые записи интимного характера, долго таимые мною под спудом, по независящим от меня обстоятельствам вышли в свет, и могут вызвать кое-какие толки, оскорбительные для памяти покойного философа. Моя задача – дать этому материалу правдивое освещение. Хотя голос крови может являться помехой для объективной биографии, но мне слишком памятен завет Вл. Соловьева: «храните себя от идолов». А главное, во мне живет уверенность, что, изобразив моего дядю таким, каков он был, без всякой ложной идеализации, я только подыму его авторитет и обаяние.

Часть первая
София

Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества,
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье божества...

«Три свидания»

Глава 1
Происхождение. Семья

«Естественная связь с прошлыми поколениями, или семейная религия прошедшего, получает безусловное значение, становится выражением совершенного добра».

«Оправдание добра» (ч. III, гл. XIX, 2)

В жилах Владимира Соловьева текла чисто славянская кровь. Со стороны отца он принадлежал к духовному сословию, предки его вышли из среды великорусского крестьянства[1]. Со стороны матери он был потомок украинской фамилии, с примесью польской крови. Дед его Михаил Васильевич Соловьев был протоиереем и законоучителем при Московском Коммерческом Училище. Это был просвещенный священник филаретовской эпохи, вкусивший латинской школы, процветавшей у нас в начале XIX столетия. У меня хранится его латинская Библия с надписью: ex libris Michael Soloviovus. Но не умственные дарования были главным украшением отца Михаила, а его кроткое и чистое сердце. Оно отпечатлелось и на его наружности: ясные, кроткие,

[1] В. А. Величко, стр. 21: «Восходящие по мужской линии в пятом или шестом поколении были крестьяне».

голубые глаза, большой, довольно мясистый и заостренный нос, пушистая белая борода. Когда Вл. Соловьев изображал наружность старца Иоанна в «Повести об антихристе», вероятно перед его взором возникал образ деда: «Это был очень древний, но бодрый старик, с желтеющей и даже зеленеющей белизной кудрей и бороды, высокого роста и худой в теле, но с полными и слегка розоватыми щеками, живыми блестящими глазами и умилительно добрым выражением лица»[2]. В рассказе другого внука, Всеволода Сергеевича «Воскресение» несомненно изображен отец Михаил. Надо сказать, что если Владимир Сергеевич особенно гордился своим происхождением из духовной семьи и выставлял его напоказ (посвящение «Оправдание добра» деду-священнику), то Всеволод Сергеевич этого происхождения несколько стыдился и старался его затушевать. В рассказе «Воскресение» он выставляет своего деда, не упоминая о его сане, так что поведение деда не всегда понятно. Так Всеволод Сергеевич рассказывает, что дедушка никого не осуждал, а если при нем рассказывали о каком-нибудь скверном поступке, он вздыхал: «грехи! грехи!» и скорее бежал молиться. (Характерно, что и старец Иоанн во время речи антихриста на вселенском соборе громко вздыхает). Поведение не совсем обычное для обыкновенного, штатского дедушки... Михаил Васильевич был очень весел и ласков с детьми, для развлечения их он разыгрывал из себя медведя. Сходство с дедом было особенно резко выражено у двух представителей семьи: у моего отца, Михаила Сергеевича, и его сестры Марии (впоследствии Безобразовой). В. А. Величко передает со слов Софии Михайловны Мартыновой, что когда Вл. Соловьев был восьмилетним мальчиком, дедушка привел его в алтарь, поставил на колени около престола, горячо молился и посвятил отрока на служение Богу.

---

[2] Соч., т. X, стр. 208–209.

Михаил Васильевич всю жизнь прожил при Московском Коммерческом Училище (где и родился его сын историк) и в 1860 г., чувствуя упадок сил, перевелся на священническое место при церкви Покрова в Левшине. Там он очень тосковал о Коммерческом Училище, и иногда его заставали во дворе, безмолвно и грустно смотрящим по направлению к Остоженке. Старым людям опасно подыматься с насиженного места. Михаил Васильевич прослужил у Покрова недолго и скончался 30 октября 1861 г., когда его внуку Владимиру было 8 лет.

Совсем иного склада была бабушка Елена Ивановна, урожденная Шатрова, происходившая из чиновничьей семьи. У нее был острый насмешливый ум и большая практичность, кроткого Михаила Васильевича она держала в руках, а после его смерти переехала на жительство к сыну историку, которого, по словам Всеволода Сергеевича, она очень уважала и даже несколько побаивалась. Всеволод Сергеевич рассказывал мне, что когда его в детстве секли розгами, то эта церемония, непосильная для кроткой матери, поручалась Елене Ивановне. Она была крестной матерью маленького Владимира, очень его любила и спала с ним в одной комнате. Происходившая из чиновничьей среды, Елена Ивановна недолюбливала духовенства и, как выражался ее сын, «представляла в семье начало прогресса».

«Во время моего отрочества», рассказывает Сергей Михайлович Соловьев в «Записках», «в некоторых священнических семействах начало возникать недовольство своим положением, стремление выйти из него, пообчиститься, поотряхнуться. К числу таких семейств принадлежало и наше. В нем начало прогресса представлялось преимущественно матерью. Родня отца моего, священники, дьяконы, дьячки оставались в селах; родные моей матери были, большею частью, светские – отсюда и большая часть знакомства состояла

из светских же людей; было и несколько духовных, которых мать очень не любила и которые своими привычками и поведением рознились от светских знакомых не к своей выгоде. Эта противоположность, которую, разумеется, мать старалась выставлять при каждом удобном случае, произвела на меня сильное впечатление, внушила мне отвращение от духовного звания, желание как можно скорее выйти из него, поступить в светское училище. Сестер моих отдали в пансион, что было тогда очень редким явлением между духовными, – страннее было бы меня отдать в семинарию, особенно когда в устах моей матери семинария была синонимом всякой гадости. Отец колебался, медлил; но скоро медлить стало нельзя... и, наконец, решился выписать меня из духовного звания и отдать в гимназию»[3].

Сестра Сергея Михайловича Елисавета умерла в молодости, с другой сестрой Агнией он разошелся[4]. Очевидно, не без влияния матери Сергей Михайлович рано почувствовал отвращение от духовного звания и образования, что отразилось впоследствии на его оценке Петровской реформы. Как часто бывает, сын вышел больше в мать, чем в отца. Впрочем и в родне Елены Ивановны было важное духовное лицо. Вл. Соловьев говорит в своей автобиографии[5]:

«В родне отца по его матери замечателен ее дядя архиепископ Авраамий (сначала Астраханский, потом Ярославский), к которому моего отца в детстве возили в Толгский монастырь около Ярославля». Сам Сергей Михайлович в «Записках» называет этого своего родственника не «Авраамием»,

---

[3] «Записки С. М. Соловьева».

[4] С. М. Лукьянов, I, стр. 7.

[5] Автобиография В. С. Соловьева сохранилась у меня в черновом наброске, некоторые места весьма неразборчивы, слова часто недописаны, иногда вместо слов стоит одна начальная буква.

а «Авраамом». Большой портрет этого Авраама, в мантии и с жезлом, всегда висел в столовой у моей бабушки.

В благочестии и кротости Михаила Васильевича, в здравом житейском смысле Елены Ивановны и в железной воле и научной силе Сергея Михайловича – еще мало задатков таинственного мальчика Володи. Все мистическое, поэтическое и демоническое воспринял он со стороны своей матери, происходившей «из старинной и своеобразно-даровитой малорусской семьи; одну ветвь этой семьи постигла загадочно-трагическая судьба (в Полтавской и Харьковской губерниях), а к другой принадлежал известный украинский философ Григорий Саввич Сковорода»[6]. В своей автобиографии В. Соловьев пишет: «Украинский Сократ – Сковорода приходился ей (то есть матери) двоюродным дедом (или прадедом)». Многое от этой «загадочно-трагической судьбы» и от блуждающего мудреца Сковороды попало в кровь Вл. Соловьева. О своем деде со стороны матери Соловьев пишет так: «Дед мой по матери, крестный отец Владимир Павлович Романов был в молодости, по знакомству с Бестужевым и Рылеевым, замешан в заговор декабристов и девять месяцев высидел в Петропавловской крепости; по суду был разжалован в нижние чины, но потом выслужился (в Черноморском флоте), плавал кругом света, участвовал в Крымской войне и умер контр-адмиралом». Добавим сюда, что в 1828 г. Владимир Павлович плавал с флотом у Анапы и Варны и был ранен пулей в голову. Пробыв 12 лет в отставке, был снова принят на службу, принимал участие в Севастопольской войне, где проявил героическое мужество и был контужен осколком бомбы в ногу. Уволен был со службы в 1861 г. Владимир Соловьев был назван в честь своего деда и был его крестником. Предания о славных подвигах деда на море,

[6] В. А. Величко.

вероятно, способствовали развитию в мальчике раннего героизма и некоторого милитаризма, которому он оставался верен до конца жизни, когда с горячей симпатией изобразил в «Трех разговорах» старого генерала и за несколько дней до смерти обратился к Вильгельму со словами:

Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста,
Христов огонь в твоем булате.

Еще резче наследственность контр-адмирала сказалась на его правнуках. Сыновья Всеволода Сергеевича порвали с научно-литературными традициями семьи и стали морскими офицерами. Бабушка Владимира Сергеевича по матери была Екатерина Федоровна Бржесская. Бржеские или Бжесские, как пишет Величко, были обрусевшие поляки, помещики Харьковской и Херсонской губерний. С Бржесскими был смолоду знаком Фет, знал он и Екатерину Федоровну, а А. Л. Бржесской посвящено у него несколько стихотворений. «По отзывам лично помнящих ее, – говорит С. М. Лукьянов о Екатерине Федоровне, – это была особа энергичная, предприимчивая, не без фамильного “гонора”, но и любящая»[7]. Брат ее Алексей Федорович Бржесский занимался литературой и печатал свои стихотворения в журналах 40-х и 50-х годов.

У Поликсены Владимировны были братья Владимир, Вадим и Павел. Владимир был близок к семье Соловьевых. Он рано умер и его дочь, маленькая Катя, воспитывалась в доме у тетки. Это та самая Катя Романова, которой была посвящена первая любовь Владимира Сергеевича. Дядя Вадим, по-видимому, был большим франтом и «джентельменом»[8]

---

[7] С. М. Лукьянов, I, стр. 10. Лукьянов пишет «Бжесская», Фет и Вл. Соловьев писали «Бржесская».
[8] Письма, III, стр. 103.

и человеком сомнительной нравственности. Был он причастен и литературе, рано сошелся с племянником Всеволодом и, кажется, имел на него не слишком хорошее влияние. С дядей Вадимом в строгий дом Соловьевых проникало старое русское барство с его затеями. Не без влияния дяди Вадима, Всеволод один из всей семьи вышел светским человеком, рано порвав с профессорской средой. Впоследствии дядя и племянник решительно поссорились, но об этом будет речь дальше.

Перейдем теперь к родителям Владимира Соловьева.

Историку Сергею Михайловичу Соловьеву было 32 с половиной года, когда у него родился второй сын Владимир. Он уже был ординарным профессором и выпустил несколько томов «Истории России». Влияние отца на Владимира Соловьева было большое, и потому мы должны несколько остановиться на характеристике Сергея Михайловича, тем более, что представление о нем в русском обществе не всегда верное. Сергей Михайлович был самобытный русский кремень, сочетавший в своей природе самые противоположные свойства. Родившись недоноском, из слабого, нервного и чувствительного ребенка он сам, усилиями своей воли, сделал себя железным человеком и неустанным работником. Под ледяною корою, под гордой внешностью в механически-размеренном строе жизни, таился огонь гнева и нежное поэтическое сердце. Записки Сергея Михайловича на многих производят тяжелое впечатление, благодаря резким отзывам о современниках. Но следует помнить, что Сергею Михайловичу приходилось завоевывать каждый шаг упорной борьбой. Во-первых, он был чужой, parvenu в дворянской среде, где царствовал авторитет Карамзина, а именно этот авторитет пришлось поколебать автору «Истории России». Достойно внимания, что когда Сергей Михайлович был приглашен давать уроки русской истории цесаревичу Александру, князь

Вяземский – поклонник Карамзина – протестовал против этого, а покровитель Соловьева Строганов призвал его к себе и встревоженно спросил: «Не будете ли вы говорить против Карамзина?» «Тогда я рассердился», пишет Сергей Михайлович, и сказал, что он напрасно так беспокоится, что у меня нет никакого побуждения и нет времени занимать наследника критикой «Истории Государства Российского»[9]. Но была и более важная причина отчуждения Сергея Михайловича от господствующих в обществе течений. В силу сложившегося у него нравственного и общественного идеала, он не мог примкнуть ни к какой из господствующих партий, он всегда плыл против течения. Русский патриот и убежденный западник, основатель критического метода в русской истории (русский Фукидид) и твердо верующий православный, либерал, ненавидевший Николая и презиравший Филарета, и мрачный пессимист и консерватор в эпоху Великих Реформ – Сергей Михайлович никогда не имел опоры вне себя, вне своей совести и веры. Это положение одинокого и не знающего отдыха борца сделало его несколько угрюмым и тяжелым для окружающих. Он был странен. Порывы его гнева разражались как гроза, все трепетало и валилось, а Сергей Михайлович после таких припадков заболевал в точном смысле слова: у него делалось разлитие желчи. Решив во что бы то ни стало, написать «Историю России» и поставить себе «памятник нерукотворный», он построил свою жизнь механически размеренно и выпускал по тому в год. Вставал он всегда в семь часов и сразу садился за работу. Затем ехал в Университет или Архив. Ложился не позднее одиннадцати. После вечернего чая посвящал один час просматриванию корректур или чтению мелких книг, преимущественно географических. Летом он также работал без отдыха и вставал в шесть часов. При этом семья его была громадная (двенадцать

---

[9] Записки, стр. 136.

человек детей, из которых четверо умерло в детстве), в первые годы супружества ему приходилось очень туго в материальном отношении. Жена его Полина Владимировна поставила целью своей жизни охранять покой мужа, и дети воспитывались в благоговейном страхе перед отцом. С Сергеем Михайловичем не только нельзя было заговаривать в течение рабочего дня, но даже попадаться ему на глаза, когда он проходил по комнатам. Никакие гости не допускались за вечерним чаем, за исключением пятницы, когда собирались знакомые профессора. Но что всего интереснее, при этом жестоком порядке Сергей Михайлович был обожаем детьми. И у Владимира и у Михаила до конца жизни сохранилось к отцу благоговейно-нежное отношение, которое лучше всего передать римским понятием pietas. Это чувство к отцу несомненно оказало влияние на все развитие миросозерцания Вл. Соловьева, в котором такую роль играет идея «отчества» и «вселенского отца». Отец был для детей воплощением высшей справедливости. Моя тетка Мария Сергеевна рассказывала мне, что однажды в детстве ее обещали взять в театр и вдруг в последнюю минуту передумали и решили оставить дома. Девочка пришла в полное отчаяние и решилась на последнее, безумно-дерзкое средство. Она бросилась к отцу с воплем: «меня обещали взять в театр и вот не берут!» Неожиданно для всех Сергей Михайлович возвысил гневный голос: «Что? Обещали взять и не берут? Взять ее!» Roma locuta, causa finita est. Но тетка Мария Сергеевна рассказывала мне и о другом случае. Во время Турецкой войны она со своей подругой Катей Лопатиной решила тайком бежать в Герцеговину и разыграть роль Жанны д'Арк. План был раскрыт, и побег не удался. Когда Сергей Михайлович увидел возвращенную беглянку, то закричал: «уберите ее отсюда! Я убью ее!» И только вечером ласково заговорил с девочкой и нашел в ее безумном поступке наследственные черты какой-то бабушки.

Сергей Михайлович был довольно редким, но типичным для России человеком, сочетавшим глубокую веру со страстью к науке и цивилизации. И этим, и самостоятельным и независимым характером он очень напоминал Ломоносова. Подобно Ломоносову и в отличие от многих православных людей, он «не согласился бы стать шутом у самого Господа Бога». Он не терпел двух вещей: юродства и хитрости, считая то и другое признаком духовной слабости. За юродство он презирал Суворова. Считая основой жизни деятельность и борьбу, он питал отвращение к Востоку и был убежденным европейцем. «Для восточного человека», говорил Сергей Михайлович, «типичная одежда халат – символ бездеятельности, изнеженности; идеальная европейская одежда – фрак, при котором все члены тела свободны для деятельности». Сам он свойством своей природы признавал некоторую *торопливость*, которую неверно принимали за аккуратность: он везде приходил первым, раньше всех. Когда здоровье его пошатнулось, обозначились болезни печени и сердца, он главное беспокоился о том, что не успеет кончить «Историю России», отказывался ехать лечиться на курорт до окончания своего труда.

При механически правильном образе жизни, напоминающем немецких ученых, Сергей Михайлович всего менее был «прозаическим» человеком. Он глубоко понимал не только поэзию, но и музыку, к которой был совершенно равнодушен его сын Владимир. Каждый субботний вечер неуклонно бывал он в итальянской опере, каждое воскресное утро у обедни. Итальянская опера заменяла всенощную... Когда дочь его Маша, обладавшая прекрасным голосом, пела по вечерам, он заслушивался и говорил: «Я надеюсь, что ты будешь певицей, вероятно наш род идет от какого-нибудь соловья». Исключительно любил он Пушкина и как поэта и как историка. «Историю Пугачевского бунта» он считал началом

научной русской истории в противоположность ненаучной истории Карамзина. Ломоносова считал большим ученым, но плохим поэтом. Незадолго до смерти Сергей Михайлович гулял за городом с той же дочерью Машей. Был тихий вечер. Сергей Михайлович задумался и произнес заключительные слова стихотворения *Гёте Auf allen gipfeln ist Ruh* в переводе Лермонтова, с заменой одного слова:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Погоди, Сережа,
Отдохнешь и ты.

К Сергею Михайловичу мы еще неоднократно будем возвращаться в нашем повествовании.

Замужество за таким большим и все давящим вокруг себя человеком, каким был Сергей Михайлович, совершенно заглушило индивидуальную жизнь его жены Поликсены Владимировны. Она буквально была раздавлена его двенадцатью детьми и двадцатью восемью томами истории. Но конечно не случайно была она матерью Владимира. В лице последнего все резче выступало с годами сходство с матерью. В молодости Поликсена Владимировна была красавицей восточного типа: большие черные глаза, узкий и статный лоб, орлиный нос. «Я в детстве была большая фантазерка», признавалась мне бабушка. «Прохожу мимо осины, боюсь, что увижу на ней Иуду». Но фантазиям положили конец дети. Было ли время фантазировать, когда у одного ребенка корь, у другого коклюш, а Сергею Михайловичу опять в Университете устроили гадость и Самарин разбранил очередной том истории. Фантастичность до конца дней сказывалась в Поликсене Владимировне какой-то постоянной тревожностью и суетливостью и таинственными предчувствиями. Сергей Михайлович любил подтрунивать над этой ее чертой, называя

все это «херсонством»[10], то есть наследием ее украинской семьи, «одну ветвь которой постигла загадочно-трагическая судьба». И Владимир Соловьев, хотя был любимым сыном, не прочь был подтрунить над мама и ее скорбностью. «Что вы пишете таким грустным тоном? Нет ли у вас каких-нибудь особенных неприятностей?»[11] Подтрунивание это иногда выходило за пределы сыновней pietas. «Мама» Владимир Соловьев переделал в «МАМАН», явилась ассоциация с «мамонтом», отсюда «великомученик Мамант» и наконец «маман двуногий». Из сыновей особенно нежно и тепло относился к матери старший сын Всеволод. Он был первенец, помнил мать еще совсем молодой, не заваленной детьми и томами истории. Можно найти черты молодой Поликсены Владимировны в матери героя романа Всеволода Соловьева «Навождение» – André.

В трогательных стихах Всеволод Соловьев вспоминает, как он больным ребенком прижимался к матери, а она читала ему вслух «Руслана и Людмилу».

Я помню – стонала и выла метель за окном,
Пушистыми хлопьями стекла она залепила,
А в комнате нашей, приветным теплясь огоньком,
Лампада старинная ризы икон золотила.

Я помню – к тебе я прижался, ребенок больной,
На лоб мой горячий ты руку свою положила
И чудную сказку, склонясь надо мной, говорила,
И чудная сказка далеко меня за собой
В роскошный свой мир уносила.

Я помню, как месяц огромный на небо всходил,
Как он серебром заливал и дворец, и сады Черномора,
Как звонкие песни в кустах соловей заводил,
С волшебными звуками споря незримого хора.

[10] С. М. Лукьянов, I, стр. 17.
[11] П., II, стр. 9.

Какие-то дивные чары сходили на нас.
Я был далеко и в садах Черномора носился.
Но мир этот с комнатой нашей таинственно слился
И месяц светил мне отрадным лучом твоих глаз –
В мелодии – голос твой лился.

И Владимир Сергеевич сообщает в своей автобиографии:

«– Мать научила меня грамоте, священной истории, читала мне стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова и сборник назидательных рассказов под названием «Училище благочестия». «Историю России» своего мужа Поликсена Владимировна читала и перечитывала всю свою жизнь, факты и лица русской истории были ей чем-то родным и близким. Как Сергей Михайлович, она особенно любила Владимира Мономаха и Петра, презирала царевича Алексея, ненавидела Анну Ивановну, как будто это была знакомая ей противная дама. В старости у Поликсены Владимировны развились некоторые причуды. Она волновалась по пустякам. Бывало я обедаю у нее в Петербурге, какое-то кушанье недостаточно хорошо, бабушка молча отодвигает от себя ложки, вилки, солонки, и раздается грозное слово: «срам». В общем это была кроткая, любящая и самоотверженная женщина, таившая в себе много неразвившихся задатков. Из детей она особенно любила Всеволода, хотя ей приходилось робко прятать свое чувство, так как отец относился к своему первенцу плохо, и другие братья его не любили; затем – Михаила и более всего младшую дочь Поликсену. После смерти мужа, последовавшей в 1879 г., Поликсена Владимировна жила в Москве с незамужними дочерьми Надеждой и Поликсеной в большом доме Лихутина, на Зубовской площади. Владимир Сергеевич имел в ее квартире свой кабинет, в котором проживал, когда бывал в Москве, а в восьмидесятых годах он еще не оставил Москву для Петербурга и делил время между двумя столицами. Когда любимая, младшая дочь Поликсена

в 1898 г. переехала в Петербург, Поликсена Владимировна последовала за нею, а Надежда Сергеевна осталась жить в Москве вдвоем со старой гувернанткой, Анной Кузминичной. В противоположность сестре Поликсене, она была завзятая москвичка, и, прогостив неделю в Петербурге, говорила, что не может больше жить без «Успенья на Могильцах». Но летом Поликсена Владимировна часто живала у старшей дочери Веры Сергеевны Поповой на подмосковных дачах: Удельной, Мужине, Покровском-Стрешневе. Скончалась Поликсена Владимировна в июле 1909 г. Гроб ее был перевезен в Москву и опущен в землю в Новодевичьем монастыре, между могилами ее мужа и сына Владимира.

Дети у Поликсены Владимировны родились в таком порядке: Всеволод – 1 января 1849 г., Вера – 18 января 1850 г., Надежда – 5 июня 1851 г., Владимир – 16 января 1853 г., Любовь – 20 сентября 1857 г., Михаил – 16 апреля 1862 г., Мария – 9 октября 1863 г., Поликсена – 20 марта 1867 г. Между Владимиром и Любовью были еще две девочки Любовь и Ольга, умершие в младенчестве. Между Любовью и Михаилом – Сергей старший, способный и очаровательный ребенок, умерший семи лет от скарлатины. Между Марией и Поликсеной – Сергей младший, умерший в младенчестве.

Старший сын Всеволод, снискавший широкую известность в русской публике своими историческими романами, был не похож на братьев. В семье его не любили и, как мне кажется, были не совсем справедливы к его оригинальной и печально сложившейся жизни. Он рос баловнем матери, которая была еще молода и сравнительно свободна от забот. Как мы уже говорили ранее, он подпал под влияние дяди Вадима Владимировича. К наукам он был мало способен, стремился стать светским человеком, изысканно одевался, душился и писал стихи. Из Соловьевых он более всех производил впечатление барича и даже «шляхтича», так как только

в его наружности изо всех детей сказалась польская порода. Он был небольшого роста, болезненные голубые глаза навыкате производили впечатление стеклянных, он рано начал скрывать их под синим пенснэ. Он всегда брился, волосы зачесывал хохолком, под очень правильным и красивым носом темнели холеные, небольшие усы. Впоследствии он сильно располнел, что было особенно некрасиво при его небольшом росте, но в юности, судя по портретам, он был очень красив и выглядел «джентльменом». В юности он писал много стихов, из них в собрание его сочинений вошло сравнительно немного, но и по этим стихам можно сказать, что у него был несомненный поэтический талант, который он не сумел развить. Подобно своим братьям, он особенно ценил Фета, и в его стихах есть отзвуки фетовской музыки. Окончив в Москве юридический факультет, Всеволод Соловьев, одиноким юношей и без гроша в кармане, так как отец строго заявил ему, что теперь он должен содержать себя сам, отправился в Петербург начинать свою карьеру. Молодой человек квартировал в меблированных комнатах, содержавшихся обрусевшей голландской семьей Ламперт. Старшая хозяйская дочь Ольга Иосифовна пленила Всеволода Сергеевича, и он вступил с ней в брак. Вскоре он нашел свое призвание в писании исторических романов. Громадный успех среди большой и особенно провинциальной публики, который имели его романы, и всего более серия Горбатовых, губительно отозвался на его таланте. Он стал писать быстро, между делом, не отделывая своего слога. А между тем, роман «Навождение», над которым он много работал, очень интересен и показывает, что Всеволод Сергеевич мог дать гораздо больше, чем дал. Романы его «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер» свидетельствуют, что он серьезно занимался оккультными науками, после его смерти осталась богатая библиотека мистической литературы. Всеволод Сергеевич был весьма близок с Достоевским, и, нам думается, у него было больше точек

соприкосновения с автором Карамазовых, чем у его брата Владимира, который в «Трех речах о Достоевском» говорил о чем угодно, кроме самого Достоевского, пользуясь именем великого писателя для проповеди собственных идей, иногда не только чуждых, но прямо враждебных творцу легенды о «Великом Инквизиторе».

Жизнь Всеволода Сергеевича была надломлена семейной катастрофой. Женившись на Ольге Ламперт, он взял к себе в дом сестру жены, девочку Адель. С женой Всеволод Сергеевич был не очень счастлив, постепенно возникла взаимная любовь между ним и свояченицей. Дело кончилось разводом с Ольгой и женитьбой на Адели. Во второй жене Всеволод Сергеевич нашел идеальную и любящую подругу жизни и имел от нее трех детей: сыновей – Бориса и Юрия и дочь, которую он назвал своим любимым именем Зина (так зовут и героиню романа «Навождение»). Сын Всеволода Сергеевича от первого брака Сергей оказался в трагическом положении между отцом и матерью. Рос он красивым, блестящим и талантливым мальчиком, но нервы его были потрясены. Он умер вскоре после смерти отца, оставив жену и дочь. Уже первый брак Всеволода Сергеевича возбудил негодование отца, а его мнение было законом для семьи. Можно представить, как встречен был в семье развод и второй брак на свояченице. Отца тогда уже не было в живых. Владимир Сергеевич демонстративно поддерживал отношения с Ольгой Иосифовной, разорвав всякую связь с братом. «Я видел два раза Ольгу и Сережу – они благополучны», пишет он матери от 27 января 1886 г.[12]. «Ее (Ольгу) я довольно часто видаю. Живет себе пока – ничего. Возится с Сережей, который мне более нравится, чем прежде, хотя имеет весьма необузданный нрав. Его непременно нужно отдать в гимназию»[13].

---

[12] П., II, стр. 46.
[13] П., II, стр. 47.

Тут же со Всеволодом Сергеевичем случилась новая катастрофа. Живя в Париже и поправляя расстроенные нервы, он попал в общество Е. П. Блаватской. Чувствуя в нем мистически одаренную и склонную к медиумизму натуру, Блаватская сильно ухаживала за Всеволодом Сергеевичем, и он временно подпал ее влиянию. Она уже снаряжала его в Индию... Скоро Всеволод Сергеевич разорвал связи с теософским обществом, а впоследствии, после смерти Е. П. Блаватской, напечатал книгу «Современная жрица Изиды», с разоблачением теософических обманов. В результате всех своих приключений Всеволод Сергеевич был решительно отвергнут своими братьями и сестрами. Одна только мать и старшая сестра Вера, подруга его детства, не порвали с ним отношений.

Между Всеволодом и Владимиром с ранней юности началась ожесточенная вражда. Почти мальчиками они столкнулись лбами, оба влюбившись в двоюродную сестру Катю Романову. Истории этих отношений мы коснемся подробнее в главе III-ей. Взаимные отношения братьев несколько напоминали отношения Димитрия и Ивана Карамазовых, и, хотя Всеволод был еще меньше похож на Димитрия, чем Владимир на Ивана, очень возможно, что «Братья Карамазовы» написаны Достоевским под впечатлением знакомства с братьями Соловьевыми. Тем более, что третий брат Михаил, о котором Достоевский мог слышать рассказы от обоих братьев, несомненно имел в себе некоторые типичные черты Алеши Карамазова, играя в семье роль всеобщего примирителя и утешителя. Что-нибудь о меньшем брате Всеволод мог рассказать Достоевскому, с которым был близок, тем более, что полный разрыв между Всеволодом и Михаилом произошел значительно позднее. Сколько ни ссорились братья, отношения их не порывались, пока Всеволод Сергеевич не напечатал в «Русском Вестнике»[14] записки своего отца.

---

[14] «Русский Вестник», 1896 г., февраль.

Полностью записки эти не могли быть в то время изданы по причинам цензурным. Но Всеволод Сергеевич исказил образ отца до неузнаваемости, отбросив при напечатании все левые, либеральные места «Записок» и предподнеся публике одни консервативные страницы. Младшие братья приняли это как святотатство, как надругание над памятью отца и напечатали в «Вестнике Европы» резкий протест, за подписью: Владимир, Михаил[15]. Что было делать? Искаженные записки появились в печати, либеральный Сергей Михайлович перекрещен сыном камер-юнкером в консерватора, полный текст записок не может быть опубликован по причинам цензурным. Владимир Сергеевич печатает в «Вестнике Европы» статью «С. М. Соловьев», с выдержками из записок, где с одной стороны обнаруживает скрываемую Всеволодом тайну духовного происхождения Соловьевых, а с другой стороны приводит резкие отзывы историка о митрополите Филарете. Отношения между братьями порвались и не возобновлялись до смерти. Сестры все стали на сторону младших братьев, мать и Вера Сергеевна старались держать нейтралитет. Им приходилось поддерживать отношения со Всеволодом потихоньку, потому что братья и сестры всякое проявление симпатии к Всеволоду рассматривали как соучастие в его преступлении. А характер у всех был вспыльчивый и упрямый...

При тяжелых внутренних переживаниях Всеволод Сергеевич в материальном отношении жил несравненно лучше своих братьев. У него была в Петербурге роскошно-меблированная квартира, и лучший кабинет в Петербурге, как говорили в публике. Жена его была голландского происхождения, брат ее Оскар женат на англичанке, отсюда в доме голландская чистота и английский комфорт, зеркала, старые

[15] «Вестник Европы», 1896 г., апрель, стр. 889.

картины, ванная. Несочувственное отношение общества и литературных кругов Всеволод Сергеевич возмещал славою всероссийского писателя и благоволением в правительственных сферах: в отличие от отца и братьев, Всеволод Сергеевич был монархистом без рассуждений и православным с близостью к о. Иоанну Кронштадскому, который крестил его детей. К брату Владимиру он относился с презрением и злословил, что брат «надеется стать римским кардиналом». Но смерть Всеволода Сергеевича была неожиданна и произошла в странной обстановке. Он только на три года пережил брата Владимира и умер 20 октября 1903 г., в один год с братом Михаилом, пережив последнего на несколько месяцев. Осенью 1903 г. Всеволод Сергеевич приехал в Москву по делам совсем больной. Болезнь обострилась, и он принужден был лечь в клинику. Жена и дети приехали проведать его из Петербурга, пробыли несколько дней и вернулись домой. Между тем болезнь пошла быстрым темпом, и он умер в клинике на руках у любимой сестры Веры Сергеевны, самоотверженно ходившей за ним до последнего дня. Навещал его и племянник Сергей Нилович Попов, сын Веры Сергеевны, молодой человек гениальной доброты, который был особенно дружен с дядей Михаилом, но дружил со всеми дядями: с Владимиром пил, со Всеволодом обедал, с Михаилом ездил на рысистые бега. Он ходил как нянька за умирающими дядями Михаилом и Всеволодом и принял их последний вздох. Умирал Всеволод Сергеевич спокойно и, беседуя с сестрой о своей неудачной жизни, говорил: «Я всю жизнь донкихотствовал».

Конечно, в споре братьев правота была не на стороне Всеволода. Но я не могу отделаться от мысли, что у Всеволода Сергеевича с годами накопилось чувство горькой обиды, сознание, что братья и сестры прошли мимо него,

не задумавшись над его темной судьбой. Вот как сам он говорит об этой судьбе в одном из своих ненапечатанных стихотворений:

Я не ждал, не искал ни борьбы, ни побед,
Не готовил я душу для бурь и страстей,
В непонятном предчувствии горя и бед,
Тосковал я всю юность над долей моей.

Но когда бы яснее я мог разглядеть
Надвигавшийся мрак *моей странной судьбы,*
Лучше было б в те юные дни умереть,
Лучше было б уйти от страстей и борьбы.

Не томился бы я по небесным лучам,
По сияющим высям таинственных гор,
И в безумии сердца, молясь лишь мечтам,
Я не понял бы жизни и грязь и позор.

И, быть может, с собой я б унес навсегда
Лучезарную вечного духа звезду,
И горела бы ярко теперь та звезда,
В царстве света, куда я пути не найду.

Сознание, что в его душе таится «лучезарная звезда вечного духа», что эта звезда омрачена грязью и позором страстей, что он затерял пути к небесной отчизне, о которой безумно тоскует, проходит сквозь всю поэзию Всеволода Соловьева.

Да боюсь, на зов души усталой,
Отягченной ношею земной,
Не придет никто к заветной двери,
Не введет в блистающий покой.

Да боюсь, на пиршестве волшебном
Жизни раб, причастный злобе дня,
Я войду – и золотые тени
Разлетятся в страхе от меня.

Это сознание своей души, как небесного луча, затерянного в грязи материального мира, приближало Всеволода Сергеевича к буддизму. Он много изучал индусскую философию, написал поэму «Будда». В его романе «Изгнанник» герой находит себе единственный исход из трагической коллизии жизни: бросить все прошлое и отправиться в Индию. Впоследствии этот интерес к индусской мудрости все более уступал место простой, сердечной вере. В романе «Великий Розенкрейцер» магу и оккультисту князю Захарьеву-Овилову противопоставляется простой, смиренный сельский батюшка отец Николай. О. Иоанн Кронштадский, прочитав роман, говорил: «Ах, Всеволод Сергеевич! Какой вы сердцеведец!»

Всеволод Сергеевич был совсем из другого материала, чем его отец и братья. И, может быть, только он воспринимал русское православие в его восточной стихии, с «царем-батюшкой», с полной пассивностью, смирением, сознанием коренной порчи человеческой природы, бессилия личности перед судьбой и надеждой на милосердие Божие. Он не любил Петра Великого, – любимого героя его отца и брата, – его идеалом был «тишайший» царь Алексей Михайлович. Из его письма к Ордину-Нащокину он заимствовал выражение «злые вихри» – название одного из романов. Все заглавия его романов из современной жизни характерны: «Навождение», «Злые Вихри», «Цветы бездны» (последний роман не закончен). Жуткая, таинственная музыка судьбы запевает везде у Всеволода Соловьева, где он бросает слащаво-прилизанный стиль патриотических романов. «Но когда бы яснее я мог разглядеть надвигавшийся мрак моей странной судьбы»... «Меня всю жизнь носили какие-то злые вихри», говорит герой «Злых вихрей» Аникеев. То же мог сказать о себе и автор. Он весь вышел из Романовых, с их «загадочно-трагической судьбой».

Всеволод Сергеевич мог бы стать серьезным и большим писателем, если бы лучше понял природу своего таланта и не соблазнился дешевыми лаврами, которыми его венчали читатели «Нивы». Его любимыми писателями были Достоевский и Диккенс, и он мечтал быть русским Диккенсом и Вальтер-Скоттом. Мечты его не оправдались, он почти забыт русской публикой, и венок на его гробе с надписью «Великому писателю земли русской» казался иронией судьбы. В обществе Всеволод Сергеевич производил обаятельное впечатление своей живостью и остроумием, хотя во многих возбуждал резкую антипатию. Но даже враждебно настроенные к нему люди восхищались его манерой читать стихи. У меня осталось пленительное детское воспоминание о встречах с дядей Всеволодом Сергеевичем в Москве, в сентябре 1896 г. Я играл с ребятишками на соседнем дворе, когда прибежала няня с восторженным возгласом: «дядя Всеволод приехали!». По дороге она мне восторженно повествовала: «входит, толстый, сразу с папой обнимается... ну, думаю, это брат Петербургский». Толстый, надушенный сидел Всеволод Сергеевич рядом с моим отцом, который был втрое его худее. Разговор живой, постоянные романтические воспоминания, остроты, страшные рассказы. Всеволод Сергеевич очень боялся покойников и когда приехал из Петербурга к гробу отца с маленьким сыном, войдя в зал, сразу упал в обморок. Это свойство помешало ему стать медиком, к чему он стремился в юности. При первом входе в анатомический театр он потерял сознание. Вся эта атмосфера романического и страшного, вместе со множеством подарков и угощением в Большом Московском великолепным обедом с ликером, притягивала меня в десять лет к толстому петербургскому дяде. Бывало, вечером войду в темную гостиную, там пахнет духами – значит здесь прошел Всеволод Сергеевич. И действительно он сидит в кабинете у отца, бабушка тут же и с радостью

наслаждаемся картиной недолгого примирения братьев. Я с упоением выслушиваю страшный рассказ о том, как дядя Всеволод увидел на скамье в саду своего покойного друга, закричал и бросился бежать. «Серый кот», обращается ко мне дядя Всеволод, «вот я расскажу, как меня раз высекли, тебе полезно послушать». Преступление Всеволода состояло в том, что он похитил какой-то флакон с туалетного стола своей матери. Преступление открылось. «Решили меня высечь. Для этого всегда призывали бабушку Елену Ивановну. Снимают известную часть моего костюма. Мама отворачивается, чтобы не видеть истязаний своего сына...» Тут рассказ прерывается скорбным возгласом бабушки: «Ах, Всеволод! Что ты рассказываешь!» Всеобщий хохот.

Вера Сергеевна была на год моложе Всеволода, и они росли вместе. Вера была похожа на отца и лицом и отчасти умом и характером. Это была блондинка, с большими голубыми глазами, с ярко-золотистыми вьющимися волосами. Ото всех сестер она отличалась положительностью, твердостью характера и хозяйственностью. Подобно отцу, она была прежде всего человек долга. Строгая к себе, она иногда бывала строга к другим. Но строгость сочеталась в ней с большой и деятельной добротой. Она вышла замуж за профессора русской истории Нила Александровича Попова – человека из простой семьи духовного звания, типичного представителя своего сословия. Это был человек исключительной мягкости и благодушия, с позитивным складом ума. Нил Александрович был на много лет старше своей жены, и по-видимому брак Веры Сергеевны был основан не на романтическом увлечении, а на чувствах уважения и долга. Супружество было весьма счастливое. Большая квартира Поповых в Архиве министерства юстиции, на Девичьем поле (Н. А. был директором Архива), производила впечатление веселого семейного уюта. У Поповых было четверо детей: сын и три дочери.

Старшая дочь Поликсена посвятила себя педагогической деятельности и до сих пор состоит начальницей гимназии на Знаменке. Сын, Сергей Нилович, в молодости занимался литературой. Его первые опыты в стихах и прозе были сочувственно встречены дядями Всеволодом и Михаилом, и он выпустил сборник рассказов «Из царства праздности», где много здорового юмора и чувства природы.

Смерть Нила Александровича в 1891 году тяжело отразилась на Вере Сергеевне. Она стала угрюмой и, не ограничиваясь воспитанием детей, посвятила себя благотворительности и уходу за больными, работая в клинике, как сестра милосердия. В то же время она строго чтила память дорогих покойников, наблюдала за родными могилами в Новодевичьем монастыре, в положенные дни заказывала панихиды. Всегда в черном, печальная и строгая, она как будто царствовала в области Девичьего поля, от клиники до Новодевичьего монастыря. Жизнь ее была как бы применением Кантовского категорического императива. «Я всегда делаю то, что мне представляется особенно трудным и неприятным», говорила она мне незадолго до смерти.

И возраст и душевные свойства сближали Владимира Сергеевича с сестрой Надеждой, бывшей старше его на два года. Это была высокая, красивая и гордая девушка. Более всего ценила она остроумие, любила театр и шумную жизнь. С годами в ней развилась большая истеричность, она часто плакала. Оставшись девушкой, она всем сердцем привязалась к своей старой гувернантке Анне Кузминичне, с которой жила вдвоем до смерти старушки. Другую часть души она отдала брату Владимиру, который был для нее домашним кумиром. Она была глубже и тоньше старшей сестры, характер у нее был неровный, страстный и трудный.

Третья дочь, Любовь Сергеевна, была глубоко несчастна. Как и Всеволода, ее не любили в семье, Сергей Михайлович

не мог прощать ей грубоватого тона по отношению к матери. Рыцарски преданный своей супруге, Сергей Михайлович не терпел, если кто-нибудь из детей позволял себе непочтительно говорить с Поликсеной Владимировной. Когда это случалось за обедом, Сергей Михайлович, молча, несколько раз ударял по столу своим тяжелым большим пальцем, и наступала тишина. Любовь Сергеевна отличалась большой романтичностью, которая в пожилых годах принимала форму болезненной фантазии. Вышла она замуж за доктора Д. В. Степанова, но он вскоре скончался, оставив ей сына Юрия. Мальчик рос толстым и цветущим, но вдруг умер. Любовь Сергеевна осталась совсем одна. Беречь деньги она не умела, скоро расточила наследство отца и впала в тяжелую зависимость от родных. Особенно усердно помогал ей брат Владимир[16], хотя сам был гол как сокол. Любовь Сергеевна отличалась болезненной толщиной и неподвижностью. В раннем детстве я рассказывал родным: « – Видел во сне Бога, он был похож на тетю Любу, одет в зеленую шубу и играл на скрипке». Очевидно с тетей Любой соединялось впечатление *необъятности* и *безграничности*. Найти предмет для разговора с Любовью Сергеевной было чрезвычайно трудно. Я раз напрягался целый вечер и мог выдавить из себя только одну фразу: «что ты больше любишь, чай или кофе»? Умерла Любовь Сергеевна одна в больнице, и хоронили ее добрые, чужие люди.

Третий брат Михаил приходится мне отцом, а поэтому мои суждения о нем могут быть заподозрены в пристрастии. Но почти все, знавшие его, признавали в нем человека совершенно исключительного. При больших научных наклонностях, с острым художественным вкусом, он был как-то подавлен своим отцом и братом, и посвятил им всю жизнь.

---

[16] П., II, 50: «Надеюсь, Люба живет благополучно».

В детстве он испытывал чувство благоговения и обожания к брату Владимиру. Когда подрос, стал его первым и почти единственным другом, разделяя его идеи. «Все скоты, но не ты»[17], пишет брату в одном письме Владимир Соловьев. Михаил был очень аккуратным, способным, семейным человеком. «Милый мой Миша, *немчура мохнатая*»[18], пишет ему Владимир. После напряженного мистицизма юных лет, Михаил Сергеевич все более выказывал склонности к чисто научным занятиям. Будучи официально только учителем географии в Московской VI-й гимназии, он почти не выходил из кабинета, читал на разных языках, делал выписки, в летнее время усиленно занимался садоводством. В восьмидесятых годах он вместе с братом горячо отдался идее соединения церквей. В это время он перевел с греческого Διδαχή τῶν δώδεκα ἀποστόλων. Читал он больше всего по-французски, увлекся Ламмене и готовил о нем большое исследование. Не без влияния на него остались и другие французы: Ренан, Тэн, Флобер, Золя. В конце жизни он много занимался евангельской критикой, выписывая новую литературу предмета, основательно изучил еврейский язык и участвовал с братом Владимиром в переводе диалогов Платона. По мнению Ф. Е. Корша и рецензента «Русских Ведомостей» его переводы были удачнее переводов Владимира Сергеевича. Он тоньше знал греческий язык и больше обращал внимания на художественную обработку. Перевод «Апологии Сократа» он переделывал раза три.

Здоровья Михаил Сергеевич был слабого с детства. Рано он получил болезнь почек, в конце жизни присоединились болезни печени и сердца. При своей болезненности, это был исключительно сильный, трезвый и спокойный человек.

---

[17] П., IV, стр. 115.

[18] П., IV, стр. 133.

Кроме духовной силы обладал он и порядочной физической силой, которую поддерживал, постоянно работая заступом на чистом воздухе. Садоводом он был настоящим, выписывал каталог семян Зиммера, разводил кругом дома редкие породы цветов и деревьев, разбивал клумбы и дорожки. Для своей семьи и для семьи своей жены Михаил Сергеевич, подобно своему отцу, играл роль непогрешимого морального авторитета. Беспорядки, раздоры в семье отнимали у него много времени и сил, все обращались к его посредству. Ум его был аналитический, точный, несколько насмешливый и склонный к скептицизму. Эстетические интересы занимали много места в его жизни, он понимал не только поэзию, но и живопись и музыку. Думается, что он более всех сыновей напоминал своего отца. Подобно Сергею Михайловичу и он разражался иногда такими вспышками гнева, что все кругом дрожали. Наружностью он несколько напоминал деда-священника: в отличие от отца, линии лица его были крупные и заостренные. С годами, в связи с постоянным чтением французских книг, в лице его появилось сходство со средневековым французским рыцарем. Острый нос, ясные голубые глаза, золотая заостренная бородка – ко всему этому шел бы кружевной воротник какого-нибудь Гиза. Владимир Сергеевич часто обращался к младшему брату за советом, и отец говорил мне, что Владимир скрыл от него свое слишком резкое возражение Страхову, очевидно боясь, что «Миша» с успехом окажет свое охлаждающее воздействие на его полемический пыл. В смысле житейском, если Владимир был безумно-расточительным, то Михаил был разумно щедр. Он ненавидел скаредность, любил пообедать в хорошем ресторане, постоянно помогал бедным. К нищим у него, как и у Владимира, была какая-то «мистическая страсть» (выражение В. А. Величко). Когда он живал в деревне, нищие стекались со всей округи, сторожили его на всех путях. Сгорел у мужика

дом, пала корова, сейчас же «к Михаилу Сергеичу». Но всего больше любил он слепых, и когда за окном раздавалось пение Лазаря, приходил в экстаз и бросал уже не серебро, а кредитные бумажки. В обоих братьях были ярко выраженные черты святого Франциска Ассизского. Владимир Сергеевич склонял брата написать биографию «серафического отца» для павленковской серии биографий. Умер Михаил Сергеевич всего 41 года, в 1903 г., и похоронен в Новодевичьем монастыре, среди родных моей матери Коваленских, недалеко от могилы своего деда священника.

Младшие дочери Мария и Поликсена были подругами Михаила. Мария очень напоминала младшего брата: тоже узкое лицо, голубые глаза, но с примесью чего-то египетского. Когда Владимир Соловьев, вернувшись из Каира, увидел сестру Машу, лежащую на диване, подперев щеки двумя руками, он начал кричать, «что это! что это! Египетское!». И впоследствии он называл сестру или Мария Египетская или «фараоново отродье», или просто «египетское». Младшие сестры были одарены более старших. У Марии была фантастическая, взволнованная душа. Она прекрасно пела, часто приходила в экстаз. Замуж вышла она за специалиста по византийской истории П. В. Безобразова, и имела трех дочерей. Но по своей природе она не была создана для нормальной семейной жизни. Мужа она обожала, готова была на всякую жертву ради детей, но что-то влекло ее вдаль. Она подолгу живала в Париже с двоюродной сестрой Е. В. Селевиной (урожденной Романовой). Любила все французское и, единственная из сестер, разделяла приверженность своего брата к католицизму. Мария Сергеевна была исключительно смиренна. Почти всю жизнь на нее сыпались удары: бедность, болезни мужа и детей, унижения. Но экстатичность ее натуры и мистицизм никогда не позволяли ей падать духом. За серым небом Васильевского острова она внезапно видела

сияние рая. Умерла она в 1918 году, в пути; увозя детей из голодного Петербурга после смерти мужа. В вагоне она заразилась тифом и скончалась в Харькове. Она умерла на станции, но и вся земная жизнь воспринималась ею как станция.

Младшая дочь, Поликсена, известная в литературе под именем Allegro, жива до сих пор. И если есть правило de mortuis aut bene aut nihil, то несомненно de vivis nihil. Поэтому будем кратки. Поликсена Сергеевна была богато одарена с детства. Занималась она и живописью, и пением, и поэзией, и в последней нашла свое окончательное призвание. Она была много моложе брата Владимира, но с течением времени различие возрастов сгладилось, и они очень сблизились в Петербурге, хотя Владимир Сергеевич, вращаясь в кружке «Вестника Европы», весьма не одобрял увлечение младшей сестры новым течением, Мережковским, Гиппиус и кружком «Мира искусства». С годами в Поликсене Сергеевне резко означилось сходство и с отцом, и с Владимиром. Во многом и существенном она более других членов семьи напоминает Владимира Соловьева: мужественным, мажорным характером, смехом, остроумием, каламбурами, а главное, проходящей сквозь все ее творчество – верой, что «все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Когда на заседании Петроградского религиозно-философского общества, посвященного памяти Владимира Соловьева, по случаю десятилетия со дня его кончины, Поликсена Сергеевна прочла доклад о «смысле любви» в учении своего брата, многие были потрясены. Излагая учение Вл. Соловьева, Поликсена Сергеевна только произнесла свое заветное credo.

Представление о семье, среди которой вырастал Вл. Соловьев, будет не полным, если мы не упомянем об Анне Кузминичне Колеровой, молодою девушкой поступившей в воспитательницы к Соловьевым и ставшей членом семьи на всю жизнь. Это была бедная сирота, дочь священника,

воспитанная в Одесском учебном заведении сестер Воробьевых, оказавших на нее большое влияние. Владимир Соловьев назвал ее «Анной пророчицей» за способность видеть вещие сны. В общем эта особа была очень terre à terre, но привязанность ее к семье была глубокая. При некоторой ворчливости, она была добродушна. Владимир Соловьев с годами привык прощать ей пошловатость миросозерцания, интерес к карьере своих питомцев и не совсем деликатное касание сердечных дел Владимира, всего того, в чем соединялась психология поповны, институтки и старой девы. Не затрагивая возвышенных материй, Владимир Соловьев подолгу игрывал со старушкой в шашки.

Такова была обстановка, в которой возрастал странный и одинокий мальчик, с детства погруженный в мир мистических грез. Перейдем к описанию его детства.

Глава 2
Детство и школьные годы

Странным ребенком был я тогда,
Странные сны я видал.

Вл. Соловьев

С. М. Соловьев в начале своих Записок говорит: «Пятого мая 1820 г., в одиннадцать часов пополудни, накануне Вознесения, у священника Московского Коммерческого Училища родился сын Сергей – *слабый, хворый недоносок,* который целую неделю не открывал глаз и не кричал».

Подобно отцу, и Владимир Соловьев родился недоноском.

«Я семимесячный недоносок и при рождении не был в силах кричать, а только беззвучно разевал рот, подобно новорожденным воробьям»[19].

---

[19] П., I. 150.

Родился Владимир Соловьев 16 января 1853 г., в день поклонения веригам святого апостола Петра. Крещение было отложено по причине слабости недоноска. Восьмого марта Владимир Соловьев был окрещен в церкви Воскресения на Остоженке. Восприемниками были дед Владимир Павлович Романов и бабушка Елена Ивановна Соловьева.

О детстве Владимира Соловьева Величко рассказывает, что мальчик особенно любил все, что веяло народным духом, знал множество народных песен, был буквально влюблен в кучера, здоровенного детину с большой бородой, от которого дышало русской простонародной силой. В товарищах-сверстниках ребенок не нуждался и не искал их, потому что рано перерос их духовно, но ко всему окружающему он относился с такой необыкновенной чуткостью и впечатлительностью, что даже неодушевленным предметам давал имена собственные. Любимый свой ранец с книгами он называл например – Гришей, а карандаш, который носил обыкновенно на длинном шнурке, через плечо, как меч, или на шее, он называл – Андрюшей. Эта детская черта вошла затем в основу одной из коренных его философских идей, и потому заслуживает особого внимания. Трудно определить, когда именно он стал приобретать, или, вернее, жадно впитывать начатки гуманитарных наук: во всяком случае это началось очень рано. В период от шести до семи лет он любил воображать себя испанцем, перекидывал полы детского пальто на плечи, как настоящий гидальго, и рассказывал своей сестрице Надежде Сергеевне, подходившей к нему и по годам и по душевному складу, разные импровизированные новеллы в духе средневековой Кастилии[20].

---

[20] В. А. Величко, стр. 9–11.

Кроме матери и гувернантки Анны Кузминичны, за Владимиром и Надей ходила няня Анна, из крепостных П. В. Соловьевой[21]. Эта Анна до конца жизни приходила навещать своих питомцев.

В своей автобиографии Владимир Соловьев говорит:

«Отец наш, хотя не занимался прямо нашим воспитанием, оказывал на нас самое благотворное влияние. Помимо того значения, который имел в семье человек нравственного авторитета и всецело преданный умственному труду и идейным интересам, кроме этого отец, не вмешиваясь в нашу тогдашнюю детскую жизнь, умел в самые важные моменты, по крайней мере моего духовного развития, оказать на него наилучшее действие. Так, когда в детстве мной овладело крайнее религиозное возбуждение, так что я не только решил идти в монахи, но, ввиду возможности скорого пришествия антихриста, я, чтобы приучиться заранее к мучениям за веру, стал подвергать себя всяким самоистязаниям, отец – сам человек глубоко религиозный, но чуждый исключительности, подарил мне в день именин, вместе с житиями святых, Олимп, книгу доктора Петискуса, обильно украшенную изображениями греческих богов и богинь. Эти светлые образы сразу пленили мое воображение, расширили и смягчили мою религиозность».

Относительно аскетических самоистязаний мальчика Володи сообщает Величко: «Он стал испытывать и закалять свою волю во славу Божию. Зимой нарочно снимал одеяло и мерз, а когда мать приходила покрывать его, думая, что одеяло сползло во время сна, – ребенок просил не мешать ему поступать так, как он считал нужным»[22].

---

[21] С. М. Лукьянов, I, стр. 38.

[22] В. А. Величко, стр. 11.

Эпизод с Олимпом доктора Петискуса весьма характерен и для отца, и для сына. Светлые образы олимпийцев *расширили* и *смягчили* религиозность мальчика. В статье «С. М. Соловьев», написанной в 1896 г., Владимир Соловьев говорит об отце: «Широта научного взгляда, просвещая и очеловечивая патриотические чувства, оказывает такое же благотворное влияние и на чувство религиозное. Глубокая сердечная вера у автора Записок была совершенно свободна от той напряженности, которую поверхностный взгляд принимает за силу»[23].

Смягчающее и расширяющее влияние античной красоты, как противоядие аскетической напряженности и исключительности, Владимир Соловьев чувствовал всю жизнь. В 1882 г. в стихотворении «Три подвига» он вспоминает о Пигмалионе и Галатее, Персее и Андромеде, Орфее и Эвридике. В 1887 г. по поводу Воскресения Христова он говорит: «Друг мой, прежде, как и ныне, Адонис вставал из гроба». И на закате жизни, проезжая мимо Троады, он приветствует тень Гомера:

Что-то здесь осиротело,
Чей-то светоч отснял,
Чья-то радость отлетела,
Кто-то пел – и замолчал.

За воспоминания об Адонисе за богослужением Страстной седмицы и обращение к «милому другу» Соловьеву «здорово влетело» от другого, не столько «милого», сколько строгого друга, старушки Анны Федоровны Аксаковой. Он принужден был в письме старательно оправдываться. Говорил он, что думал не о греческом Адонисе, а о сирийском *Адоне* или *Адонае,* не имевшем никаких дел с Афродитой, имя которого то же, что еврейское имя Божие *Адонай,* бывшим истинным прообразом Христа. Но в конце концов

---

[23] Соч., VII, стр. 355.

не может не метнуть стрелу в сторону святоотеческого аскетизма. «Я должен сказать про отцов Церкви, что их малая способность ценить красоту (в форме ли мифологических представлений, или в форме интересных дам) есть их односторонность, которой я нисколько не завидую. У них христианство находится в своем напряженном и исключительном состоянии – оно не свободно – это не есть высшая степень христианства»[24]. Очевидно Владимир Соловьев никогда не забывал, что, вместе с писаниями святых, отец подарил ему Олимп доктора Петискуса...

Поощряя эстетические наклонности мальчика, Сергей Михайлович развивал в нем и любовь к естествознанию. «Благодаря отцу, детские книги по естественным наукам составили также важный элемент моего раннего чтения и не остались без влияния на мое дальнейшее умственное развитие. Особенно помню я одну книжку под названием "Космос" (не Гумбольдта конечно) с раскрашенными картинками разных допотопных животных. И доселе понятие космогонического процесса связано в моем воображении с представлением каких-то земных чудовищ.

Общественная среда нашей семьи была весьма блестяща в образовательном отношении и без сомнения оказала косвенное влияние на мое духовное развитие: между ближайшими друзьями моего отца, собиравшимися у нас еженедельно, были самые знаменитые московские ученые и литераторы того времени».

В автобиографической поэме «Три свидания», написанной 26–29 сентября 1898 г., Соловьев говорит:

Тому минуло тридцать шесть годов,
Как детская душа нежданно ощутила
Тоску любви с тревогой смутных снов.

---

[24] Письма к Аксаковой еще не появлялись в печати.

Первым его увлечением была Юлинька Свешникова, с которой он играл на Тверском бульваре. «На девятом году», рассказывает Величко, он познал первую любовь, младенческую, но чрезвычайно пылкую. Пленила его миловидная сверстница Юлинька Свешникова и невинное ухаживание выражалось в том, что он на Тверском бульваре из целой толпы детей выбирал только ее одну, чтобы играть и бегать с ней... Юлинька скоро предпочла ему другого. Заметив это, он страстно вознегодовал, тут же подрался со своим счастливым соперником, а на другой день вносил в свой детский дневник следующие строки: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки»[25].

Эта маленькая детская драма со всеми перепетиями страсти, вплоть до соперника и дуэли, имела в своем результате «первое свидание» с таинственной небесной подругой. Во храме, в праздник Вознесения, под звуки херувимской песни, предстала она ему с «улыбкою лучистой», «держа в руке цветок нездешних стран». Поток страстей бесследно иссяк в душе отрока, душа его стала к житейскому слепа.

Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенье.
Душа кипит в потоке страстных мук.
Житейское... отложим... попеченье –
Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток, – бесследно вдруг иссяк он.
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

---

[25] В. А. Величко, стр. 12.

Таинственная богиня уже давно заглядывала «туманными ночами» в окно той комнаты, где спал Володя с бабушкой Еленой Ивановной.

Близко, далеко, не здесь и не там,
В царстве мистических грез,
В мире невидимом смертным очам,
В мире без смеха и слез,

Там я, богиня, впервые тебя
Ночью туманной узнал.
Странным ребенком был я тогда,
Странные сны я видал.

В образе чуждом являлася ты,
Смутно твой голос звучал,
Смутным созданием детской мечты
Долго тебя я считал.

Так проходило первое детство Владимира Соловьева в большой семье, под добрым влиянием отца и матери, в чтении «Училища благочестия», «Жития святых», «Олимпа», «Космоса», то в страхе перед Антихристом и аскетических самоистязаниях, то в ухаживаниях на Тверском бульваре, то в тайных грезах о небесной подруге. Но приближался сознательный возраст. Если еще недавно Сергею Михайловичу приходилось пускать в ход свое влияние для умерения в сыне аскетических порывов и отвлекать его от Антихриста изображениями Олимпийцев, то скоро ему придется вести с сыном совсем иную борьбу. Володя становится отъявленным нигилистом; как всегда, доходит в своих идеях до конца, и, не довольствуясь теорией, проводит свою веру в жизнь.

В августе 1864 г. Владимир Соловьев поступил в третий класс Московской I-й гимназии; ему было тогда 11 лет, 7 месяцев. Гимназия находилась у Пречистенских ворот,

на Волхонке. Параллельные классы I-й гимназии, помещавшейся в том же здании, через год образовали 5-ю гимназию. Директором обеих гимназий до 1870 г. оставался Н. А. Малиновский. Принятый учеником 1-й гимназии, В. С. далее числился и окончил курс учеником 5-й гимназии[26].

В общем Вл. Соловьев учился успешно и имел 5 по всем наукам, за исключением физико-математических. Математика, физика и космография давались ему с трудом, и в его журнале директором Малиновским была сделана пометка: «обратить внимание на алгебру». Приличные отметки по математике по-видимому объясняются известной снисходительностью директора и учителей к сыну университетского ректора и его блестящими успехами в других науках. В годовых отметках обычным баллом по математике является 3 и 4, и только в выпускном аттестате имеется пять по всем предметам. По этому случаю А. Н. Шварц, учившийся также в первой гимназии, писал С. М. Лукьянову: «Каюсь, зная своего бывшего директора Малиновского, я сильно подозреваю, что это внезапное повышение баллов не столько обуславливалось знаниями Владимира Сергеевича, сколько усердием очень ухаживающего за влиятельными родителями Михаила Афанасьевича (Малиновского)»[27].

Состав преподавателей в 5-й гимназии был следующий:

Инспектор Д. Ф. Миллер	–	география.
Священник И. Ф. Касицын	–	Закон Божий.
А. Л. Линберг	–	география.
К. М. Томсон	–	немецкий язык.
Д. Ф. Назаров	–	математика, естествознание.
В. П. Басов	–	латинский язык.
Е. В. Белявский	–	русский язык.

[26] Сведения о гимназических делах Вл. Соловьева заимствованы нами из материалов С. М. Лукьянова, т. I, 63–91.

[27] С. М. Лукьянов, Материалы, I, 64–65.

К. И. Жинзифов	–	греческий язык.
Ф. Э. Будде	–	история.
В. И. Добромыслов	–	латинский язык.

Уровень преподавателей был довольно высок. Особенно симпатичен был преподаватель русского языка Белявский. «Будучи человеком глубоко религиозным и сторонником проведения в жизнь русских начал, последний относился с резким отрицанием к тем, кто, прикрываясь этими началами, стремился к обскурантизму и к порабощению живых сил общества и усиливал религиозную и национальную рознь в нашем отечестве»[28].

Ученики любили и учителя греческого языка Жинзифова, национального болгарского поэта, писавшего на родине под псевдонимом «Райко». Он был горячо предан России и видел в ней спасение для своей родины. При этом у него была слабость к вину. После выпускных экзаменов он пригласил к себе учеников и так угостил их шампанским, что многие принуждены были остаться у него ночевать.

Преподаватель латинского языка Басов был знатоком своего дела и строгим учителем, он сыпал единицами. Басову принадлежит перевод латинской грамматики. «Добрый грек» и «страшный латинист» – это было обычное явление в русской гимназии второй половины XIX в. Математик Назаров был весьма знающим и интересным преподавателем и к Соловьеву относился с особым вниманием, видя, с каким трудом ему даются математические предметы. Зато историк Будде, добродушный немец, был слабоват. Ученики подымали его на смех за неуменье выражаться по-русски и приписывали ему фразу: «Он был не столько казнен, сколько спасся бегством». «Учебником всеобщей истории служила

---

[28] С. М. Лукьянов, т. I, стр. 73.

переводная книжка Вебера, набитая фактами и именами, мало вразумительная для учащихся и трудно усвояемая. Когда появились учебники Д. И. Иловайского, гимназисты вздохнули посвободнее. Русскую историю преподавали по учебникам того же Иловайского»[29].

Директор М. А. Малиновский держал себя важным сановником. В гимназии он появлялся с орденом на шее и в белом галстуке, с цилиндром в руке. Ученики побаивались его и не любили, чтобы он заходил в класс. Но к «ректорскому сынку» директор относился с большим благоговением. По защите Соловьевым магистерской диссертации Малиновский обратился к отцу со следующим письмом: «Милостивый государь Сергей Михайлович! – Вчера на мою долю досталось провести 3 ½ часа под влиянием такого сильного и приятного обаяния, какого я давно не испытывал, и каким я обязан виденному и слышанному мною в тот день беспримерно-блистательному торжеству мысли и слова беспримерно-юного магистранта, покорившего своим талантом всецело внимание многосотенной, разнокалиберной массы слушателей и овладевшего самым глубоким сочувствием всех без изъятия многочисленных солидных представителей истинной интеллигенции здешней столицы, посетивших диспут... Юный чародей, так чудно овладевший не только искренним, но и почтительным сочувствием всех нас вчера, был конечно, как Вы поняли из первых строчек, Владимир Соловьев, бывший некогда Володя Соловьев, гимназистом в 5-й гимназии, мною когда-то устрояемый золотой медальер». Далее Малиновский поздравляет отца – «с таким сокровищем как» Ваш Владимир Сергеевич, и с его «знаменательным триумфом, – верным прецедентом долгой и славно плодотворной ученой

---

[29] С. М. Лукьянов, т. I, стр. 71.

деятельности, наследуемой и преемствуемой им счастливо от знаменитого в науке и отечестве отца»[30].

Среди гимназических товарищей Владимира Соловьева были лица, выдвинувшиеся впоследствии: известный историк Н. И. Кареев, младший сын романиста А. Ф. Писемского, Николай (старший сын Писемского – Павел, был школьным товарищем Всеволода Соловьева), князь Д. Н. Цертелев – впоследствии близкий друг В. Соловьева. «Я был с Соловьевым в одной гимназии», – сообщает Д. Н. Цертелев в своих воспоминаниях о Владимире Соловьеве,... «и помню еще в шестом классе его худую и бледную фигуру во время перемен; но, так как он был классом старше меня, мы не были знакомы и познакомились только тогда, когда я был уже на первом курсе Университета. Хорошо помню этот вечер. У П. А. Зилова собрались несколько студентов разных факультетов, между ними были Соловьев и Писемский»[31].

В гимназии у Вл. Соловьева появилось мальчишеское озорство. «В гимназии он вовсе развернулся», говорит Величко, «и стал весел, остроумен, общителен и даже шаловлив. Года полтора он даже чувствовал, если можно так выразиться, прилив отроческого милитаризма: бросался к окнам во время прохождения войск, ходил на парады и маневры и горячо рассуждал о значении храбрости, как главной мужской добродетели»[32]. В возрасте 12–13 лет он «с одушевлением доказывал, какую огромную опасность для России и всей Европы представляет в будущем Китай»[33]. Таким образом, в мальчике Вл. Соловьеве уже находятся все зародыши

---

[30] В. А. Величко, стр. 23–25.

[31] Д. Н. Цертéлев, из воспоминаний о Вл. Соловьеве, СПБ, Ведомости, 1910, № 211.

[32] В. А. Величко, стр. 14.

[33] Л. М. Лопатин, Вл. Соловьев и князь Е. Н. Трубецкой, ВФП, 1913, сент.-окт., стр. 356.

будущего: и страх Антихриста, и мысль о желтой опасности, и милитаризм «Трех разговоров» – уверенность, что «меч и крест одно».

Мальчики-товарищи любили Вл. Соловьева, и сам он в отношении к ним вел себя верным и смелым рыцарем, как свидетельствует следующий рассказ учителя русского языка Белявского: «Директор рассердился за что-то на первого ученика одного из старших классов и велел стереть его с так называемой "золотой доски". Когда это было исполнено, на следующем уроке оказалось, что все записанные на золотую доску стерты, а их было на этот раз человек семь». В число этих семи входили, сколько помнится Е. В. Белявскому, Н. И. Кареев, В. Соловьев, Н. А. Писемский, А. А. Исаев, А. А. Коротнев, Н. Ярцев и Кононов. «Началось расследование... ни до чего не доберутся. Тогда директор, зная, что от меня ученики ничего не скрывают, и ввиду серьезного нарушения порядка, просил меня узнать, кто это сделал. Я боялся взяться за исполнение такого щекотливого поручения: если мне не скажут ученики, то между нами ляжет некоторая тень, а между тем, если это сделал плохой ученик, ему могла грозить серьезная опасность. Я вошел в класс, посмотрел на доску: на ней остались только следы размазанной желтой краски. После этого я, стараясь быть спокойным, спросил: "кто это сделал?". Тотчас же встает длинный красивый молодой человек и с важно опущенными длинными ресницами отвечает: "это я сделал".

Ученик этот был Владимир Сергеевич Соловьев, бывший вторым учеником в классе, а первым учеником был Н. И. Кареев. "Зачем же вы это сделали?" – "Если Кареева стерли с золотой доски, то мы также не желаем быть на этой доске". Это было так высказано, что я не нашел возможным доказывать, что он очень дурно поступил, и доложил, как было дело, директору. Положение его было очень трудным, он сказал мне, что он сообщит об этом поступке Соловьева

его отцу, который тогда был ректором университета. Я высказал, что, по моему мнению, проступок этот, как заключающий в себе только нарушение школьной дисциплины, должен бы быть наказан школой, а не передан на усмотрение родителей. Чем это дело кончилось, я не знаю»[34].

В грязных приключениях, если таковые бывали в среде гимназистов, Вл. Соловьев участия не принимал. Природной защитой от юношеских падений служила для него его склонность к романтическим увлечениям: товарищи дразнили его какой-то Л-вич. Сознательных религиозно-моральных сдержек у него уже с двенадцати лет не оказалось. Он вступил в период резкого религиозного кризиса, с которым мы должны ознакомиться подробно.

Владимир Соловьев рассказывает в своей автобиографии:

«Самостоятельное умственное развитие началось у меня с появления религиозного скептицизма на тринадцатом году жизни. Ход моих мыслей в этом направлении был совершенно последователен, и в четыре года я пережил один за другим все фазисы отрицательного движения европейской мысли за последние четыре века. От сомнения в необходимости религиозности внешней, от иконоборства, я перешел к рационализму, к неверию в чудо и в божественность Христа, стал деистом, потом пантеистом, потом атеистом и материалистом. На каждой из этих ступеней я останавливался с увлечением и фанатизмом. Так, в эпоху своего протестантизма я не ограничивался охлаждением к церковному богослужению, к которому прежде имел страсть, но предался практическому иконоборству и выбросил за окно и в помойную яму некоторые иконы, бывшие в моей комнате. Когда я додумался до того, что Бога вовсе нет, а есть только материя, я с таким жаром проповедовал эту новую веру одному своему приятелю[35],

---

[34] С. М. Лукьянов, I, стр. 121.

[35] Вероятно этот приятель был Л. М. Лопатин.

что он, вместо всяких возражений, заметил: “– Я удивляюсь только одному: почему ты не молишься этой своей материи?”. Мой отец, хорошо видевший, что происходит в моей голове, воздерживался от прямого противодействия, но косвенным образом старался показать мне, что смотрит на мое неверие как на болезнь, очень огорчен ею, но уверен, что я в конце концов должен выздороветь. Такое отношение со стороны человека с умственным и нравственным авторитетом было конечно наилучшее, во всяком случае оно произвело большее действие на мой упрямый и самоуверенный ум, нежели прямые аргументы, на которые я всегда нашел бы, что возразить, тогда как теперь мне оставалось только говорить себе, что я умнее, развитее и проницательнее моего отца, что я конечно с полной уверенностью и спокойной совестью говорить себе не мог. Поэтому я старался вовсе не ставить этого вопроса, который оставался в глубине моей души в виде какой-то неловкости, усиливавшейся, когда я замечал в отце признаки скрытого огорчения. Неверие мое возникло самостоятельно, не только вопреки настроению семьи, но и против многих моих близких друзей, с которыми я постоянно спорил. Но затем, в старших классах гимназии, мой отрицательный образ мыслей стал находить себе пищу в чтении и в разговорах с двумя-тремя товарищами нигилистического направления. Из книг всего более подтверждения своим мыслям нашел я в огромном, восемнадцатитомном сочинении бельгийского профессора Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité, особенно в том томе, который называется “La philosophie du XVIII[e] siècle et le christianisme”. Книги эти лежали в кабинете моего отца, я читал их тихонько от него, главным образом летом на даче, в то время как он уезжал в Москву для своих архивных занятий. Книга Ренана Vie de Jésus произвела во мне разочарование, частью потому вероятно, что я страстно жаждал прочесть ее и достал

с величайшими затруднениями и пожертвованиями, а частью, может быть, благодаря отсутствию настоящей серьезности в отношении к религиозным предметам во всем миросозерцании этого писателя. Мой отец, узнав, с каким трудом и за какие деньги я достал Ренана, пожал плечами и сказал: "Вот нашел с кем возиться. Уж лучше бы ты прочел Сальвадора, если хочешь что-нибудь сильное по этой части, а у Ренана не только мысли, но и цитаты все фальшивые".

Еще менее благоприятное впечатление произвели на меня домашние наши отрицатели, из которых в особенности Писаревым увлекался мой старший товарищ.

Я поступил в университет с вполне определившимся отрицательным отношением к религии и с потребностью нового положительного содержания для ума. В естественных науках, которым я думал себя посвятить, меня интересовали не специальные подробности, а философская сторона естествознания. Поэтому я серьезно занялся только двумя естественными науками: морфологией растений и сравнительной анатомией. Ища философию в естественных науках, естественно было обратиться к самой философии. Интерес к ней был во мне раздражен, но не удовлетворен известной книгой Льюиса. Вслед за ней я прочел Куно Фишера, Этику Спинозы, Логику Гегеля и главные сочинения Фейербаха. Материализм, до которого я своим умом додумался прежде, принял теперь более утонченный, идеалистический характер под влиянием спинозизма и гегельянства».

Период нигилизма длился у В. Соловьева с 12 до 16 лет, от 1865 г. по 1869 г. Тогда он отрастил себе волосы. Эти длинные волосы, которые впоследствии придавали его лицу что-то монашеское и пророческое, первоначально явились у него выражением нигилизма, он следовал моде 60-х годов, когда отращивание волос считалось признаком вольнодумства.

Возникает вопрос, как мирился сановный директор Малиновский с нигилизмом Соловьева и его длинными волосами? Вероятно на нигилизм ректорова сына можно было зажмурить глаза, а что касается волос и манеры одеваться, в те годы гимназисты пользовались большой свободой. В состав одежды учеников гимназии и прогимназии входили тогда однобортные полукафтаны из темно-зеленого сукна с черными пуговицами и отложным воротником, с петличками на нем из синего сукна. Гимназисты ухитрялись впрочем снимать эти отличительные петлички и тогда являлись одетыми «по-штатски». Носили они и дома и в гостях прямо-таки реформенного покроя платье[36]. Когда А. Ф. Корш встретил Вл. Соловьева у его гимназического товарища Писемского, Вл. Соловьев был в штатском платье и одет франтовато: на нем был модный поглаженный галстук, с широкими вышитыми концами[37]. Вообще в гимназии 60-х годов дышалось легко, мы видели, как родственно, по-семейному относились учителя к ученикам. Прошло несколько лет, и все резко изменилось с Толстовской реформой. Воцарилась казенщина: мундиры, ранцы, гладко стриглась голова. Мой отец, окончивший первую гимназию и ненавидевший ее всеми силами души, рассказывал, как он завидовал поливановцам за их штатские пальто, черные куртки и мягкие шляпы... Проезжая с кем-нибудь на извозчике мимо первой гимназии, мой отец демонстративно спрашивал: «Что это за здание?».

О том, до каких крайностей доходил Соловьев в своем атеизме, свидетельствует следующий рассказ Л. М. Лопатина:

«Я никогда потом не встречал материалиста, столь страстно убежденного. Это был типический нигилист 60-х годов»[38].

---

[36] С. М. Лукьянов, I, 110.

[37] Там же.

[38] Л. М. Лопатин, философские характеристики и речи, стр. 123.

Для своих друзей, для Л. М. Лопатина, который был на два года моложе, Соловьев являлся «сатаной», опасным соблазнителем.

«Соловьев до основания поколебал мою наивную детскую веру, когда мне было всего двенадцать лет, и с тех пор мне пришлось рано и мучительно вырабатывать собственное миросозерцание в непрерывной борьбе с Соловьевым. Эта борьба потеряла свою остроту к моменту моего пятнадцатилетия. Мы сошлись с Соловьевым на философском идеализме»... «Только к моим семнадцати годам я сделался настоящим единомышленником Соловьева. В это время он уже прошел через свое увлечение Шопенгауэром, после того Гартманом, и прочно остановился на признании умозрительной истинности христианства. Теперь в защите истинных религиозных верований он стоял уже впереди меня»[39].

О том, как, не довольствуясь теорией, Владимир Соловьев проводил свои убеждения в жизнь, свидетельствует следующий рассказ Лопатина: «Помню, как мы, однажды гуляя в Покровском-Глебове, забрели на кладбище. Соловьев, в припадке бурного свободомыслия, к великому смущению и даже перепугу моему и моего брата, повалил на одной могиле крест и стал на нем прыгать. Это увидал местный мужик, прибежал к нам и начал нас бранить, из последних слов. Хорошо, что дело окончилось только этим»[40].

Смущал Владимир Соловьев и другого благочестивого товарища, Н. И. Кареева, заявляя, что не верит в мощи[41].

Величко передает, что Вл. Соловьев сказал отцу по поводу книги Лорана: «а недурно там отделывают христианство», на что Сергей Михайлович ответил немножко по Домострою:

---

[39] Л. М. Лопатин, В. С. Соловьев и Е. Н. Трубецкой, ВФП, 1913. (11), 345–346.

[40] Там же, стр. 386, прим.

[41] С. М. Лукьянов, I, 112.

«а тебе бы следовало за это хорошенько уши надрать»[42]. Н. И. Кареев выражает сомнение в правдоподобности этого рассказа[43], и нам тоже кажется, что подобный разговор не был возможен между отцом и сыном. В своей автобиографии Вл. Соловьев во-первых указывает, что его отец уклонялся от прямых возражений, а во-вторых признает, что читал Лорана потихоньку от отца, когда тот уезжал с дачи в Москву для занятий в Архиве. И как ни был вспыльчив Сергей Михайлович, фраза «тебе бы следовало за это уши надрать» решительно не вяжется с общим духом его воспитания. Отец «огорчался» атеизмом своего сына и хорошо знал, что это огорчение действует на чувство мальчика больше, чем приемы, рекомендованные Домостроем.

В гимназии Вл. Соловьев учился с 1864 по 1869 г.г. и поступил в Университет 16-ти лет. Быстрое переживание всех фазисов европейской мысли за последние четыре века падает как раз на гимназический период. По собственному свидетельству, Соловьев переживал последовательно с двенадцати лет: протестантизм и «иконоборство», затем деизм, пантеизм и материализм. К чистому материализму и атеизму он переходит к годам четырнадцати. В шестнадцать лет в его руки попадает Спиноза, бывший для него, как Платон для блаженного Августина, преддверием положительного религиозного миросозерцания. От христианства, тем более определенного церковного мировоззрения, к которому он пришел в 80-х годах, Соловьев-студент еще очень далек. Теперь возникает вопрос: если Соловьев, по собственному свидетельству, пережил сначала пантеизм, потом материализм, то как объяснить, что пантеизм Спинозы был для него исходом из материализма? Если бы мы не имели автобиографии

---

42 В. А. Величко, стр. 15, 16.

43 С. М. Лукьянов, I, 110.

Соловьева, его эволюция представлялась бы нам так: в 12 лет от детской веры он приходит сначала к иконоборству, отрицанию мощей и всякой церковности, становится затем материалистом, и в 16 лет переходит к Спинозе, то есть к пантеизму. Между тем Вл. Соловьев указывает в своей автобиографии, что он за четыре года пережил и деизм и пантеизм до материализма. Здесь возможны два решения вопроса. Или Соловьев до своего четырнадцатилетнего материализма наскоро и поверхностно пережил деизм и пантеизм, а потом, через материализм, пришел уже к сознательному пантеизму, под влиянием Спинозы. Или, составляя свою автобиографию, он несколько схематизировал историю своей отроческой эволюции, заставляя себя проделать путь европейской мысли в том же порядке и последовательности. Во всяком случае Соловьев не перешел прямо от атеизма к христианской вере, а с 16 лет начинает сложную философскую эволюцию, от Спинозы и Гегеля, через Канта к Шопенгауэру и Шеллингу...

Представление об отроческих годах Владимира Соловьева будет неполно, если мы не коснемся отношений его к семье Лопатиных. Эта семья была самая близкая к дому Соловьевых. Михаил Николаевич Лопатин был приятелем Сергея Михайловича – человек умеренно-либерального направления, служивший в Московских судебных учреждениях[44].

Жена его, Екатерина Львовна, урожденная Чебышева, была сестрой известного математика П. Л. Чебышева. У Лопатиных был свой дом – особняк в Гагаринском переулке – уютный старофасонный дом с антресолями, с глубоким тенистым садом. Старшие сыновья Лопатины, Николай и Лев, по возрасту подходили к Всеволоду и Владимиру, младший Владимир был сверстником и закадычным другом Михаила.

---

[44] С. М. Лукьянов, I, 105.

Николай был – широкая русская натура, отличался физической силой и ловкостью и прекрасно пел русские песни. Лев был тихим сосредоточенным мальчиком, расположенным к философии. О похождениях с братьями Лопатиными в подмосковном селе Покровском-Глебове Соловьев рассказывает в письме к Стасюлевичу: «Автор разбираемой книги (Л. М. Лопатин) вместе со своим старшим братом – мои первые друзья детства, отрочества и юности. Особенно средний из этих возрастов крепко связал нас общими опасностями и успехами. Учились мы разно[45]. Но летнее время проводили вместе в подмосковном селе Покровском-Глебове-Стрешневе, где наши родители в продолжении многих лет жили на даче. Цель нашей деятельности за это время состояла в том, чтобы наводить ужас на Покровских обывателей, в особенности женского пола. Так, например, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речке Химки, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали: “Пожар! Пожар! Покровское горит!” Те выскакивали в чем попало, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством. А то, мы изобретали и искусно распространяли слухи о привидениях, и затем принимали на себя их роль. Старший Лопатин (не философ), отличавшийся между нами физической силой и ловкостью, а также большой мастер в произведении диких и потрясающих звуков, сажал меня к себе на плечи верхом, другой брат надевал на нас обоих белую простыню и затем эта необычайного вида и роста фигура в лунную ночь, когда публика, особенно дамская, гуляла в парке, вдруг появлялась из смежного с парком кладбища и то медленно проходила в отдалении, то устремлялась галопом в самую середину гуляющих, испуская нечеловеческие крики. Для других классов населения было устроено нами пришествие Антихриста.

[45] Лопатин – в Поливановской гимназии, Соловьев в – 5-й.

В результате мужики не раз таскали нас за шиворот к родителям, покровский священник, не чуждый литературе, дал нам прозвание "братьев-разбойников", которое за нами и осталось, жившие в Покровском три актрисы, госпожи Собещанская, Воронова и Шуберт, бывшие особым предметом моих преследований, сговорились меня высечь, но, к величайшему моему сожалению, это намерение почему-то не было исполнено. Впрочем, иногда наши занятия принимали научное направление. Так мы усиленно интересовались наблюдениями над историей развития земноводных, для чего, в особо устроенный нами бассейн напускали множество головастиков, которые, однако, от неудобства помещения вскоре умирали, не достигнув высших стадий развития. К тому же, свою биологическую станцию мы догадались устроить как раз под окнами кабинета отца, который объявил, что мы сами составляем предмет для зоологических наблюдений, но что ему этим заниматься некогда. Тогда мы перешли к практическому изучению географии, и моею специальностью было исследовать течение ручьев и речек, глубину прудов и болот, причем активная роль моих товарищей состояла главным образом в обращении к чужой помощи для извлечения меня из опасных положений»[46].

Дружеские отношения с Л. М. Лопатиным продолжались у Соловьева до конца жизни. Мы уже видели, что в отрочестве старший приятель смущал «Левушку» своим атеистическим фанатизмом и что последнему приходилось мучительно вырабатывать свое собственное миросозерцание в борьбе с Соловьевым. Потом друзья сошлись на «философском идеализме». Но не надолго. Во-первых, в области самой философии их сближала более отрицательная сторона: вражда к позитивизму и материализму, в этом отношении

---

[46] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», под редакцией М. К. Лемке, т. V, 370–372.

«Критика отвлеченных начал» Соловьева совпадает по идее с критическими главами «Положительных задач философии» Лопатина, рознясь по методу доказательств. Что же касается до собственного учения, то философы-друзья заметно разошлись. Соловьев шел от Спинозы, Гегеля, Шеллинга и всегда склонялся к натурфилософии, Лопатин был близок к картезианству. По вопросу о свободе воли, понятии субстанции и феноменализме между друзьями в 90-х годах возгорелась полемика, которой мы коснемся в своем месте. Далее, Соловьев не остановился на позиции «философского идеализма». В 80-х годах он приходит к чисто церковному миросозерцанию, с сильной католической окраской.

Лопатин не относился сочувственно к этой новой вере своего друга, которой тот предался с неменьшей последовательностью и упорством, чем предавался вере в материю в 14 лет. Отделяла Лопатина от Соловьева и некоторая «левизна» последнего. Соловьев эволюционировал до конца жизни, Лопатин рано создал свою систему, успокоился и твердо держался раз занятых позиций. Но это различие не помешало Лопатину дать прекрасную характеристику философии Соловьева и признать друга своего детства «самым оригинальным философом во всей Европе за последние 25 лет»[47].

Особенно сближала друзей любовь к фантастичному и страшному. Лопатин славился в Москве умением рассказывать страшные рассказы. Вл. Соловьев посвящает ему свое жуткое стихотворение «Колдун-камень». Лопатин всю жизнь упорно интересовался гипнотизмом и спиритизмом. Соловьев в юности также увлекавшийся столоверчением, впоследствии очень резко отзывался о подобных занятиях. Он любил выражение И. С. Аксакова, что спиритизм есть «откровение с заднего крыльца». «Мой приятель Лопатин», пишет он Страхову, – «усиленно занимается гипнотизмом, думая этим

[47] Л. М. Лопатин, «Философские характеристики и речи», стр. 120.

путем доказать бытие Божие и бессмертность души. Я же ему доказываю, что это есть не что иное, как худший вид содомии»[48].

Соловьев любил добродушно подтрунивать над своим другом. На одном письме к нему он надписал адрес так: сначала Тигру Михайловичу Лопатину, потом Евфрату Михайловичу и наконец, перечеркнув «Тигру» и «Евфрату», – Льву. Обычно он называл его «Левон», как звали Льва Михайловича в кружке его приятелей-поливановцев. Однажды В. С. проделал с Лопатиным такую штуку: он сочинил стихотворение якобы от лица Льва Михайловича, подделал его почерк и вложил листок в книгу, данную ему для прочтения Лопатиным. В одном обществе Соловьев, возвращая Лопатину книгу, сделал серьезно-мрачное лицо и озабоченно сказал: «Советую тебе быть осторожнее: ты забыл в книге один весьма опасный документ». Лев Михайлович заволновался. Соловьев вынул листок и прочел стихи, где каждая строка начиналась словами «Ах, мадам, мадам, мадам!»

Ах, мадам, мадам, мадам!
За тебя я все отдам...
Будь ты Ева, я – Адам... и т. д.

Лев Михайлович быстро успокоился. Надо сказать, что когда В. Соловьев строго осуждает Пушкина за его эпиграммы, невольно вспоминается притча о сучке и бревне в глазу. Соловьев для красного словца не щадил ни матери, ни отца...

Переходя к студенческим годам Соловьева, мы прощаемся с Покровским-Глебовым, где мальчик Володя получил свои первые впечатления от природы, где впервые полюбил и землю-владычицу. Оставив Покровское, С. М. (Сергей Михайлович) начинает проводить лето на даче в Нескучном саду. Нескучным помечены первые стихотворные опыты В. С.

---

[48] П., I, стр. 50.

К Покровскому В. С. до конца жизни сохранил нежную привязанность и любил отправляться в него из Москвы пешком, перепрыгивая плетни и вспоминая эпопею «братьев-разбойников». Теперь это Покровское – станция Московско-Виндавской железной дороги. Когда вагон останавливается на станции Покровское-Стрешнево, за окном открывается меланхолически-прекрасный пейзаж. Все Покровское – в задумчивых плакучих ивах, роняющих свои ветви над высыхающими прудами, постепенно превращающимися в болота.

К Покровскому относится еще одно детское воспоминание Соловьева. За два года до смерти, желая восстановить общественную справедливость, Соловьев написал сочувственную записку о Чернышевском. «Никакой позы, напряженности и трагичности; ничего личного и злобного; чрезвычайная простота и достоинство», характеризует Соловьев Чернышевского и кончает заметку словами: «над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека».

Искра симпатии к Чернышевскому загорелась в душе Соловьева летом 1864 г., перед поступлением в гимназию. Соловьев рассказывает: «Ясно выступает в моих отроческих воспоминаниях один летний вечер. Мы жили недалеко от Москвы на даче в селе Покровском-Глебове. Отец, работавший летом не меньше, чем зимой, уделял только воскресенье своим друзьям и знакомым, приезжавшим на целый день из Москвы и ее окрестностей. Но вечер, о котором я вспоминаю, был не воскресный; невзначай после обеда приехали Евгений Федорович Корш и Николай Христофорович Кетчер. Я, по своим годам, еще не был в состоянии как следует ценить Корша с его высоким образованием и тонким остроумием, которого впечатление (на взрослых) усиливалось его обычным заиканием. Но я от раннего детства любил Кетчера с его

наружностью полудикого плантатора, с остриженными (тогда) под гребенку волосами, его необъятную соломенную шляпу, широчайшие и слишком короткие парусиновые панталоны, которые он, кажется, носил и зимою, свирепо-добродушное выражение лица, громкий бодрящий голос и бесцеремонные шутки со всеми, сопровождаемые громким хохотом:

Dulce ridentem Lalagen amabam
Dulce loquentem.

Гости что-то рассказали отцу и собрались с ним в его обычную вечернюю прогулку. Я попросился идти вместе с ними, и отец, после некоторого колебания, согласился. Но мои надежды на веселое собеседование Кетчера не сбылись. Он был мрачен и совсем не хохотал. Оказалось, что он с Коршем приехали передать отцу только что полученное из Петербурга известие о состоявшемся приговоре особого сенатского суда, по которому известный писатель Чернышевский, обвиненный в политическом преступлении, был осужден на каторжные работы в Сибири. Оба гостя имели удрученный вид, а отец, взволнованный, с покрасневшим лицом, говорил каким-то напряженным, негодующим шепотом, время от времени переходившим в крик»[49].

Не можем удержаться от замечания, что цитата из Горация здесь приведена некстати. Неужели хохот Кетчера напоминал «сладостный смех» сладкоречивой Лалели? Но не даром Фет обращается к Соловьеву со словами:

Пусть не забудется и пусть
Те дни в лицо глядят нам сами,
Когда Катулл мне наизусть
Твоими говорил устами.

[49] Соч., XII, стр. 265.

Глава 3
Университет. Катя Романова

О, если б я за горькое страданье,
Что суждено мне волей роковой,
Тебе мог дать златые дни и годы,
Тебе мог дать все лучшие цветы,
Чтоб в новом мире света и свободы
От злобной жизни отдохнула ты!

В. Соловьев

В Московский Университет Соловьев поступил осенью 1869 г. и пробыл в нем ровно четыре года. Но студенческая его жизнь протекала ненормально, и теперь мы не без труда восстановляем историю его блужданий между факультетами физико-математическим и историко-филологическим. Мы уже видели, что Соловьев поступил в Университет 16 лет, когда только начал выбираться из отроческого материализма под влиянием Спинозы. Главным его интересом была конечно философия, читавшаяся на филологическом факультете П. Д. Юркевичем. Следуя желанию своего отца-историка, Соловьев первоначально зачислился на историко-филологический факультет. Но в первый же год он перебирается на факультет физико-математический. Очевидно всю жизнь присущий ему интерес к натурфилософии побудил его серьезно заняться естествознанием.

В наброске своей автобиографии Соловьев говорит:

«Я поступил в Университет с вполне определенным, отрицательным отношением к религии и с потребностью нового положительного содержания для ума. В естественных науках, которым я думал себя посвятить, меня интересовали не специальные подробности, а общие результаты, философская сторона естествознания. Поэтому я серьезно занялся

только двумя естественными науками: морфологией растений и сравнительной анатомией».

Профессор ботаники М. Н. Кауфман так отзывался о Соловьеве после его экзамена: «Это был для меня настоящий пир души – экзамен, который я производил сыну Сергея Михайловича. Я наслаждался его ответами, его блестящими, неожиданными обобщениями. Для меня тогда же была несомненна его, признанная впоследствии, гениальность»[50]. Некоторым поводом для оставления филологического факультета, по словам Н. И. Кареева, явилось неблагоприятное впечатление от занятий греческим языком у профессора Фельколя[51]. Но кроме ботаники и сравнительной анатомии, на естественном факультете были науки физико-математические, а физика и математика всегда были для Соловьева камнем преткновения. «Сколько мне помнится», говорит Н. И. Кареев, «уже на первом курсе у Соловьева была какая-то неприятность по аналитической геометрии, из которой профессор Цингер нещадно резал»[52]. Подобного рода неприятности повторялись, дело дошло до провала на экзамене и ухода с естественного факультета.

В «Curriculum vitae» Соловьев говорит:

«В 1872 г. вышел из физико-математического факультета и поступил вольным слушателем на историко-филологический факультет (того же университета)»[53].

На четвертый курс физико-математического факультета Соловьев не перебрался, а пробыл два года на одном из младших курсов. Величко сообщает, что Соловьева постигла неудача на экзамене по физике при переходе со второго курса на третий, что наводит на мысль, что Соловьев пробыл два

---

[50] С. М. Лукьянов, I, стр. 138.
[51] Там же, стр. 132.
[52] Там же, стр. 209.
[53] П., II, стр. 337.

года на втором курсе. Лукьянов предполагает, что, несмотря на плохой ответ, Соловьев мог, получив двойку (а не 1 и не 0), перебраться на третий курс и приводит воспоминания Лопатина о том, что Соловьев пробыл два года на третьем курсе, не додержав переходных экзаменов третьего курса в 1872 г. Провал по физике тут был невозможен, так как физика читалась на двух первых курсах. Переходя к моим собственным воспоминаниям, я могу припомнить некоторые фразы Владимира Сергеевича на его неудачном экзамене, которые мне передал мой отец. Один раз Соловьев топтался на месте и только повторял: «Возьмем пластинку» (очевидно физика). Другой раз Соловьев пробовал развивать экзаменатору мысль, что различие в устройстве половых органов у мужчин и женщин соответствует их духовному различию. Экзаменатор мрачно его оборвал: «Вы мне эту философию оставьте, а начертите-ка фаллопиевы трубы». Соловьев не мог начертить... Здесь очевидно дело идет не о физике, а об анатомии.

Конечно, не случайно поступление Соловьева на физико-математический факультет и его занятия естествознанием. Естествознание оказало большое влияние на образование его философской системы, и он навсегда сохранил некоторую приверженность к теории Дарвина, защищая последнего против Страхова и Данилевского и использовав теорию полового подбора в статьях «О красоте в природе» и «Смысле любви». «Я нисколько не жалею», говорит Соловьев в 1899 году, в статье «Идея сверхчеловека», «что одно время величайшим предметом моей любви были палеозавры и мастодонты. Хотя "человеколюбие к мелким скотам", по выражению одного героя Достоевского, заставляет меня доселе испытывать некоторые угрызения совести за тех пиявок, которых я искрошил бритвою, добывая "поперечный разрез", и тем более, что это было злодейством бесполезным, так как мои гистологические старания оказались более

пагубными для казенного микроскопа, нежели назидательными для меня, но, раскаиваясь в напрасном умерщвлении этих младших родичей, я только с благодарностью вспоминаю пережитое увлечение. Знаю, что оно было полезно для меня, думаю, что пройти через культ естествознания после гегельянских отвлеченностей было необходимо и полезно для всего русского общества в его молодых поколениях»[54].

Отвращение к вивесекции и «человеколюбие к мелким скотам» Соловьев ощущал и в студенческие годы. В письме к кузине Кате он с негодованием говорит о тех, которые «режут несчастных животных»[55].

Конечно, Соловьев был плохим естественником. На третий год пребывания на физико-математическом факультете (1871–1872 г.г.), после неоднократных неудач с микроскопами, пластинками и трубками, он начинает испытывать к естественным наукам отвращение. «Занимайся не слишком усидчиво», пишет он Кате 12 октября 1871 года «и ради Бога, не естественными науками: это знание само по себе совершенно пустое и призрачное. Достойны изучения сами по себе только *человеческая* природа и жизнь, а их всего лучше можно узнать в истинных поэтических произведениях, поэтому советую тебе – читай по возможности великих поэтов»[56]. И еще резче 26 марта 1872 г., очевидно незадолго перед экзаменами третьего курса, которых Соловьев не додержал: «Я того мнения, что *изучать* пустые призраки внешних явлений – еще глупее, чем *жить* пустыми призраками. Но главное дело в том, что эта "наука" не может достигнуть своей цели. Люди смотрят в микроскопы, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических

[54] Соч., IX, стр. 265.
[55] П., III, стр. 64.
[56] Там же, стр. 57.

ретортах и воображают, что они изучают природу! Этим ослам нужно бы на лбу написать:

Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней,
Чего твой дух не угадает.

Вместо живой природы они целуются с ее мертвыми скелетами»[57]. Конечно, в подобном настроении трудно было заниматься экзаменами. Вообще связь Соловьева с Университетом была очень слаба. Поступив впоследствии вольным слушателем в Духовную Академию, он пишет Кате: «Академия во всяком случае не представляет такой абсолютной пустоты, как Университет»[58].

Когда в 90-х годах кафедра философии в Московском Университете была занята младшим другом Соловьева Л. М. Лопатиным и его учеником С. Н. Трубецким, сам Соловьев был только приват-доцентом в отставке. «Больших симпатий к “университетскому деланию”, говорит Лукьянов, Соловьев во время своего студенчества не нажил. Будучи студентом, он держался собственно особняком: он жил столько же университетской, сколько и внеуниверситетской жизнью, и последнею, может быть, даже больше, чем первою. По меткому выражению Н. И. Кареева “Соловьева как студента не существовало”, и товарищей по университету у него не было: каким-то своеобразным диссидентом был он среди университетских людей и в ту пору, когда ему суждено было занять место в рядах преподавательского персонала – сначала в Москве, а потом в Петербурге»[59].

---

[57] П., III, стр. 64–65.
[58] Там же, стр. 105.
[59] С. М. Лукьянов, I, стр. 175.

Соловьев с интересом слушал лекции С. А. Усова и Н. В. Бугаева, профессоров с философским устремлением, но все же прав Лукьянов, говоря: «Ни про одного из профессоров Московского Университета мы не могли бы сказать, что он был непосредственным руководителем или покоряющим вдохновителем Соловьева, и ни за одним из его собственно университетских товарищей-сверстников мы не могли бы признать право на титул близкого его друга или единомышленника»[60]. Исключение необходимо сделать для П. Д. Юркевича, в котором Соловьев нашел подлинного учителя, единомышленника и руководителя, которому был многим обязан как в своей философии, так и в университетских делах.

18 апреля 1873 г. Соловьев подает два прошения: 1) Об увольнении его из числа студентов. 2) О допущении к экзаменам на степень кандидата историко-филологического факультета. Согласно прошению, Соловьев был уволен из Университета и допущен к кандидатским испытаниям в качестве бывшего студента и постороннего лица. «Вольным слушателем» историко-филологического факультета, как выражается Соловьев в своем «Curriculum vitae», он никогда не был. 7 июня, через семь недель после подачи прошения, Соловьев, успешно сдав испытания, был утвержден в степени кандидата историко-филологических наук. По всем предметам Соловьев получил 5, только по греческому языку и древней истории – 4. Лукьянов предполагает, что профессора не предъявляли к Соловьеву на экзаменах тех строгих требований, какие предъявлялись ими к действительным студентам историко-филологического факультета. «Ввиду того, что Соловьев сдавал экзамены в качестве постороннего лица, и ввиду “его исключительных способностей”, говорит В. И. Герье, я

---

[60] С. М. Лукьянов, I, стр. 183.

не требовал от него на экзамене специальных познаний по истории, как от студентов нашего факультета. Я знал, что он еще гимназистом прочел все вышедшие до этого тома истории его отца, а память у него была феноменальная»[61].

Из всего приведенного можно заключить, что академический 1872–1873 год Соловьев числился на физико-математическом факультете, не занимался естественными науками, а готовился к экзаменам на кандидата историко-филологического факультета. Не мог же он в самом деле приступить к этим экзаменам без всякой подготовки или подготовиться в несколько недель между подачей прошения 18 апреля и началом экзаменов! На «родном», филологическом факультете дела Соловьева шли как по маслу, но четырехлетний путь его на естественном факультете был усеян терниями, и много надо было иметь любви к философии, чтобы ради нее преодолевать аналитическую геометрию и физику. Но и от филологического факультета у Соловьева осталось одно тяжелое воспоминание. Весной 1873 г., во время кандидатских экзаменов, Соловьев занимался вместе с товарищами на квартире студента В. Л. Андреева. К отцу его, содержавшему чайный и винный магазин на Тверской, завернул профессор римского права Н. И. Крылов. Он был навеселе и, не зная о присутствии среди студентов Владимира Соловьева, начал грубо подшучивать над его отцом, по поводу обилия у него детей. «С Владимиром Соловьевым сделался настоящий припадок», рассказывал Н. И. Кареев, «его кое-как успокоили и я отвез его домой»[62].

Студенческие годы были для Соловьева временем напряженной и быстрой философской эволюции. К 1872 г., когда ему исполнилось 19 лет, Соловьев в замечательных письмах к Кате № 11 и № 18 уже высказывает то отношение

---

[61] С. М. Лукьянов, I, стр. 147.

[62] Там же, стр. 264.

к христианству, которое мы находим в его зрелых произведениях. Признавая христианство безусловной истиной, он стремится возвести веру «на новую ступень разумного сознания»[63], заменить «веру слуха верой разума», как говорили самаряне в Евангелии: «Уже не по твоим речам веруем, но сами поняли и узнали, что Он – истинный Спаситель мира, Христос»[64], примирить евангельскую веру с новой философией. Но в промежутке от 1869 до 1872 г.г., от Спинозы до христианства, Соловьев переживал сильное увлечение Шопенгауэром. Философией Шопенгауэра продиктованы многие строки писем его к Кате, которую он призывал на путь самоотрицания воли и отречения от жизни. Л. М. Лопатин так рисует философскую эволюцию Соловьева:

«Благодаря Спинозе, Бог, хотя в еще очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Далее он с увлечением зачитывается Фейербахом, который, хотя и очень склонялся к материализму в последний период своей философской деятельности, но все же не был никогда материалистом-догматиком и в общем не пошел дальше неопределенной и очень прихотливой проповеди сенсуализма в своих теоретических воззрениях и культа человечества в своих практических выводах.

Одновременно с этим В. С. Соловьев серьезно знакомится с сочинениями Дж. Ст. Милля, и проникается его тонким и своеобразным скептицизмом, одинаково осуждающим и материализм и спиритуализм, одинаково настаивающим на абсолютной непостижимости как сущности духа, так и сущности материи...

Наконец, наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра: Шопенгауэр овладел им всецело, как ни один философский

---

[63] История и будущность теократии, Соч. IV, стр. 243.
[64] П., III, стр. 75.

писатель после и ранее. Был период в жизни В. С. Соловьева, – правда, довольно короткий, когда он принимал Шопенгауэра всего, со всеми его общими взглядами и частными мнениями, с его безграничным пессимизмом и с его туманными надеждами на искупление от страданий мира через погружение в Нирвану»[65].

Кроме немецких философов и русские учителя могли на него оказать влияние: прежде всего П. Д. Юркевич и, может быть, А. М. Иванцов-Платонов, профессор церковной истории.

В 1874 г. Соловьев написал статью «О философских трудах П. Д. Юркевича», а перед смертью помянул своего учителя в «Трех характеристиках» (Троицкий, Грот, Юркевич). Отчасти примыкая к славянофилам и исходя из библейских понятий, Юркевич считал «сердце средоточением духовной жизни». Его философия, в противоположность рационализму германских систем, была синтезом библейских понятий и платонизма, т. е. непосредственно шла за богословием православного Востока. Разум, голова, по Юркевичу, не есть сила рождающая, а озаряющая и владычественная. Духовная жизнь возникает, рождается в сердце. Душа существует не только как свет, но и как освещаемое им существо. Жизнь духовная зарождается прежде этого света разума – во мраке и темноте, то есть в глубинах, недоступных для нашего взора. «Человеческий ум есть вершина, а не корень духовной жизни человека»[66]. Но надо остерегаться крайностей мистицизма, отметающего рациональное начало. «Ум, как говорили древние, есть правительственная или владычественная часть души, и мистицизм, который погружается в непосредственные

---

[65] Л. М. Лопатин, «Философские характеристики и речи», стр. 124–125.
[66] Соч., I, стр. 181.

влечения сердца, не переводя их в отвлеченные, спокойные и твердые идеи или начала ума, противоречит свойствам человеческого духа»[67].

Не в духе ли Юркевича высказывается Соловьев в 1892 г. в письме к С. М. Мартыновой (письмо не напечатано): «Что же в нас будет жить и по смерти и что должно составлять предмет всех наших забот при жизни? То, что мы называем теперь сердцем, т. е. внутренний человек наш, который облечется соответствующим нетленным телом при воскресении плоти... Старайтесь же усовершить то, что в вас любит и что ненавидит, что покойно и что беспокойно, что радуется или печалится, т. е. сердце свое или человека внутреннего (что мыслит, рассуждает через ваш ум)».

Памяти другого своего учителя А. М. Иванцова-Платонова Соловьев посвятил прочувственный некролог, где говорит: «Искренняя вера при известной степени духовного развития исключает фанатизм, который есть или признак духовной незрелости, или же – “проказа лицемерия”. Кто, как покойный о. Иванцов, внутренно верит в христианское учение, для того оно уже не может превратиться в какие-нибудь внешние требования, которые можно навязывать и поддерживать насильно, делая из религии любви предлог или оправдание всякой злобы. Личная мягкость характера и добродушия в соединении с твердостью убеждений и глубокою религиозностью естественно производили у покойного А. М. Иванцова ту истинную терпимость, которая позволяет, не поступаясь ничуть безусловной правотой своей веры, признавать относительные права чужого мнения. Примыкая отчасти к славянофильскому кружку, А. М. Иванцов сохранял самостоятельность религиозной мысли»[68]. Что Соловьев здесь

[67] Соч., I, стр. 186.
[68] Соч., IX, стр. 414.

не тенденциозен, что он не навязывает Иванцову своих собственных идеалов, видно из следующей характеристики С. Кедрова, который говорит, что «в личной жизни и деятельности Иванцова-Платонова как нельзя более воплотились идеалы митрополита Платона о честном служении науке и о христианской гуманности». «Он смотрел на реформационное движение с точки зрения своего учения о христианской правде и любви... Сочувствуя славянофилам в некоторых вопросах, Иванцов-Платонов в то же время критически относился к ним в других. "Наша любовь к народу", – говорил он, – должна быть чужда фальшивого самообольщения; мы не должны слишком мечтать о своих национальных достоинствах, намеренно преувеличивать их, украшать свой народ небывалыми совершенствами и пристрастно возвеличивать его за счет всех других народов»[69].

Понятно, что этот учитель христианской гуманности, соединивший силу научного ума с теплотой евангельской веры, играл большую роль в жизни Соловьева. Отношения с Иванцовым-Платоновым однако портятся в 1883 г., когда Соловьев написал первое сочинение о соединении церквей «Великий спор и христианская политика», вызвавшее возражения Иванцова-Платонова. Соловьев отвечает своему учителю в мягком и почтительном тоне. Отношения между ними продолжались до 1888 г., но наконец произошла катастрофа. 27 ноября 1887 г. Соловьев пишет А. Ф. Аксаковой (письмо не напечатано): «Si c'est notre ami Иванцов, qui vous a parlé de ma mauvaise humeur, je n'y comprends rien: la seule fois qu'il m'a vu, j'étais au contraire très gai.» В письме к Аксаковой от 2 марта 1888 г. Соловьев называет Иванцова уже своим «бывшим другом». «Бывший мой друг Иванцов издал маленькую

---

[69] У Троицы в Академии (1814–1914 гг.), С. Кедров, Студенты-платоники в Академии, стр. 202–232.

книжку, в которой опровергает католичество, а кстати уж и все протестантские секты. При теперешних условиях нашей печати полемизировать в России против католичества и протестантства, значит нападать на связанного противника, это просто *нечестный поступок*, после которого я более не желаю видаться с Иванцовым. Я очень снисходителен к личным слабостям и порокам, и если бы этот почтенный протоиерей украл или нарушил седьмую заповедь, то это нисколько бы не помешало нашей дружбе. Но в вопросах социальной нравственности я считаю нетерпимость обязательною». Очевидно, некролог Иванцова был для Соловьева актом примирения. «Чистая воля добра была, несомненно, преобладающим побуждением в жизни и деятельности А. М. Иванцова... Все проходит, одна любовь остается. Вечная память почившему служителю Любви»[70].

В смутный переходной период начала 70-х годов, оттолкнувшись от прежнего материализма, но еще не найдя положительного религиозного содержания для своего ума, Соловьев начал увлекаться спиритизмом. Он был очень сильным медиумом. Здесь на него оказало влияние знакомство с семьей Лапшиных, живших в Петербурге. Иван Осипович Лапшин посвятил себя востоковедению, жена его Сусанна Дионисовна Друэн, англичанка, обладала хорошим общим и музыкальным образованием[71]. Соловьев обучал ее латинскому и греческому языкам, посвящал ее в Спинозу и Платона и вел с ней переписку на французском языке. У Лапшиных собирались «мистики» той эпохи, спириты А. Н. Аксаков и В. И. Прибыткова (которую очень любил Всеволод С. Соловьев и называл «Варварище-чудище»), философ-панпсихист А. А. Козлов. По воспоминаниям С. Д. Лапшиной,

---

[70] Соч., IX, стр. 415.

[71] Лукьянов, М. I, стр. 251.

Соловьев всего более уделял внимание спиритизму в 1872 и 1873 г.г., позднее он уже стал уклоняться от участия в спиритических сеансах и охладел к спиритизму, признавая соответствующую доктрину противорелигиозной[72]. Величко сообщает, что, познакомившись с семьей Лапшиных, Соловьев сделался пишущим медиумом[73]. Такими медиумическими писаниями испещрены рукописи Соловьева на протяжении почти всей его жизни. Но об этом речь будет дальше. В Москве уже тогда Соловьева начали окружать «странные люди», мистики, колебавшиеся между православием, спиритизмом и... выпивкой, «видевшие в молодом философе существо “сверхчеловеческое”. “Неужели они думают”, – говорил как-то Владимир Сергеевич моему отцу, что у меня не хватило бы пороху основать секту?». И некоторые люди впоследствии, когда в 90-х годах Соловьев отказался от прежних широких практических задач и перешел к философии и публицистике, с горькой иронией называли его «неудавшимся Мессией». В общем это окружение странными энтузиастами напоминает окружение Николая Ставрогина в романе Достоевского «Бесы» и не один Шатов готов был с горечью воскликнуть: «много вы значили в моей жизни, Владимир Сергеевич». И не о некоторых ли старых друзьях своей юности вспоминает Соловьев в стихотворении «Метемпсихоза», сочиненном «во время холерных судорог» в 1892 г.

Пришли издалека
Два старые друга.
Один пьет как губка,
Другой сумасшедший,
Но вспомнили оба
О дружбе прошедшей[74].

---

[72] Лукьянов, М. I, стр. 252.
[73] В. А. Величко, стр. 19.
[74] П., I, стр. 234 (Соч., XII, стр. 111).

Nomina sunt odiosa. Могу только сказать, что эти верные друзья давно покоятся в могиле и имена их погасли. Они не принадлежали ни к ученому, ни к литературному миру.

Если П. Д. Юркевич учил молодого Владимира, что сердце есть источник духовной жизни, то его ученик жил уже напряженной сердечной жизнью. Письма к кузине Кате остаются для нас драгоценным памятником цветения его сердца в те годы и борьбы сердечных движений с велениями владычественной части души обуздывающим их умом. Обратимся к юношескому роману Соловьева, если только слово «роман» применимо к упорному увлеканию «милой Кати» на путь «самоотрицания воли».

Екатерина Владимировна Романова, дочь брата П. В. Соловьевой Владимира Владимировича, родилась 19 апреля 1855 г. в Херсонской губернии, и следовательно была моложе своего двоюродного брата Владимира на два года. Ее родители разошлись, когда ей было года четыре. Ее мать, Александра Станиславовна, урожденная Вишневская (дочь католика и православной) вышла замуж за К. К. Шевякова, и умерла, когда ее дочери было около 17-ти лет. Отец Кати, Владимир Владимирович, также вступил во второй брак и умер от чахотки, когда дочери еще не исполнилось 12-ти лет[75]. Таким образом Катя рано выпала из родного гнезда: сначала раздор отца и матери, затем смерть отца, наконец смерть матери. К девочке можно было применить стихи ее двоюродного брата:

> О, бедное дитя, меж двух враждебных станов
> Тебе приюта нет.

Еще при жизни отца, обзаведшегося новой семьей, Катя Романова вместе с бабушкой Екатериной Федоровной

---

[75] С. М. Лукьянов, I, стр. 265–310.

(урожденной Бржесской) и младшей сестрой Поликсеной поселились в Москве, в доме Соловьевых, когда Владимиру Соловьеву было 12 лет, Кате – 9, Поликсене – 7. Поликсена скоро сходит со сцены, скончавшись в отроческом возрасте от чахотки. Всеволод Соловьев в романе «Навождение» описывает появление в семье героя девочки Зины. Нельзя отождествлять эту Зину с Катей Романовой, но несомненно, что Всеволод Соловьев зарисовал здесь некоторые черты своей кузины, сильно сгустив черные краски. Ранние страдания, потеря родного дома, неправильная кочевая жизнь, потом житье в доме знаменитого и чужого по крови и духу, грозного дяди Сергея Михайловича, косо смотревшего на «херсонство», ранний и головокружительный успех у молодых людей, ухаживанье и стихи двоюродного брата Всеволода, сомнительные «отеческие» ласки холостого дяди Вадима, наконец глубокая и самоотверженная любовь аскета Владимира – все это создавало в ее душе трагические надрывы и изломы. Она была очень красива, с темными загадочными глазами и черными волосами. Владимир Соловьев в своем рассказе «На заре туманной юности»[76] называет ее «нежной, полувоздушной девочкой» и далее «...в голубом ситцевом платье и с небрежно закинутой за спину темною косой». На портретах она не выходила: смотря ее фотографические карточки, трудно понять то очарование, которое она распространяла вокруг себя. Красота ее была действительно жуткая и губительная, и она сама иногда являлась жертвой своего очарования. Так она впоследствии вышла замуж за нелюбимого человека, склонясь на мольбы его матери. Молодой Селевин уже стрелялся, отвергнутый ею, промахнулся и упорно стремился к новому самоубийству. Он пошел к венцу, еще не оправившись от раны и едва мог стоять на ногах. В семейной

[76] П., III, 1911, стр. 297; Соч., XII, стр. 301.

жизни он оказался невыносимым и жестоким, и Екатерина Владимировна скоро принуждена была покинуть его. У нее осталось на руках трое детей: старшая дочь Ксения, сын Владимир и младшая дочь Анна. Последняя, которую мать называла «Нюсей», еще девочкой умерла от чахотки, подобно своей тетке Поликсене. Владимир стал моряком, а Ксения, унаследовавшая от матери красоту и талантливость, а от отца светлые волосы и глаза, в юности поселилась во Франции и Швейцарии и вышла замуж за Полисадова, художника, принявшего в Париже католицизм и вступившего в доминиканский орден.

Прожив в московском доме Соловьевых от девяти до двенадцати лет, Катя покинула Москву и началась ее скитальческая жизнь на юге России. К 1871 г. она водворилась с бабушкой Екатериной Федоровной в имении Федоровка, Александрийского уезда Херсонской губернии. Привыкшая в детстве к скитаниям и житью в деревне, она всю жизнь потом кочевала. Дети ее вырастали в имениях Волынской и Харьковской губерний, потом она жила с дочерью в Париже и Швейцарии, изредка наезжая в Москву и Петербург. И этой чертой она очень напоминала своего двоюродного брата Владимира. После первого детского сближения, когда Владимиру было 12–15, а Кате 9–12 лет, в отношениях их наступает перерыв. Летом 1871 г. Владимир, чувствуя большое переутомление и нервное расстройство, приезжает на месяц отдохнуть к бабушке в Федоровку. Чтобы поправить бледного и исхудалого внука, бабушка усиленно подчивала его камфорой. Кроме бабушки, Владимир нашел в Федоровке свою молоденькую двоюродную тетку Веру Михайловну Петкович и кузину Катю. С Катей, которой было шестнадцать лет, у него завязалась идеальная дружба, но миловидная тетка увлекала его мечты. Очевидно эту свою тетушку описывает он под

именем *Лизы* в его рассказе за 1892 г., «На заре туманной юности». Соловьев рассказывает, как за год до поездки в Харьков (поездка в Харьков была весной 1872 г.), он в один прекрасный летний вечер посвящал своих кузин в «тайны трансцендентального идеализма». *Лиза* в его воспоминаниях была «голубоглазая, но пылкая», через несколько строк она с «зеленоватыми глазами», с «белокурой головкой».

«Гуляя с нею по аллеям запущенного деревенского парка, я не без увлечения, хотя сбиваясь несколько в выражениях, объяснил ей, что пространство, время и причинность суть лишь субъективные формы нашего познания и что весь мир, в этих формах существующий, есть только наше представление, то есть что его, в сущности, нет совсем. Когда я дошел до этого заключения, моя собеседница, все время очень серьезно смотревшая своими большими, зеленоватыми глазами, улыбнулась и с явным лукавством заметила:

– А как же вчера ты все говорил о страшном суде?

– О каком страшном суде?

– Ну, все равно, о том, что нужно все уничтожить. Если по-твоему мира нет совсем, то почему же тебе так хочется его разрушить?

Это противоречие смутило меня только на мгновение.

– А разве когда тебя давит страшный сон или кошмар, тебе не хочется от него избавиться? – отвечал я победоносно.

Она вдруг без всякой видимой причины звонко рассмеялась.

– Что такое? – спросил я с неудовольствием.

– Ах, представь себе, – заговорила она, смеясь и крепко сжимая мою руку, – представь себе, я видела сегодня во сне, будто мой Джемс, – так звали ее сеттера, – совсем не собака, а командир белорусского гусарского полка, и все наши офицеры должны отдавать ему честь, но только вместо ваше высокоблагородие обязаны говорить ваше высоко *блохородие*.

Это неожиданное сообщение она завершила столь же неожиданным поцелуем и вдруг убежала, крича мне издали:

– Пойдем на грядки клубнику собирать, я видела, уж много поспело. И я пошел собирать клубнику, хотя категорический императив, который простолюдины называют совестью, довольно ясно намекал мне, что это было с моей стороны не самоотрицанием, а совершенно наоборот – самоутверждением воли»[77].

Очевидно Лиза-Вера, веселая, кокетливая девушка с зелеными глазами и острым насмешливым умом влекла к себе юного метафизика именно своей противоположностью ему, своей природностью и материальностью, а в глазах ее, которые он называет то голубыми то зеленоватыми – очевидно цвета морской воды – быть может его ум уловлял первый луч тех очей, о которых много лет спустя он писал:

Вижу очи твои изумрудные,
Светлый облик встает предо мной[78].

Е. В. Селевина рассказывала мне, что Соловьев вел себя по отношению к Вере Михайловне с безумием молодого Вертера, скитался по ночам в полях и так далее. Но увлечение это было мимолетно. 21 декабря 1871 г. Соловьев пишет Кате: «Ты очень ошибаешься, если думаешь, что я весь погружен в свою *дурь,* как ты совершенно верно называешь мой глупый роман; моя эта дурь давно уже ни в чем не мешает, а теперь она почти уже совсем прошла, – разве только иногда в бессонные ночи возвращается воспоминание»[79]. 7-го марта 1872 г., по поводу известия о замужестве Веры Михайловны, Соловьев отзывается о ней с оттенком равнодушного презрения: «– Почему тебе жаль Веру? Я, напротив, надеюсь,

---

[77] Соч., XII, стр. 292.

[78] Стих., изд. 7-ое, стр. 117; Соч., XII, стр. 16.

[79] П., III, стр. 58.

что теперь из нее выйдет отличная женщина – “верная супруга и добродетельная мать”; ведь говорят, и Е. до замужества была такой же ветренной и непостоянной, как она. У Веры главный недостаток был – притворство, стремление казаться тем, чем она быть не могла; но теперь, когда ее положение совершенно определилось, ей притворяться незачем, и это стремление должно исчезнуть»[80].

Более серьезные духовные отношения завязались у Соловьева летом 1871 г. с кузиной Катей. Некоторое время она болела лихорадкой, и Владимир развлекал ее чтением Гейне. С этого лета между ними завязывается частая переписка. Очевидно, Кате жилось не легко, и Соловьев старался привить ей свое аскетическое и пессимистическое миросозерцание. «Может быть даже хорошо, что эта внешняя жизнь сложилась для тебя так неутешительно; потому что к этой жизни вполне применяется мудрое изречение: *чем хуже, тем лучше.* Радость и наслаждение в ней опасны, потому что призрачны; несчастие и горе – часто является единственным спасением. Уже скоро две тысячи лет, как люди это знают, и между тем не перестают гоняться за счастьем, как малые дети. Не будем хоть мы с тобой малыми детьми в этом отношении, моя дорогая»[81].

Очевидно на 1871–72 г.г. падает кризис Соловьева. Еще летом 1871 г. он является перед Лизой только переводчиком Шопенгауэра, видно, что он принимает его целиком, как мы знаем из слов Лопатина. В 1872 г. в письмах Соловьева уже высказываются христианские убеждения. Аскетизм Шопенгауэра был для него только пропедевтикой к аскетизму евангелия... «Истинная жизнь в нас есть», пишет он Кате 27 января 1872 г., «но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать

[80] П., III, стр. 62–63.
[81] Там же, стр. 58.

эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте, и какими средствами можно ее достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству *истинным* христианством, но само христианство в своей истории испытало влияние той ложной жизни, – того зла, которое оно должно было уничтожить; и эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому»[82].

Весной 1872 г. Соловьев опять собирается в Харьков и Федоровку для свидания с Катей. Седьмого марта он пишет: «Увидеться же я надеюсь с тобою до Святой в Харькове, откуда поеду в Федоровку дней на десять подышать свежим воздухом, а то в Москве начало весны для меня невыносимо»[83]. Об этой поездке в Харьков Соловьев вспоминает в своем рассказе «На заре туманной юности».

«Мне было тогда 19 лет, это было в конце мая, я только что перешел на последний курс университета и ехал из Москвы в Харьков, где должен был иметь чрезвычайно важное объяснение с одною своею кузиною, к которой я уже давно, месяца три или четыре, питал нежную и весьма возвышенную любовь. Ради нее я решил сделать весьма большой крюк, так как настоящая цель моего путешествия находилась в Киргизских степях, где я намеревался восстановить кумысным лечением свой организм, сильно расстроенный от неумеренного употребления немецких книг»[84].

Считаю нужным оговориться, что пользоваться этим рассказом как автобиографическим документом надо с большой осторожностью. Написан он был в 1892 г., когда Соловьев находился в исключительном, эротически-напряженном настроении, или, пользуясь его собственным выражением

---

[82] П., III, стр. 60–61.

[83] Там же, стр. 62.

[84] Соч., XII, стр. 289.

о Платоне, «был затянут эротическим илом»[85]. К возвышенно-аскетическим настроениям своей юности он относится здесь слишком с большой иронией и изображает свои отношения к Кате с тенденциозным искажением. Как ни наивно было тащить 17-летнюю девушку «на путь самоотрицания воли», но все же, как мы видим из писем, чувство Соловьева к ней было очень глубоко, а не только смешно. В рассказе много автобиографических неточностей.

Свидание с Ольгой-Катей в Харькове весной 1872 г. рисуется как разрешение и конец глубокого увлечения, и последняя попытка обращения молодых девиц на путь самоотрицания воли. Между тем, весь долгий и мучительный роман с Катей был еще впереди. Далее, эпизод падения с Julie – вероятно чистый вымысел, и арх. Антоний Храповицкий в своей статье против Соловьева под названием «Ложный пророк» поторопился на основании рассказа отрицать общераспространенное мнение о девственности Соловьева в юные годы. Если и были в его жизни падения, то значительно позднее. Конечно, Соловьев виноват сам и подал повод к заключениям арх. Антония, так как рассказ «На заре туманной юности» написан в стиле автобиографии и лишен художественной объективности. Свидание в Харькове с Ольгой-Катей вероятно довольно точно воспроизводит то, что было.

«Я поехал к Ольге. Разумеется, наше свидание произошло не так, как я себе представлял. Начать с того, что я не застал ее дома, что почему-то вовсе не входило в мои предположения. Я уехал, оставив записку. Таким образом, когда я приехал вторично, она уже была предупреждена о моем прибытии – для обморока и других чрезвычайных явлений не было достаточного основания. Она только что вернулась с загородной прогулки. Я нашел в ней большую перемену. Она была вовсе не похожа на ту нежную, полувоздушную

[85] Соч., IX, стр. 224.

девочку, которая осталась в моей памяти от нашего последнего свидания в деревне, когда она выходила из купальни в голубом ситцевом платье и с небрежно закинутою за спину темною косой. Теперь это была совсем взрослая и нарядная девица с развязными манерами. Она так смело и пристально смотрела на меня своими черными, немного покрасневшими от солнца и ветра глазами, в ней было что-то решительное и самостоятельное.

После первых кратких расспросов о родных, о здоровье и т. п., я приступил к делу. В своих письмах она писала, что любит меня, – я должен был объяснить ей свой взгляд на наши отношения. Я говорил кратко и неубедительно. Я сам чувствовал, что повторяю какой-то заученный урок; каждое слово раздавалось в моих ушах как что-то чужое и совершенно неинтересное. Правду сказать, это были вполне деревянные слова.

Она слушала меня с задумчивым видом, облокотись на стол. Когда я кончил свою речь неизбежным приглашением идти со мною вместе по пути самоотрицания воли, она еще долго смотрела вдаль неподвижными глазами, и потом вдруг опустила руку, подняла голову и, остановив на мне пристальный взгляд, произнесла спокойным и твердым голосом:

– Я не хочу тебя обманывать. Я ошиблась в своем чувстве. Ты слишком умен и идеален для меня, и я недостаточно тебя люблю, чтобы разделять твои взгляды и навсегда связать свою жизнь с твоею. Вот ты отвергаешь всякое удовольствие, а я одни только удовольствия и понимаю. Я буду всегда любить тебя, как родного. Будем друзьями.

Спешу заметить, что это был мой последний опыт обращения молодых девиц на путь самоотрицания воли. В тот же вечер я уехал из Харькова»[86].

---

[86] Соч., XII, стр. 301–302; см. также С. М. Лукьянов, Юношеский роман В. С. Соловьева в двойном освещении, Пг. 1914.

В действительности Соловьев не уехал в тот же вечер в Москву. 21 мая он писал из Харькова И. О. Лапшину:

«До Харькова доехал благополучно и даже весело, но теперь провожу время в порядочной тоске, которая усиливается мыслью о предстоящей еще длинной дороге и двухмесячном пребывании в скотском состоянии[87]. Вчера на меня напало такое уныние, что я даже чуть не решился возвратиться в Москву или же ехать в Херсонскую деревню с моей кузиной; но сегодня благоразумие одержало верх, и я завтра отправляюсь в Саратов, где надеюсь найти письмо от Вас с известием из мира духов»[88].

Трудно определить на основании писем, когда именно дружеские и учительные отношения Соловьева к Кате перешли в романтические чувства и когда возник между ними проект брака. Очевидно, после свидания в Харькове весной 1872 г. между молодыми людьми произошел временный разлад. Как иначе объяснить, что 31 декабря 1872 г. Соловьев «опечален» отказом Кати князю Дадиани и «решительно и настоятельно» советует принять это предложение. «Твой отказ князю Дадиани меня очень опечалил; конечно, я не могу судить об этом деле за 1000 вёрст, ничего хорошенько не зная; но мне сильно сдается, что тебе лучше было бы принять предложение. Если он хороший человек, то при богатстве и значении ты через него или вместе с ним могла бы сделать очень много доброго, чего не можешь сделать одна. Во всяком случае причины отказа, которые ты пишешь, совсем плохи: "Я его не настолько люблю", etc. Мне очень жаль, что ты веришь скверной басне, выдуманной скверными писаками скверных романов в наш скверный век – басне о какой-то особенной, сверхъестественной любви, долженствующей

[87] Кумысное лечение в киргизских степях.
[88] П., I, стр. 157.

соединять два сердца для обоюдного блаженства, без чего будто бы не позволительно вступать в законный брак, тогда как, напротив, настоящий брак должен быть не средством к наслаждению или счастью, а подвигом и самопожертвованием. А что тебе якобы не нравится семейная жизнь, – то разве нужно делать только то, что тебе нравится или что ты любишь?»[89]

Убедившись, что Катя не хочет идти с ним по пути отречения, Соловьев оставляет мысль о браке. Его письма к Кате принимают характер строго-учительский, даже грубоватый. Он ожесточенно критикует ее планы посвятить себя народному образованию, придирается к ее рассеянности, к манере выражаться. «О приличиях и их нарушении ты рассуждаешь довольно странно... Еще неприятнее был мне тот враждебный и чуть не свирепый тон, с которым ты говоришь о своих родных. Если в тебе мало любви и кроткости (чего я впрочем не думаю), то это очень печально и гордиться тут нечем»[90].

Но у Кати было глубокое чувство к Владимиру, и она не мирилась с его отречением. К лету 1873 г. о браке Владимира с кузиной начинают говорить в доме Соловьевых, и родители принимают предохранительные меры. Сергей Михайлович возмущен и решает не допустить этого брака. В июле 1873 г. Соловьев пишет Кате:

«Личные и семейные отношения всегда будут занимать *второстепенное* место в моем существовании. Это-то только я и хотел сказать, когда написал, что не могу отдать тебе себя *всего*... Ты знаешь, моя дорогая, что не от нас и не от нашей любви зависят наши отношения. Ты знаешь, какие препятствия не допускают нашего соединения (хотя мне несколько затруднительно писать об этом так прямо, но я должен прибавить, что разумею единственно только то соединение,

---

[89] П., III, стр. 75–76.

[90] Там же.

которое освящается законом и церковью: ни о каких других отношениях между нами не может быть и речи). Устранить эти препятствия очень трудно, но возможно. Во всяком случае, нужно употребить все средства. Пока я предлагаю следующее: мы подождем три года, в течение которых ты будешь заниматься своим внутренним воспитанием, а я буду работать над заложением первоначального основания для будущего осуществления моей главной задачи, а также постараюсь достигнуть определенного общественного положения, которое бы мог тебе предложить»[91].

Но уже в письме от 25 июля вырываются горячие слова: «Мне там (в Петербурге), кроме моей Кати, никого и ничего не нужно,... Радость моя, дорогая моя, в эти минуты душевной усталости и отчаяния только твоя любовь может поддерживать, ободрять меня: напоминай мне о ней чаще, умоляю тебя, я еще не верю вполне, прости меня. Твой навсегда Вл. Соловьев.»[92] Разлука с Катей для него «четыре месяца тоски»[93].

К новому предложению, сделанному Кате, Соловьев уже относится совсем иначе, чем к предложению князя Дадиани. «Что ты пишешь мне, дорогая Катя, о сделанном тебе предложении, было мне очень неприятно, отчасти по той моей бессмысленной гадкой ревности, вследствии которой у меня скребет на сердце каждый раз, когда кто-нибудь другой даже только произносит твое имя, не то что делает тебе предложение, но еще более потому, что очень, очень тяжело шагать через других и, мечтая о спасении человечества, по какой-то злой иронии жизни быть невольной причиной чужого несчастья»[94].

---

[91] П., III, стр. 82–83; см. там же письмо № 14, стр. 81.

[92] Там же, стр. 84–85.

[93] Там же, стр. 86.

[94] Там же, стр. 93.

Начинается ревность, подливающая масло в огонь. На сцене появляются «джентльмены», брат Всеволод и дядя Вадим. В обществе о Кате начинают сплетничать и злословить.

«Какой невозможный вздор я слышал про тебя с разных сторон. Удивлялся изобретательности человеческого воображения. Не поверил ничему ни на минуту»[95].

«Имею слишком достаточное основание, постоянно страдая от своей доверчивости, предупреждать тебя: не доверяй людям вообще, а петербургским джентельменам в особенности»[96]. «Так будь осторожна – тебе это гораздо более необходимо, нежели мне. Ты поверишь мне, жизнь моя, что с лишь величайшим отвращением, по крайней только необходимости, касаюсь этой грязи; не могу же я быть равнодушным, когда этой грязью *в тебя* брызгают»[97].

С осени 1873 года Соловьев поступает в Московскую Духовную Академию и поселяется в Сергиевом Посаде. В одиночестве, среди греческих отцов церкви и немецких философов, любовь его к Кате разгорается.

«Сейчас полученное мною письмо твое возбудило во мне такую необычайную радость, что я стал громко разговаривать с немецкими философами и греческими богословами, которые в трогательном союзе наполняют мое жилище. Они еще никогда не видели меня в таком неприличном восторге, и один толстый отец церкви даже свалился со стола от негодования»[98].

И наконец, 8 октября, Соловьев обращается к Кате уже как к невесте: «Сегодня я только к утру немного задремал и видел тебя почти как наяву. Ощущаю Katzenjammer. Если тебе сколько-нибудь дорого мое спокойствие, если ты меня

---

95 П., III, стр. 92.

96 Там же, стр. 95.

97 Там же, стр. 96.

98 Там же, стр. 100.

не на словах только любишь, пиши мне хоть раз в неделю несколько слов. Прощай, мое сокровище, обнимаю тебя всей силой своего воображения; придет ли, наконец, время, когда обниму тебя в действительности, радость моя, мучение мое!»[99]. Катя проживала в Петербурге. Владимир с лета искал предлога увидеться с ней. 25 июля он писал:

«Совсем собрался ехать в Петербург; спрашивают: зачем ты *теперь* туда едешь? Для таких-то и таких-то дел. Но в Петербурге никаких дел *летом* сделать нельзя, никого из нужных людей не найдешь: все на лето разъезжаются. Но мне необходимо заниматься в Публичной библиотеке. Зимой там заниматься гораздо удобнее, а теперь и в библиотеке никого не добьешься. Что же? Мне оставалось или признаться, что я еду в Петербург единственно для того, чтобы видеть тебя, что мне там, кроме моей Кати, никого и ничего не нужно, – сказать эту правду прямо было бы глупостью непоправимой, – или же приходилось согласится с основательными доводами и принять предложение папа ехать в Петербург с ним вместе 1-го декабря, в воскресенье, в 8 ½ часов вечера. Я согласился и, кажется, поступил благоразумно[100].»

Но Сергей Михайлович не привел в исполнение своего намерения ехать в Петербург 1-го декабря: как раз 1-го декабря Владимир пишет матери из Петербурга и из слов: «покажите это письмо папа» и «спросить у папа о здоровье Памфила Даниловича» видно, что отец оставался в Москве. Владимир с осени жил в Сергиевом Посаде, очевидно несколько эмансипировался от семьи и мог ехать в Петербург, не выискивая предлогов. Письмо к матери (не напечатанное) свидетельствует о неожиданной катастрофе брачных надежд Владимира.

---

[99] П., III, стр. 103.

[100] Там же, стр. 84.

«Не отвечал вам до сих пор, дорогая мама, потому, что не мог ничего определенного сказать о том, что вас беспокоит. Теперь же могу иметь удовольствие положительно вас успокоить. То, чего вы, не знаю почему, так боитесь, чего я желал и что считал почти верным (хотя не так скоро, как вы, кажется, думали), теперь по независящим от меня обстоятельствам оказывается совершенно *невозможным*. Само собой разумеется, что это нисколько не может изменить моих симпатий к Кате; это вы примите во внимание, и если хотите говорить со мной о ней, то говорите так, как говорили в Нескучном по возвращении Вашем из Петербурга: тогда Ваши отзывы о ней были беспристрастны и выражали то участие, которое Вы должны к ней иметь, чего не могу сказать о Вашем последнем письме. Из Петербурга уеду как только можно будет; к сожалению без него нельзя обойтись, и в этом виноват Петр Великий, а не Катя. Вероятно в конце этого месяца буду в Москве. Чувствую себя довольно хорошо во всех отношениях; с ума не сойду ни в каком случае, а умру не раньше как через девять лет, за что ручаюсь и даю подпись моей рукою... Спросите пожалуйста у папа о здоровье Памфила Даниловича. Покажите это письмо папа (и ничего, никому никогда, об этих обстоятельствах не говорите)».

Что же произошло?

Со слов старой бонны Соловьевых Марьи Павловны Загребиной (добрейшей старушки, проживавшей у Поликсены Владимировны до конца ее жизни и весьма точно изображенной в лице Марьи Павловны, в рассказе З. Н. Гиппиус «Сумерки духа»), я знаю следующее. Жених и невеста поехали куда-то на санях морозной зимней ночью. По дороге Катя пожелала зайти на минуту в один дом, где собралось большое и веселое общество. Она попросила Владимира подождать ее в санях. Прошел час, другой. Владимир смотрел на освещенные окна дома и замерзал. Наконец велел извозчику ехать обратно.

Жизнью была поставлена точка. Сергей Михайлович мог наконец успокоиться. Владимир отказался от брачных мечтаний, оставшись верным рыцарем своей бывшей невесты, и не позволял даже матери говорить о ней дурно в его присутствии, и вернулся в келью Сергиева Посада, где «толстый отец церкви» мог спокойно лежать на столе, не возмущаясь радостным порывам молодого богослова. В последнем поступке Кати мы узнаем ту Зину, которая для Всеволода Соловьева являлась как «навождение». Владимир был не совсем справедлив к брату. Герой «Навождения» Андре переживал те же страдания и если Владимир спасал Катю от «джентльменов», то Андре также тщетно пытался вытащить Зину из трясины, где ее окружали разные Коко и Вово... Старший брат тоже был Дон-Кихотом.

Нет, несправедлив был Владимир Соловьев в 1892 г. к своему юношескому увлечению. Катя была для него восприемницей его рождающегося миросозерцания, ей поверял он свои сокровенные думы.

«Что касается моего мнения о способности женщины понимать высшую истину, то без всякого сомнения – вполне способна, иначе она не была бы человеком. Но дело в том, что по своей пассивной природе *она не может сама найти* эту истину, а должна получить ее от мужчины. Это факт: ни одно религиозное или философское учение не было основано женщиной, но *уже основанные* учения принимались и распространялись преимущественно женщинами. Полагаю, что и при предстоящем перевороте в сознании человечества женщины будут играть важную роль»[101].

Соловьев лихорадочно вырабатывает в своем мозгу основы новой вселенской религии, он ждал близкого торжества добра, правды и права над миром лжи и злобы, и «последний вздох его больной души» был о том, чтобы «на всемирный

---

[101] П., III, стр. 97.

праздник возрождения» его подруга «явилась всех чище и светлей». «Приближаются славные и тяжелые времена и хорошо тому, кто может ждать их с надеждой, а не со страхом»[102]. «Без этого дела, без этой великой задачи мне незачем было бы и жить, без нее я бы не смел бы и любить тебя. Я не имел бы никакого права на тебя, если б не был вполне уверен, что могу дать тебе то, что другие дать не могут. Ты видела и всегда можешь видеть у ног своих множество людей, которые имеют надо мною все внешние преимущества. Пока, в настоящем, я ничто...»[103].

И никому не мог поверить он свои тайные мечты, планы – ни папа, ни Памфилу Даниловичу, ни Леве Лопатину – а только легкомысленной и мятежной Кате, оставившей его мерзнуть в санях в декабрьскую петербургскую ночь. И в ее душе, мятежной, любящей, страдающей и лживой он впервые соприкоснулся с этой душой мира, одержимой силами хаоса, но стремящейся к просветлению и освобождению в любви к Единому Богу, о которой сказал лунной ночью 1895 г., в еловом лесу Финляндии: «Вижу богиню, мировую душу, тоскующую по Единому Богу»[104].

Конечно, эта любовь к Кате, разгоравшаяся так медленно, перегруженная философией и дидактикой, не была той истинной любовью, которая связует две души для земной и вечной жизни. Да Соловьев и сам, еще недавно переживший Писаревщину, а затем Шопенгауэра, считал «особенную, сверхъестественную любовь, долженствующую соединить два сердца для обоюдного блаженства», «скверной басней, выдуманной скверными писаками скверных романов в наш скверный век» и настоятельно советовал Кате выйти замуж

[102] П., III, стр. 98.
[103] Там же, стр. 106.
[104] В. А. Величко, стр. 54.

за нелюбимого и богатого князя Дадиани, чтобы с помощью его капиталов творить добро. Смысл брака он полагал тогда *только* в подвиге и самопожертвовании, и от этого подвига Катя предусмотрительно ускользнула, оставив своего жениха на морозе. Настоящая любовь, связующая души для вечной жизни, была для Соловьева еще далеко впереди.

Глава 4
Духовная Академия. Соловьев – Доцент и Магистр

Я долго почивал на лаврах безмятежных,
На ложе сладостном, без терний, без репьев,
Как вдруг среди степей Сарматских и безбрежных
Явился новый враг – отважный Соловьев.
Родился сей злодей хоть без году неделя,
А корень зла успел уж потрясти,
В меня стрелой наук и дротом веры целя,
Он тщится мой престол с лица земли смести.

Речь Сатаны из пьесы Ф. Л. Соллогуба
«Соловьев в Фиваиде»

Сдав весной 1873 г. кандидатские экзамены, Соловьев проехал отдохнуть к своему приятелю Н. И. Карееву в сельцо Окосово, Смоленской губернии. 19 июня он пишет матери:

«Совершенно благополучно и очень приятно пропутешествовал от Вязьмы до деревни Кареева (12 часов). Смоленская губерния оказалась гораздо лучше, чем я предполагал: большие густые леса с живописными полянками, ручьями и реками, которые я переезжал в брод, и т. п. Местность, где живу теперь, тоже недурна; в версте – Днепр. Я, несмотря на скверную погоду, чувствую себя довольно хорошо, чего и Вам желаю»[105].

[105] П., II, стр. 1.

Осенью он водворяется в Сергиевом Посаде, поступив вольным слушателем в Московскую Духовную Академию, «по частному письму митрополита Иннокентия к ректору»[106]. Отец не сочувствовал поступлению сына в Академию. Мы видели, как отрицательно относился Сергей Михайлович к тому званию, из которого вышел. Вообще, поведение сына едва ли могло его радовать. С одной стороны – нескладная университетская жизнь, колебание между двумя факультетами, с другой – «херсонство», роман с кузиной Катей и брачные планы, и наконец – поступление в Духовную Академию и слухи о принятии монашества. Впрочем здесь Сергей Михайлович, хорошо понимавший сына, мог быть спокоен. Второго августа 1873 г. Владимир Соловьев писал Кате: «Ты вероятно знаешь, что я почти год буду жить при Духовной Академии для занятий богословием. Вообразили, что я могу сделаться монахом и даже думаю об архиерействе. Нехай – я не разуверяю. Но ты можешь видеть, что это вовсе не подходит к моим целям. Монашество некогда имело свое высокое назначение, но теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его»[107]. Впоследствии Соловьев несколько изменил свой взгляд на монашество. В 1886 году он пишет канонику Рачкому, также из Сергиевого Посада: «Архимандрит и монахи очень за мной ухаживают, желая, чтобы я пошел в монахи, но я много подумаю, прежде чем на это решиться»[108]. По-видимому в 80-х годах мысль о монашестве все-таки вставала в его уме, и только поездка на Валаам в 1891 г. и неблагоприятное впечатление от тамошних монахов заставили его раз и навсегда отказаться от пути спасения в чине ангельском[109].

---

[106] См. *Лукьянов*, I, стр. 315.
[107] П., III, стр. 89.
[108] П., I, стр. 171.
[109] П., IV, стр. 122.

Как ни расходились настроения отца и сына, несомненно между ними сохранились самые лучшие отношения. В воспитании детей Сергей Михайлович был верен принципам гуманизма и оставлял своим сыновьям полную свободу, ограничивался мягкой критикой и насмешкой. Что же делать, если у такого оседлого московского человека сын уродился «печенегом»! К тому же, Сергей Михайлович был в действительности далеко не таков, каким казался посторонним людям. Многое в переживаниях его сына было ему близко и понятно. И Сергей Михайлович в юности мечтал создать синтетическую философию христианства, примиряющую разум с верой. И Сергей Михайлович сначала был горячим славянофилом, и крестным отцом его старшей дочери Веры был К. С. Аксаков. Видя, как его сын устремляется в славянофильские круги и даже во враждебный ему стан крайних правых, Каткова и Любимова, вероятно Сергей Михайлович вспоминал свою молодость и добродушно говорил себе: «перемелется, мука будет».

В Сергиевом Посаде Соловьев жил отшельником, немецкие философы и греческие богословы «в трогательном союзе наполняли его жилище»[110]. «На вид он был весьма сухощавый, высокий, с длинными волосами, спадавшими ему на плечи», вспоминает архиепископ Николай (Зиоров). «Сутуловат, угрюмый, задумчивый, молчаливый. Помню, как в первый раз он пришел к нам в аудиторию... В шубе, в теплых высоких сапогах, в бобровой шапке, с шарфом на шее – он, никому не кланяясь, прошел к окну и стал у окна... Побарабанил пальцами по стеклу, повернулся и ушел обратно... После этого случая я его видел только проходящим вместе с студентом первого курса Александром Хитровым в Академию, или из Академии в старую гостиницу, где он

[110] П., III, стр. 100.

останавливался и некоторое время проживал. С другими студентами он не сближался. Как он сошелся с Хитровым, не знаю, но слышал, что их сблизила "водка". Хитров, говорили мне, впоследствии спился и умер в Москве на Хитровом рынке»[111].

Талантливое описание наружности Соловьева в те годы оставил также профессор М. Д. Муретов. «Небольшая голова, сколько помнится – круглая. Черные длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо тоже небольшое, округлое, женственно-юношеское, бледное с синеватым отливом, и большие, очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, не моргающие, устремленные куда-то вдаль. Сухая, тонкая, длинная и бледная шея. Такая же тонкая и длинная спина, в узком и длинном, уже поношенном, пиджаке-пальто темного цвета. Длинные и тонкие руки с бледно-мертвенными, вялыми и тоже длинными пальцами, большей частью засунутыми в карманы пальто или поправляющими волосы на голове. Почему-то хочется называть такие пальцы перстами. Вероятно, они были очень приспособлены к игре на скрипке и виолончели. Наконец, длинные ноги в узких и потертых черных суконных брюках с несколько обтрепанными концами и в сапогах с высокими, но стоптанными внутрь каблуками. Нечто длинное, тонкое, темное, в себе замкнутое и, пожалуй, загадочное: такое общее впечатление осталось у меня от Владимира С. Соловьева»[112].

Хотя Соловьев в Академии держался особняком и угрюмо, тем не менее от Академии у него осталось более благоприятное впечатление, чем от Университета. «Я нахожусь теперь в довольно оригинальном положении», пишет Соловьев

---

[111] С. М. Лукьянов, I, стр. 326.
[112] Там же, стр. 327.

Кате. «Приезд мой произвел в академии почти такое же впечатление, как прибытие мнимого ревизора в тот знаменитый город, "от которого хоть три года скачи – ни до какого государства не доскачешь". Профессора здешние воображают, что я приехал с исключительной целью смутить их покой своею критикою. Любезны все со мною до крайности, как городничий с Хлестаковым. В благодарность за это оставляю их по возможности в покое (хоть те лекции, которые я до сих пор слышал, довольно порядочны). Впрочем, они сами весьма низко ценят себя и свое дело и никак не могут поверить, чтобы постороннему человеку, дворянину и кандидату университета, могла придти фантазия заниматься богословскими науками; и действительно, это первый пример; поэтому предполагаются во мне какие-то практические цели. А между тем академия во всяком случае не представляет такой абсолютной пустоты, как университет. Студенты при всей своей грубости кажутся мне народом дельным; притом добродушно веселы и большие мастера выпить – вообще люди здоровые. Впрочем, мне с ними не придется сойтись – времени не будет»[113].

Думается, что влияние Академии на Соловьева было глубже, чем можно судить по этому письму. Академия тех лет еще хранила дух митрополита Платона. Великолепная библиотека ее, с Аристотелем во всех изданиях, с Бёмэ и Сведенборгом, вероятно много дала начинающему философу. И возможно, что именно там пробудился в нем интерес к учению о Софии. «Владимир Соловьев был близок с Д. Ф. Голубинским, сыном знаменитого протоиерея-философа Ф. А. Голубинского», писал Лукьянову профессор Духовной Академии П. А. Флоренский. «Последний же, как выясняется, глубоко выносил в себе идею *Софии*, которая

[113] П., III, стр. 105.

перешла от него к Бухареву. Д. Ф. Голубинский, чтитель памяти и идейных заветов отца своего, вероятно, сообщил ее и Соловьеву. Нужно думать, что именно из Академии, по-видимому, вынес эту идею Соловьев, так как после Академии он специально посвящает себя поискам литературы в этом направлении (путешествие за границу). Мне представляется, что Соловьев поступил в Академию просто для занятий богословием и историей церкви, но потом, набредя тут на предустановленную в его душе идею Софии, бросил и академию и богословие вообще, и занялся специально Софией. Это, конечно, моя догадка»[114].

В подтверждение догадки П. А. Флоренского могу сообщить, что я читал «Христософию» Бёмэ из библиотеки Академии и заметил, что пометки синим карандашом, сделанные на полях, очень напоминали руку Соловьева, который – увы! – не церемонился с академическими книгами и испещрял их своим карандашом, особенно когда в 80-х годах наталкивался на ненавистную ему полемику против католицизма, как свидетельствует священник Н. А. Колесов[115]. В Академии еще жили традиции Ф. А. Голубинского, писавшего по-латыни и бывшего под сильным влиянием схоластической философии. И «в то время, как в Московской Духовной Академии читались рефераты по философии, обсуждался смысл и значение философии Канта, в журнале, издававшемся при Московском Университете (Вестник Европы), Канта, Фихте, Шеллинга называли сумасшедшими, а их сочинения "немецкой галиматьей". Юные студенты удивлялись невежеству и нелепости суждений университетского журнала»[116].

---

[114] С. М. Лукьянов, I, стр. 344, прим. 662.

[115] Свящ. Н. А. Колесов: «Мое знакомство с В. С. Соловьевым»; Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1910 г. Октябрь.

[116] «Памяти почивших наставников». Сергиев посад, 1914. Статья С. Глаголева: «Протоиерей Ф. А. Голубинский».

На складывающееся миросозерцание Соловьева оказали влияние и некоторые профессора Академии и прежде всего А. В. Горский, лекции которого он посещал исправно «...в богословских мыслях Соловьева заметно отражается Горский», пишет М. Д. Муретов. «Таково, например, объяснение превознесения Богоматери превыше чинов ангельских тем, что ангельская природа, хотя сама по себе и выше человеческой, но в отношении к богочеловечеству она ниже или одностороннее, так что обожженное человечество Богоматери ставит ее ближе к богочеловечеству седящего одесную Отца Спасителя и честнее херувимов и серафимов. Односторонностью природы ангельской Горский объяснял и Быт. 6.2, и влечение злых духов к плоти не только человеческой, но даже и свинской, – даже к безводным и пустынным местам земли»[117].

Осенью 1873 г. в Сергиевом Посаде написано Соловьевым его первое печатное сочинение. «Пишу историю религиозного сознания в древнем мире» (начало уже печатается в журнале). Цель этого труда – объяснение древних религий, необходимое потому, что без него невозможно полное понимание всемирной истории вообще и христианства в особенности[118]. Все дело ограничилось первой главой, которую Соловьев в письме к Кате называет «маленькое начало моего начала»[119]. К истории религиозного сознания в древнем мире Соловьев возвращается впоследствии в первых главах «Великого спора и христианской политики» (1883 г.) и в статье «Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки» (1890 г.). «Маленькое начало начала» было напечатано в «Православном обозрении», в ноябрьской книжке 1873 г., под заголовком «Мифологический процесс в древнем язычестве». Я, со слов моего отца, считал эту статью кандидатским

[117] С. М. *Лукьянов*, I, стр. 335, прим. 640.
[118] П., III, стр. 105–106.
[119] Там же, стр. 102.

сочинением Соловьева, но Лукьянов на основании письма Л. М. Лопатина, утверждает, что кандидатским сочинением Соловьева было не «Мифологический процесс», а начальные главы, или конспект, «Кризиса западной философии». В «Мифологическом процессе» Соловьев в общем следует Шеллингу и Хомякову, принимая в соображение исследования Макса Мюллера, Адальберта Куна, Бенфея, Карла Риттера, П. М. Леонтьева, Крейцера, Бунзена и других. Мифологический процесс разбивается Соловьевым на три момента:

а) Духовное божество, уже определенное материальным началом, еще сохраняет свое преобладание и единство, несмотря на множественность форм, в которых проявляется: боги небесные – период уранический;

б) Духовное божество подчиняется закону внешнего проявления, становится страдательным: солнечный бог или полубог; героический посредник между небом и землей – период солярный;

в) Духовный бог вполне сливается с материальною природой, совершенно нисходит на землю, исключительно проявляясь в органической земной жизни – период фаллический[120].

В 1890 г., в рецензии на книгу С. Н. Трубецкого «Метафизика в древней Греции», Соловьев говорит о своем первом труде: «Не отвечая теперь за все частности в изложении этого юношеского произведения, я считаю его главную мысль верной»[121].

В. Ф. Эрном была высказана мысль, что первым сочинением Соловьева было «Жизненный смысл христианства» (философский комментарий на учение о Логосе ап. Иоанна

---

[120] Соч., I, стр. 25–26.
[121] Соч., IV, стр. 305.

Богослова)[122]. И действительно, эта статья напечатана в январской книжке «Православного обозрения» за 1883 г. с пометкой: 16 января 1872 г. Но мы присоединяемся к мнению С. М. Лукьянова, что здесь 1872 г. просто опечатка вместо 1882 г.[123]. И самая тема, и манера изложения не подходит к началу 70-х годов, когда ум Соловьева еще только освобождался от Шопенгауэра и был далек от Иоанна Богослова.

В Сергиевом Посаде написаны Соловьевым и первые главы магистерской диссертации «Кризис западной философии», напечатанные в январской и мартовской книжках «Православного обозрения» за 1874 г. «Продолжаю заниматься немцами и пишу статью (также для журнала) о современном кризисе западной философии, которая потом войдет в мою магистерскую диссертацию; конспект этой последней уже мною написан»[124]. (Этот конспект вероятно и был подан как кандидатское сочинение).

Напечатание трех статей («Мифологический процесс» и две главы «Кризиса западной философии») дало возможность П. Д. Юркевичу внести 18 марта 1874 г. в Московский Историко-филологический факультет предложение об оставлении Соловьева при Университете и командировании его за границу. В этом предложении он упоминает еще об одном труде Соловьева, а именно о переводе им Кантовых «Пролегомен ко всякой будущей метафизике, возможной в смысле науки». «Перевод этот снабдил г. Соловьев примечаниями», говорит Юркевич, «относящимися к общей методике науки. Эту философскую работу я нахожу, со своей стороны, самым веским доказательством блестящей, а по соображению времени редкой подготовки Соловьева

[122] Сборник первый, изд. «Путь», «О Вл. Соловьеве», стр. 209.
[123] С. М. Лукьянов, I, стр. 354, прим. 683.
[124] П., III, стр. 106.

к изучению философии и к занятию философией»[125]. Юношеский перевод «Пролегомен» был напечатан значительно позднее, в 1889 г., в «Трудах Московского Психологического общества». На предложение Юркевича через семь недель историко-филологическим факультетом был дан положительный ответ, и Соловьев начал готовится к защите диссертации. Летом 1874 г., в Нескучном, Соловьев впервые пробует свои силы в поэзии. Этим летом написано им стихотворение «Прометей» и переведены: двустишие из Платона «На звезды глядишь ты, звезда моя светлая» (в греческом оригинале 2 стиха, в переводе – 4) и «Ночное плавание» Гейне. Что касается стихов «Прометей», то едва ли Соловьев подписался бы впоследствии под словами: «Когда душа твоя в одном увидит свете ложь с правдой, с благом зло» и «что только в призраке ребяческого мнения и ложь и зло живет». Эти стихотворения он никогда не печатал.

20 июля Соловьев пишет князю Д. Н. Цертелеву: «В настоящее время я начал заниматься поэзией и пока довольно удачно кажется. Прочту вам при свидании». Появление в печати первых глав «Кризиса западной философии» послужило поводом для переписки Соловьева с Цертелевым. Заинтересованный сочинением, Цертелев написал Соловьеву свои возражения и Соловьев отвечал ему пространным письмом. Так завязалась между ними дружба, продолжавшаяся до конца жизни. Они вместе учились и в 5-й гимназии (хотя в разных классах), и в университете, но сошлись только теперь, в 1874 г. Первые письма написаны на «вы», с 18 апреля 1875 г. Соловьев переходит на «ты».

Князь Д. Н. Цертелев, подобно Соловьеву, был философ-поэт. В Лейпциге он получил степень доктора философии за работу о гносеологии Шопенгауэра: Schopenhauers

---

[125] С. М. Лукьянов, I, стр. 351.

Erkenntnis-Theorie (Leipzig, 1879)[126]. Также и на русском языке он издал книгу «Философия Шопенгауэра». Будучи племянником Алексея Толстого, он писал стихи под сильным его влиянием. В общем его поэзия грешит чрезмерной философичностью. На протяжении всего тома излагается Шопенгауэр и буддийская философия и пересказываются различные индусские легенды. Но несомненно князь Цертелев был поэтом и некоторые его стихотворения подлинно прекрасны, напр.:

Гоняясь за истиной в хаосе дум и сомнений,
И с жизни срывая нарядный покров,
Обманом и тенью ты назвал всю бездну явлений.
Безумец, забыл ты, что сам ты лишь тень этой тени,
В ряду ее вечно мелькающих снов[127].

Цертелев много переводил из Гейне, впоследствии напечатал переводы «Манфреда», «Макбета» и первой части «Фауста». От Шопенгауэра Цертелев отошел и в последние годы в философских вопросах склонялся к воззрениям Лейбница. Дружба его с Соловьевым была очень нежная и глубокая, как мы можем судить по стихам Соловьева «Другу молодости»:

То, чего в то время
Мы не досказали,
Записала вечность
В темные скрижали[128].

Впоследствии друзья несколько разошлись. Цертелев был в стане правых, а Соловьев в кружке Стасюлевича и «Вестника Европы». Но по-видимому это различие никогда не портило их личных отношений. Соловьев помногу гостил

[126] С. М. Лукьянов, I, стр. 109.
[127] Стихотворения Д. Н. Цертелева Спб., 1883, стр. 61.
[128] Стих., 3-е изд., стр. 102; Соч., XII, стр. 65.

в имении Цертелева – *Липяги*, Тамбовской губернии, Спасского уезда. Между прочим князь Цертелев отличался необыкновенной рассеянностью. В шуточной пьесе «Я говорил, что он не умеет есть», Соловьев вывел его под именем князя Растеряева, который бросает галоши на колени светской даме и затем, потирая лоб, восклицает: «Какая ужасная рассеянность! Представьте, я был совершенно уверен, что это коробка конфет, которую я вам принес!»[129]

На смерть Соловьева Цертелев отозвался задушевными стихами:

Точно сон предо мною минувшие лета,
В этот миг я прощаюсь с тобой навсегда,
А былое звучит как вопрос без ответа,
И проходит, как тень, и скользит без следа.

Первое письмо Соловьева к Цертелеву от 19 июня 1871 г. является ответом на некоторые возражения Цертелева против первых глав «Кризиса западной философии». В большом письме от 20 июля (занимающем 8 страниц, пока не напечатанном) продолжается этот спор. Письмо кончается словами: «В настоящее время я начал заниматься поэзией и пока довольно удачно кажется: прочту вам при свидании». От 13 сентября: «У меня нет ни одного порядочного стихотворения в отделанном виде; Гамлетом займусь в виде отдыха по возвращении из Петербурга»[130]. Перевел ли Соловьев «Гамлета» хотя бы частично, неизвестно, никаких рукописных следов не осталось. «Разговор о Лермонтове», пишет Соловьев в том же письме, «как вы угадали, возобновлялся у Соллогубов. Несомненно, что Лермонтов имеет преимущество рефлексии и отрицательного отношения к наличной действительности, хотя я согласен с Соллогубом, что в художественном

---

[129] Соч., XII, стр. 224.
[130] П., II, стр. 224.

отношении Пушкин выше... С замечаниями же Вашими относительно “das Ewig-Weibliche“ я вполне соглашаюсь, хотя с другой стороны должен признать и ту печальную истину, что это Ewig-Weibliche, несмотря на свою очевидную несостоятельность, тем не менее, по какой-то фатальной необходимости, zieht uns an с силой непреодолимою». Характерно, что отношение к «вечной женственности» у Соловьева в это время еще отрицательное (оба приятеля были несколько буддистами) и, констатируя факт, что das Ewig-Weibliche zieht uns an с силою непреодолимою, он забывает, что, согласно Гёте, das Ewig-Weibliche zieht uns *hinan* «взносит горе».

С графом Федором Львовичем Соллогубом, которого он в воспоминаниях называет «самым своеобразным и привлекательным изо всех людей, каких я только знал»[131], Соловьева связала тесная дружба. Это был светский, весьма остроумный человек, с тонким художественным вкусом, хорошо рисовавший, писавший стихи, главным образом шуточные, в стиле Кузьмы Пруткова. С пьесой его «Соловьев в Фиваиде» мы ознакомимся в следующей главе. Владимир Соловьев любил отдыхать от своих трудов за ужином в гостеприимном и блестящем доме Соллогубов, оживленном красотою и изяществом молодой хозяйки Натальи Михайловны Соллогуб (урожденной Бодэ). Наталья Михайловна отличалась исключительным знанием французского языка и литературы. В 1887 г. Соловьев отправляется к ней в Рождествино, под Серпухов, для обработки языка своей французской книги «La Russie et l’Église Universelle»[132]. Ни о каких романтических отношениях между Соловьевым и графиней Соллогуб не может быть речи, хотя в 70-х годах Наталья Михайловна относилась к нему не без легкого светского кокетства, называя

[131] П., III, стр. 275; Соч., XII, стр. 482.
[132] П., IV, стр. 113.

его bel ermite и подарила ему свой фотографический портрет с надписью: «на память об одном годе». Старый Фет оставался не совсем равнодушным к красоте Н. М. и воспевал ее в стихах:

О Вереника! Сердцем чую
Заочный блеск и власть красы,
И помню россыпь золотую
Твоей божественной косы.

К осени 1874 г. диссертация Соловьева была готова, и он отправляется в Петербург для ее защиты и сдачи магистерских экзаменов. Тема диссертации была боевая, Соловьев шел войной на позитивистов, настроение его было бодрое и веселое. Он был уверен в своих силах, и уверенность его блестяще оправдалась. В приподнято-шутливом тоне извещает он родителей о своем прибытии в Петербург 25 сентября 1874 г.:

«В лето от сотворения мира 7382-е, от воплощения же Бога Слова 1874-е, в 25-й день сего сентября, в половине 11-го часа по полуночи, благополучно и торжественно прибыли мы в царствующий град Санкт-Петербург, освещенный ярким северным сиянием солнца, в чем нельзя не видеть особенного действия промысла Божия»[133].

Магистерские экзамены Соловьев держал в следующем порядке: история, философия (12 октября), логика, метафизика и психология (26 октября), «ифика» и древние языки (9 ноября). Магистерская диссертация была представлена на заседании факультета 16 ноября, и диспут назначен на 24 ноября, и официальным оппонентом – профессор М. И. Владиславлев[134]. Первый философский труд Соловьева представляет

---

[133] П., II, стр. 2.
[134] *С. М. Лукьянов*, I, стр. 397–398.

столь большой интерес и содержит в себе столько положений, характерных для всей последующей философии Соловьева, что мы должны остановиться на его содержании. Заглавие его было напечатано на обложке в следующем виде: «Кризис западной философии» и на следующей строке: «против позитивистов». Это заглавие подало повод Лесевичу обвинить Соловьева в неправильном словоупотреблении, так как слово «кризис» несоединимо с предлогом «против». Возражая Лесевичу, Соловьев говорит: «так как слово *кризис* никогда не сочиняется со словом *против*, то очевидно слова "против позитивистов" относятся не к слову *кризис*, а ко всему заглавию, означая, что эта книга, озаглавленная "*Кризис западной философии*", направлена против позитивистов, как например: "De civitate Dei contra paganos" или "De Spiritu Sancto contra Eunomium" и так далее. В этих случаях, как видно из приведенных примеров, знак препинания может и не ставиться»[135].

«В основу этой книги, начинает Соловьев свою диссертацию, легло убеждение, что философия в смысле отвлеченного, *исключительно* теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего»[136]. Это убеждение отличается от позитивизма тем, что относится не только к метафизической, но и к эмпирической философии. Далее, это законченное философское развитие Соловьев считает, в отличие от позитивистов, не бесплодным, а приведшим к положительным результатам.

Философия как рефлектирующее познание есть всегда дело *личного разума*. В средние века личный разум противопоставлял себя традиции, авторитету и вере народных масс, в новое время он противополагает себя бытию природы,

---

[135] Соч., I, стр. 210.
[136] Там же, стр. 27.

физической внешности. Если в средневековой философии борьба личного разума с авторитетом, то в новой – борьба того же разума с природой, духа с материей. Соловьев рассматривает борьбу мыслящего разума с авторитетом, начиная с IX-го века, с Иоанна Эригены, высказывавшего и «безусловное самодержавие разума и бессилие перед ним всякого авторитета»[137]. Соловьев в следующих трех моментах рисует развитие схоластической мысли: 1) Христианское учение, утвержденное католической Церковью, как божественное откровение, есть безусловная *истина*, но мое личное мышление *не соответствует* этому учению, мой *разум* не согласен с ним. Эрго мое мышление заблуждается, и мой разум ложен. Постулат: должно подчинить разум авторитету, отказаться от самостоятельного мышления. 2) Но если мое мышление разумно, то оно не может противоречить *истине*, итак, если учение Церкви истинно, то оно должно быть согласно с моим разумным мышлением... Постулат: должно снять противоречия разума и авторитета, должно *примирить* их. 3) Но это примирение оказывается в действительности признанием исключительных прав разума, и кажущееся условие: recta ratio verae auctoritati non obsistit в действительности оставляет за разумом безусловное значение. В самом деле, разум не противоречит *истинному* авторитету; но какой авторитет истинный? Тот, который не противоречит разуму: vera auctoritas rectae rationi non obsistit... Итак истинен один разум, и авторитет теряет всякое значение: если он согласен с разумом, то он очевидно не *нужен*, если же он противоречит разуму, то он *ложен*[138].

---

[137] Соч., I, стр. 30.

[138] Там же, стр. 29–30.

Далее Соловьев переходит к новой философии. Развитие рационализма представляет он в следующем силлогизме:

1. (Major догматизма): истинно сущее познается в априорном познании.

2. (Minor Канта): но в априорном познании познаются только формы нашего мышления.

3. (Conclusio Гегеля). Ergo формы нашего мышления суть истинно сущее.

Или: 1) Мы мыслим сущее.

2) Но мы мыслим только понятие.

3) Ergo сущее есть понятие.

Развитие эмпиризма в следующем силлогизме:

1. (Major Бэкона) Подлинно сущее познается в нашем действительном опыте.

2. (Minor Локка и пр.) Но в нашем действительном опыте познаются только различные эмпирические состояния сознания.

3. (Conclusio Милля) Ergo различные эмпирические состояния сознания суть подлинно сущее[139].

Признавая развитие отвлеченной западной философии законченным и усматривая ее коренную ошибку в ипостазировании абстрактных понятий, Соловьев, через «Философию бессознательного» Гартмана, переходит к философии всеединого и конкретного духа. Гартмана ценит он за попытку утвердить и внедрить то духовное, не зависящее от нашего сознания, первоначало всего существующего[140]. Общие результаты развития западной философии Соловьев выражает в трех тезисах:

1) *По логике* или учению о познании: *признание односторонности* и *потому неистинности* обоих направлений

---

[139] Соч., I, стр. 133–135.

[140] Там же, стр. 142.

философского познания на Западе, а именно направления чисто рационалистического, дающего только *возможное* познание, и направления *чисто-эмпирического,* не дающего никакого познания, – и тем самым *утверждения истинного философского метода.*

2) *По метафизике: признание в качестве абсолютного всеначала,* вместо прежних абстрактных сущностей и гипостасей – *конкретного всеединого духа.*

3) По *ифике*: признание, *что последняя цель и высшее благо достигаются только совокупностью существ посредством необходимого и абсолютно целесообразного хода мирового развития, конец которого есть уничтожение исключительного самоутверждения частных существ в их вещественной розни и восстановления их как царства духов, объемлемых всеобщностью духа абсолютного.*

И тут оказывается, что эти последние необходимые результаты *западного* философского развития утверждают, в форме *рационального познания, те самые* истины, которые в форме *веры* и *духовного созерцания* утверждались великими теологическими учениями *Востока* (отчасти древнего, а в особенности христианского). Таким образом эта новейшая философия с логическим совершенством *западной формы* стремится соединить *полноту содержания духовных созерцаний Востока.* Опираясь с одной стороны на данные *положительной науки,* эта *философия* с другой стороны подает руку *религии.* Осуществление этого *универсального синтеза* науки, философии и религии, – первые и далеко еще не совершенные начала, которые мы имеем в «философии *сверхсознательного*», – должно быть высшей целью и последним результатом умственного развития. Достижение этой цели будет *восстановлением совершенного внутреннего единства умственного мира* во исполнение завета древней мудрости... Далее следует цитата из Гераклита, которую мы приведем в русском переводе:

«связи: целое и не целое, соединяющееся и разнообразное, мелодичное и не мелодичное и из всего – единое, и из единого – все»[141]. Гераклит с юности был одним из любимых философов Соловьева. Позднее, в сочинении «Смысл любви» он цитирует из Гераклита: «Эрос и Гадес – одно» и в конце жизни полемизирует с Лопатиным, который покушается своими динамическими субстанциями «*запрудить весь Гераклитов Ток*»:

И с каждым годом, подбавляя ходу,
Река времен несется все быстрей,
И, чуя издали и море, и свободу,
Я говорю спокойно: панта рэй![142]

Таким образом, точка отправления у Соловьева та же, что у его современника Ницше. Оба они начинают с Шопенгауэра и Гераклита, но, оттолкнувшись от этого берега, плывут в прямо противоположные стороны.

Со слов П. О. Морозова, бывшего в то время студентом Петербургского Университета, Лукьянов описывает магистерский диспут Соловьева, состоявшийся 24 ноября, «в хмурый ноябрьский день»[143]. «Перед нами появился стройный юноша, с лицом "иконописного" типа, в рамке длинных черных волос, разделенных пробором посредине головы, со слабыми признаками начинавшейся на лице растительности и с каким-то особенным, как нам показалось, – странным взглядом глубоких глаз, устремленных куда-то поверх публики. Он словно читал свою коротенькую вступительную речь, написанную на противоположной стене»[144]. Речь продолжалась не более четверти часа. Затем декан факультета

---

[141] Гераклит Ефесский. Перевод В. Нилендера, стр. 7.
[142] П., III, стр. 213.
[143] С. М. Лукьянов, II, стр. 29.
[144] Там же, стр. 30.

И. И. Срезневский произнес весьма любезное приветствие представителю «молодого поколения ученых». Затем выступил официальный оппонент профессор М. И. Владиславлев. Он возражал умеренно, но по-видимому нанес магистранту несколько чувствительных ударов. Отношение Владиславлева к Соловьеву, как выяснилось впоследствии, было сдержанное, и не вполне доброжелательное. «Соловьев отвечал на все возражения очень коротко, сдержанно и кажется застенчиво, попрежнему продолжая смотреть не на оппонентов и публику, а куда-то поверх их, в даль... Но когда выступили неофициальные оппоненты, представители позитивизма г.г. Лесевич и Дэ Роберти, Соловьев вдруг вышел из себя, начал говорить резко и высмеивать противников. В искаженном виде поведение Соловьева на диспуте было изображено Н. К. Михайловским в фельетоне «О диспуте г-на В. Соловьева», появившемся 27 ноября в «Биржевых Ведомостях». Написан этот фельетон с пеной у рта. Михайловский сравнивает диспут с боем быков: «если оппоненты, особенно господин Владиславлев, позволяли себе пускать в магистранта банделеросы более иди менее острые, последний сносил эти маленькие неприятности с кротостью молодого человека, рано и страстно отдавшегося мукам философской мысли. Совсем иначе повел он себя в прениях с г. Дэ Роберти.»[145] Михайловский возмущается тем, что Соловьев, «этот молодой человек, так рано отлетевший от бренной земли к вечному небу философии», «научился так разнообразить свое отношение к людям...» Соловьев по словам Михайловского раскланивался, когда публика аплодировала не ему, а его оппонентам. Кончается фельетон уже совершенно в стиле речи адвоката в «Братьях Карамазовых»: «О, труженики науки, великие и малые, известные и неизвестные, как я вас жалею!

---

[145] С. М. Лукьянов, II, стр. 424.

Камень по камню складывая в свое здание, вы приходите, наконец, к широкому и плодотворному обобщению... Как вдруг – трах! Владимир Соловьев, не опровергая вас, даже не пытаясь опровергнуть, даже не зная вас, одним удачным парированием направленного на него банделероса перетягивает на свою сторону симпатию общества!... Русь, Русь! Куда ты мчишься? спрашивал Гоголь много лет тому назад. Как вы думаете, милостивые государи, куда она в самом деле мчится?»

Весьма сочувственно отнесся к Соловьеву Н. Н. Страхов в двух статьях «Философский диспут 24 ноября» («Гражданин», 2-го декабря) и «Еще о диспуте Соловьева» («Московские Ведомости», 9-го декабря). Страхов энергично защищает Соловьева от клеветы Михайловского и компании. «Его обвинили во-первых в невежестве и в отъявленной лжи... Во-вторых, его обвинили в грубости. Забывая всю резкость слов г. Дэ Роберти, стали печатать и повторять, что был резок один господин Соловьев, «что он был льстив и смирен в речах с официальными оппонентами, а с посторонними груб, высокомерен, что он, значит, ловкий и расчетливый человек... обрадованные фельетонисты были неистощимы на эту тему, тему самую для них любезную»[146]. После возражений профессора М. И. Каринского (магистра богословия), «наконец», – вспоминает П. О. Морозов, – «волнуясь и спеша и в наступившей темноте зимнего дня плохо разбирая свои многочисленные выписки, выступил и наш товарищ Идельсон, которого, впрочем, едва ли кто слышал»[147].

В общем диспут был триумфом Соловьева, и он удостоен был степени магистра при дружном рукоплескании публики. Шум этого диспута долго не затихал в периодической

[146] С. М. Лукьянов, I, стр. 433.
[147] Там же, II, стр. 32.

печати. Мы уже знакомы с памфлетом Михайловского, с возражениями Страхова. Всех более восторженно отзывался о Соловьеве А. С. Суворин в «Санкт-Петербургских Ведомостях», 1-го декабря, в фельетоне, подписанном «Незнакомец» и оканчивающемся словами: «Владимир Сергеевич, дай Бог вам всего лучшего»[148]. К. Н. Бестужев-Рюмин в частном письме говорил, что «Россию можно поздравить с гениальным человеком»[149].

Но заслуживает внимания, что отношение Н. Н. Страхова к Соловьеву с самого начала было не столь положительным, как можно думать по его газетным статьям. В письме Страхова к Л. Н. Толстому уже звучат кислые ноты недоверия, по которым можно угадать будущую полемику «Национального вопроса». Толстой всячески недолюбливал Соловьева, находя его «головным». Страхов как будто оправдывается перед Толстым за свои хвалебные статьи по адресу Соловьева. «Я написал две (статьи) об Соловьеве... довольно сухие и легкие. Ваше мнение о Соловьеве я разделяю, хотя он явно и отрицается от Гегеля, но втайне ему следует. Вся критика Шопенгауэра основана на этом. Но дело, кажется, еще хуже. Обрадовавшись, что нашел метафизическую *сущность*, Соловьев уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу и расположен к вере в *спиритизм.* Притом он страшно болезнен, как будто истощен – за него можно опасаться – не добром кончит. А книжка его, чем больше читаю, тем больше кажется мне талантливою. Какое мастерство в языке! Какая связь и сила!»[150].

---

[148] С. М. Лукьянов, стр. 421.

[149] Там же, I, стр. 416.

[150] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым: письмо от 1-го января 1875 г.

Не одного Страхова поразил истощенный вид диспутанта. Старый его директор Малиновский заметил, как исхудал его воспитанник, и выражает в письме к его отцу пожелание, чтобы его успеху «скорее и полнее стало соответствовать его здоровье, видимо изнуренное громадной массою работы... Помоги ему Господь, чтобы он также победоносно справился с недугами и восторжествовал над наклонностью к хворанию, как он уничтожил и победил хитросплетения разъяренных доморощенных позитивистов, материалистов, нигилистов и т. п. в лице возражавших ему: бездарного и настолько же наглого доктора математики Р., даровитых, но сбившихся с прямого пути и до зубовного скрежета разъяренных Вольфзона и Лесевича и их компании. Этих господ он совсем побил, победивши в ту же пору отдавших ему полную дань справедливости, солидных возражателей в лице г.г. Владиславлева, Каринского и отчасти Срезневского»[151].

«На Восток! Прочь от гнилой Европы!», так понял С. А. Суворин. Но уже в первом сочинении Соловьева есть зародыш его будущего западничества. Он не просто зовет прочь от Запада и не зачеркивает развитие западной мысли от Иоанна Эригены до Гартмана, но находит необходимость соединить мистические откровения и теологические учения Востока с логической формой западной философии. Он признает и принимает великие результаты западного развития. И призывает он не на Восток, а к новому будущему, которое не есть ни Восток, ни Запад, а синтез того и другого. В ненапечатанном французском сочинении 1876 г. он сознает себя в Египте «entre l'Orient pétrifié et l'Occident qui se décompose». Впоследствии Соловьев все больше убеждался в окаменелости Востока, относительно же разложения Запада сильно изменил свое мнение, высоко ценя европейскую цивилизацию

---

[151] С. М. Лукьянов, 1, стр. 80.

и даже, как не совсем точно выразился А. Ф. Кони, «отождествляя ее с христианством».

Четвертого октября, во время пребывания Соловьева в Петербурге, скончался его учитель П. Д. Юркевич. Еще 13 сентября Соловьев писал Цертелеву: «Дело в том, что Юркевич, не будучи в состоянии читать лекции, просил меня взять это на себя во второе полугодие, а потому я должен торопиться своим магистерством[152]. В первых числах декабря, с чувством одержанной победы, Соловьев возвращается в Москву, чтобы занять кафедру Юркевича и читать лекции "в его духе и направлении"[153]. В заседании Московского историко-филологического факультета 9-го декабря 1874 г. были предложены три кандидата на вакантную кафедру покойного Юркевича: Иванцовым-Платоновым был предложен магистр богословия М. И. Каринский, Тихонравовым – ординарный профессор Варшавского Университета, доктор философии М. М. Троицкий и Владимиром Ивановичем Герье – В. С. Соловьев. Отметим особенно внимательное отношение В. И. Герье к молодому Соловьеву. Мы уже видели, как этот суровый профессор, гроза Университета, был снисходителен к Соловьеву на кандидатских экзаменах, теперь он его, начинающего магистра, выдвигает на кафедру философии, отдавая ему предпочтение перед доктором философии и опытным профессором Троицким, далее он устраивает его на своих курсах и, "чтобы не стеснять его", только раз присутствует на его лекциях[154]. И до конца жизни Герье был верным другом Соловьева. Когда гроб Соловьева был опущен в могилу, на подмостках появилась сухая фигура Владимира Ивановича и он произнес несколько слов, которые своей

[152] П., II, стр. 224.
[153] Там же, стр. 225.
[154] С. М. Лукьянов, II, стр. 140.

теплотой и искренностью были много лучше патетических и высокопарных речей Гартунга, Сперанского и других. "Радость и надежду всегда приносил ты с собой, Владимир Сергеевич", так начал Герье...

Кандидатура Каринского, как магистра богословия, а не философии, была отвергнута. Оставались два кандидата: Троицкий и Соловьев. Декан Н. А. Попов поставил вопрос, желательно ли иметь двух преподавателей по кафедре философии, или одного. Члены факультета единогласно высказались за двух. В следующем заседании факультета, 12 декабря, приступили к баллотировке кандидатов. Троицкий получил избирательных 4, неизбирательных 8, Соловьев – избирательных 8, неизбирательных 3 (из этих неизбирательных два вероятно принадлежали Тихонравову и Стороженко).

Иванцов-Платонов в своем «особом мнении» настаивал на невозможности совместного преподавания в одном Университете представителей двух противоположных направлений: метафизика Соловьева и эмпирика Троицкого. «Один», говорит Иванцов-Платонов в своем «мнении», по-преимуществу поклонник философского идеализма и строго-силлогистической методы мышления; другой относится с крайним несочувствием ко всякому идеализму и, «признавая индуктивную методу *единственным органом* науки о веществе и духе, считает силлогистическую методу безусловно несостоятельною». Один с особенной любовью и уважением относится к послекантовскому периоду германской философии, хотя и не разделяет различных его односторонностей и увлечений. По мнению другого, «вся эта философия есть ложь в квадрате и кубе, ложь, разрастающаяся во все стороны и совершенно закрывающая собой действительность: идеализм, переходящий в патентованную чепуху, и реализм, доходящий до возбуждения тошноты»[155].

---

155 С. М. Лукьянов, II, стр. 65.

Очевидно, потерпев неудачу в проведении Каринского, Иванцов хотел по крайней мере помешать проведению Троицкого. К мнению Иванцова присоединились Ф. Корш, К. Герц и А. Дювернуа. В роли примирителя на общем заседании совета Университета выступил математик Н. П. Бугаев. Высоко ценя и Соловьева, и Троицкого, он в своей «Записке» во-первых, ссылаясь на примеры германских университетов, находит, что совмещение в одном университете двух профессоров разного направления вполне возможно и даже представляет интерес, а во-вторых остроумно старается доказать, что у Соловьева и Троицкого есть много общего и они не исключают, а скорее восполняют друг друга. Возражая Иванцову, Бугаев говорит, что Троицкий вовсе не отрицает *силлогизм* и всю *формальную* логику, тогда как Соловьев не отрицает *индуктивной* методы. Если Троицкий относится отрицательно к немецкой послекантовской философии, то и Соловьев, «характеризируя всю Западную философию двумя направлениями (рационализм и эмпиризм), называет рационализм пустым, а эмпиризм бессмысленным»[156] и т. д. Бугаев не замечает здесь, что, называя эмпиризм бессмысленным, Соловьев нападает не на немецкую философию, а именно на ту английскую школу, к которой принадлежал Троицкий...

В заседании совета Университета 19 декабря, где были выслушаны pro и contra Троицкого (pro – Тихонравова, Стороженко и Бугаева, contra – Иванцова) было определено: снестись с г. ректором Варшавского Университета и просить о доставлении уведомления, не встречается ли препятствия к перемещению ординарного профессора этого университета, Троицкого, на ту же должность в здешнем университете...»[157] Пока же, в ожидании Троицкого, Соловьев один занял

---

[156] С. М. *Лукьянов*, II, стр. 71–85.
[157] Там же, стр. 70.

кафедру Юркевича. 8-го января 1875 г., он писал Цертелеву: «Летом еду в Лондон на год или полтора, предоставляя кафедру своему вновь избранному коллеге Троицкому, о котором Вы, кажется, имеете понятие»[158].

27 января 1875 г. Соловьев произнес вступительную лекцию в Московском Университете под заглавием «Метафизика и положительная наука»[159]. Какой курс читал Соловьев в весеннем семестре 1874–5 академического года? В письме к Цертелеву от 8-го января он говорит: «буду читать историческое введение в метафизику»; во вступительной лекции также заявляет, что предметом курса будет «исследование новейшей германской метафизики»[160], а в curriculam vitae, написанном в 1890 г., называет свой курс «историей новейшей философии»[161]. Курс, прочитанный Соловьевым в 1875 г., был невелик: в феврале отпала неделя Масленицы, а в апреле уже начиналась Страстная[162]. Мы присоединяемся к мнению Лукьянова, что содержание лекций почерпалось главным образом из магистерской диссертации, приспособленной «к уровню понимания студентов или даже неприспособленной»[163]. Студенты, как передавал нам Л. П. Бельский, находили лекции Соловьева очень трудными.

Параллельно с университетским курсом Соловьев читал и на женских курсах Герье историю греческой философии, один час в неделю. «Соловьев объяснял диалоги Платона», вспоминает В. И. Герье, «причем читал в переводе и отрывки из диалогов. Не могу сказать, что более очаровывало слушательниц: древнегреческий мудрец, или юный истолкователь

---

158 П., II, стр. 225.

159 Соч., I, стр. 197.

160 Там же, стр. 205.

161 П., II, стр. 337.

162 С. М. Лукьянов, II, стр. 109.

163 Там же, стр. 92.

его: думаю, что скорее последний... Чтобы не стеснять его, я был только один раз на его лекциях и не помню, о чем именно он тогда читал. Но я хорошо помню чарующее впечатление, которое он производил своей элегантной фигурой, красивым лицом, устремленными вдаль, несколько прищуренными темными глазами, бледностью лица и немного дрожащим голосом. Он был настоящий провозвестник Платона»...[164] Также и Е. М. Поливанова вспоминает: «Он преимущественно читал нам о Платоне, его мировоззрении, и разбирал многие из его диалогов. Лекции становились все интереснее и часто бывали захватывающими, как например, лекция о диалоге Федр, где речь идет о хладнокровном ораторе и ораторе, обладающем пафосом, которым в высшей степени обладал и сам лектор. Увлекательности лекций Владимира Соловьева еще много способствовала его великолепная дикция и замечательно красивый голос, о чем я уже упоминала»[165]. Е. М. Поливанова была одной из слушательниц Соловьева на курсах Герье и тогда же записала в тетрадке описание наружности Соловьева: «У Соловьева замечательно красивые сине-серые глаза, густые темные брови, красивой формы лоб и нос, густые темные довольно длинные и несколько вьющиеся волосы; не особенно красив у него рот, главным образом из-за слишком яркой окраски губ на матово-бледном лице; но самое это лицо прекрасно и с необычайно одухотворенным выражением, как будто не от мира сего; мне думается, такие лица должны были быть у христианских мучеников. Во всем облике Соловьева разлито также выражение чрезвычайной доброты. Он очень худ и хрупок на вид»[166]. Из воспоминаний Поливановой видно, что Соловьев начал читать на женских курсах раньше,

[164] С. М. Лукьянов, II, стр, 140.
[165] Там же, III, стр. 48.
[166] Там же, стр. 45.

чем в Университете и первая его лекция состоялась 14 января. Эта лекция была посвящена определению основного свойства человеческой природы. Не соглашаясь с Аристотелевым определением человека, *как животного общественного,* так как общественность свойственна и другим животным, Соловьев определяет человека, как *животное смеющееся.* «Все животные исключительно поглощают данные им чувствами состояния своей физической природы, эти состояния имеют для них значение безусловной действительности, – поэтому животные не смеются. Мир человеческого познания и воли простирается бесконечно далее всяких физических явлений и представлений. Человек имеет способность стать выше всякого явления физического или предмета, он относится к нему критически. Человек рассматривает факт и, если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики. Так как поэзия и метафизика свойственны только одному человеку, то человек может быть также определен, как животное поэтизирующее и метафизирующее. Поэзия вовсе не есть воспроизведение действительности – она есть насмешка над действительностью»[167].

Мы видим из этих слов, что молодой Соловьев еще далек от своего будущего учения о *духовной телесности* и весьма односторонне оценивает искусство. Поэзия Гёте и Пушкина не есть «насмешка над действительностью», а приятие действительности и углубление ее до значения духовного символа. Высочайшая поэзия не уводит нас из эмпирической действительности, а открывает в ней самой законы духовного мира. Для Соловьева в начале 70-х годов типично предпочтение Пушкину Лермонтова именно за «отрицательное отношение к наличной действительности»: Соловьев в это время

[167] С. М. Лукьянов, II, стр. 45.

романтик, более близкий к Гофману, чем к Гёте. И во всем его облике, как мы видим из описаний М. Д. Муретова и других, было что-то призрачное, невоплощенное, какой-то «фантом». И задачей философии и теургии он считает в то время дематериализацию вещественного мира, восстановление царства чистых духов. Это воззрение впоследствии претерпело большую эволюцию. Хотя в одном из наиболее зрелых и совершенных произведений, в «Истории теократии», Соловьев определяет вещественный мир совершенно в духе Платона, как «царство бунтующих теней»[168], хотя в конце жизни он возвращается к занятиям Платоном и ощущает неодолимое влечение окунуться снова и глубже прежнего в этот вечно-свежий поток юной, впервые себя опознавшей философской мысли[169], однако его статья «Жизненная драма Платона» является как бы судом и над Платоном, и отчасти над самим собой. Соловьев до конца уразумел ту грань, которая разделяла Платона и христианство, отвлеченный идеализм и религию боговоплощения, и попытки Платона в идее Эроса построить мост между миром умопостигаемым и вещественным остается в его глазах только попыткой, потерпевшей крушение.

Конечно, преодолеть свой романтизм до конца Соловьеву не удалось, и романтическая ирония в последний период его жизни достигла невероятных размеров. Этот романтизм делал его слепым ко многим явлениям жизни духовной и эстетической. Например, он не мог оценить реализма Льва Толстого, весь мир живописи был для него закрыт, какой-нибудь Гапсаль был для него лучше всей Италии, от Венеции до Рима. Но гениальность неизбежно одностороння. Например, для Гёте были закрыты области, где Соловьев был

---

[168] Соч., IV, стр. 622.

[169] Творения Платона, I, стр. V; Соч., XII, стр. 360.

как дома. Среди слушательниц Соловьева были и его ярые противницы-материалистки и позитивистки. Одна из них, по словам Е. М. Поливановой, нарисовала на него каррикатуру, изобразив его необычайно длинным и необычайно тонким и приписав ему следующие слова: «Какую чепуху городят эти господа! Тошно даже слушать. Будто есть что-нибудь реально сущее! Все в мире – фантасмогория. И мир – призрак, и я – призрак, и все мы – призраки!»[170].

В 1875 г. Соловьеву приходится защищать свою диссертацию от нападений Лесевича и Кавелина. В «Отечественных Записках» (1875 г. январь) Лесевич поместил статью «Как иногда пишутся диссертации». Вл. Соловьев «Кризис западной философии против позитивистов». Уже самое заглавие показывает, что тон, взятый Лесевичем, был не из приятных. Соловьев, всегда отличавшийся полемическим задором и любивший «игры Арея», не остался в долгу и ответил весьма язвительной статьей «Странное недоразумение», напечатанной в «Русском Вестнике» Каткова (февраль 1875 г.). В заключении статьи Соловьев объясняет критику Лесевича тем, что «Лесевич совсем ничего не понял в разбираемом им сочинении. А в таком случае мне остается только дать ему один добрый совет – исполнить высказанное им на моем диспуте намерение и убежать как можно дальше не только от моей, но и от всякой философии»[171].

Совсем иначе обстояло дело с К. Д. Кавелиным. Последний выпустил в начале 1875 г. брошюру под заглавием «Априорная философия или положительная наука? По поводу диссертации г. В. Соловьева». Соловьев в июньской книжке «Русского Вестника» ответил Кавелину статьей «О действительности внешнего мира и основании метафизического познания».

---

[170] С. М. Лукьянов, III, стр. 48.
[171] Соч., I, стр. 215.

Ответ Соловьева не носит полемического характера. «Критика г. Кавелина», говорит он в начале, «совершенно свободна от полемического характера и нисколько не требует от меня мелочного и скучного труда самозащиты»[172].

По словам Д. Н. Цертелева, Соловьев после защиты диссертации «сразу стал в Москве знаменитостью. Редакции искали его сотрудничества, дамы на разрыв приглашали его на чашку чая, а литературные противники старались облить помоями»[173]. К этому времени относится и знакомство Соловьева с И. С. и А. Ф. Аксаковыми, происшедшее в доме Соллогубов «против Николь, что в Толмачах, близ Ордынки». «Сегодня у нас вечер с *большими,* дядя Юша и Анна Федоровна Аксаковы хотят тебя смотреть; они теперь внизу у бабушки, и будут подниматься не вместе, чтобы не запугать сразу... Желание Анны Федоровны и других лиц "смотреть" меня объясняется некоторым шумом, донесшимся в Москву из Петербурга, где я несколько месяцев перед тем начал свое поприще магистерским диспутом в университете»[174].

Не оставлял Соловьев и занятий спиритизмом. Мы уже приводили слова Страхова в письме к Л. Н. Толстому: «Обрадовавшись, что нашел *метафизическую сущность*, Соловьев уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу и расположен к вере в *спиритизм*»[175]. Действительно для Соловьева, стремившегося к примирению веры с разумом, к соединению древних мистических откровений с выводами современной науки, спиритические явления были ценными фактами, эмпирически получаемым свидетельством реальности мира духов. «Я все более и более убеждаюсь в важности и даже

[172] Соч., I, стр. 216.

[173] Д. Н. Цертелев. «Из воспоминаний о Вл. Соловьеве»; Спб. Вед. № 211, 1910.

[174] П., III, стр. 275; Соч., XII, стр. 482.

[175] С. М. Лукьянов, I, стр. 435.

необходимости спиритических явлений для установления настоящей метафизики, но пока не намерен высказывать этого открыто, потому что делу это пользы не принесет, а мне доставит плохую репутацию», пишет Соловьев Цертелеву восьмого января 1875 г. «Прочел ли ты статью Вагнера в последней книге “Вестника Европы”»?, пишет Соловьев ему же 18 апреля. «Статья весьма любопытная, особенно сильно в пользу спиритизма говорит заведомая неудовлетворительность того объяснения, которое Вагнер дает явлениям, объективную реальность которых он безусловно признает»[176].

Но хотя спириты, особенно С. Д. Лапшина и А. Г. Орфано, всячески старались завлечь Соловьева в свой лагерь, он уже в то время подходил к спиритическим явлениям с большой осторожностью и недоверием. Характерно в этом отношении письмо Орфано к Лапшиной из Москвы от 9 марта 1875 г. Орфано сообщает, что Соловьев вернулся из Петербурга с гораздо меньшим *предубеждением* против спиритизма, чем раньше. «Представьте себе мое удивление», пишет Орфано, «что он мне сказал, что два дня назад, вернувшись с вечера, где происходил сеанс, он захотел проверить сам движения и удары, которые он видел и слышал, и что, к его великому удивлению, через несколько минут после того как он сел за свой ночной столик, этот последний начал вертеться и отвечать ударами на его вопросы. Являвшийся дух говорил, что он – Юркевич. С тех пор он продолжает заниматься спиритизмом и если он еще не совсем убежден, то весьма к тому близок. Вы можете представить, какие изменения эти факты должны произвести в его убеждениях – это верование, которое он находил нелепым, становится объективной истиной»[177].

---

[176] П., II, стр. 226.
[177] С. М. Лукьянов, II, стр. 94–95.

Из этого письма ясно, что Соловьев относился к спиритизму с *предубеждением* и находил это верование *нелепым.* И мы присоединяемся к мнению Лукьянова, что «погрузиться с головой в мутные волны спиритизма Соловьеву все-таки не пришлось»[178]. Очевидно, в Петербурге влияние Лапшиных, брата Всеволода и других рассеяло некоторые предубеждения Соловьева против спиритизма, а явление самого любимого учителя Юркевича решительно увлекло его на путь бесед с загробными духами. Дальнейших занятий Соловьева спиритизмом мы подробно коснемся в следующей главе, а пока отметим, что к 80-м годам отношение Соловьева к спиритизму уже вполне отрицательное. В 1883 г. в письме к народному учителю В. П. Федорову Соловьев говорит: «Я некоторое время серьезно интересовался спиритизмом и имел случай убедиться в реальности многих из его явлений, но практические занятия этим предметом считаю весьма вредными и нравственно, и физически»[179]. И в 1887 г., в письме к Страхову: «Я безусловно согласен и одобряю главный тезис Вашего вступления, а именно, что путем спиритизма религиозной истины добыть нельзя»[180].

Церковностью Соловьев в те годы не отличался. Но и тогда он придавал исключительное значение таинству Евхаристии и даже развивал мысль, что «у человека имеется особое тело – сидерическое, которому свойственно подвергаться атрофии, если человек долгое время не причащается св. Таин»[181]. Сидерическое тело – термин Парацельса, то, что в современном спиритизме называется «астральным телом».

---

178 С. М. *Лукьянов*, II, стр. 95.

179 П., III, стр. 5.

180 П., I, стр. 31.

181 С. М. *Лукьянов*, II, стр. 142.

Так протекала жизнь Соловьева в 1875 г. Он отдыхал от напряженных работ предыдущих лет, пользовался их плодами, некоторое время не учился, а учил. «Месть врагов» только разжигала его полемический пыл, а «клевета друзей» еще спала в тумане грядущего. Новый большой труд уже слагался в его уме, но для этого надо было учиться, ехать в Британский музей, и к поездке за границу он радостно готовился. Любовь к Кате отошла в прошлое. Среди «игр Арея» и иногда «игр Вакха» мечты еще не влеклись к «играм Киприды». Но весной 1875 г. ему пришлось пережить сильное, бурное и трагическое увлечение. Гроза налетела быстро и также быстро рассеялась.

Среди слушательниц Соловьева на Курсах Герье были две барышни З. Л. Соколова и Елизавета Михайловна Поливанова (с известным педагогом А. И. Поливановым эта Поливанова в родстве не состояла). Соловьев был очень дружен с братом Соколовой Александром и бывал у них в доме. Однажды Соколова передала Елизавете Михайловне, что Соловьев хочет с ней познакомиться. Первая встреча произошла на Пречистенском бульваре 4-го мая. Через несколько дней Соловьев стал бывать в доме Поливановых и очень подружился с родителями Елизаветы Михайловны и ее братьями, особенно младшим, Сережей. Лето Поливановы проводили в Дубровицах, Подольского уезда, на берегах Пахры. Соловьев в мае 1875 г. наезжал к Поливановым, и близость его к Лизе росла.

«Немудрено, что ему пришлось у нас по душе», пишет Елизавета Михайловна в своих воспоминаниях. «Местность в Дубровицах очаровательная, прогулок множество и одна другой лучше. Жизнь была у нас привольная, разнообразная, а главную ее прелесть составляло отсутствие всякой условности и затем необычайное радушие моих родителей и их в высшей степени доброжелательное отношение ко всем

окружающим. В доме гостили три тетки, множество кузенов и кузин и друзей, так что за стол садилось от 30 до 40 человек. Устраивались речные экскурсии, поездки верхом, катанье в экипажах. В дурную погоду развлечениями служили бильярд и рояль»[182].

В эту-то шумную, веселую атмосферу в дни майского цветения окунулся молодой философ. Лиза много времени проводила вдвоем с Владимиром.

«Говорил он о своих широких замыслах в будущем. Он в то время горячо верил в себя, верил в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли. Он стремился примирить веру и разум, религию и науку, открыть новые, неведомые до сих пор пути для человеческого сознания. Когда он говорил об этом будущем, он весь преображался. Его серо-синие глаза как-то темнели и сияли, смотрели не перед собой, а куда-то вдаль, вперед, и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»[183].

Первого июня Соловьев предложил Елизавете Михайловне стать его женой.

«1-го июня, в самый Троицын день», вспоминает Елизавета Михайловна, «мы были вместе у обедни». «Спасаясь от нестерпимой духоты, мы пробрались на хоры, а затем вышли на крышу храма, откуда открывался на окрестности Дубровиц чудный вид, который я давно обещала показать ему.

Я села на порог у самой двери, а Владимир Сергеевич стоял в трех шагах от меня на самом краю крыши, да еще поставив ногу на низкую балюстраду. Было прохладно, дул очень свежий ветер. Боясь, чтобы он не простудился, я предложила вернуться на хоры.

---

[182] С. М. Лукьянов, III, стр. 52–53.
[183] Там же, стр. 55.

– Нет, нет! – проговорил Владимир Сергеевич.

И вдруг нежданно, негаданно он сказал мне, что любит меня и просит меня быть его женой.

Как это ни странно, но за все время нашего знакомства мне и мысли о любви не приходило в голову. Я была поражена, ошеломлена. Я растерялась.

Я видела перед собой его бледное взволнованное лицо, его глаза, устремленные на меня с выражением тревожного ожидания, и в то же время сама была охвачена чувством страха, что он вот-вот может сорваться вниз...

Я что-то пролепетала, сама не знаю что.

Он настаивал на категорическом ответе.

Я ответила ДА, и в этом моя глубочайшая вина перед ним. Но в эту минуту я об этом не думала, да и не знаю, думала ли о чем-нибудь.

Народ стал выходить из церкви, мы тоже сошли вниз.

Дома мы застали гостей, целый класс лицеистов, товарищей брата Володи.

Весь день были заняты этой шумной компанией. Владимир Сергеевич тоже занимался молодежью, смеялся с ними, шутил, был необычайно весел, вид у него был счастливый.

Вечером, после отъезда лицеистов, все рано разошлись по своим комнатам. Несмотря на физическое утомление этого дня, я спать не могла в эту ночь. Вместо ощущения счастья, в душе у меня была тревога, тревога невыносимая из-за мучительного сознания, что нет у меня в сердце настоящей любви к Владимиру Сергеевичу, что я смалодушествовала, может быть из чувства страха ввела его в заблуждение. Но в то же время мысль сознаться ему, причинить ему страдание, терзала меня безмерно. А совесть все-таки властно требовала полного покаяния перед ним, и в конце концов я решила сказать ему все откровенно.

Однако, когда на другой день мы встретились, вся моя решимость исчезла: у него был такой радостный вид!

За завтраком он передал мне соль и кто-то сказал, что передача соли ведет к ссоре. Он внезапно побледнел так, что даже губы у него побелели! Где же, как тут говорить?

Вечером, в своей комнате, я снова упрекала себя за трусость и набиралась решимости. На утро при встрече от решимости и следа не осталось»[184].

Однако, после отъезда Соловьева на несколько дней в Москву Елизавета Михайловна набралась решимости сказать ему правду.

«Как только он приехал, я позвала его на Деснинскую скамейку, где мы оба любили сидеть, и разом, сама не знаю как, сказала ему все. Я чувствовала, что делаю какое-то зло, но поступить иначе я уже не могла. Сама я очень страдала и плакала горючими слезами.

Вот тут-то сказалась вся доброта этого удивительного человека. Он совершенно забыл о своем собственном страдании и употреблял все старания, чтобы успокоить и утешить меня...

Когда я несколько овладела собой, мы медленно побрели домой.

– Я все-таки останусь до послезавтра, сказал он, подходя к дому. Нам с вами о многом еще поговорить надо...

...На другой день мы пошли с Владимиром Сергеевичем в далекую прогулку, чтобы «переговорить», как он сказал.

Он предложил мне позабыть о всем, что было, и вернуться к прежней простой дружбе. Я рада была этому предложению, но смутно чувствовала, что «не течет река обратно».

Однако, Владимир Сергеевич казался совершенно спокойным, говорил о задуманных им произведениях, действительно ни словом не касаясь переживаемого. «Слава Богу, что он все принял так – думалось мне – и в душе тоже начало водворяться некоторое успокоение. И вдруг все это рушилось.

---

[184] С. М. Лукьянов, III, стр. 56–57.

Мы сидели на пригорке, я – повыше, он – почти у самых моих ног. На минуту он умолк, вдруг припал к земле, и у него вырвалось стоном:

– И подумать только, как бы мы могли быть счастливы!

У меня слезы подступили к горлу, а затем безудержным потоком полились из глаз.

– Видите, – едва проговорила я, – возврат к простой, прежней дружбе невозможен....

– Невозможен..., – откликнулся он как эхо.

Соловьев сказал, что уедет куда-нибудь далеко, вероятно, заграницу. Последние его слова были:

"Если полюбите, напишите, я приеду, когда бы это ни было. Иначе мы не увидимся, разве только мое чувство исчезнет..."»[185].

Уезжая, Соловьев оставил Елизавете Михайловне два стихотворения. Одно, уже известное нам – «Прометей», другое впервые опубликовано в воспоминаниях Поливановой.

1

В сне земном мы тени, тени...
Жизнь – игра теней,
Ряд далеких отражений
Вечно светлых дней.

2

Но сливаются уж тени,
Прежние черты.
Прежних ярких сновидений
Не узнаешь ты.

---

[185] С. М. *Лукьянов*, III, стр. 58.

3

Серый сумрак предрассветный
Землю всю одел;
Сердцем вещим уж приветный
Трепет овладел.

4

Голос вещий не обманет.
Верь, проходит тень –
Не скорби же; скоро встанет
Новый, вечный день.

В стихотворении этом чувствуется влияние Платона.

Стихотворение «Что роком суждено, того не отражу я», имеет дату: июнь 1875–1877 г.г. В шестом и седьмом изданиях стихотворений Соловьева я отнес его к роману с кузиной Катей, ввиду того, что оно написано в ее альбоме рукой Соловьева. Но после опубликования воспоминаний Поливановой предположение *Лукьянова*: «не внушена ли и эта пьеса чувством к Е. М. Поливановой?»[186], переходит у меня в решительную уверенность. Дата 1877 г. также указывает на Е. М. Поливанову, так как в 1877–1878 г.г. Соловьев опять бывает в Дубровицах, где написаны стихи «В былые годы любви невзгоды» и «Зачем тебе любовь и ласки», уже несомненно относящиеся к Елизавете Михайловне. Что же касается содержания стихотворения, то оно весьма подходит к настроению Соловьева после отказа ему со стороны Поливановой. Сознание, что ему «должно пройти путь земной, тоскуя по светлом небе родины», «прости ж»!, обращенное к любимой девушке, пожелание дать ей ценой своего горького страдания златые дни и годы и все лучшие цветы, чтобы она отдохнула

---

[186] С. М. *Лукьянов*, III, стр. 75, прим. 1288.

от злобной жизни в новом мире света и свободы – все это говорит о Поливановой и напоминает стихи «В сне земном мы тени, тени».

Не скорби же, скоро встанет
Новый, вечный день.

Встречаясь с Катей Романовой в Петербурге в конце семидесятых годов, когда их романтические отношения уже отошли в прошлое, он легко мог написать ей в альбом стихи, вызванные любовью к другой девушке. Упоминание о «злобной жизни», о «тяжелых виденьях смутных снов» также подходит к Поливановой. Она глубоко страдала весной 1875 г. По понятным причинам Елизавета Михайловна опустила в своих воспоминаниях весьма важный факт. Она в это время любила одного человека, и он женился на другой. В Соловьеве она видела друга и утешителя, но не возлюбленного. И вдруг ей приходится нанести этому лучшему другу жестокий удар! А Елизавета Михайловна отнюдь не была кокеткой, она была интеллектуальнее и тоньше Кати, в ней Соловьев находил женскую душу, жадно воспринимавшую его идеи.

Впрочем, удар был не так жесток. 27-го июня Соловьев пишет Цертелеву из Варшавы: «Чувствую себя превосходно (в моральном отношении) и обдумываю подробно план своего сочинения»[187]. Здесь же приводится перевод из Гейне, сделанный в июне в Дубровицах и очевидно выражающий настроение самого Соловьева.

Коль обманулся ты в любви,
Скорей опять влюбись,
А лучше – посох свой возьми
И странствовать пустись.

[187] П., II, стр. 227.

Увидишь горы и моря, –
И новый быт людей,
И шумная зальет волна
Огонь любви твоей.
Орла услышишь мощный крик
Высоко в небесах
И позабудешь о своих –
Ребяческих скорбях[188].

Соловьев был командирован Московским Университетом в Англию, преимущественно для изучения в Британском музее памятников индийской, гностической и средневековой философии[189]. Свидетельство было ему выдано 18 июня 1875 г., и 21 числа он выехал из Москвы. По рецепту Гейне он, обманувшись в любви, взял посох и пустился странствовать. Что же касается второго совета Гейне «скорей опять влюбись», то Соловьев, если и последовал ему, то в самой небывалой форме. Отвергнутый земной подругой, он имеет свидание с «вечной подругой» в зале Британского музея и в Египетской пустыне.



Вл. С. Соловьев (1874 г.) после защиты магистр. диссертации

---

[188] П., II, стр.
[189] С. М. *Лукьянов*, III, стр. 64.

Глава 5
Первые заграничные путешествия

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

Пушкин

Сначала Соловьев предполагал остановиться в Берлине, главным образом для знакомства с Гартманом. Но уже из Варшавы от 27 июня он пишет Цертелеву: «В Варшаве пробыл несколько лишних дней, и потому не могу остановиться в Берлине, да вероятно там теперь Гартмана и нет; познакомлюсь с ним на обратном пути... Я чувствую себя превосходно (в моральном отношении) и обдумываю подробно план своего сочинения. Пока выходит складно и стройно, даже симметрично, вроде Канто-Гегелевских трихотомий. Неприятно только, что придется читать много дряни»[190].

Не Берлин, не «света центр Париж», не «край испанский», не «яркий блеск восточной пестроты» были мечтою Соловьева, а Британский музей. Из Варшавы до Лондона он доехал в двое суток. Из Остенде в Дувр морем – 7 часов. Была буря, и его рвало непрерывно[191].

В Лондонском уединении «и люди попадались», «два-три британских чудодея и два иль три доцента из Москвы». Прежде всего Соловьев встретился в Лондоне с И. И. Янжулом, воспоминания которого о Лондонской жизни в 1875 г. напечатаны в третьем томе материалов С. М. Лукьянова. Перед отъездом из Москвы Янжул зашел к С. М. Соловьеву, и тот, отведя его в сторону, сообщил ему интимным образом:

---

[190] П., II, стр. 227. В издании писем очевидно опечатка в дате: 27 июля, вместо июня.
[191] П., II, стр. 3.

«Вот вы теперь едете в Лондон, как сообщали, где скоро будет мой сын Володя. Знаете вы его?» Я сообщил, что видел его лишь один раз. «Он мальчик хороший», сообщил почтенный историк, «но жить еще не умеет, проживает очень много от неопытности; его обирают. Не будете ли вы так добры, если встретитесь, а это наверное возможно, если пожелаете, позаботиться об его устройстве, и помочь ему, ввиду его неопытности. Вы меня очень обяжете, и я буду покойнее, зная, что около него будет человек, дружественно расположенный помочь ему в случае нужды»[192].

Супруги Янжул добросовестно исполнили поручение Сергея Михайловича и в первый же день, встретив Соловьева на улице в сопровождении еврея-чичероне, освободили его от этого грабителя и перевезли из дорогого отеля, который Соловьев в письме к матери называет «маленьким дешевым отелем», в меблированные комнаты госпожи Сиччерс, где жили сами.

«Я видаюсь почти каждый день с нашим доцентом И. И. Янжулом», пишет Соловьев матери 17/29 июля. «Он и его жена мне очень полезны, особенно в практическом отношении»[193].

Воспоминания Янжула о Соловьеве написаны в довольно критическом тоне. «Магистерская диссертация его: “Против позитивизма” претила мне уже потому, что я сам был немного позитивист, а самое главное, в Москве все открыто рассказывали, что Владимир Соловьев – приятель Любимова и Леонтьева, явных врагов своего почтенного и уважаемого родителя, и не стесняется де бывать там, где на него (то есть отца) открыто клевещут. Насколько это была правда, я, конечно, не знаю, но несомненно, что уже дальше, при встрече

---

192 Лукьянов, III, стр. 95–96.
193 П., II, стр. 5.

своей со мной заграницей, Владимир Соловьев не скрывал своей близости с кружком, для меня крайне противным – МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ, – и даже раз, по какому-то не помню случаю, предлагал мне наивно протекцию *у Любимова*!!! – Итак, я имел относительно личности и достоинства молодого Соловьева аргументы и за и против него, отношение весьма далекое от того обожания всех его качеств, которое образовалось в последние годы его жизни в кружке ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ, к которому отчасти, пожалуй, примкнул и я, в виду огромных перемен, заметно в нем происшедших, в смысле улучшения всего его нравственного облика»[194].

Более мягко относилась к Соловьеву супруга Янжула, известная Екатерина Янжул, но и здесь дело не пошло дальше сострадательной симпатии. «Странный человек этот Соловьев», писала Е. Н. Янжул своим родителям 6/18 июля 1875 г. «Он очень слабый, болезненный человек, с умом, необыкновенно рано развившимся, пожираемый скептицизмом и ищущий спасения в мистических верованиях в духов. Во мне лично он вызывает симпатию и сожаление; предполагают, что он должен сойти с ума, потому что слишком много работал мозгом для своих лет. Когда я его увидела в первый раз, он меня поразил своим мрачным аскетическим видом»[195].

Сердобольная Е. Н. Янжул особенно заботилась о правильном питании Соловьева. «Самоуглубленный Владимир Соловьев нередко буквально забывал обедать», вспоминает И. И. Янжул, «и когда моя жена, взявшая его под свое попечение, часто допрашивала: «Да вы обедали ли, Владимир Сергеевич, сегодня?», – он отвечал: «Нет, я забыл, да, кажется, и вчера я не обедал»[196]. Соловьев уже тогда чувствовал

---

[194] *Лукьянов*, III, стр. 96.

[195] Там же, стр. 124–125.

[196] Там же, стр. 126.

отвращение от мяса и не выносил английской кухни, ему приходилось питаться рыбой и овощами по итальянским тавернам, а Е. Н. Янжул по вечерам «прикармливала его рыбным желе». Зато он с удовольствием пил английский портер, пиво и сидр, «приготовляемый из кислых яблок»[197].

Сердечнее, чем Янжул, относился к Соловьеву «харьковский молодой ученый М. М. Ковалевский, *отличный толстяк*[198]». «Он с первого же раза привлек мою симпатию», говорит М. М. Ковалевский о Соловьеве «– смешно сказать, – своей красотой и своим пророческим видом. Я не видел более красивых и вдумчивых глаз. На лице была написана победа идейности над животностью. Скоро у меня явилось новое основание любить Соловьева: простота и ровность его обращения, связанная с редкой непрактичностью, большая живость ума, постоянная кипучесть мысли»[199].

Между Янжулом и Соловьевым дело не обходилось без споров, а раз даже вышел крупный скандал. В день своих именин, 15 июля, Соловьев угощал русских друзей шампанским у Бодяги, в испанском погребке на Оксфорд стрит. О происшедшем скандале Янжул и Ковалевский рассказывают с некоторыми различиями. Приведем сначала редакцию Янжула. «Речь зашла о Белинском, Вл. Соловьев воскликнул: "Что такое Белинский? Что он сделал?... Я уже теперь сделал гораздо больше, чем он, и надеюсь в течение жизни уйти далеко от него и быть гораздо выше...» «Хотя было уже очень выпито и, может быть поэтому, я не удержался, слушая подобное самохвальство, и заметил Соловьеву, что "стыдно так говорить о самом себе, лучше подождать, когда другие вас признают ему равным!" – Как вдруг, на мое замечание, к высшему моему конфузу, – это происходило

[197] П., II, стр. 6.
[198] Там же, стр. 5.
[199] Лукьянов, III, стр. 136.

в общем зале, очень наполненном публикой, – Владимир Соловьев разразился рыданиями, слезы потекли у него обильно из глаз. Я немедленно попросил извинения»[200].

По воспоминаниям Ковалевского, Янжул первый задел Соловьева фразой: «Много думаете о себе, Владимир Сергеевич! Считаете себя вторым Белинским!», на что Соловьев отвечал: «Белинский не был самостоятельным мыслителем, а я мыслитель самостоятельный». «Мне скоро пришлось развозить приятелей по домам», сообщает Ковалевский, «Соловьева я собственноручно уложил в постель. На следующий день он снова вернулся в наше общество тем же приятелем, и о вчерашней размолвке не было и речи»[201]. Очевидно, главным виновником скандала был не Соловьев и не Янжул, а херес.

Вначале Соловьев был очень доволен Лондоном.

«Я устроился довольно хорошо в Лондоне», пишет он матери. «Большую часть времени провожу в библиотеке. Раз был за городом и несколько раз в парках. Парком здесь называется огромное поле среди города, гораздо больше Девичьего (и таких здесь несколько); по полю разбросаны группы деревьев и цветники. Эти парки составляют одну из причин, почему Лондон отличается чистым воздухом и есть самый здоровый город в мире... Я думаю все время пробыть в Лондоне и только на обратном пути заехать в Париж и Швейцарию»[202]. Из русских в Лондоне, кроме Янжула и Ковалевского, Соловьев видался также с московским профессором Капустиным, о котором пишет 31-го июля/12-го августа: «Вероятно скоро будет в Москве Капустин, с которым я виделся перед его отъездом отсюда»[203]. Посещал Соловьев салон Ольги Алексеевны Новиковой, урожденной Киреевой, где собирались

[200] Лукьянов, III, стр. 132–133.
[201] Там же, стр. 138.
[202] П., II, стр. 5–6.
[203] Там же, стр. 7.

некоторые главы англиканского духовенства, озабоченные мыслью о сближении православной и англиканской церкви[204]; свел знакомство с Орловым, «дьячком здешней русской церкви» (магистром богословия и профессором русского языка и литературы в Kings College в Лондоне). Под «двумя-тремя британскими чудодеями» надо разуметь Рольстена, «англичанина, изучающего Россию»[205] и знаменитого зоолога Уоллеса, занимавшегося спиритизмом. «Из англичан познакомился со знаменитым зоологом Wallace'ом, что доставляет мне удовольствие бывать иногда в настоящей деревне, – он живет верстах в сорока от Лондона»[206].

Отбросив теперь всю ту шелуху внешней Лондонской жизни, остановимся на том главном, зачем Соловьев приехал в Лондон, на том, что превратило для него Лондонское житье в «блаженные полгода».

Забуду ль вас, блаженные полгода?
Не призраки минутной красоты,
Не быт людей, не страсти, не природа –
Всей, всей душой одна владела ты.

Пусть там снуют людские мириады
Под грохот огнедышащих машин,
Пусть зиждутся бездушные громады, –
Святая тишина, я здесь один.
……………………………………………
……………………………………………
Все ж больше я один в читальном зале;
И верьте иль не верьте, – видит Бог!
Что тайные мне силы выбирали
Все, что о ней читать я только мог.

---

204 Лукьянов, III, стр. 139.
205 П., II, стр. 5.
206 Там же, стр. 11.

Когда же прихоти греховные внушали
Мне книгу взять «из оперы другой», –
Такие тут истории бывали,
Что я в смущеньи уходил домой[207].

И. И. Янжул так рассказывает о занятиях Соловьева в Британском музее: «Целые часы, как я за ним иногда следил в музее, как он работал, он сидел по соседству, над какой-то книгой о Каббале с курьезными, диковинными рисунками и значками, совершенно углубленный и забывающий, что делается вокруг. Сосредоточенный, печальный взгляд, какая-то внутренняя борьба отражалась у него на лице почти постоянно. Он сидел от меня настолько близко, что я имел возможность много раз наблюдать эту картину. Когда я к нему обращался с вопросом» – Что, Владимир Сергеевич, о чем задумались?! – Или: – «Как вам интересна Ваша книга, которую вы так долго читаете? Почему вы ее не перемените?» и т. д., я получал от него такие ответы: – «Я ничего... в высшей степени интересно; в одной строчке этой книги больше ума, нежели во всей европейской науке. Я очень доволен и счастлив, что нашел это издание»[208].

Ко времени первого заграничного путешествия Соловьева относится его альбом в толстом переплете, который я, в моей биографии В. Соловьева, приложенной к 6-му и 7-му изданиям его стихов, назвал «альбомом № 1». Здесь находится молитва ко Пресвятой Софии, или почерпнутая Соловьевым из гностических и каббалистических источников, или сочиненная им самим на основании этих источников.

---

[207] «Три свидания», Соч., XII, стр. 80.
[208] Лукьянов, III, стр. 126.

Молитва об откровении великой тайны

Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Ain – Soph, Jah, Soph-Jah

«Неизреченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, демонов, людей и всех живущих. Соберите воедино лучи силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте причастниками молитвы моей. Да возможем уловить чистую глубину Сиона, да обретем бесценную жемчужину Офира и да соединятся розы с лилиями в долине Саронской. Пресвятая божественная София, существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченною и благодатною первого сына твоего и возлюбленного Иисуса Христа молю тебя: снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви своей расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстановляя полноту веков, да покроется глубина пределом, и да будет Бог все во всем»[209].

Страницы альбома испещрены медиумическим письмом. В это время Соловьев убежден, что он, посредством медиумического письма, получает откровения от небесных духов и самой Софии. По большей части эти откровения написаны на французском языке и имеют подпись Софи, или полугреческими буквами С о ф и а. Подобными письмами из духовного мира испещрены все рукописи Соловьева. Иногда фраза какой-нибудь статьи обрывается, выводятся каракули, затем означается несколько слов, потом все тонет в каракулях, и статья продолжается. В последующие годы эти записи носят менее медиумический характер. Они написаны свободно, без каракуль, размашистым почерком Соловьева,

---

[209] Стих., изд. 7-е, стр. 300–301; Соч., XII, стр. 148.

с некоторым подражанием английскому почерку Софии Петровны Хитрово. В 80-х годах эти писания становятся реже, в 90-х годах почти пропадают.

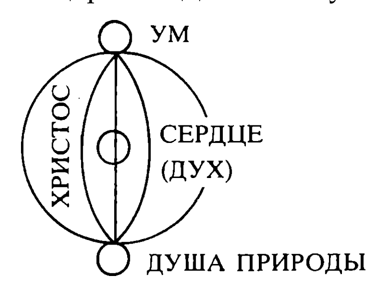
Приводим некоторые записи, по-видимому, относящиеся к Лондонскому периоду:

«Одобряю мнение Сведенборга о ничтожестве mentis humanae, quoad est in suo proprio. Ты должен управляться безусловно влиянием свыше. Мы будем сообщать тебе посредством письма все, что ты должен делать относительно твоего дальнейшего просвещения светом духовным. Я дотронулся до края ангельской одежды». Далее каракули и подпись Софи.

«Sophie. Mange un peu plus aujourd'hui. Je ne veux pas, que tu t'épuises. Mon chéri, nous voulons te préparer pour la grande mission, que tu dois remplir. Médite toujours sur les principes. Ne donne pas un accès aux pensées de désespoir, mais chasses aussi l'orgueil et l'ambition.»

Что же ты думаешь о небесном и божественном модусе минералов, золото, ртуть, медь, серебро, железо, олово и свинец. Семь духов: первый Lucifer (Saturnus – свинец), второй Михаил (Jupiter – олово), третий Уриил (Mars – железо), четвертый Гавриил – (Luna – серебро), пятый Анаил (Venus – медь), шестой Рафаил (Mercurius – ртуть), седьмой Шамаил (sol – золото).

Семь духов, семь первоначальных свойств, семь планет, семь металлов, семь Церквей. Далее следует рисунок:



«Восстановление Христа, как индивидуального человека = соединение божественного логоса с индивидуальной душой Иисуса»[210].

На этом же листе находятся наброски того сочинения, о котором Соловьев писал Цертелеву из Варшавы 27 июня: «выходит складно и стройно, даже симметрично, вроде Канто-Гегелевских трихотомий»[211]. Вот один из этих набросков:

«Мировой процесс безусловно необходим и целесообразен. Случайность и произвол только в человеческом невежестве. Доселе (до меня) теософические системы, обладавшие духовными основами, не имели истинной идеи мирового процесса: они или совсем игнорировали его (неоплатонизм, Сведенборг), или же допускали в нем элемент случайности и произвола (грехопадение), Каббала, Бэме, и те и другие получали в результате чертей и вечный ад.

С другой стороны философские системы, имевшие настоящее понятие о мировом процессе, как необходимом без всякого произвола, лишены были духовных основ. Поэтому у них процесс являлся или чисто идеальным и даже абстрактно-логическим (Гегель) или же чисто натуральным (эволюционный материализм), некоторые же соединяли идеализм с натурализмом (натурфилософия Шеллинга, система Гартманна), но вследствие отсутствия духовных основ даже эти последние, сравнительно совершенные системы, не могли определить истинной цели и значения процесса, ибо цель эта... духовное божество мира.

В последней своей системе Шеллинг с логическим понятием процесса соединяет некоторое, хотя весьма неполное и довольно спутанное представление о духовных началах;

---

210 Слова София и Логос С. в это время пишет, перемешивая русские буквы с греческими. В слове София постоянно русское большое С и греческое ф, в слове Логос постоянно греческое γ.

211 П., II, стр. 227.

поэтому и цель процесса получает у него довольно удовлетворительное определение; отсюда же у него, вместе с признанием конкретного духовного мира, как у Бэма и Сведенборга, – отсутствие чертей и ада, почему Шеллинг и есть настоящий предтеча вселенской религии. Учения Бэма и Сведенборга суть полное и высшее теософическое выражение старого христианства. Положительная философия Шеллинга есть первый зародыш, слабый и несовершенный, нового христианства или вселенской религии вечного завета.

Каббала и неоплатонизм.

Бэме и Сведенборг.

Шеллинг и я.

Закон.
Неоплатонизм – Каббала – Ветхий Завет.
Евангелие
Бэме – Сведенборг – Новый Завет,
Свобода
Шеллинг – я – Вечный Завет».

Так протекала жизнь Соловьева в «святой тишине» Британского музея.

И вот однажды – к осени то было –
Я ей сказал: о, божества расцвет!
Ты здесь, я чую, – что же не явила
Себя глазам моим ты с детских лет?

И только я помыслил это слово,
Вдруг золотой лазурью все полно,
И предо мной она сияет снова, –
Одно ее лицо, – оно одно.

Несмотря на явление «лица» таинственной подруги, настроение Соловьева в Лондоне начинает постепенно портиться. Сначала Лондон так ему нравился, что он предполагал

прожить в нем целый год[212]. Он собирался проехаться в октябре в Нью-Кестль, а в январе в Бристоль, «безо всякой особенной цели»[213]. Но, по-видимому, здоровье его ухудшилось. Подруга Е. М. Поливановой писала ей: «Сейчас получила очень грустные известия о нашем Владимире Соловьеве: в Англии он стал заниматься спиритизмом, его здоровье ухудшилось. Говорят, он стал употреблять мало мясной пищи и хочет от нее отвыкнуть по принципу. Мне его очень жаль от души. Он ведь редкий ученый и великолепный человек»[214].

Кроме отрадных воздействий Софии, Соловьев несомненно испытывал и тревожные, жуткие мистические состояния. «Полушутя, полусерьезно», вспоминает М. М. Ковалевский, «Соловьев сообщал мне, что по ночам его преследует злой дух Питер, пророча ему скорую гибель»[215]. С приездом в Лондон А. И. Аксакова Соловьев стал посещать спиритические сеансы. Но впечатления его от английского спиритизма были самые отрицательные. «На меня английский спиритизм произвел точно такое же впечатление, как на тебя французский», пишет Соловьев Цертелеву: «шарлатаны с одной стороны, слепые верующие – с другой, и маленькое зерно действительной магии, распознать которое в такой среде нет почти никакой возможности. Был я на сеансе у знаменитого Вильямса и нашел, что это фокусник более наглый, нежели искусный. Тьму Египетскую он произвел, но других чудес не показал. Когда летавший во мраке колокольчик сел на мою голову, я схватил вместе с ним мускулистую руку, владелец которой духом себя не объявил»[216].

---

212 П., II, стр. 4.

213 Там же, стр. 11, 12.

214 Лукьянов, III, стр. 63.

215 Лукьянов, III, стр. 137.

216 П., II, стр. 228.

Об этом сеансе у Вильямса вспоминает М. М. Ковалевский: «Он (Соловьев) убедил меня и Янжула пойти с ним в метафизическое общество на спиритический сеанс. Заранее куплены были билеты по пять шиллингов каждый. Нас поставили в круг. Потушили огни. На расстоянии нескольких секунд послышались звуки арфы. Соловьев внезапно выдернул руку у своего соседа, русского корреспондента "Голоса", и схватил за руку державшего арфу. Он, разумеется, стал отбиваться и слегка задел ею по голове русского корреспондента. Раздался крик. Все пришли в смущение. Снова зажгли электричество. Сделали нам строгий выговор, и пригрозили вывести при повторении»[217]. В письме к Цертелеву из Парижа от 2 ноября Соловьев подводит итоги своим лондонским впечатлениям от спиритизма: «Спиритизм тамошний (а следовательно, и спиритизм вообще, так как в Лондоне есть его центр) есть нечто весьма жалкое. Видел я знаменитых медиумов, видел знаменитых спиритов, и не знаю, кто из них хуже. Между спиритами самый выдающийся Wallace – соперник Дарвина, человек во многих отношениях почтенный, но в спиритизме он стал смиренным учеником Аллана Кардека (с которым теперь, благодаря переводу, стали знакомиться англичане, причем оказывается, что они не были кардекистами только потому, что не знали Кардека); сверх того, этот замечательный исследователь, ставши спиритом, считает своим долгом слепо верить всякому медиуму. Что касается до этих последних, то, бесспорно, самые лучшие из них – Юм и Кэт Фокс (теперь Mrs Jenkin), – родоначальники новейшего спиритизма. Я познакомился с обоими. Оба больны и не действуют. Юм говорит "quand j'étais medium". Действующих же лучше, по выражению одного

[217] Лукьянов, III, стр. 136.

архиерея, “почтить молчанием”[218]. К концу сентября Соловьев начинает довольно сильно чувствовать Heimweh[219]. Надежды его на теплую зиму в Лондоне не оправдались, и он запасается теплой одеждой»[220]. Неожиданно от 26 октября он шлет матери лаконичную записку: «Шубу присылать было бы совершенно бесполезно, так как здесь в домах холоднее, чем на воздухе. Зима еще не начиналась, но я уже успел основательно простудиться. К счастью мои занятия требуют отправиться на несколько месяцев в Египет, куда я уезжаю послезавтра»[221].

Причину своего неожиданного отъезда из Лондона Соловьев не мог никому поведать.

Я ей сказал: твое лицо явилось,
Но всю тебя я должен увидать.
Чем для ребенка ты не поскупилась,
В том – юноше нельзя же отказать.

«В Египте будь!» – внутри раздался голос.
В Париж! – и к югу пар меня несет.
С рассудком чувство даже не боролось:
Рассудок промолчал как идиот.

В письме к матери от 17/26 октября Соловьев сообщает, что он отправляется в Египет «послезавтра». Следовательно можно предположить, что 28 октября он покинул «берег туманный Альбиона». Если на пути в Англию, при переезде через Па де Кале, Соловьев сильно страдал от морской болезни, то теперь он мог повторить стихи Боратынского:

Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравья брызжет мне вал.

[218] П., II, стр. 229.
[219] Там же, стр. 11.
[220] Там же, стр. 12.
[221] Там же, стр. 13.

«При двухчасовом переезде из Дувра в Кале, несмотря на сильную качку, я не чувствовал ни малейших признаков морской болезни, что весьма утешительно, так как мне придется трое суток быть на море»...

«Париж привел меня в отличное расположение духа; чувствую себя совершенно здоровым, в Лондоне начинал заболевать»[222].

Настроение писем Соловьева исключительно бодрое. 6-го ноября он пишет матери из Пармы:

«Чем далее подвигаюсь на юг, тем чувствую себя здоровее. Проехал Францию и северную Италию, не останавливаясь... Благодаря купленному в Париже носощипу, мог видеть все места, через которые проезжал; видел Альпы, видел Ломбардию, впрочем до сих пор ничего поразительного не нашел. Русская деревня нравится мне больше итальянской. Хорошо здесь только, что еще тепло и зелено, как у нас в августе – под Миланом видел сенокос, а в Шамбери – георгины и астры в полном цвету»[223].

По расчету С. М. Лукьянова, Соловьев пробыл в Париже двенадцать дней. Сначала он предполагал заехать в Грецию: «Напишу вам, вероятно, из Афин, где пароход останавливается на некоторое время»[224]. Но 12 ноября Соловьев извещает мать из Каира: «Я сел в Бриндизи на английский пароход, который никуда не заезжая, в три дня довез меня до Александрии вчера утром»[225]. В «Трех свиданиях» Соловьев так описывает свой маршрут:

На Льон, Турин, Пьяченцу и Анкону,
На Фермо, Бари, Бриндизи – и вот

[222] П., II, стр. 13.
[223] Там же, стр. 14.
[224] Там же, стр. 14.
[225] Там же, стр. 16.

По синему трепещущему лону
Уж мчит меня британский пароход.

«Путешествие через Италию», пишет Соловьев матери, «особенно же чрез Средиземное море, было весьма приятно, ибо все время было ясно, тепло, как в июле, море совсем синее, месячные ночи. Я ни морскою, ни какою другою болезнью не страдал; напротив, чувствую себя еще с Парижа лучше обыкновенного»[226].

Утром 11-го ноября Соловьев прибыл в Александрию и, в несколько часов осмотрев город, в тот же вечер приехал в Каир, где ему предложил «кредит и кров» отель «Аббат», «уютный, скромный, лучший в целом мире».

В первые дни по приезде в Египет Соловьев влезал на пирамиду Хеопса, спускался в подземные гробницы и в колодезь Иосифа, купался в Ниле и видел настоящую сфинксу[227]. Сфинкса эта «очень кланяется маме, с которой она почему-то считает себя в родстве»[228]. Очевидно, не только в чертах сестры Маши, но и Поликсены Владимировны, Соловьев усматривал сходство со сфинксом... В Каире Соловьев побывал у министра иностранных дел, «хитрого армяшки»; русского генерального консула Лекса он не застал в Каире, так как консул находился в Александрии. Особенно сошелся он со знаменитым генералом Фадеевым, жившим с ним в одной гостинице. «Часто видаюсь с генералом Фадеевым – тип русского медведя, впрочем очень неглупый человек»[229]. Этому генералу Соловьев посвятил несколько строф в поэме «Три свидания»:

Всех тешил генерал – десятый номер –
Кавказскую он помнил старину...

---

[226] П., II, стр. 15.
[227] Там же, стр. 16.
[228] Там же, стр. 17.
[229] Там же, стр. 18.

Его назвать не грех – давно он помер,
И лихом я его не помяну.

То Ростислав Фадеев был известный,
В отставке воин и владел пером.
Позвать кокотку иль собор поместный, –
Ресурсов тьма была сокрыта в нем.

Письма Соловьева к матери служат распространенным комментарием к стиху поэмы:

В моем кармане хоть кататься шару.

«Жизнь здесь несколько дороже, чем в Лондоне»[230]. «Если нельзя ускорить высылку денег из министерства, то прошу папа прислать 200 рублей поскорее»[231]. «Деньги (960 франков) я получил, но насилу мог разменять вексель. Уплативши долги и давши вперед за месяц за квартиру (куда я переехал из гостиницы), я остался с 40 рублями»[232]. Главную причину пребывания в Каире Соловьев должен был утаивать и от отца, и от матери. «Я здесь пробуду до тех пор, пока выучусь арабскому языку, т. е., вероятно, месяца 4 или 5. Затем, может быть, прямо вернусь в Россию, ибо в Западной Европе мне решительно нечего делать»[233], пишет он матери, а с отцом делится своими мыслями о политике. «Пока, кроме глупой войны с абиссинцами, нет ничего», пишет он от 10 декабря. «У вице-короля был понос, но прошел. Скажите nanâ, что Восточного вопроса до 1877 года быть не должно, а если и будет, то самый паршивый, и во всяком случае все европейцы, кроме англичан, в Египте безопасны»[234]. «Могу сообщить Вам la nouvelle du jour: английская финансовая

[230] П., II, стр. 16.
[231] Там же, стр. 18.
[232] Там же, стр. 20.
[233] Там же, стр. 16.
[234] Там же, стр. 19.

комиссия, приезжавшая, чтобы забрать Египет, получила решительный шиш от Хедива и отправилась от нечего делать в верхний Египет, а затем возвращается в свой дом. Английский же консул должен был объявить, что все это было только недоразумение»[235].

Устроившись в уютном отеле «Аббат», Соловьев «ждал заветного свидания».

И вот однажды, в тихий час ночной,
Как ветерка прохладное дыханье:
«В пустыне я – иди туда за мной».

Дату путешествия в пустыню можно установить на основании писем к матери. 25-го ноября, в письме, помеченном «Маср-Эль Каэро», Соловьев извещает Поликсену Владимировну: «Я в пустыню удалился от прекрасных здешних мест. Когда вы получите оное, я буду в Фиваиде, верстах в 200 отсюда, в месте диком и необразованном, куда и откуда почта не ходит, и ни до какого государства, иначе как пешком, достигнуть нельзя. Пробуду я там с месяц»[236].

Уже 27 ноября Соловьев пишет матери: «Путешествие мое в Фиваиду, о котором писал в прошлом письме, оказалось невозможным. Отойдя верст двадцать от Каира, я чуть не был убит бедуинами, которые ночью приняли меня за черта, должен был ночевать на голой земле, вследствие чего вернулся назад»[237]. И от 31-го декабря: «Происшествие с арабами более меня позабавило, чем испугало. Расскажу при свидании»[238].

Очевидно, третье свидание с вечной подругой произошло между 25–27 ноября 1875 г., так что Соловьев провел в пустыне ночь или с 25-го на 26-е, или с 26-го на 27-е.

---

[235] П., II, стр. 21.
[236] Там же, стр. 18.
[237] Там же, стр. 19.
[238] Там же, стр. 21.

Тогда же Соловьев записал свое видение в кратком стихотворении «Вся в лазури сегодня явилась предо мною царица моя», помеченном «1875, Каир», а в 1898 г. подробно рассказал о нем в поэме. Послушаем его самого.

Описав, как, принятый за черта бедуинами и чуть не убитый, он ночевал на голой земле, при температуре 0, прислушиваясь к завыванию шакала, Соловьев продолжает:

И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вдруг повеяло: «Усни, мой бедный друг!» –
И я уснул; когда ж проснулся чутко, –
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами полными лазурного огня
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что̀ есть, что̀ было, что̀ грядет во веки –
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют предо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было, –
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, –
Передо мной, во мне – одна лишь ты.

....

Один лишь миг! Видение сокрылось –
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

За обедом в отеле «Аббат» Соловьев «факты рассказал, виденье скрыв». Но и при этом утаивании он не избежал острот генерала и принял к сведению его предостережение:

«А потому, коль Вам прослыть обидно
Помешанным иль просто дураком, –
Об этом происшествии постыдном
Не говорите больше ни при ком».

Сохранилось одинокое показание дочери А. Н. Пыпина, В. А. Пыпиной-Ляцкой. «Просто, по товарищески, стал он (то есть Соловьев) [рассказывать] о своем путешествии в Египет... Вспоминал особенно подробно о том, как посещал там различных аскетов, таившихся от людей, селившихся в шалашах по пустынным местностям, как на себе проверял их мистические экстазы. Хотел видеть знаменитый Фаворский свет и видел»[239].

Когда Соловьев посещал фиваидских аскетов и углублялся в созерцание Фаворского света, трудно сказать. Конечно, не в ту ночь, когда он спал на голой земле, прислушиваясь к завываниям шакалов. Ни о каких пещерах, ни пустынниках тут нет речи. Мы знаем, что Соловьев предполагал поселиться в Фиваиде в 200 верстах от Каира в «месте диком и необразованном», где, быть может, надеялся найти остатки древнего фиваидского пустынножительства. Но мы знаем, что это путешествие не состоялось, и, отойдя верст 20 от Каира, Соловьев вернулся назад, со следами розовой улыбки в душе и в дырявых сапогах. Достоверно ли показание Пыпиной-Ляцкой? Приятель Соловьева граф Ф. Л. Соллогуб изобразил путешествие Соловьева в пустыню в шуточной пьесе «Соловьев в Фиваиде». Ни на какие свидания с таинственной подругой, ни на какую гностическую мистику здесь нет намеков: сквозь шуточный тон пьесы проступает глубокая и верная идея. Соловьев изображен здесь молодым борцом и аскетом, испугавшим Сатану своим первым выступлением.

---

[239] В. Пынина-Ляцкая. В. С. Соловьев. Страничка из воспоминаний. Голос минувшего. 1914 г. Декабрь.

Родился сей злодей хоть без году неделя,
А корень зла успел уж потрясти,
В меня стрелой наук и дротом веры целя,
Он тщился мой престол с лица земли смести.

Он в Фиваиду дерзостной стопою,
Как новый паломник, пустынею идет,
Молитвой и постом, чтоб закалиться к бою.
Но гибель верную от рук моих найдет[240].

Как новый Эдип, Соловьев вступает в единоборство со сфинксом, который изображен смешным и глупым орудием злой силы. Сначала силой своего ума и диалектики Соловьев посрамляет Сатану, затем торжествует над искушениями семи смертных грехов, подобно св. Антонию, преодолевая чары царицы Савской. Мы знаем, что пребывание в Египте было для Соловьева животворно. Подобно Василию Великому, который, усвоив языческую мудрость Афин, углубился в пещеры Египта, и Соловьев, после Британского музея и изучения гностической литературы, почувствовал необходимость соприкоснуться с той пустынею, где когда-то Моисей видел горящий и несгорающий куст на горе Хориве, а потом Павел и Антоний положили начало христианского пустынножительства. И в 1891 г., сравнивая свою судьбу с судьбой Моисея, Соловьев вспоминает страну фараонов:

И смутно видятся чертоги,
Где солнца жрец меня учил,
И размалеванные боги
И голубой златистый Нил[241].

В конце января 1876 г. каирская жизнь Соловьева была оживлена приездом его друга Д. Н. Цертелева. 28 сентября 1875 г. скончался в своем имении «Красный рог» граф Алексей Тол-

---

[240] *Лукьянов*, III, стр. 284.
[241] Стих., изд. 7-ое; Соч., XII, стр. 30.

стой. Племянник его Д. Н. Цертелев присутствовал при его смерти, и кончина любимого дяди сильно потрясла его нервы. Он отправился путешествовать. Новый, 1876 г. он встретил в Афинах, хотел ехать в Италию, но, получив приглашение Соловьева, заехал сначала в Каир. «Ты должен непременно приехать в Каир», пишет Соловьев Цертелеву от 20 января 1876 г. «Я остаюсь здесь до марта. Эта поездка тебя развлечет. Страна весьма оригинальная, климат превосходный, – не говоря уже об удовольствии, которое ты мне доставишь. Если же тебе никак нельзя будет, то я постараюсь в феврале приехать в Афины или в Италию, если ты будешь там. Но я надеюсь, что ты приедешь сюда, и тогда в начале весны мы вместе отправимся в Италию и Париж. Оставаться же одному теперь тебе совершенно невозможно»[242].

«В Каире, в гостинице "Аббат", я Соловьева уже не застал», вспоминает Цертелев. «Он переехал на квартиру в семью фотографа Дезире, но в том же доме, этажем ниже, оказалась свободная комната, которую я сейчас же занял...[243] Дверь из моей комнаты выходила прямо на крышу, где мы с Соловьевым сидели по вечерам»[244].

Об этих ночах на крыше дома фотографа Дезире вспоминает Соловьев в 1897 г.:

Помнишь ли, бывало,
Ночи те далеко, –
Тишиной встречала
Нас заря с Востока.
Из намеков кратких,
Жизни глубь вскрывая,

---

[242] П., II, стр. 230.
[243] О переезде из отеля на квартиру С. сообщает матери еще 31 декабря (П., II, стр. 21).
[244] Лукьянов, III, стр. 256.

Поднималась молча
Тайна роковая.

То, чего в то время
Мы не досказали,
Записала вечность
В темные скрижали[245].

Совместно с Цертелевым, Соловьев написал маленький философский диалог «Вечера в Каире». В это время Соловьев чувствует влечение к диалогической форме, конечно не без влияния Платона, которым он усиленно занимался, читая лекции по древней философии на курсах Герье.

В конце жизни, вернувшись к Платону, Соловьев пишет свои знаменитые «Три разговора». В «Вечерах в Каире»[246], как и в «Трех разговорах», одним из действующих лиц является дама (и даже две дамы, первая и вторая). Разговор идет о спиритизме. Доктор, представитель позитивизма (по мнению княгини Е. Ф. Цертелевой здесь выведен д-р Владимир Николаевич Попов, бывший в то время в Каире) говорит о спиритических явлениях, как глупых фокусах, нелепостях и вздоре. Дамы страстно защищают спиритизм, устраивается сеанс, появляется дух Сократа и ведет спор с доктором. Дух Сократа говорит в тоне Сократо-Платоновых диалогов: «Неужели же мне нужно повторять тебе то, что я говорил ученикам своим перед смертью, чтобы они не смешивали Сократа с тем телом, от которого освобождает его прием цикуты».

В Каире Соловьев начал то сочинение, о котором писал Цертелеву 27 июля: «Пока выходит складно и стройно, даже симметрично, в роде Канто-Гегелевских трихотомий»[247].

---

[245] Стих., изд. 7-е; Соч., XII, стр. 65.
[246] «Вечера в Каире», напечатано в III-м томе Материалов Лукьянова, стр. 248–255; Соч., XII, стр. 529–535.
[247] П., II, стр. 277.

Наброски были сделаны уже в Лондоне, в Каире Соловьев пишет первую главу. Что же это за сочинение?

Во-первых возникает вопрос, почему Соловьев хотел писать сочинение на иностранном языке и издавать его за границей. Из Лондона Соловьев писал отцу: «Постараюсь к июлю вернуться в Россию, если только успею покончить с тем трудом, которым я теперь занят и который должен издать по-английски, для чего уже имею подходящего переводчика»[248]. 1/13 мая Соловьев пишет отцу: «В Париже буду заниматься изданием своего малого по объему, но великого по значению сочинения "Principes de la religion universelle"; язык оного дам исправить аббату Гетте, который между прочим занимается этим делом (он исправлял сочинение министра Толстого о католицизме) и к которому я имею на этот счет рекомендации от Ниццского священника»[249].

Может быть, Соловьев желал сочинение, излагающее начала новой вселенской религии, издать на языке интернациональном, английском или французском, а может быть, он видел невозможность издания этого сочинения в России по цензурным условиям. Название «Principes de la religion universelle» очевидно явилось у Соловьева не сразу. В письме к матери от 4-го марта он называет свое сочинение «некоторым произведением мистического теософо-философо-теурго-политического содержания и диалогической формы»[250].

У меня сохранилась рукопись французского сочинения, подписанная Каиром и Сорренто, 1876 годом. Название сочинения Sophie. Оно состоит из трех глав в диалогической форме и трех глав в форме статей. Программа сочинения

---

[248] Там же, стр. 11.

[249] Там же, стр. 27.

[250] Там же, стр. 23.

набросана по-русски, вероятно еще в Лондоне. Вот эта программа:

Предисловие:

Гл. 1. О трех типах философии вообще.

Гл. 2. Метафизический характер человека и общая возможность метафизики.

Гл. 3. О положительной метафизике в частности. Ее формальные принципы. Ее отношение к двум другим типам философии, к религии, положительной науке, к художеству и к жизни.

Изложение начал.

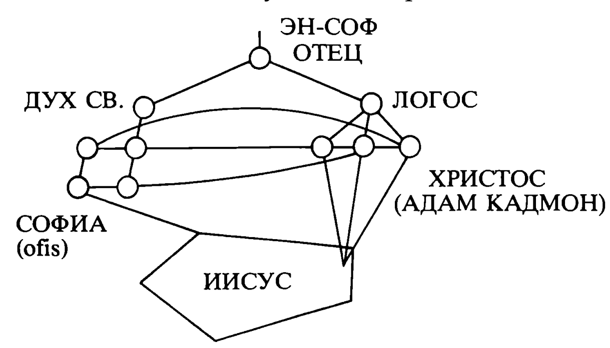
Гл. 4. Антропологические основы положительной метафизики.

Гл. 5. Теологические начала.

Гл. 6. Космогонические и сотериологические начала.

Гл. 7. Эсхатологические начала.

Здесь же находится следующий чертеж:



Сочинение Sophie представляет диалог между философом и Софией. Кроме влияния Платона здесь есть немного от диалогов поэта и Музы в «Ночах» Мюссэ[251]. Вначале характер диалога строго выдержан; речи философа заметно

[251] Соловьев особенно ценил «Ночи» Мюссэ и его «Воспоминание» (Le Souvenir).

отличаются от речей Софии; постепенно диалогическая форма тускнеет, диалог переходит в монолог, и наконец Соловьев бросает диалогическую форму и переходит к стилю философской диссертации. Вообще сочинение написано очень небрежно, изобилие идей разрывает всякую форму, в конце писание прерывается медиумическим письмом.

После общего заглавия «Sophie» следует:

Première triade

Les premiers principes. (Le Caire. Février 1876). Premier dialogue. Le principe absolu comme unité (principe du monisme).

В Каире же вероятно написан и второй диалог «Le principe absolu comme dualité (principe du dualisme)». Третий диалог, который, подобно предыдущему, называется *second dialogue*, подписан Sorrento Mars 1876 г. Содержание его – философия космического и исторического процесса. Наиболее художественно обработан небольшой первый диалог, который начинается так:

Sophie. Entre l'Orient pétrifié et l'Occident, qui se décompose, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts?

Le philosophe. Un rêve vague m'a mené aux bords du Nil. Ici, dans le berceau de l'histoire je croyais trouver quelque fil, qui à travers les ruines et les tombeaux du présent rattacherait la vie primitive de l'humanité à la vie nouvelle, que j'attends.

София. Между окаменелым Востоком и Западом, который разлагается, почему ищешь ты живое среди мертвых?

Философ. Смутная греза привела меня на берега Нила. Здесь, в колыбели истории, я думаю найти какую-нибудь нить, которая, через развалины и могилы настоящего, связывала бы первоначальную жизнь человечества с новой жизнью, которой я ожидаю.

София приходит на помощь юному философу и хочет открыть тайны новой вселенской религии. Философ спрашивает ее, есть ли эта религия – христианство в его совершенстве, или принцип ее иной?

«Что называешь ты христианством?» спрашивает София. «Есть ли это папство, которое, вместо того, чтобы очиститься от крови и грязи, которыми оно покрылось в течении веков, освящает их и утверждает, объявляя себя непогрешимым? Есть ли это протестантизм, разделенный и немощный, который хочет верить и не верит больше? Есть ли это слепое невежество, рутина масс, для которых религия есть только старая привычка, от которой они понемногу освобождаются? Есть ли это корыстное лицемерие священников и великих мира? Знай, что вселенская религия приходит, чтобы разрушить все это навсегда».

«Я не смешиваю», отвечает философ, «состояние христианского мира в известную эпоху с самим христианством. Я разумел живое христианство, а не его могилу. Я спрашиваю, есть ли вселенская религия – религия Христа и апостолов, религия, основавшая новый мир, которая воодушевляла святых и мучеников?».

София. Я отвечу на твой вопрос сравнением: вселенская религия есть плод великого дерева, корни которого образованы первоначальным христианством и религией средних веков. Современные католицизм и протестантизм – это иссохшие и бесплодные ветви, которые время срезать. Если ты называешь христианством все дерево, тогда вселенская религия, без сомнения, только последний плод христианства, христианства в его совершенстве. Но если ты даешь это имя только корням и стволу, тогда вселенская религия не есть христианство. Ты должен знать еще, что те же корни произвели еще другие побеги; невежественные люди, видя эти растения, столь отличные по форме и величине, думали, что они

и происхождения иного. Но когда пришло время сбора плодов, их ошибка становится очевидной, так как весь мир видит, что все эти деревья приносят те же плоды и следовательно того же происхождения. Философ высказывает опасение, что самый термин «вселенская религия» может дать повод к ложному толкованию. Есть люди, считающие себя призванными универсализировать христианство. Прием, которым они для этого пользуются, – самый простой и легкий. Они удаляют из христианства все, что в нем есть положительного и характерного и таким путем получают нечто, что не есть ни христианство, ни исламизм, ни буддизм, вообще ничто, и это ничто они называют вселенской религией, религией Человечества и еще другими красивыми именами. Я боюсь, чтобы с первого разу не приняли истинную вселенскую религию за невинное произведение этого рода: я знаю также евреев и мусульман, которые поступают таким же образом с Торой и Исламом. Я думаю, что это встречается также среди браманов и буддистов. Все эти славные люди, не зная друг друга, приходят к результатам, которые походят друг на друга, как один ноль на другой. И они считают себя великими мыслителями и героями человечества. Есть и такие, которые идут еще дальше: они удаляют из своей вселенской религии не только содержание положительных религий, но вообще религиозные начала: Бога, душу и всю сверхчеловеческую реальность.

София. Я не знаю этих людей. Что же касается недоразумения, о котором ты говоришь, я его предупредила сделанным только что сравнением. Чтобы получить плоды, не срубают дерево, на котором они растут.

Философ. Quasi-вселенская религия этих славных людей походит на голый и высокий ствол, который не может давать ни плода, ни тени.

София. А истинная вселенская религия – это дерево с бесчисленными ветвями, отягченное плодами и простирающее свою сень на всю землю и на грядущие миры. Это не произведение абстракции или обобщения, это реальный и свободный синтез всех религий, который не отнимает у них ничего положительного и дает им еще то, чего они не имеют. Единственное, что она разрушает, – это их узость, их исключительность, их взаимное отрицание, их эгоизм и их ненависть.

Далее София приступает к определению «абсолютного начала всех вещей». Философ выдвигает гносеологическое сомнение в возможности познания абсолютного начала. «Можешь ты мне доказать, что абсолютное начало (le principe absolu) всех вещей доступно нашему познанию?».

«О бедные дети», восклицает София, «всегда принимающие слова за мысли и мысли за реальность! Вопрос о словах! Не знаешь ты разве, что познание – а я говорю о познании реальных сущностей, а не логических и математических абстракций – не знаешь ты разве, что познание относительно по самой своей природе? Познают что-либо в том или другом отношении, познают более или менее. Знаешь ты меня, которая говорит с тобою?

Философ. Еще бы мне тебя не знать!

София. Ты знаешь меня несомненно как явление, то есть поскольку я существую для тебя, или в моем внешнем обнаружении. Ты не можешь знать меня, какова я в самом деле, то есть мои интимные мысли и чувства, каковы они во мне и для меня. Ты их познаешь только, когда они обнаруживаются внешне, в выражении моих глаз, в моих словах и жестах. Это только внешние проявления, а между тем...

Философ. А между тем, когда я смотрю в глубокую лазурь твоих очей, когда я слышу музыку твоего голоса, разве это внешние явления зрения и слуха, которые я воспринимаю?

Боже мой! Я знаю твои мысли и твои чувства и через твои мысли и чувства я знаю твое внутреннее существо.

София. И таким образом все существа познают друг друга. Через внешние явления познаются явления внутренние, а через эти сущность (l'être), то, что философ назвал умопостигаемым характером (le caractère intelligible).

Философ. Итак, философское различение существа в себе и явления ложно?

София. Ложно не их различение, а их произвольное разделение. Невежество смешивает существо в себе и явление. Абстрактная философия их абсолютно разделяет. Ты должен идти царским путем. Между смешением и абстрактным разделением есть средний путь: различение и соответствие. Явление не есть существо в себе, но оно находится с ним в определенном отношении, оно ему соответствует».

Итак, если невозможно познать абсолютное начало в себе, возможно относительное познание его в его проявлениях. Получив ответ на возражение скептицизма, философ переходит к возражению противоположного характера, очевидно имея в виду Гегеля.

Философ. Но что скажешь ты о философах, представляющих прямую противоположность скептикам, говорящих, что, познавая обнаружения бытия[252] в их общих формах, мы познаем абсолютно и непосредственно само бытие и что таким образом бытие не отличается от этого познания?

София. Подобная теория предполагает, что бытие, проявляясь, то есть действуя, переходит без остатка в свое действие, перестает быть самим собой, теряет свое собственное существо. Так как, раз действие предполагает действующего,

---

[252] С. в этом сочинении постоянно употребляет термин l'être. По-русски приходится передавать его разными словами: то через «существо», то через «сущность», то через «бытие».

если действующий перестает быть, всякое действие также прекращается: ничто не производится! Наконец София переходит к определению абсолютного начала вещей. Оно само не есть бытие (l'être).

«Мы должны сказать, что абсолютное начало не есть бытие, то есть оно не может быть ни непосредственным предметом наших внешних чувств, ни непосредственным субъектом нашего внутреннего сознания. Что оно не есть бытие, ты можешь видеть еще с другой стороны. Оно – начало всякого бытия; если бы оно само было бытием, получилось бы бытие вне всякого бытия, что нелепо; таким образом ясно, что начало бытия не может быть определено как бытие.

Философ. Тогда я должен определить его как не-бытие?

София. Ты мог бы с успехом это сделать и в этом ты только последовал бы примеру многих великих богословов и даже богословов православных, которые нисколько не смущались, называя Бога *не-бытием*. Но, чтобы не смущать робкие умы, лучше от этого воздержаться. Так как под *не-бытием* заурядный человек всегда понимает недостаток или отсутствие бытия. А очевидно, что в этом смысле не-бытие не может стать предикатом абсолютного начала. Мы видели, что, обнаруживаясь, то есть переходя в бытие (реализуясь), оно не перестает оставаться в себе самом, оно не теряется, не истощается своим обнаружением... Если ты определяешь лишение или недостаток как бессилие (impuissance), противоположное будет мощь, или положительная возможность, сила. Таким образом абсолютное начало, не будучи как такое бытием, есть сила бытия, что очевидно, так как оно обнаруживается, то есть производит бытие. И так как, обнаружаясь, оно не может истощиться или перейти без остатка в свое обнаружение, оно остается всегда *силой*[253] бытия, так что это

---

[253] Puissance и могущество, и возможность. Здесь очевидно «потенция» бытия.

его постоянный и собственный атрибут. И так как имеющий силу превосходит то, над чем он ее имеет, мы должны сказать, что абсолютное начало превосходит бытие, что оно над ним, что оно есть Superens-hyperusios. Аналитически ясно, что абсолютное начало в себе самом есть единое и простое, так как множественность предполагает относительность. Это единство и абсолютная простота есть первое определение абсолютного начала, под которым оно было познано Востоком, и, так как религиозный человек всегда желает стать как его Бог, и этим путем соединиться с Ним, постоянным стремлением восточных религий было заставить человека отвлечься от всякой множественности, от всех форм и таким образом от всякого бытия. Но абсолютное начало есть начало всякого бытия; единое есть начало всей множественности, простое – начало сложного, чистое от всех форм производит их все. Оно есть hen kai pan. Таким образом те, кто хотят познавать его лишь как hen, только в его единстве, познают его только наполовину, и их религия, как теоретическая, так и практическая, остается несовершенной и бессильной. Таков общий характер Востока. Западная тенденция наоборот в том, чтобы пожертвовать абсолютным и субстанциальным единством множественности форм и индивидуальных характеров, так что они даже не могут понять единство иначе как чисто внешний порядок – таков характер их Церкви, их государства и их общества. Вселенская религия призвана соединить эти две тенденции в их истине, познать и осуществить истинное hen kai pan.»

Во втором диалоге «Le principe absolu comme dualité» Соловьев переходит к реализации единого и простого в себе, стоящего выше всех предикатов и выше бытия абсолютного начала – в иерархию существ. Здесь из сочетания каббалистических и теософических элементов с учением Августина о Троице намечается та философия Троицы, которую Соловьев

развивает в «Философских началах цельного знания», «Чтениях о богочеловечестве» и третьей части «La Russie et l'Église universelle». Уже в «Чтениях о богочеловечестве» каббалистические элементы идут на убыль, уступая место богословской концепции, а в La Russie Соловьев пытается примирить свое тринитарное учение с католической догматикой, введя в него как необходимый элемент идею filioque. Далее мы увидим, что из своего сочинения *Sophie* Соловьев сохранил до конца жизни и что было отброшено им, как юношеское заблуждение. Заметим пока, что Соловьев всегда был сторонником апофатического богословия и в конце жизни, в статье «Понятие о Боге», направленной в защиту Спинозы против Введенского, он отстаивает «сверхличность» Бога. Сюда же относится и полемика с Лопатиным и отрицание «динамических субстанций», которыми друг его юности хотел «запрудить весь Гераклитов ток».

В первом диалоге абсолютное начало или Бог определяется как небытие или потенция (puissance) бытия. Во втором диалоге София дает такое же определение материи как потенции. На вопрос философа, как можно давать одни и те же определения противоположным началам, София отвечает:

«Созерцай сходство и созерцай различие. Абсолютное начало и мировая материя в равной мере отличаются от бытия; атрибуты бытия им в равной мере чужды. И также оба они не суть не-бытие, не суть ничто, они – потенция (puissance) бытия. Но абсолютное начало есть потенция положительная (puissance positive), свобода бытия (la liberté de l'être); материальное начало, будучи необходимым стремлением, тяготением к бытию, есть его потенция отрицательная, оно только *лишение*, отсутствие бытия (la privation, le manque de l'être).»

Это упорно проводимое Соловьевым воззрения на Божество, как на потенцию бытия, отрицание *личного* Бога

и признание Его «сверхличности», показывает, что Соловьев всегда держался Платоно-Спинозовских воззрений, что ставило его в оппозицию как к картезианским воззрениям Л. М. Лопатина, так и к аристотелическому богословию, для которого Божество есть actus punis.

Во втором диалоге мы находим те Канто-Гегелевские трихотомии, о которых Соловьев писал Цертелеву[254]. На полях набросана схема, почти дословно воспроизведенная в «Философских началах».

Эн Соф	Логос	Софиа
дух	воля	благо
ум	знание,	истина
душа	чувство	красота

Сравним с трихотомиями «Философских начал»:

1.	2.	3.
Сущее как такое (Бог)	Сущность (содержание или идея)	Бытие (способ или модус бытия, природа)
1. Дух	Благо	Воля
2. Ум	Истина	Представление
3. Душа	Красота	Чувство

Различие в том, что в позднейшей схеме термины теософические заменены философскими: вместо Эн-Соф – Сущее как такое (Бог), вместо Логос – Бытие (способ или модус бытия, природа), вместо Софиа – Сущность (содержание или идея). В третьей группе «знание» заменено «представлением».

Божественная природа раскрывается в триединстве Души, Ума (Intellecte) и Духа (Esprit). Функция души есть любовь, функция Ума – мысль, функция Духа – блаженство (la béatitude), свобода, покой. Соотносительная природа этих состояний очевидна. Человек мыслит, чтобы быть счастливым,

[254] П., II, стр. 227.

он счастлив, любя и мысля. Вообще любовь есть начало или причина, мысль – среда или средство, и блаженство или покой есть конец и цель. Человек есть совершеннейшая из органических форм, соединяющая в себе всеобщность (l'universalité) с индивидуальностью.

«Мы должны сказать», заканчивает София, «что абсолютное существо в своем конкретном обнаружении есть великий человек, человек абсолютно вселенский и в то же время человек абсолютно индивидуальный. Как три ипостаси в совершенстве индивидуальны, и великий человек вмещает в себе трех людей: человека духовного (spirituel), человека разумного (intellectuel ou rationnel) и человека душевного (animique). Нормальный пол человека душевного есть женский, человека разумного, который есть супруг души, – мужской, Дух – выше этих различений». Далее мы увидим, что эта «совершеннейшая из органических форм», этот «великий человек» отождествляется для Соловьева с исторической личностью Богочеловека – Христа.

Таковы две первые главы «мистико-теософо-философо-теурго-политического» трактата. Конечно, это только черновые наброски, тот первобытный хаос, из которого впоследствии выделяются строгие и законченные схемы. Для последователей Соловьева представляет особый интерес следить за рождением его миросозерцания, в безобразных и бесформенных грудах улавливать зародыши будущего.

4-го марта Соловьев пишет матери из Каира:

«Пищи себе в Египте не нашел никакой, а потому через восемь дней и уезжаю отсюда в Италию вместе с Калачевым (сыном директора архивов), который жил здесь все время. Цертелев уезжает еще раньше»[255].

---

[255] П., II, стр. 23.

20-го марта он извещает мать уже из Сорренто:

«Покинув землю Египетскую 12 марта, после благополучного плавания прибыл в Неаполь 16-го, где пробыв два дня и отправив вам телеграмму о высылке денег, уехал в Сорренто вместе с Калачевым. ...Сорренто, как вам, вероятно, известно, есть маленький приморский городок в виду Неаполя и Везувия и отличается всевозможными красотами природы, которыми я, впрочем, не успел еще насладиться по причине непрерывного дождя и бурных ветров, свойственных этому месяцу. Живу я в довольно дешевом отеле над самым морем и думаю пробыть здесь до конца апреля, «который в Италии есть лучший месяц»[256].

Возможно, что «дешевый отель над самым морем» есть старый отель Cocumella, где впоследствии жил Павел Бакунин (брат известного Михаила) и Михаил Сергеевич Соловьев. Описание этого отеля и сада, как раз в то время года, в какое жил там Владимир Соловьев, дает И. Тэн, в своем «Путешествии по Италии»:

«Я провел час в саду гостиницы: это терраса на берегу моря, на полу-горе. Такое зрелище дает ощущение полного счастья. Кругом дома – сад, весь зеленый, населенный лимонными и апельсиновыми деревьями, обремененными плодами, как яблони в Нормандии. Фрукты падают на землю у подошвы деревьев. Другие деревца и растения бледной или голубоватой зелени покрывают массив скалы. На голых ветках персиковых деревьев начинают раскрываться розовые цветы, нежные и хрупкие. Пол выстлан синеватыми блестящими изразцами и терраса круглеет над морем, дивная лазурь которого наполняет все пространство»[257].

---

[256] П., II, стр. 24.

[257] Ипполит Тэн. Путешествие по Италии. Перевод П. П. Перцова, т. I, стр. 36.

В этом отеле – древнем монастыре иезуитов – написана замечательная третья глава «Софии» – «Процесс космический и исторический».

Посвященный в тайну трех Божественных миров, философ вопрошает Софию, откуда же произошел тот мир, в котором мы живем, движемся и существуем. Если в трех Божественных мирах все едино и духовно, то в этом «четвертом» мире господствуют противоположные начала: множественность, разделение, ненависть, грубая материальность.

«Это не четвертый мир», отвечает София, «это только третий мир, мир душ и тел, в состоянии отделения от двух первых миров».

Происхождение этого мира вражды и разделения объясняется падением души. Душа находится между двумя силами: Божественной силой Ума и идеального мира, который ею управляет, и противобожественной, демонической силой натурального или внешнего Ума, силой аналитической и негативной, которой она управляет. Сама по себе Душа женственна, и ее блаженство и сила в подчинении мужской активной силе Божественного Ума. Освобождая в себе слепое хотенье, утверждая себя в своей самости, Душа из состояния пассивности и потенциальности переходит в состояние активное, сама становится Духом, но Духом зла, она уже более – не Душа, а Spiritus – дух тьмы и зла. «Душа есть Сатана, здесь мудрость». В своем падении Душа «порождает» Сатану, слепого космического Духа, и Демиурга – силу разумную, но негативную и внешнюю, начало формы, порядка и отношений, но чисто внешних. Начинается космический процесс, bellum omnium contra omnia. В борьбе с Демиургом космический дух – Сатана производит *время*, изменения, движение, нарушение порядка. Демиург в борьбе с Сатаной производит *пространство*, порядок, покой, (stasis), статический принцип.

Борьба Сатаны и Демиурга есть космогония, а Душа в состоянии распадения и страдания является материей или субстратом процесса. В борьбе с Демиургом Сатана сосредотачивается, сгущается, производит тяжесть и инертность материи. Область Демиурга – эфир или невесомый флюид, формы которого теплота, свет и электричество. Эти явления – только модификация эфира в его отношениях к материи; также как механическое движение, звук и химизм. Разреженность и легкость – типичные черты эфира, как сгущенность и тяжесть – типичные черты материи. Таким образом видимый мир представляет материальное ядро, окруженное тонкой и эфирной атмосферой. Центр занят космическим огнем, холодным и темным – domus Saturni. Демиург со своей воздушной армией проникает везде в ядро космического духа, везде вносит вражду и разделение. Слепой враг изгнан из центра, раздроблен на куски, и таким образом возникает множественность звезд и планет. Главные свои усилия Демиург направляет на Солнце. Он окружает его эфирной атмосферой и старается проникнуть в его центр. Дух Космоса противится ему и напрягает все усилия, чтобы разорвать эфирную атмосферу. Борьба была бы бесконечной, если б Демиург не употребил военную хитрость. Он уступил во многих пунктах, и масса материальных атомов, не встречая сопротивления, оторвалась от Солнца и рассеялась в пространстве, образовав солнечную систему. Пятна на Солнце – остатки трещин, образованных атомами при их падении. Ослабленное солнце не может противиться Демиургу и становится его престолом, оно не имеет материального ядра, но всецело проникнуто эфиром. Земля стала наиболее дифференцированной и органической, способной воспринимать воздействия Души. Из планет Сатурн всего менее подвержен воздействиям Демиурга, это планета хаотического Духа Сатаны.

Душа мира, локализованная на земле, овладевает ею и производит живую душу, организм в собственном смысле. Соловьев принимает теорию Дарвина в ее законных границах, объясняя происхождение видов естественным подбором и борьбой за существование. Но не следует забывать, что основа творения – хаос, порядок и закон – только на поверхности. Наконец космический (теллурический) процесс приходит к образованию совершеннейшего из организмов – человеческого, в его двух видах, мужском и женском. Мужской организм носит на себе печать Демиурга, женский организм от нее более или менее свободен. Цель космического процесса – реализация Души и Бога в Душе, создание индивидуального человеческого организма. Цель исторического процесса – создание совершенного социального организма. История – также борьба Сатаны с Демиургом, бесконечная вражда и война. Сатана хочет подчинить себе возможно большее число людей и создать видимость единства. Эгоистическая воля – место Сатаны в человеке, разум, справедливость – место Демиурга. Первый Бог, которому поклоняется человечество – Дух космоса, хаотическое желание, которое находится в основе мира. Господство Сатаны оспаривается Демиургом, и мифология создана борьбой Демиурга с духом хаоса в человеческом сознании. Мифологический процесс следует процессу космическому, и в нем различаются три периода: 1) уранический или астральный, 2) солнечный и 3) теллурический или органический[258]. Мифологический процесс кончается освобождением Души, появлением сознания (la conscience). Дух космоса и Демиург не теряют совершенно своей власти, но эта власть более не слепая, она подчинена сознанию. Начинается исторический процесс,

[258] Здесь С. повторяет схему своего первого сочинения «Мифологический процесс в древнем язычестве».

действующими лицами которого являются три народа: индусы, греки (впоследствии замененные римлянами) и евреи. У индусов душа, едва освобожденная от господства космических сил, опьянена своей свободой и сознанием своего единства с Божеством. Она грезит, и в этих грезах все высшие создания человечества находятся в зародыше: философия, поэзия, магия. Но все это в смутной форме, как во сне, все смешивается, все есть одно и все есть ничто. Буддизм сказал последнее слово индусского сознания: все, что есть и чего нет, в равной мере иллюзия, сон.

У греков и римлян душа освобождается не только от космических сил, но и от самой себя и начинает получать воздействия от своего божественного супруга, вечного Логоса – красоту и разумность, искусство и философию, нравственный порядок у римлян. Но у греков и еще более у римлян вдохновение Логоса еще искажено его обезьяной – Демиургом. Поэтому греческая философия в первый раз кончается софистикой, а во второй – скептицизмом, а греческое искусство слишком часто представляет более красоту внешних очертаний тела, чем внутреннюю красоту, красоту выражения. Поэтому также нравственный строй римлян производит внешний строй, основанный на насилии. Кроме того, греки и римляне воспринимают Логос только идеально, как идею, но Душа больше, чем идея, и то что она воспринимает только как идею, в конце концов теряет над ней свою силу. Душа есть личность, я (ego), а сильная личность, хотя бы без всяких идей, есть уже нечто. Так как у греков и римлян личность была слабо развита, то, когда они потеряли свои идеи, у них ничего не осталось. Нужен был народ ультраиндивидуалистический и даже эгоистичный, чтобы спасти человечество. Этот народ нашелся – Евреи. В еврействе Душа начинает воспринимать вдохновение божественного Духа, первой ипостаси, еще сохраняя печать первой натуральной

ипостаси, Духа хаоса или Сатаны. Цель мирового процесса – произведение совершенного социального организма, Церкви. Первая из невоплощенных душ, которая всецело отдает себя логосу, полюбив его (en devenant amoureuse), соединяется с ним и становится его индивидуальной человеческой душой. Когда идеальное соединение человечества с логосом доказало свою несостоятельность в греческой и римской культуре и когда, с другой стороны, религиозный и национальный эгоизм евреев превратился силою вещей в универсализм, в момент, когда везде на Востоке и Западе человек находил мир пустым и хватался за самоубийство, как за единственное средство против отчаяния и тоски, в этот момент божественный логос, соединенный с человеческой душой, родился в Иудее. Так как при рождении нашего Спасителя форма уже была дана божественным логосом, не было нужды в отце. Что вообще для произведения животного организма соединение полов не имеет безусловной необходимости, доказывается партеногенезисом у многих животных, например у пчел. Нет безусловной разницы между организмом человека и других животных. Таким образом материальная возможность партеногенезиса при рождении нашего Спасителя не может быть оспариваема.

По своей смерти, воскресении и вознесении наш Спаситель стал единым главой Церкви невидимой и видимой, образовавших единый живой организм. С этих пор начинается окончательное влияние мира невидимого на видимый. Но, прежде чем достичь своей цели, Церковь должна была еще выдержать великую борьбу с силами века сего, которые, низвергнутые, но не уничтоженные, только изменили сферу своего действия. До явления Христа они действовали на человека главным образом через внешнюю природу. После наступления христианства эта внешняя природа потеряла свою власть над человеком. Природа стала совершенно внешне объективной

и материальной для человека, она материализовалась, то есть была подчинена человеку, и следовательно не могла более его ограничивать. Силы века сего, чтобы иметь какое-нибудь влияние на человека, должны были действовать в новой сфере. Это им было возможно, так как человечество естественно не могло быть возрождено внезапно и в его целом. Первоначальное христианство не было религией абсолютной и имело границы. Эти границы – теоретические и практические. Во-первых, христианство, только что победившее Дух хаоса (Сатану), не могло быть беспристрастно к едва побежденному врагу. Будучи результатом борьбы, оно должно было сохранить следы борьбы и ненависти, особенно у умов более практических, чем созерцательных, у людей воли, а не ума. Эти люди не могли видеть в Сатане орган Божества, они видели в нем только его врага, отсюда дуализм, отделение царства Божия от царства Сатаны, разделение людей на избранных и осужденных, учение об аде и вечных муках, – все эти нелепости и ужасы, которые кончились разрушением исторического христианства.

К дуализму теоретическому присоединился дуализм практический. Христос первоначально явился принципом иного мира, ничего не имеющего общего с вещами мира земного (Бог и Цезарь). Это конечно было положение временное, потому что постепенно Церковь должна была проникнуть собой государство, стать его духом, всецело овладеть сердцами, мыслями и жизнью людей. Пока государство было языческим, между ним и Церковью возможна была только борьба. Демиург, который с пришествием Христа, когда Сатана был заключен в бездне, занял его место в мире, увидев, что от преследований Церковь только красивеет, пустил в ход другое средство. Через Царя, находившегося вполне под его влиянием (Константина), он совершил внешнее, притворное, т. е. мнимое подчинение (государства) Церкви, нисколько

не изменив принцип языческого и демиургического государства, не преобразуя его и не христианизируя. Империя Константина ни в чем существенном не отличалась от империи Диоклетиана. Церковь приняла компромисс, и образовался социальный гермафродит под именем Византийской империи (Bas-Empire). Иначе обстояло дело на Западе. Там Церкви приходилось иметь дело не с организованным государством, а с хаотическими силами варваров. Она сохранила свой авторитет, подчинила варваров, но не имела внутренней силы для их возрождения. Христианизация варваров была только индивидуальной; массы оставались в язычестве, и в феодализме образовали силу, враждебную папству. В борьбе с империей и феодализмом Церковь потеряла свой чисто духовный и мирный характер и преобразовалась в воинственную монархию пап. В земных сферах естественно побеждают земные силы. Восторжествовав над империей, папство было побеждено феодальными королями. К концу Средних Веков Демиург имеет двойной успех, и в победе королевства над папством и в преобразовании самой Церкви в земную силу. Далее разум, подавляемый церковным авторитетом, возмутился и разрушил Церковь, но так как Церковь была единственной представительницей христианства, то отрицание Церкви явилось отрицанием самого христианства, которое (отрицание) пошло вперед быстрым шагом. Епископальный протестантизм, пресвитерианство, унитаризм или социанизм, деизм, атеизм (или материализм). Прогресс Демиурга в сфере практической: королевский абсолютизм, парламентаризм, республиканизм, социализм и анархизм. Теперь, когда разрушились все внешние или демиургические силы жизни, Душа должна искать в себе самой принципы новой жизни. Она должна вернуться к себе, отвлечь свои силы от внешнего, сосредоточиться, потенцироваться. Это возвращение души

начинается с теории. Отсюда развитие современной спекулятивной философии, которая хочет создать внутренний мир. В этом ее отличие от древней философии – та есть философия объективного логоса, между тем как современная философия – философия субъективной души, души в себе самой. Современная поэзия есть также проявление души в виду ее субъективного характера. Мысли души выражаются современными философами. То, что она думает, она сообщает людям, способным понимать и хорошо выражать ее откровения. Это теоретическое воплощение Софии – развитие современной философии – Яков Бэме, Сведенборг, Шеллинг. Реальное воплощение Софии – Вселенская религия.

С 1878 г. наступает новая, третья эра. В первом периоде, до Рождества Христова, на человека воздействовали души еще невоплощенные, не искушенные опытом, наивные, гении (наивность – характерная черта гения). Во втором периоде господствует влияние мертвых (от Р. Х. до конца XIX-го века), отсюда его характер, сознательный, рефлективный, экспериментальный. В третьем периоде (начало его 1878–86 г.г.) разделение мертвых и живых прекращается, два мира соединены. Когда невидимое человечество делается более многочисленным, чем человечество видимое, оно наводняет это последнее.

За вторым диалогом следует маленькая третья глава: «La morale et la politique». Динамическая форма, постепенно оскудевшая во втором диалоге, здесь окончательно уничтожается.

Мораль вселенской религии выводится из понятия любви. «Вселенская религия – религия души, специальная функция Души – любовь, мораль этой религии не может иметь другого принципа кроме – любви». Любовь здесь разумеется эротическая, которую Соловьев всегда считал наиболее высокой

и совершенной формой любви, ссылаясь на брачные символы «Песни песней» и «Откровения Иоанна».

Любовь имеет три степени. Любовь натуральная, которая в своем происхождении есть любовь половая, но может быть распространена и на другие отношения, происходящие из отношений половых.

Любовь интеллектуальная, которой мы любим то, что не знаем непосредственно, или, лучше сказать, предметы, которые недоступны непосредственно нашим чувствам. Она также может более или менее расширяться. Это патриотизм, любовь к человечеству, наконец любовь к Богу, как общему началу всего или мировой субстанции. Amor Dei intellectualis Спинозы – последняя степень этой любви.

Натуральная любовь обладает самопроизвольной силой, но у нее не достает всеобщности, любовь интеллектуальная имеет всеобщность, но у нее не достает самопроизвольной силы. Третья степень, которая есть синтез двух предыдущих, соединяет самопроизвольную силу любви натуральной со всеобщностью любви интеллектуальной – это абсолютная любовь. Чтобы иметь этот характер, она должна иметь предметом существо индивидуальное, доступное чувствам, но представляющее всеобщее начало или его воплощающее.

Всякое существо находится в отношении любви к двум существам: к одному, более совершенному, чем он, которого он любит любовью восходящей и к одному, менее совершенному, которого он любит любовью нисходящей. Но так как количество находится в обратном отношении к совершенству и так как совершенное существо едино, то предметы любви нисходящей всегда более многочисленны, чем предметы любви восходящей. Единственный предмет этой последней есть София. Она находится в непосредственных отношениях с избранниками человечества (необходимо мужчинами, так как она женщина), которые любят ее любовью восходящей

и любимы ею любовью нисходящей. Эти в свою очередь находятся в непосредственном отношении с большим количеством индивидуумов (необходимо женских), которыми они любимы любовью восходящей и которых они любят любовью нисходящей, эти в свою очередь являются предметом восходящей любви для множества мужских индивидуумов и т. д.

Среди избранников первого ряда один находится в наиболее интимных отношениях с Софией и является *великим первосвященником человечества.* Второй ряд, состоящий из женщин, образует первый совет. Затем идет третий ряд (второй мужской ряд), который дает священников второй степени или митрополитов вселенской церкви. Третий ряд (мужской) – архиепископы, 4-й – епископы, 5-й – деканы, 6-й – священники в собственном смысле, 7-й – дьяконы, 8-й – верующие, 9-й – оглашенные, 10-й – начинающие.

Второй принцип разделения – на земледельцев, ремесленников (démiurges, artisans) и священников[259].

Третье деление – по частям света. Человечество разделяется на 7 больших частей: Африка, Восток, передняя Азия (la haute Asie), Индия, Запад, Америка и Россия. Эти большие части дробятся на мелкие единицы: приходы (paroisses), кварталы (quartiers), дома или дворы и семьи. Таким образом семья только низшая ступень социальной лестницы, и лица высших степеней не могут иметь семьи в собственном смысле...

На полях рукописи первого диалога, на второй странице, набросана такая программа устройства вселенской Церкви:

1 папа

7 патриархов[260]

---

[259] Во всем построении *аристократической коммуны* чувствуется влияние «Государства» Платона.

[260] Очевидно для каждой из семи частей света.

46 митрополитов
722 архиепископа
7000 епископов
70 000 деканов
700 000 священников
700 000 кандидатов в священники

Далее непосредственно следует перевод заключительных стихов второй части «Фауста» Гёте.

Все преходящее
Есть лишь подобие.
Недостижимое стало событием
И несказанное
Здесь совершилося.
Женственность вечная
Всех нас влечет[261].

Затем продолжается программа:
4-класса: 1. Священники – Живой закон.

2. Ремесленники } рабочие, активные относительно внеш-
3. Земледельцы } ней природы, пассивные в обществе.
4. Женщины – не рабочие, пассивны в отношении внешней природы, активны в обществе.

Законодатели, производители, распорядительницы или управительницы. Далее следует переработка диалогов в форме статьи. Des trois phases du principe absolu et des trois hypostases divines. Затем три главы: I. Du besoin métaphysique de l'homme. II. De la possibilité de la connaissance métaphysique. III. De la réalité de la connaissance métaphysique.

---

[261] В двух последних стихах Соловьев повторяет ошибку, которую мы уже отмечали в письме к Цертелеву от 13 сентября 1874 г. (П., II, стр. 224). Соловьев заменяет понятие hinan понятием an. У Гёте вечная женственность влечет *вверх*, («взносит горе» в переводе Фета). У Соловьева влечет *к себе.*

Статьи прерываются медиумическим письмом, например: «Думай обо мне. Я рожусь в апреле 1878.

Софиа

«Осборн. Я открою бо̀льшую тайну. Люди могут господствовать над силами природы, если они решительно откажутся от всех земных целей. Ты ясно, о друг мой, видишь все, что нужно для этого. Ты должен стараться одолеть Демиурга в себе, чтобы овладеть силой его вне себя».

Таково это сочинение «мистическо-философо-теурго-политического содержания». Представляя из себя первый набросок будущей системы Соловьева, «Sophie» заключает в себе некоторые положения, которые Соловьев отстаивал всю жизнь. Здесь in nuce весь будущий Соловьев. Во-первых, стремление примирить мистические откровения древних религий и христианства с выводами новой философии и естественных наук. Рассматривая механические движения, звук и химизм, как модификации эфира, Соловьев ссылается на научную теорию единства физических сил. При изъяснении космогонического процесса в известных границах принимается теория Дарвина, по поводу непорочного зачатия Христа от Марии Соловьев ссылается на явление партеногенезиса у пчел. В философии – преобладающее влияние Спинозы и Шеллинга, в богословии – тяготение к апофатическому богословию Востока. Объяснение космического процесса, как результата падения Души мира (гностической Софии Ахамот), отрывания ее от небесного жениха, божественного ума и превращение ее в активную и духовную силу зла, хаоса, лежащую в основе мироздания; вера в освобождение страждущей Души мира и возвращение ее к небесному жениху – все это в очищенном и исправленном виде появляется в третьей части «La Russie et l'Église universelle». Крайне

сбивчивая и неточная терминология «Софии»[262] заменяется потом отчетливыми схемами. О Демиурге Соловьев более не упоминает. Система Соловьева в «Чтениях о богочеловечестве», и «Истории теократии» и «La Russie» постепенно христианизируется, гностические и каббалистические термины уступают место теологическим. В «La Russie» у Соловьева уже определенное стремление примирить свою космогоническую систему с католической ортодоксией. Взгляды на первоначальное христианство и католицизм в 80-х годах у Соловьева резко меняются. Из постоянных элементов миросозерцания Соловьева типично в «Софии» отрицательное отношение к индусскому сознанию, указание на превосходство *греческой* ***религии*** и философии перед индусской, и в свою очередь принижение эллинизма перед еврейством. Только еврейская душа изначала воспринимала прямые воздействия божественного логоса, только в ней было крепкое сознание личности, ego, и потому только одна индивидуальная еврейская душа, полюбив божественный логос, смогла вступить с ним в ипостасное соединение, образовав единую личность богочеловека. Философия христианской истории пережила в 80-х годах заметную эволюцию. Низкая оценка византизма осталась неизменной, но Константина, который в «Софии» является только орудием зла, Демиурга, в «Истории теократии» Соловьев величает «равноапостольным Кесарем»[263]. Если на первой странице «Софии» мы находим резкий отзыв о папстве, которое, вместо того, чтобы очиститься от вековой крови и грязи, объявляет себя непогрешимым, то в «La Russie et l'Église universelle» Соловьев обосновывает догмат папской непогрешимости. Будущее человечества уже в «Софии»

[262] Например Сатана называется то «духом космоса», то «духом хаоса», тогда как понятие хаоса и космоса прямо противоположны.
[263] Соч., IV, стр. 622.

рисуется как «вселенская церковь», возглавляемая *единым первосвященником,* которому уже дается имя «папа». В восьмидесятых годах вселенская церковь характеризуется у Соловьева как теократия, а вселенским первосвященником, который в юношеских мечтах Соловьева был первым возлюбленным Софии, является теперь действительный римский папа Лев XIII.

Соловьев скоро отказался от мысли напечатать свою «Софию», и несомненно этот отказ был внушен ему мудростью. Обнародование подобного сочинения окончательно убедило бы таких людей, как И. И. Янжул и генерал Фадеев, в сумасшествии Соловьева и он «прослыл бы помешанным иль просто дураком», он упал бы с высоты, на которую поставил себя «Кризисом западной философии», вызвал бы заслуженный смех человека политики и глубокий вздох серьезного мистика. Осуществлять свои схемы в реальной политике текущего дня, втискивать исторический процесс в «Гегелевские трихотомии» всегда было присуще Соловьеву. Здесь гениальные прозрения смешиваются иногда с детски беспомощными иллюзиями. Интерес к политике Соловьев обнаруживает во время египетского путешествия в письмах к отцу. Весьма проницательно он говорит, что «восточного вопроса до 1877 г., быть не должно, а если и будет, то самый паршивый»[264]. Мы видим, что с 1878 г., Соловьев связывал мистические чаяния, с 1878 г. наступает новая, третья эра, новое рождение Софии в сознании человечества. От этого же года Соловьев ждал больших политических событий, и не ошибся. Но что сказать о той политической и социальной программе, которую он предложил в «Софии», с разделением всего человечества на классы, по степеням «влюбленности» в Софию? Очевидно Соловьев сам чувствовал, что это бред, скомкал всю политику в несколько страничек и бросил

---

[264] П., II, стр. 20.

писать. Писание «Софии» было остановлено и неожиданной катастрофой. Соловьев расшибся, возвращаясь с Везувия, и слег в постель. О падении на Везувии Соловьев сообщает в письмах к брату Мише от 20 апреля, к Цертелеву – также от 20 апреля и в «соборном послании» сестрам, без точной даты. Из содержания письма видно, что оно написано позднее писем к брату и Цертелеву, незадолго до отъезда из Италии.

В письме к брату:

«Две недели тому назад, возвращаясь с Везувия, я упал с лошади и получил рану на колене и разбил обе руки. Четыре дня лежал без движения и теперь еще едва хожу»[265].

В письме к Цертелеву:

«Могу написать тебе только несколько слов: рука болит. Возвращаясь с Везувия, я искалечился и, может быть, останусь калекой на всю жизнь: нахожусь в состоянии плачевном и намерений никаких не имею»[266].

Цертелев в своих воспоминаниях передает о причине падения на Везувии: «К нему пристала куча мальчишек, требуя милостыни. Соловьев раздал им всю мелочь, а так как они продолжали приставать, то в доказательство, что у него больше ничего нет, бросил им свой кошелек, когда и это не помогло, вздумал спастись от них бегством»[267].

После своего падения Соловьев пролежал неделю в Неаполе, где его «лечил хороший немецкий доктор, а потом в Сорренто два русских»[268]. Приняли в нем участие и две дамы, мадам Ауэр и мадмуазель Трайн[269], «щипавшие ему корпию»[270]. Надежда Евгеньевна Ауэр, с которою Соловьев в 90-х годах встретился в Финляндии и которой посвятил

---

[265] *Лукьянов*, III, стр. 323.

[266] П., II, стр. 231.

[267] *Лукьянов*, III, стр. 325.

[268] П., II, стр. 232.

[269] Там же, стр. 28.

[270] Там же, стр. 26.

несколько стихотворений, – жена известного скрипача Ауэра. У Соловьева в Сорренто явилось к ней мимолетное романтическое чувство. Н. Е. Ауэр недавно вышла замуж и очень тосковала о своем муже, находившемся в Петербурге. Однажды, поправлявшийся от ран Соловьев просил ее провести с ним вечер. Н. Е. согласилась при условии, что Соловьев даст ей услышать голос или звук скрипки ее мужа; подобно многим, она верила в магические способности Соловьева. Когда они остались одни, Соловьев вперил в нее такой взгляд, что ей сделалось страшно. Лампа сама потухла, в воздухе явственно пронесся звук отдаленной скрипки. Лампа вновь зажглась сама собой, а измученный напряжением Соловьев упал на колени перед Н. Е. и зарыдал...

Италия Соловьеву «порядочно надоела»[271], «добродетельные дамы» уехали, рана заживала, и 27 апреля он извещает Цертелева: «на днях отправляюсь в Париж»[272].

В Париж Соловьев прибыл 13 мая, «после многих бедствий и треволнений»[273]. По дороге он останавливался в Ницце, где написано им стихотворение «Песня офитов»:

Белую лилию с розой
С алою розою мы сочетаем.

Стихотворение вызвано изучением гностической литературы. В черновом варианте читается:

Светлую Плэрому мы обретаем[274].

Здесь у Соловьева возникает тема «белой лилии»[275]. В альбоме № 1 София сообщает ему: «в марте расцветет белая лилия».

---

[271] П., II, стр. 26.
[272] Там же, стр. 232.
[273] Там же, стр. 27.
[274] Стих., изд. 7-е, стр. 301; Соч., XII, стр. 149.

Из Каира Соловьев писал матери: «Отправляюсь в Париж, где для очищения совести займусь немного в Bibliothèque Nationale, и заехав на несколько дней в Лондон, возвращусь в июле через Киев в Москву»[276].

Из Парижа он пишет отцу: «В Париже пробуду недель шесть и, захватив свои книги в Лондоне, через Остенде и Берлин возвращусь в Москву к Вашим именинам[277]. В Париже буду заниматься изданием моего малого по объему, но великого по значению сочинения Principes de la religion universelle; язык оного отдам исправить аббату Гетте, который между прочим занимается этим делом (он исправлял сочинение министра Толстого о католицизме) и к которому я имею насчет этого рекомендации от Ниццского священника»[278]. И через несколько дней, от 28 мая: «Что касается до моего сочинения, то мне необходимо его издать, так как оно будет основой всех моих дальнейших занятий, и я ничего не могу делать, не ссылаясь на него[279]». По тону письма можно заключить, что Сергей Михайлович был несколько встревожен поведением сына. Печатание в Париже сочинения «Les principes de la religion universelle» едва ли ему нравилось, а возвращение в Россию через Киев вероятно вызвало новые подозрения относительно кузины Кати... «Насколько помню, никогда не собирался туда ехать», оправдывался Владимир, забывая, что сам писал матери от четвертого марта: «возвращусь в июле через Киев в Москву».

16 мая в Париже написано гексаметрическое стихотворение «Vis eius integra, si versa fuerit in terram». Название взято

---

[275] В «Молитве об откровении великой тайны» уже говорится о «соединении роз с лилиями в долине Саронской».

[276] П., II, стр. 23.

[277] Сергей Михайлович праздновал свои именины 5 июля.

[278] П., II, стр. 27.

[279] Там же, стр. 28.

из Fabula smaragdina и переводится Соловьевым как: «Сила его цела, когда обратится в землю»[280].

Впечатления от Парижа у Соловьева отрицательные. «Здесь я ни у кого нигде не бываю (сегодня только был в русской церкви), занимаюсь дома, завтра должен получить билет для занятий в Национальной библиотеке; проклятые французы до сих пор делали мне шиканы; подлее народа не знаю (говорю я о мужском поле), хуже даже англичан и египетских эфиопов»[281]. В театре Соловьев не побывал ни разу, из известных людей посетил только Ренана, который произвел на него впечатление «пустейшего враля»[282], и о котором он говорит в письме к И. И. Янжулу от 21 мая: «пустейший болтун с дурными манерами»[283].

Мой отец рассказывал мне, что Владимир Соловьев застал маститого эпикурейца, окруженного дамами-поклонницами и что Ренан величаво изрек русскому гостю: «Jeune homme, les idées, c'est la principale chose».

«Вообще в Париже на меня напала такая тоска, что я при первой возможности, бросив все дела и занятия, устремился без оглядки в Москву», пишет Соловьев Цертелеву уже из Нескучного 19 июня 1876 г.[284] Из слов «я вернулся из-за границы две недели тому назад» можно заключить, что Соловьев вернулся в Россию около 5-го июня, очевидно не заезжая в Лондон.

А какая же была судьба книги «Les principes de la religion universelle»?

«Сочинения своего по-французски не издал по разным причинам», пишет Соловьев Цертелеву, «но, распространив

---

[280] Стих. изд. 7-е, стр. 67 и 301; Соч., XII, стр. 28 и 149.

[281] П., II, стр. 28.

[282] Там же, стр. 233.

[283] П., IV. стр. 147.

[284] П., II, стр. 233.

его значительно и снабдив надлежащим количеством греческих, латинских и немецких цитат, издам его по-русски в качестве докторской диссертации, ибо писать с этой целью какое-нибудь специальное сочинение не имею ни способности, ни желания»[285].

Итак, Соловьев надеялся получить за свою «Софию» докторскую степень! Мало он понимал тогда положение вещей, и окружающих людей, и профессора Владиславлева. Дело с докторской степенью затянулось на много лет, Соловьев должен был отказаться от мысли представить свои «философские начала цельного знания» как диссертацию, это сочинение осталось незаконченным, и Соловьев принялся за более академическую «критику отвлеченных начал».

Н. Н. Страхов писал Льву Толстому из Петербурга 12-го сентября 1876 г.:

«Владимир Соловьев очень меня порадовал. Он гораздо крепче здоровьем, не ест мясного и не пьет вина. Авось, выправится – очень этого желаю. «С кем познакомились? Кого слушали?» – «Ни с кем и ни кого» – «Что же вы делали?» – «Писал свою книгу: "*Начала положительной метафизики*", – "И даже в Париже не был ни в одном театре. Познакомился впрочем с Ренаном, который очень не понравился как человек, и с Уолессом (Wallace), которого нашел очень ограниченным. Спириты – такая шваль, что мочи нет; я совершенно излечился (то есть от спиритизма); зато могу вас порадовать – Уолесс говорил, что Дарвин понемногу делается спиритом: его жена оказалась медиумом (как у Бутлерова)". – Книга уже готова у Владимира Соловьева; будет заключать 400 страниц, он готов ее печатать и к Рождеству приедет в Петербург за степенью доктора»[286].

---

[285] П., II, стр. 233.

[286] Лукьянов, III, стр. 358.

Так окончилась эта странная научная командировка. Объехав всю Европу, Соловьев ее почти не увидел. Только Британский музей и Египетская пустыня оставили на нем неизгладимое впечатление. Возвращается он в Россию убежденным славянофилом. Восток окаменел, Запад разлагается. «Больше уже путешествовать не буду», пишет он отцу из Парижа, «ни на восточные кладбища, ни в западный нужник не поеду, а так как мне сведущие люди предсказали много странствий, то я и буду странствовать по окрестностям города Москвы»[287].

И действительно, Соловьев прожил в России безвыездно десять лет, до 1886 г. Но сведущие люди были правы в своем предсказании, потому что, начиная с 1886 года, Соловьев совершает пять заграничных путешествий, 1. в Загреб, 2. в Париж, 3. в Шотландию и Францию, 4. в Египет, 5. в Канн, не считая житья в Финляндии.

Хотя Соловьев называет Восток «окаменелым» и сравнивает его с кладбищем, называет «кучей старого мусора и нового г....»[288], все же он ему в это время ближе, чем Запад. Он подумывал и о путешествии в Индию, куда его призывали таинственные голоса. «Отправляюсь в Египет и, может быть, в Индию»[289]. И в программе разделения будущего человечества на семь частей «Запад» (то есть Европа) представляет только частью наряду с Африкой, Востоком, передней Азией, Индией и Америкой. Поразительна слепота Соловьева к Италии: «Видел Альпы, видел Ломбардию, впрочем до сих пор ничего поразительного не нашел. Русская деревня нравится мне больше итальянской»[290]. «Италия мне надоела

---

[287] П., II, стр. 28.

[288] *Лукьянов*, III, стр. 348.

[289] П., II, стр. 229.

[290] П., II, стр. 15.

порядочно»[291], и наконец в письме к Янжулу Италия называется «пошлейшей страной в свете»[292]. Ни природа, ни искусство, ни храмы Италии не произвели на Соловьева никакого впечатления. Здесь сказалось его полное равнодушие к объективному, его крайний субъективный лиризм. Любимая страна Гёте, Гоголя, Боратынского показалась ему «пошлейшей». Приблизительно то же впечатление произвела Италия и на его друга Фета:

Италия! Ты сердцу солгала.
Как долго я в мечтах тебя лелеял,
Но не родной душа тебя нашла
И не родным мне воздух твой повеял.

И в послании к Тургеневу:

Вотще, нежна и молчалива,
Перед тобой стоит олива
Иль зонтик пинны молодой,
Но вечно радужные грезы
Тебя несут под тень березы,
К ручьям земли твоей родной.

Будущее человечества для Соловьева в 1876 г. – только в откровениях новой германской метафизики и в скрытых силах славянства. Это свое кредо он скоро провозгласит в своей публичной лекции «Три силы», и будет приветствуем старыми славянофилами, возглавляемыми «дядей Юлей» Самариным, как их лучшая надежда.

Мы видели, что во время заграничного путешествия впервые зацвела поэзия Соловьева. Лондонское стихотворение «Хоть мы навек незримыми цепями...» еще производит впечатление рассуждения в стихах. Египетские стихотворения «У царицы моей есть высокий дворец» и «Песня офитов»

---

[291] П., II, стр. 96.
[292] П., IV, стр. 147.

уже полны музыки и образов. К 76-му году вероятно относится и не напечатанное при жизни Соловьева стихотворение «Близко, далеко, не здесь, и не там»[293], как мы можем предположить на основании списка заглавий задуманных стихотворений, помещенного на том же рукописном листе: 1) Сатурнину, 2) Софие Урание, 3) Hen kai pan, 4) Скованному Прометею, 5) «Проходит образ мира сего», 6) «России», 7) «Звезды», 8) «Новый май» (1 мая 1876 г.), 9) «Призраки». Подбор тем, как и дата «1 мая 1876 г.», указывают на 1876 год. Ознакомившись с интимными записями Соловьева времен первого заграничного путешествия, мы выносим впечатление, что он в 1875–76 годах был охвачен каким-то мистическим вихрем. Проглотив к 23 годам немецкую философию, богословие, каббалу, одержав блестящую победу при защите магистерской диссертации, после свидания с Софией в пустыне Египта, он чувствовал себя поставленным высоко. Вероятно, перед ним вставали соблазны вообразить себя «сверхчеловеком», тем первосвященником вселенской церкви, первым избранником Софии, о котором он писал в Сорренто. Но уже тогда у Соловьева было противоядие против соблазнов сверхчеловеческой гордыни в чувстве смирения. В том же альбоме № 1 мы находим стихи:

Когда в свою сухую ниву
Я семя истины приял,
Оно взошло – и торопливо
Я жатву первую собрал.

Не я растил, не я лелеял,
Не я поил его дождем,
Не я над ним прохладой веял
Иль ярким согревал лучем.

[293] Стих., изд. 7-е, стр. 231 и 355; Соч., XII, стр. 92 и 162.

О нет! Я терном и волчцами
Посев небесный подавлял,
Земных стремлений плевелами
Его теснил и заглушал[294].

Мистические вихри скоро улягутся в его душе. К началу восьмидесятых годов от субъективных экстазов он переходит к объективному началу церковности. Химеры его юности начинают казаться ему ребячеством... Но не будем забегать вперед.

Глава 6
Философские начала цельного знания. Чтения о Богочеловечестве. Белая лилия. Смерть отца

Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем

В. Соловьев

По возвращении из-за границы, в осеннем семестре 1876 года, Соловьев читал в Московском Университете лекции по логике и истории древней философии. В письме к Цертелеву, очевидно ошибочно помеченном 1878 годом и действительно относящемся к осени 1876 года, Соловьев пишет: «Я уже давно начал лекции в Университете, и, к удивлению моему, студенты весьма довольны и даже отдают мне предпочтение перед самим Троицким»[295].

В это время Соловьев работает над докторской диссертацией «философские начала цельного знания», и, как мы узнаем из письма Страхова к Толстому, предполагает защищать ее в Петербурге перед Рождеством[296]. Но в письме к Цертелеву он говорит уже о марте 1877 г. «...я принял два

[294] Соч., XII. стр. 89.
[295] Лукьянов, III, стр. 359.
[296] Лукьянов, III, стр. 358.

благоразумных решения: 1) публичных лекций не читать, 2) в виде докторской диссертации издать только первую, чисто философскую часть системы, именно положительную диалектику, распространив ее надлежащим образом, что потребует месяца три лишних, так что в Петербург для диспута я поеду не раньше марта»[297]. В письме к Цертелеву от 19 ноября 1878 г. еще отсрочка: «Я думаю, что наши диспуты будут одновременно, так как вряд ли я кончу к осени, – очень разрослось произведение»[298]. Здесь же впервые упоминается о критике *традиционных* начал. Как замечает Радлов, «традиционных» вероятно опечатка вместо «отвлеченных».

«Что касается до критики традиционных начал, которую я хотел поместить в "Отечественных записках", то я совсем от нее отказался по соображениям, о которых слишком долго будет писать».

Параллельно с «Философскими началами цельного знания» Соловьев начинает работать над «Критикой отвлеченных начал», постепенно, не без давления со стороны профессора Владиславлева, он отказывается от мысли использовать «Философские начала цельного знания» как диссертацию и предназначает для этой цели «Критику отвлеченных начал». В письме к Цертелеву от 16-го февраля 1879 г. слова «Диссертацию кончу наверно к лету; следовательно, защищать буду осенью»[299], вероятно имеют в ввиду «Критику». В письме от первого июля 1879 г. уже говорится ясно: «Первая (этическая) часть моей диссертации благополучно кончилась в последней книжке "Русского Вестника", и я погружен в пучину метафизики»[300]. «Философские начала

---

[297] П., II, стр. 240. Письмо это может относиться только к осени 1876 г., ибо в 1877 г. Соловьев уже оставил Московский Университет.
[298] П., II, стр. 241.
[299] Там же, стр. 247.
[300] Там же, стр. 248.

цельного знания» остались незакончены, оборвавшись на пятой главе. А жаль. М. С. Соловьев был вполне прав, говоря в предисловии к первому изданию сочинений Владимира Соловьева, что первый том заключается «Философскими началами цельного знания», сочинением, хотя и незаконченным и малоизвестным публике, но очень важным для характеристики всего мировоззрения В. Соловьева[301]. Написано это сочинение блестяще, некоторые мысли не повторялись в последующих сочинениях или выражены в них слабее. «Философские начала цельного знания» являются связующим звеном между Каирской «Софией» и «Чтениями о богочеловечестве». Некоторые страницы дословно совпадают. Первая глава «Философских начал» – «Общеисторическое введение (о законе исторического развития)» – отчасти повторяет второй (третий) диалог «Софии» – «Процесс исторический отчасти его видоизменяет и развивает, очищая от крайностей». Соловьев исходит из положения, что «субъектом исторического развития является человечество, как действительный, хотя и собирательный, организм»[302]. После предварительных замечаний Соловьев переходит к философии христианской истории. Вначале церковь противополагала себя языческому миру и государству, как духовное – плотскому, как царству зла и дьявола. «Признавая государство только как сдерживающую репрессивную силу, христианство отнимало у него всякое положительное духовное содержание»[303]. Оно было только profanum. Такое воззрение развивает Августин в «De civitate Dei». Но это было только временное положение. Церковь должна была одухотворить политическое начало, ассимилировать себе государство. Вместо этого произошел компромисс. Нет существенного различия между государственным строем

[301] Соч., I, стр. VIII.
[302] Там же, стр. 255.
[303] Там же, стр. 268.

при язычнике Диоклетиане и «quasi-христианах» Феодосии или Юстиниане: тот же принцип, те же учреждения – смесь римских республиканских форм с восточной деспотией. Юстиниан, созвавший вселенский собор, для которого «Ориген не был достаточно православен»[304], – этот самый Юстиниан издает свод римского права для своей христианской империи. Между тем христианство для того и явилось, чтобы упразднить власть закона. Если внешний закон тем не менее сохраняет свою силу, то это очевидно доказывает, что обращение было только номинальное.

На Западе церковь не вступила в компромисс с государством, а объявила ему борьбу. Там возникают три силы: римская церковь, германские дружины и порабощенный ими слой населения кельто-славянского. Это население лишено всяких политических прав и имеет значение только экономическое, как рабочая сила; это общество экономическое или земство. У этого низшего слоя появляется своя религия – катаризм или альбигойство, – возникшая на славянском востоке под именем богумильства и оттуда распространившаяся по всему кельто-славянскому миру. Эта религия погибла в потоках крови, под ударами как римской церкви, так и феодального государства. Но если не удались попытки создать земскую кельто-славянскую церковь, то протестантизм создал новую германскую и государственную церковь. Средние века были господством веры, авторитета и теологии. Против них восстал разум, начало формальное и абстрактное. Господству рационализма соответствует господство государственной идеи. Людовик XIV-й со своим абсолютизмом был тем же для государства, чем Гегель для философии. После падения рационализма выступает tiers état, земство, экономическое общество, и его религия – позитивизм. Позитивизму

[304] Соч., I, стр. 269.

в области знания соответствует социализм в области общественной. Революция, утвердившая в принципе демократию, на самом деле произвела пока только плутократию. Народ управляет собою только de jure, de facto же власть над ним принадлежит ничтожной его части – богатой буржуазии, капиталистам. Старый порядок опирался на известные абсолютные принципы, но современная плутократия может сослаться в свою пользу только на силу факта. Если признано, что материальное благо – высшая цель жизни и ему должна принадлежать высшая власть, то справедливо, чтобы богатство и соединенная с ним власть принадлежала тем, кто его производит, то есть рабочим. Стремление со стороны труда, т. е. рабочих, завладеть капиталом – ближайшая задача социализма, который есть окончательное выделение и самоутверждение общества экономического в противоположность с политическим и духовным. Но социализм, даже если бы его утопии осуществились, не может дать удовлетворения человеческой *воле,* требующей нравственного покоя и блаженства, так же как позитивизм не может удовлетворить ума, стремящегося не к фактическому познанию (то есть констатированию) явлений и их общих законов, а к разумному их объяснению. И если же формы, в которых небесная Афродита являлась на Западе, могли быть только исключительны и, следовательно, несовершенны, что и делало неизбежным их относительный упадок, то удовлетворение животной потребности не может заменить удовлетворения потребности духовной и вульгарная Афродита не может обладать венцом Афродиты небесной.

Восток, во имя исключительного монизма уничтожая самостоятельность человека, утверждает бесчеловечного Бога. Запад, во имя исключительного плюрализма, утверждает безбожного человека, признаваемого вместе и как единственное божество и как ничтожный атом. Последнее слово западного

развития – атомизм. В жизни – отдельный эгоистический интерес, в науке – случайный факт, в искусстве – мелкие подробности – вот последнее слово западной цивилизации. Будущее принадлежит третьей силе, которая явится посредником между божеским и человеческим, между единым и многим, между Востоком и Западом; носитель этой силы – народ русский. Задача России – создание цельного знания, свободной теософии, где рациональное и эмпирическое не упразднены, а подчинены мистическому началу цельного общества или свободной теократии, где церковь не вмешивается в дела государственные и экономические дела, но дает государству и земству высшую цель и безусловную норму их деятельности. Если в деятельности государственной, основанной на законе и праве, действуют мужчины, то в области хозяйственной или экономической первенство принадлежит женщинам. Если они до сих пор были домашними хозяйками, то они должны быть хозяйками и всемирного общества. Социальная демократия неизбежно превращается в гинекократию[305]. Здесь мы узнаем утопии последней главы «Софии».

Основные формы общечеловеческого организма представлены в следующей синоптической схеме:

I *Сфера творчества*	II *Сфера знания*	III *Сфера практической деятельности*
Субъект, основа – чувства.	Субъект, основа – мышление.	*Субъект* осн. – воля.
Объект, принцип – красота.	Объект, принцип – истина.	Объект, принцип – общее благо.
1. степ. абсолютная: мистика.	Теология.	Духовное общество (церковь).
2. степ, формальная: изящное художество.	Отвлеченная философия.	Политическое общество (государство).
3. степ, материальная. Техническое художество.	Положительная наука.	Экономическое общество (земство).

[305] Соч., I, стр. 287, примечание.

Во второй главе «О трех типах философии» Соловьев в противоположность эмпиризму и идеализму, неизбежно переходящему в рационализм, утверждает третий тип философии, которая определяется как «цельное знание» или «свободная теософия». Здесь первенствующее значение имеет мистицизм, определяющий верховное начало и последнюю цель знания, эмпиризм служит внешним базисом и реализацией высших начал и, наконец, рационалистический или собственно философский элемент по своему формальному характеру является посредством или общей связью всей системы.

В третьей главе Соловьев переходит к органической логике и диалектическим методом дедуцирует из понятия абсолютного первоначала все его существенные определения. Диалектика, как вид философского мышления, является впервые у элеатов, затем у Горгия. Здесь она имеет характер чисто отрицательный. Платон дал идею истинной диалектики, но не осуществил ее. Еще менее Аристотель. Гегель первый дал действительное применение диалектики, как мыслительного процесса, выводящего целую систему определений из одного общего понятия. Ошибка Гегеля: 1) в том, что он отождествил имманентную диалектику нашего мышления с трансцендентным логосом самого сущего, так что для него наше диалектическое мышление является абсолютным творческим процессом. Но эти определения сущего доступны нам первее всякой рефлексии и всякой диалектики в идеальном «умосозерцании»[306], диалектика же есть только связное воспроизведение этих идей в их общих схемах. 2) Гегель за исходную точку диалектического развития берет не понятие сущего, а понятие бытия. Но понятие бытия само по себе не только ничего не содержит, но и мыслиться

[306] Соч., I, стр. 342.

само по себе не может, переходя тотчас же в понятие *ничто.* 3) Для Гегеля сущее сводится без остатка к бытию, а бытие без остатка к диалектическому мышлению, тогда как для Соловьева мышление только один из видов или образов проявления сущего, диалектика не может покрывать собою всего философского познания и основанная на ней логика не может быть всей философией.

Переходя далее к дедукции троичности из абсолютного первоначала, Соловьев, как и в «Софии», определяет первую ипостась каббалистическим термином Эн-соф, положительное ничто, все и ничто[307]. Всякое определение есть отрицание (omnis determinatio est negatio). Абсолютное первоначало определяет, отрицает себя, полагая свое другое. Говоря, что абсолютное первоначало есть единство себя и своего отрицания, мы повторяем в отвлеченной форме слова великого апостола: «Бог есть любовь». Но как в человеческой любви одно я, отрицая себя в любви к другому, не теряется, но получает высшее утверждение, так и абсолютное первоначало, полагая свое другое, утверждается в своем собственном определении. Определения или различия сущего находятся только в логосе, их нет в Эн-софе и в Духе Святом. Получается схема: сущее, сущность, бытие. Первый субъект сущего – дух (πνεῦμα, spiritus), второй – ум (νόυς, intellectus), третий – душа (φυχή, anima). Как содержание воли сущего, идея есть благо, как содержание его ума – истина, как содержание его души – красота. Эта схема находит аналогию в человеческом опыте. Люди делятся на духовных, людей ума и душевных или чувственных. Первые, полюбив кого-нибудь, на основании этой любви составляют себе представление о любимом и степенью этой любви определяют его эстетическое достоинство. У других воля и чувство относительно известного существа

[307] Соч., I, стр. 358.

сообразуются с ранее вызванном теоретическим представлением о нем. На третьих прежде всего действует чувственная сторона предмета, и умственное и нравственное их отношение к нему определяется эстетическим аффектом[308].

Различие Соловьева от платоников в том, что для них человек духовный и есть человек ума. Выше всего ум, затем сердце, чувство, еще ниже – вожделение. Для Соловьева дух, ум, чувственность стоят на одной линии, как бы отражая в себе равенство божественных ипостасей. Выходит одно из двух: или дух, ум и душевное, совпадающее для Соловьева с чувственным, – равны по достоинству, или сами божественные ипостаси не равны. В первом случае Соловьев вступает в противоречие с христианской аскетикой, во втором – с догматикой. У молодого Соловьева видна зачарованность Оригеном, который для Юстиниана был «недостаточно православен». В его схемах Троицы заметен Оригенов субординационизм. Первое лицо определяется как «прабог»[309] (Оригенов самобог, αὐτόθεος). Особенно много сомнений возбуждают определения третьего лица. Понятие Духа Св. переходит в понятие о душе, и даже чувственности и эстетики. Человек душевный, что в христианском сознании приближается к понятию «человек плотский», оказывается человеком Духа Св., тогда как с другой стороны первое лицо определяется как Дух (πνεῦμα, spiritus). Здесь, как верно отметил Е. Н. Трубецкой, в христианские построения врывается Шеллинг, и в самую жизнь божества вводится понятие зла и разделения. Соловьев не решается, как в черновых набросках «Софии», прямо нападать на христианские представления дьявола и ада, как внебожественного мира, но обходит их полным молчанием.

---

[308] Соч., I, стр. 368, Ср. Соч. III, стр. 109.

[309] Соч., I, стр. 376.

В 5-й главе Соловьев вводит новое понятие «Софии», смутно намеченное в патриотической философии и развитое только у Оригена. Здесь Соловьев различает три логоса: первый, внутренний или сокрытый (λόγος ενδιάθετος), второй логос, открытый (προφορικός) и третий логос, воплощенный или конкретный (Христос). «Третьему или конкретному логосу отвечает и конкретная идея или София»[310].

Развитие идеи Софии мы найдем в «Чтениях о богочеловечестве» и в 3-й части «La Russie et l'Église universelle». При разборе последней мы коснемся критики Е. Н. Трубецкого, с некоторыми положениями которой нельзя не согласиться. Пока же мы ограничимся немногими словами, которыми Соловьев, вероятно, возразил бы своим критикам: «Вы обвиняете меня, что я ввожу в самое божественное бытие начало отрицания и разделения. Но догмат Троицы именно и утверждает не простое единство, которое мы находим в индусской философии и мистике Востока, а единство, в различении и во многом. Я только комментирую слова великого апостола "Бог есть любовь", так как любовь предполагает различение себя и другого, полагает объект любви. Что же касается до выведения всего мирового процесса из божественного первоначала, то ведь, настаивая на внебожественном бытии, вы ограничиваете Бога этим бытием и, подобно манихеям, утверждаете рядом с божественным бытием вечное бытие злого начала. Тогда как еще Августин утверждал, что зло есть только отсутствие бытия».

В первоначальной метафизике Соловьева нет понятия «дьявола», что является противоречием с его внутренним опытом. Мы знаем, что Соловьев имел видение дьявола, правда не в юношеском возрасте, а значительно позднее. Этот внутренний опыт был одной из причин, побудивших

---

[310] Соч., I, стр. 376.

его пересмотреть и исправить свои первоначальную систему и именно в этом пункте: в учении о злом начале.

В «Философских началах цельного знания» сказалось то отрицательное отношение к Западной Европе, которое Соловьев получил во время своего заграничного путешествия. Вернулся он на родину убежденным славянофилом. Его идея «цельного знания», основанного на мистическом опыте и «умосозерцании», была близка философии славянофилов, а еще больше сближала его с Хомяковым и Аксаковым вера в русский народ, как носителя грядущего возрождения для всей Европы, во всей чистоте восприявшего христианскую истину, не понятую и не осуществленную до конца у западных народов. Заодно со славянофилами утверждал он, что земство является средой для воплощения христианской идеи, в противоположность римско-германской государственности. Правда, эта идея земства связана у него с ересью альбигойцев и богумилов, религией кельто-славянского мира, погибшей в потоках крови под ударами римской церкви и феодального государства. Соловьев не подозревал, какой роковой силлогизм получится в результате.

M a j o r. Русское православие, как отрицание римской церкви и германской государственности, как религия земская есть будущая совершеннейшая форма христианства.

M i n o r. Альбигойство было религией земского, кельто-славянского мира, восставшее против римской церкви и германской государственности.

C o n c l u s i o. Русское православие – альбигойство, то есть манихейство.

Если идея цельного знания, построенного не на эмпирии и абстрактной мысли, а на умосозерцании и духовном опыте, обща у Соловьева со славянофилами, то надо сказать, что славянофилы были гораздо консервативнее и православнее молодого Соловьева. Если для Соловьева это цельное знание

есть «свободная теософия», если оно питается гностиками, Каббалой и Шеллингом, то для Киреевского и других это знание уже дано в богословии и аскетике православного Востока. Не надо ездить ни в Британский музей, ни в Египетскую пустыню: довольно поехать в Оптину пустынь, отдаться руководству опытного старца и изучать творения восточных отцов. А затем верить в русскую общину, в будущий мирный социализм русского крестьянства, интересы которого опекаются царем. Но славянофилы охотно прощали молодому Соловьеву то, что в их глазах являлось заблуждением. В главном он был с ними: в утверждении грядущей роли славянства как обновителя всего мира и в отрицании разлагающегося Запада, с его государственностью, техническим прогрессом и материализмом.

Подобно славянофилам, Соловьев, связанный корнями с германской философией, отдает явное предпочтение немцам перед другими европейцами. В этом отношении любопытно примечание, которым заканчиваются «Философские начала цельного знания». Народ творит свой язык по образу и подобию своему. В немецком и русском языках есть два различных слова для обозначения действительности и реальности: Wirklichkeit и Realität, тогда как у французов и англичан оба понятия выражаются одним словом: réalité, reality, что показывает, что у последних народов нет сознания нереальной действительности, и они признают только реализованную, вещественную действительность[311]. На это можно возразить во-первых, что «реальность» не есть русское слово, а философский термин иностранного происхождения, понадобившийся для выражения иностранной идеи, а немецкое слово Realität происходит от латинского корня, общего для языков французского и английского, а во-вторых, что Соловьев

---

[311] Соч., I, стр. 405.

смешивает здесь *реальную* действительность с вещественной. Для некоторых философов и прежде всего для самого Соловьева именно вещественный мир не реален.

Далее, для понятия *ничто* у англичан есть только слово nothing, что значит *не вещь, никакая вещь*, а для понятия *нечто* слово something – *некоторая вещь*. С таким же грубым реализмом англичанин говорит nobody, somebody, то есть *никакого тела, некоторое тело*, вместо *никто, некто*. Во французском языке для разных понятий *сознание* и *совесть* одно слово conscience, для *существо* и *бытие* одно слово être, для *ум* и *дух* – одно слово esprit. «Неудивительно, что при такой бедности языка французы не пошли в области философии дальше первых элементов умозрения, установленных Декартом и Мальбраншем; вся последующая их философия состоит из отголосков чужих идей и бесплодного эклектизма. Подобным же образом и англичане вследствие грубого реализма, присущего их уму и выразившегося в их языке, могли разрабатывать только поверхность философских задач, глубочайшие же вопросы умозрения для них как бы совсем не существуют»[312].

Заметим еще, что сближение славян с кельтами, в их противопоставлении германцам, Соловьев мог заимствовать у своего отца. В своих «Записках» Сергей Михайлович, повествуя о своем житье в *Бельгии* и *Франции*, говорит: «Чистый славянин, получивший воспитание русское, свободное, без гувернера-иностранца, я свободно мог предаваться влечению славянской натуры, вследствие чего не люблю немцев и сочувствую романским кельтическим народам»[313].

Свое славянофильское кредо Соловьев высказал в краткой лекции «Три силы», произнесенной им на заседании

---

[312] Соч., I, стр. 406.
[313] «Вестник Европы», 1907 г., Апрель, стр. 463.

Общества Любителей Русской словесности. Здесь повторяются мысли первой главы «Философских начал». Восток, утверждающий бесчеловечного бога – носитель первой силы, Запад, утверждающий безбожного человека – носитель второй, славянство и Россия – носительницы третьей силы, богочеловеческой. От носителя третьей божественной потенции требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства несомненно принадлежат племенному характеру Славянства, в особенности же национальному характеру русского народа... Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего, и внешнее богатство и порядок относительно ее не имеют никакого значения..., отрицательному результату этой (крымской) войны соответствовал и отрицательный характер пробужденного ею сознания. Должно надеяться, что готовящаяся великая борьба послужит могущественным толчком для пробуждения *положительного сознания* русского народа[314]. Кончается лекция резким выпадом против русской интеллигенции, которая вместо образа и подобия Божия носит образ и подобие обезьяны и творит себе кумира изо всякой узкой и ничтожной идейки. Эта интеллигенция призывается «восстановить в себе русский народный характер».

А. В. Станкевич в «Вестнике Европы» (апрель 1877 г.) возражал Соловьеву статьей «Три бессилия: три силы».

---

[314] Соч., I, стр. 238–239.

«Неужели Вам было неприятно, а не забавно читать о “Трех силах” в “Вестнике Европы”», пишет Соловьев графине Толстой[315].

Так враждебно отнесся вначале к Соловьеву тот орган, где он во вторую половину жизни был любимым сотрудником. Но сочувствие «Русского Вестника» и «Гражданина» неизбежно влекло за собой вражду кружка западников и либералов.

В воздухе уже пахло войной. В Москве работал Славянский Комитет и приобрел такую популярность, что «к И. С. Аксакову являлся какой-то господин с требованием узаконить рожденных им вне брака детей»[316]. Лекция Соловьева отвечала настроениям Московского общества, он в то время еще «не греб против течения». Но в Московском Университете он уже в 1876–77 академическом году оказался, по слову его любимого поэта Алексея Толстого, «двух станов не боец, а только гость случайный». В краткой автобиографии, написанной в мае 1887 г., Соловьев говорит: «Оставив кафедру в Московском Университете, вследствие своего нежелания участвовать в борьбе партий между профессорами, был назначен членом ученого комитета при Министерстве Народного Просвещения»[317]. 14 февраля 1877 г. Соловьев вышел в отставку. «Поводом к этому послужила распря среди профессоров Московского Университета из-за “мнения” профессора Любимова о необходимости изменения университетского устава. Мнение это было поддержано М. Н. Катковым. Однако, не следует думать, что существовали близкие отношения Соловьева с Любимовым. Впоследствии, когда вышла книга Н. А. Любимова о Каткове, Соловьев из нее сделал выводы, весьма неблагоприятные

---

315 П., II, стр. 201.

316 Там же, стр. 240.

317 Там же, стр. 185.

для славянофилов. Н. А. Любимов был так раздражен рассуждениями философа, что намеревался выступить с резким обличением Соловьева, но свои намерения он не выполнил. Отец Соловьева был в лагере противников Любимова; наш философ, увлекавшийся в то время славянофильством и находившийся в некоторой близости с Катковым, не одобрял того остракизма, которому подвергался Н. А. Любимов со стороны большинства профессоров Московского Университета. Соловьев пробыл в отставке 18 дней... 4 марта 1877 г. он был назначен членом ученого комитета при Министерстве Народного Просвещения по представлению председателя его А. И. Георгиевского. С этого момента начинается Петербургский период жизни Соловьева»[318]. Влекли Соловьева в Петербург и другие интересы, которых мы коснемся в следующей главе.

К Петербургу, который впоследствии для Соловьева стал своим, родным городом, (Дождались меня белые ночи над простором густых островов) вначале у него резкая антипатия. В 1873 г. Соловьев писал Кате в Петербург: «Знаю, что и тебе не весело одной в скверном, пустом городе.»[319] 4 мая 1877 г. он пишет отцу: «Большими делами Петербург не очень интересуется, можно подумать, что история происходит где-нибудь в Атлантиде. Я совершенно убедился, что Петербург есть только далекая колония, *на время* ставшая государственным центром. Очень жалею, что пришлось переселиться сюда в это время. В физическом отношении не могу пожаловаться на Петербург, чувствую себя совершенно хорошо»[320]. Но уже от 14 мая, в письме к С. А. Толстой в Красный Рог, «где поет соловей», вырываются жалобы на Петербург: «В Пустыньку я никак не мог попасть, прозябаю

---

[318] Э. Л. Радлов, « Вл. Соловьев», стр. 14, 15.
[319] П., III, стр. 84.
[320] П., II, стр. 29.

в Петербурге, прозябаю в буквальном смысле, ибо у нас снег и на точке замерзания, и вместо соловьев поют пьяные мещане, возвращающиеся из Демидова сада. Господи, какая мерзость и тоска!»[321] А в письме к Фету от 10 марта 1881 года Петербург называется «чухонским Содомом»[322]. Относительно своей службы членом Ученого комитета Соловьев довольно откровенно высказывается в письме к С. А. Толстой: «Оказывается, моя должность вовсе не синекура, – это ничего – un métier comme un autre, лишь бы die göttliche Sophia оставалась в стороне»[323]. И к Цертелеву: «Я уже начал свою службу в ученом комитете. Заседания – скука смертная и глупость неисчерпаемая; хорошо еще, что не часто. В библиотеке занимаюсь только con amore»[324]. И в следующем письме от 30 апреля: «Я живу весьма скромно и уединенно, читаю мистиков в библиотеке, пишу свою диссертацию, почти ни у кого не бываю»[325]. В петербургской Публичной библиотеке, как и в Британском музее, Соловьев читал «все, что только он мог читать о ней». «В библиотеке пока не нашел ничего особенного. У мистиков много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов по Софии: Georg Gichtei, Gottfried Arnold u John Pordage.

Все трое имели личный опыт, почти такой же как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Бэму, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми все-таки

---

[321] П., II, стр. 201.

[322] П., III, стр. 107.

[323] П., II, стр. 199.

[324] Там же, стр. 235.

[325] Там же, стр. 236.

оказываются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое. Познакомился немного с польскими философами – общий тон и стремления очень симпатичны, но положительного содержания никакого – пара нашим славянофилам»[326].

Между тем надвигалась гроза Балканской войны. Соловьев давно ее предчувствовал и 14 мая пишет графине Толстой: «Несмотря на все, я очень бодр. Большая история меня очень радует».

Гул растет как в спящем море.
Перед бурей роковой –
Вскоре, вскоре, в бранном споре
Закипит весь мир земной[327]...

И в альбоме № 1 записано четверостишие:

Мирный сон снится вам
Мы уж не верим снам:
Всюду лишь бранный крик,
Смерть или победы миг.

Для молодого славянофила невозможно было усидеть в Петербурге, аккуратно посещая заседания Ученого комитета и читать мистиков, когда «в бранном споре закипел весь мир земной» и проливалась кровь славян. 27 апреля он пишет графине Толстой: «Я собираюсь теперь в Пустыньку, а затем, *может быть*, в Малую Азию в объятия чумы и турок – в качестве волонтера или же корреспондента «Московских Ведомостей»; впрочем, хотя я уже писал Каткову (в ответ на его предложение писать ему корреспонденции из Петербурга, что уже совершенно бессмысленно), но все это, вероятно,

[326] П., II, стр. 200.
[327] Там же, стр. 201.

есть только «химера легкомысленной юности»[328]. И через три дня Цертелеву: «Кстати, чуть не забыл сообщить, что я тоже, *может быть,* отправлюсь в действующую армию в Малую Азию – в качестве Катковского корреспондента. Впрочем, вернее, что это только мечта воображения»[329].

В делах Министерства Народного Просвещения хранятся две телеграммы следующего содержания: «Убедительно прошу прислать скорее отпускной билет заказным письмом. Москву. Нескучное. Александрийский дворец. Необходимо для заграничного паспорта. Еду на Дунай. Соловьев». Другая – от Кишиневского губернатора на имя министра народного просвещения от 18 июня: «Испрашиваю разрешения выдать паспорт на выезд за границу Надворному советнику В. С. Соловьеву»[330].

Мы можем установить, что в начале июня Соловьев выехал из Москвы. На два дня он заехал в Красный Рог (имение Толстой в Черниговской губернии). 18 июня он пишет Цертелеву из Кишинева: «После различных перипетий, о которых не стоит писать, я наконец уехал в армию на Дунай. На два дня заезжал в Красный Рог. Здоров ли ты и не было ли с тобой чего-нибудь особенного 13-го и 14-го июня ночью? Там в моем присутствии произошла какая-то чертовщина: являлся твой дух, и я не знаю, что еще... Я теперь в Кишиневе для получения паспорта и завтра рано утром еду на место. Здесь жарко, и я устал от бессонных ночей; поэтому не пишу ни о чем подробно»[331].

---

[328] П., II, стр. 200.
[329] Там же, стр. 236.
[330] Радлов, Вл. Соловьев, стр. 15.
[331] П., II, стр. 238.

28 июля Соловьев писал матери из Букурешта: «Я писал уже вам два письма: одно из Кишинева, другое отсюда, – наверно не дошли. Я здесь уже почти неделю дожидался денег от Каткова и, не дождавшись, занял здесь и сегодня отправляюсь за Дунай.

По дороге из Ясс в Букурешт я встретил Катю и ехал с ней вместе несколько часов. Они уже второй месяц сидят без всякого дела и не видели еще ни одного раненого.

Вероятно у вас не верят официальным известиям о наших потерях при переходе через Дунай. Но это совершенно несомненно, что при переходе у Свиштого раненых и убитых было менее шестисот, да у Галаца около ста, – далеко до тридцати тысяч, о которых болтали в Москве.

Передайте папа, что я мог бы сообщить ему кой-что интересное, но предпочитаю сделать это при свидании. Пишите мне пока в Свиштово в Болгарии, в штаб действующей армии, полковнику Скалону. Отправляйте заказным – простые *наверно* не доходят.

Что у вас делается? Что Всеволод и его болезни? Я совершенно здоров все время. Вчера здесь была отличная гроза, после которой посвежало, а до того стояли страшные жары.

Поздравляю папа с именинами, а Вас с рождением, всех целую. Будьте здоровы. Возможно, что я вернусь совсем в конце июля, но возможно также, что приеду только на несколько дней в сентябре и затем возвращусь опять в Болгарию»[332].

Милитаризм настолько пробудился в Соловьеве, что он запасся в дорогу револьвером. Но на театр военных действий Соловьев не попал. Очевидно, удовлетворив своей потребности подышать воздухом Балкан и приблизиться к театру военных действий, Соловьев, поняв, что он плохой военный

---

[332] П., II, стр. 30.

корреспондент и что его револьвер едва ли будет попадать в цель, вернулся к осени в Петербург, чтобы служить славянскому делу теми средствами, которые были в его распоряжении. К январю 1876 года он объявляет 12 лекций «О богочеловечестве» «в пользу Красного Креста», но отчасти также «в пользу реставрации Царьградской Софии»[333]. Эти лекции, прочитанные в Соляном городке, были апогеем его славы, на них стекался весь Петербург.

В «Чтениях о богочеловечестве» мы найдем много повторений из «Философских начал цельного знания». Только последние чтения – 11-е и 12-е – вводят нас в круг совершенно новых идей, являясь переходом ко второму, богословскому периоду Соловьева.

В первом чтении Соловьев указывает на правоту современных противников христианства: они правы потому, что религия в наши дни является не тем, чем она должна быть. Дословно повторяет он известные нам из «Философских начал цельного знания» рассуждения о неизбежности перехода от рационализма к позитивизму и от революционной демократии, через плутократию, к социализму.

Во втором чтении Соловьев говорит о религиозном прошлом, представляемом римским католичеством, которое может быть упразднено и действительно и окончательно упразднится только таким началом, которое даст больше, чем католичество, а не будет его пустым немощным отрицанием[334]. В современной культурной борьбе (Kulturkampf) против католичества для беспристрастного человека невозможно стать ни на ту, ни на другую сторону. Католичество следует примеру своего патрона апостола Петра, вынувшего меч на защиту Христа в саду Гефсиманском и желавшего

[333] П., II, стр 242.

[334] Соч., III, стр. 15.

создать вещественные кущи для Христа, Моисея и Илии на горе Фаворской. Но современное человечество, стремящееся только к материальному благосостоянию и богатству, имеет для себя худший образец в том апостоле, который продал Христа за тридцать сребренников. Противники католичества не хотят видеть в нем правду Божию, хотя и в несоответствующей одежде, и принимают покрывающую его пыль за самую суть и идею[335]. Если католичество всегда являлось злейшим врагом нашего народа и нашей церкви, то именно поэтому надо быть к нему справедливым.

В чтении пятом Соловьев развивает учение об идеях, как живых началах. Если в формальном, рассудочном мышлении объем понятий находится в обратном отношении к их содержанию, то в мире метафизических сущностей отношение между объемом и содержанием прямое. Отвлеченное мышление служит или сокращением чувственного *восприятия,* или предварением умственного *созерцания,* поскольку образующие его понятия могут утверждаться или как *схемы явлений* или как *тени идей*[336]. Для истинного художника его идеи и образы – не продукты наблюдения и рефлексии, он видит их своим умственным взором в их внутренней целости. Тот же самый национальный гений, который впервые постиг божественное начало, как идеальный космос, тот же самый национальный гений был и настоящим родоначальником художества[337]. Познавая божественное начало как гармонию и красоту, грек познавал только некоторую сторону божества. Не в греческом идеализме, а в монотеизме Бог открывается как чистое я, или безусловная личность, как Бог живой. У греков божественное начало доступно только для воображения

---

[335] Соч., III, стр. 16.
[336] Там же, стр. 67.
[337] Там же, стр. 68.

и чувства, у евреев оно открывается воле[338]. Для грека божество все – субстанция, для еврея оно единое – личность, субъект. Но в действительности Божество больше, чем личность, оно – одно и все, и субъект и субстанция. Иудейская религия безусловного личного Бога неизбежно становится религией внешнего закона. В сознании пророков является новая, внутренняя связь с божественным началом[339]. Христианское понимание Бога было подготовлено как пророками, так и иудеями-эллинистами (Филон). «Если сущность божественной жизни была определена александрийскими мыслителями путем чисто-умозрительным на основании теоретической идеи божества, то в христианстве та же самая всеединая божественная жизнь явилась как факт, как историческая действительность – в живой индивидуальности исторического лица»[340]. «Утверждение существенного сродства между христианским догматом Троицы и греко-иудейскими умозрениями о том же предмете нисколько не уменьшает самобытного значения самого христианства, как религиозного откровения. В самом деле, оригинальность христианства не в общих взглядах, а в положительных фактах, не в умозрительном содержании его идеи, а в ее личном воплощении... Для полного логического уяснения этого основного догмата неоценимым средством могут служить нам те определения чистой логической мысли, которые с таким совершенством были развиты в новейшей германской философии, которая с этой формальной стороны имеет для нас то же значение, какое для древних богословов имели доктрины Академии и Ликея, и те, кто теперь восстают против введения этого философского элемента в религиозную область, должны были

[338] Соч., III, стр. 71.
[339] Там же, стр. 75.
[340] Там же, стр. 81.

бы сначала отвергнуть всю прежнюю историю христианского богословия, которая, можно сказать, писалась Платоном и Аристотелем»[341].

Далее Соловьев переходит к знакомым нам определениям Божества, как всеединого и троичного. Он возражает тем учителям Церкви, которые, находясь на точке зрения механического мышления, не могли понять эти идеи в их умозрительной истине. Эти учители, «будучи великими по своей практической мудрости в делах церковных, или же по своей святости, могли быть очень слабы в области философского понимания, причем, разумеется, они были склонны границы своего мышления принимать за границы разума вообще. Зато, как известно, были между великими отцами Церкви многие настоящие философы, которые не только признавали глубокую умозрительную истину в догмате Троицы, но и сами много сделали для развития и уяснения этой истины»[342]. Аналогии из мира явлений, не являясь доказательством Троичности, могут служить поясняющими примерами. Соловьев подробно останавливается на аналогии Августина в его Confessiones. В нашем духе надо различать непосредственное *бытие* его (esse), *знание* его (scire) и *волю* (veile)[343].

В чтении седьмом Соловьев определяет (как и в «Философских началах цельного знания») три субъекта бытия, как дух, ум и душу. Божественное начало есть любовь, три образа его явления: благо, истина и красота. Благо есть любовь, как *желаемое*, истина – любовь, как *представляемое*, красота есть любовь *ощутимая* или проявленная. «Абсолютное осуществляет благо через истину в красоте»[344].

---

[341] Соч., III, стр. 82.

[342] Там же, стр. 98–99.

[343] Там же, стр. 101–102.

[344] Там же, стр. 111.

В дохристианском сознании даны следующие элементы христианства: в буддизме – пессимизм и аскетизм, в Греции – идеализм, в еврействе – монотеизм, в александрийской теософии – триединство[345]. Что же в христианстве является существенно новым? «Его собственное содержание есть Христос, единственно и исключительно Христос. В христианстве как таком мы находим Христа и только Христа»[346]. И учение и мораль христианства не новы. «Специфическое его отличие от других религий в учении Христа о Себе самом, как воплощенной истине». Христос есть универсальный организм и особенное индивидуальное существо, осуществленное выражение безусловно-сущего Бога. «Как сущий, различаясь от своей идеи, вместе с тем есть одно с нею, также и Логос, различаясь от Софии, внутренно соединен с нею. София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство Христос, как цельный божественный организм универсальный и индивидуальный вместе – есть и Логос и София»[347].

Говорить о Софии не значит вводить новых богов. В книге «Притчей Соломоновых говорится, что "София" (Хохма) "существовала прежде создания мира" что Бог имел ее в начале путей своих, то есть она есть идея, которую он имел перед Собою в своем творчестве»[348]. Чтобы идея божества не была скуднее, отвлеченнее, чем наше представление о видимом мире, мы должны признать в нем свою особенную вечную природу, свой особенный вечный мир. Очищение Бога от всякого действительного определения сводит его

---

[345] Соч., III, стр. 111.

[346] Там же, стр. 112.

[347] Там же, стр. 115.

[348] Там же.

к абстракции, следствием чего является атеизм. Богу вместе с единством принадлежит и множественность, множественность субстанциальных идей, то есть потенций или сил с определенным, особым содержанием. Мы имеем три божественных сферы, три разряда живых сил: сфера чистых духов, сфера умов и сфера душ. Между этим божественным миром и нашим природным нет непроходимой пропасти. Отдельные лучи и отблески божественного мира должны проникать и в нашу действительность и составлять все идеальное содержание, всю красоту и истину, которую мы в ней находим. В этой «отчизне пламени и славы» всякий истинный поэт находит первообразы своих созданий и то внутреннее просветление, которое называется вдохновением[349].

И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.

Чтения 9-е и 10-е являются развитием второго диалога «Софии», написанного в Сорренто. Здесь излагается история космического процесса. Опять возникновение нашего мира, мира зла и страдания объясняется отпадением Души мира от божественного Логоса, утверждением ее вне Бога, вследствие чего она потеряла свою свободу и власть над творением. «Таким образом вся тварь подвергается суете и рабству, тлению не добровольно, а по воле подвергнувшего ее, то есть мировой души, как единого свободного начала природной жизни»[350]. Божественный Логос стремится привести к единству материальный мир и воплотиться в нем. Так возникают сначала формы природы неорганической, затем организм

---

[349] Соч., III, стр. 118.
[350] Там же, стр. 142.

и наконец появляется самосознание. Процесс космогонический переходит в теогонический, и боги языческих религий – это определяющие сознание порождения Демиурга и мировой души[351]. Имя «Демиурга» в «Чтениях о богочеловечестве» встречается только раз, имя «Сатана» отсутствует. Кончается десятое чтение объяснением того, почему божественный Логос появился в Иудее, мог сочетаться только с еврейской душой. Индийскому духу божественное начало открывалось как Нирвана, эллинам – как идея, только иудеям оно открывается как личность, как живой субъект, как «я». И в народном характере иудеев преобладает субъективное начало, они создали гениальную лирику псалмов, лирическую идиллию «Песни песней», но у них нет ни эпоса, ни драмы, как мы видим у индусов и греков[352]. Философия их не пошла дальше нравственной дидактики. В еврейском народе велика энергия зла, самоутверждения, эгоизма. Но, подавляя в себе эту энергию, еврейство обращает ее в потенцию добра, и народ «жестоковыйный, с каменным сердцем», становится народом святых и пророков Божиих и служит материей для воплощения Божественного Слова.

В последних чтениях, 11-м и 12-м, бросается в глаза резко-отрицательное отношение к римскому католицизму, в чем можно усмотреть влияние Достоевского. Говоря вначале о правовой теории искупления, разработанной Ансельмом Кентерберийским, Соловьев, правда, замечает, что она «не совсем лишена верного смысла», но находит, что этот смысл совершенно заслонен в ней такими грубыми и недостойными представлениями о Божестве и его отношениях к миру и человеку, какие равно противны и философскому разумению

[351] Соч., III, стр. 152.

[352] Там же, стр. 159–160.

и истинно христианскому чувству[353]. Переходя к вопросу о возможности воплощения Божества, Соловьев решительно утверждает, что в Иисусе воплощается не трансцендентный Бог, не абсолютная, в себе замкнутая полнота бытия (что было бы невозможно), а воплощается Бог-Слово. Это явление Бога во плоти человеческой есть лишь более полная и совершенная теофания, в ряду других, неполных, подготовительных и преобразовательных теофаний. Рождение второго, духовного Адама не более непонятно, чем рождение первого Адама. И то, и другое, хотя новое и небывалое, подготовлено всем бывшим. «К человеку стремилась и тяготела вся природа, к Богочеловеку направлялась вся история человечества»[354]. Далее, пояснив, что в лице Богочеловека совместились два естества и две воли, Соловьев переходит к трем искушениям зла, которым подверглась человеческая природа и воля Спасителя.

Первое – искушение плоти, превращение камней в хлеба, преодолев которое Христос получает власть над всякою плотью. Второе – искушение ума, грех гордости, победив которое Он получает власть над умами. Рабство плоти и гордость ума устранены. Является третье искушение: употребить свою божественную силу, как насилие, что значит поклониться владеющему миром началу зла. Преодолев грех духа, Спаситель получает власть в царстве Духа, и, отказавшись от подчинения земной силе, приобретает себе служение сил небесных[355].

Христианское человечество или Церковь проходит через те же искушения, но в обратном порядке: искушение духа, ума и плоти. Первому (третьему искушению Христа) подпала римская Церковь и доказала свое неверие в силу духовного добра, пользуясь для своих целей средствами насилия

---

[353] Соч., III, стр. 164.

[354] Там же, стр. 165.

[355] Там же, стр. 165–170.

и обмана. В иезуитстве христианская вера является случайной формой, а суть и цель полагается во владычестве иерархии[356]. Протестантство выступило против католического спасения как внешнего факта во имя *личной* веры. Но критерием веры является *Писание,* оно нуждается в понимании и *личном* разуме, который в конце концов становится единственным источником религиозной истины. Протестантизм заканчивается рационализмом, и здесь западное человечество подпадает второму искушению – ума. И наконец третье искушение (первое искушение Христа) – попытка положить в основание жизни и знания одно материальное начало, осуществить ту ложь, что «о хлебе едином жив будет человек»[357].

Итак, Рим и воспринявшие его культуру романо-германские народы приняли все три соблазна. В стороне была Византия и воспринявшие ее культуру народы, с Россией во главе. Восток не подпал трем искушениям, он сохранил истину Христову, но, храня ее в душе своих народов, не осуществил во внешнем действии, не создал христианской культуры. Человеческий элемент в восточном христианстве оказался слишком слабым и недостаточным, и материальная действительность пребывала вне божественного начала, откуда в восточном сознании некоторый дуализм между Богом и миром. Запад на свободе развил свое человеческое начало и создал антихристианскую культуру, византийский Восток хранит божественную святыню. «Оплодотворение божественной Матери (Церкви) действующим началом человеческим должно произвести свободное обожествление человечества... В истории христианства представительницей неподвижной божественной основы в человечестве является Церковь Восточная, представителем человеческого начала – мир Западный»[358].

---

[356] Соч., III, стр. 174.
[357] Там же, стр. 177.
[358] Там же, стр. 180–181.

Ясно, что Соловьев, как и во время писания «Софии», еще верит в грядущую всемирную религию. Элементами ее служат неподвижная святыня Восточной Церкви и человеческое, подвижное начало западной цивилизации. Католической Церкви в этой религии отводится весьма скромная роль: Матерью-Церковью является лишь Церковь восточная, а католическая – не Mater ecclesiamm, а лишь одна из составных частей западной культуры. Но характерно, что Соловьев уже во втором чтении останавливается на мысли об апостоле Петре, как патроне римской Церкви. Здесь зерно его будущих идей. Что касается философии трех искушений, то всякому бросается в глаза совпадение последней главы с «Легендой о великом инквизиторе». Кто у кого заимствовал, трудно сказать. Несомненно, что весь Иван Карамазов написан под влиянием знакомства Достоевского с Соловьевым, и это знакомство пробудило в Достоевском богословский интерес, давший совсем особую окраску его последнему роману.

Ко времени «Чтений о Богочеловечестве» применимы стихи Соловьева:

В тумане утреннем *неверными* шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны и схваченная снами
Душа молилась *неведомым* богам.

Здесь все в тумане, все таинственно и чудно, шаги его неверны и душа молится неведомым богам. Но уже был близок час, когда туман рассеется и проглянет «холодный, белый день», предрассветные сны окажутся обманом, но «шаги станут увереннее» и «неведомые боги» уступят место «ведомому Богу».

На лекциях о Богочеловечестве впервые видела Соловьева моя мать, тоща двадцатилетняя девушка, приехавшая в Петербург погостить к своей замужней подруге Надежде

Александровне Безобразовой. Моя мать, Ольга Михайловна Коваленская, росла в семье одинокой и замкнутой девочкой, с рано пробудившимися мистическими исканиями. Она была мало похожа на своих братьев и сестер: раннее искусство Италии, Вальтер Скотт, Четьи-Минеи были любимой пищей ее ума. Она вырезала на деревьях имя Марии Стюарт, и в двадцать лет писала подруге из Флоренции: «Рафаэль, со своей бесконечной нежностью, прелестью и красотой образов, привязывает к жизни, ласкает и трогает, но старые мастера (Беато Анжелико например) разом отрывают тебя от всего, разом все исчезает, остается где-то далеко внизу, все, даже самые светлые и чистые человеческие привязанности. Это окончательное отречение жизни и безмятежный покой, это счастие и стремление к смерти. Счастие потому, что идешь к тому, что любишь всеми силами души, идешь наверное. Да, впереди свет и правда – то есть смерть». Можно представить впечатление, которое произвел на эту странную девочку странный пророк Софии, о котором говорили, что он слышит пифагорейскую гармонию сфер. После лекции ей захотелось познакомиться ближе с Соловьевым, и они встретились у Н. А. Безобразовой. И произошло... разочарование. Соловьев вел себя как самый обыкновенный молодой человек, много шутил и не говорил ничего особенного. Мечтательной девочке вероятно представлялось, что Соловьев будет за чайным столом «глаголом жечь сердца людей». Бедный Владимир Сергеевич! Надо же было и ему когда-нибудь отдыхать. И он отдыхал в светском обществе, свободно отдаваясь своему остроумию и пробуя свои силы в модном тогда жанре нелепых комедий. Козьма Прутков был основателем целой школы шуточной поэзии. В доме самого покойного Козьмы Пруткова, то есть графа А. Толстого, где Соловьев стал своим человеком, он был у самых истоков юмористического вдохновения. А в Москве в этом жанре упражнялся

приятель его Ф. Л. Соллогуб и два члена кружка шекспиристов А. А. Венкстерн и В. Е. Гиацинтов.

«Шекспиристами» назывался кружок бывших воспитанников Поливановской гимназии, и ядро кружка составляли три семьи: Лопатины, Венкстерны и Гиацинтовы. Шекспиристы делились на старших и младших: старшими были Николай и Лев Лопатины, Алексей Алексеевич Венкстерн, Николай и Владимир Гиацинтовы. Из младших назовем хотя бы: Александра и Владимира Лопатиных, Эраста Гиацинтова, князя Бориса Петровича Туркестанова (впоследствии епископ Трифон) и князя А. П. Кугушева (поэта, выпустившего сборник стихов). Героем и *jeune premier* был А. А. Венкстерн, юноша с большим, хотя мало развившимся поэтическим талантом (он прекрасно перевел «Ночи» и другие стихотворения Альфреда Мюссе и испанскую пьесу Морено «Спесь на спесь»)[359], всеобщий баловень, державшийся несколько гордо и замкнуто. Он играл Гамлета, принца Генриха V-го, Кориолана, Меркуццо. На характерных ролях был Л. М. Лопатин, игравший Полония, короля Генриха VI-го, патера Лоренцо и Яго.

Соловьев, не бывший учеником Поливановской гимназии, был введен в шекспировский кружок Л. М. Лопатиным, и скоро оказался со всеми на ты. Когда Венкстерн проводил лето в Испании, Соловьев писал ему из Фетовской Воробьевки:

С черноземных далеких полей
Посылаем тебе мы привет
И желаем, о друг Алексей,
Получить надлежащий ответ.

Это послание не сохранилось в бумагах А. А. Венкстерна, я цитирую его на память, помню, что оно кончалось словами:

Вероятно, теперь ты в Париже,
А, быть может, и где-нибудь ближе.

---

[359] Минувшие годы, 1908 г., № 5, 136.

Когда шекспиристы танцевали, Соловьев печально слонялся по залам с А. М. Лопатиным и доктором А. Т. Петровским, и Венкстерн называл их «тремя утопленниками». Соловьев умел танцевать и раз танцевал с дочерью Каткова, но в общем избегал этого увеселения. Равнодушный к танцам, Соловьев, в отличие от друга своего Лопатина, не признавал и театра. Сестры его Надежда, Мария и Поликсена наоборот очень увлекались театром, и в доме Соловьевых был культ Гликерии Николаевны Федотовой. Мария Сергеевна рассказывает в своих воспоминаниях, что раз им удалось затащить брата на спектакль Сары Бернар. На другой день Соловьев, как только заходила речь о спектакле, откидывал голову и говорил: «О Господи! Что это было за страдание! О Господи!»[360]. Зато Соловьев с восторгом относился к шуточным пьесам Венкстерна и Гиацинтова[361], особенно к «Тезею» и дико хохотал во время представлений, поощряя актеров. Первым опытом шекспиристов в шуточном жанре была пьеса «Альсим» или «Сон студента после 12 января». Пьеса эта еще довольно слаба. Зато вторая пьеса «Тезей» бесконечно остроумна. Сцены в Афинах у Эгея написаны Венкстерном, сцены на Крите у Миноса, где Минос строит нелепые силлогизмы, которые особенно должны были потешать Соловьева, написаны Гиацинтовым. Юмор Венкстерна сильнее, грубее, нелепее, приближаясь к юмору Соловьева, у Гиацинтова более тонкое и легкое остроумие.

В 1877 году Соловьев пишет первую, недошедшую до нас комедию «Козьма Прутков». 12 апреля он сообщает Цертелеву: «Со следующим письмом пришлю тебе комедию, написанную мной – Cong – “Козьма Прутков”. Графина (Толстая С. А.) и Софья Петровна нашли забавной и много

---

[360] Минувшие годы, 1908 г., № 5, 136.

[361] В. Е. Гиацинтов, проф. истории искусства и директор моек, музея изящных искусств, написавший исследование о Николо Пизано.

смеялись, закрывшись епанчей»[362]. И от 30 апреля: «Комедию пришлю отдельно, так как ее еще нужно переписать. Она необыкновенно глупа, и для посторонних, я думаю, даже не забавна, но ты вероятно будешь смеяться»[363]. На святках 1878–79 г. шекспиристы играли «Альсима» в доме Соловьевых, в присутствии Сергея Михайловича и маститых профессоров. Сергей Михайлович громко хохотал и остался очень доволен. К пьесе Венкстерна и Гиацинтова Соловьев приписал целый акт, третий, который вышел много сильнее и остроумнее прочих, но к чести шекспиристов необходимо добавить, что следующая их пьеса «Тезей» много выше как шуточных пьес Соловьева, так и Ф. Л. Соллогуба. Содержание «Альсима» такое: молодой поэт Альсим заключает договор с Сатаной, и тот везет его в землю трапезундов, которую характеризует так:

Там ночь всегда и темен день,
От солнца падает там тень.
Зимой – жары палящей нега
А летом в поле груды снега.
Там реки от моря текут
И горы ниже, чем долины,
Деревья корнем вверх растут
И производят апельсины.

В этой волшебной стране, где все навыворот, Альсим встречает бородатую красавицу Элеонору и женится на ней. Кончается это тем, что, после семи лет супружеской жизни, Альсим, которому надоели постоянные побои от бородатой супруги и окончательно опротивела ее борода, убивает Элеонору, и Сатана овладевает душой Альсима. В эту пьесу

---

362 П., II, стр. 235.
363 Там же, стр. 236.

Соловьев вставил целый акт (предпоследний), где введено новое лицо – профессора, с которым Элеонора изменяет мужу.

Распределение ролей было такое:

Альсим – В. Е. Гиацинтов.
Сатана – А. А. Венкстерн.
Элеонора – Л. М. Лопатин.
Профессор – Л. П. Бельский.

Особенно удалось лицо профессора, который, будучи поклонником категорического императива и из нравственных принципов не взимая со своих должников более 40 % в месяц, намеревается устранить свою жену способом экономическим, чрез сокращение питания. В этой пьесе уже заметно пристрастие Соловьева к каламбурам. Когда Альсим кричит на своего слугу: «Умолкни, чернь непросвещенная!» тот отвечает «Это точно, мы из Черни, Чернского то есть уезда». Когда Элеонора, угрожая своему супругу побоями, восклицает: «А что за сим, ты тотчас же узнаешь!», тот обиженно говорит: «Меня зовут Альсим, Альсим, а не Зосим»[364].

В кружке шекспиристов пользовалась большим успехом молоденькая кузина А. А. Венкстерна Елизавета Николаевна Клименко (впоследствии Шуцкая), которую родные и друзья звали Зизей в отличие от нескольких родственных Елизавет. Соловьев сильно за ней ухаживал, они вместе катались на коньках, а однажды Соловьев, Елизавета Николаевна и Л. И. Лопатин совершили паломничество в Троицу и посетили прозорливого старца Варнаву, о котором будет идти еще речь впереди. Однажды Соловьев подарил Елизавете Николаевне том Гейне, подчеркнув карандашом слова:

Oh, sei mein Weib, mein Vaterland, mein Vaterhaus!

---

[364] «Альсим» напечатан в сборнике «Шуточные пьесы В. Соловьева», Москва 1922 г., стр. 13–28; Соч., XII, стр. 212–223.

Зизя по-видимому несколько колебалась, как отнестись к этому полупредложению. Из ее писем к матери видно, что Соловьев ее не увлекал, но мать ее находила этот брак хорошей партией. Чувство самосохранения вероятно подсказывало хорошенькой и жизнерадостной барышне, что в этом браке она не найдет счастья, что чувство Соловьева не глубоко и вызвано главным образом ее миловидностью. В конце концов Елизавета Николаевна ответила отказом. Да и сердце Соловьева в то время уже принадлежало другой женщине, и вероятно желание успокоиться в семейной идиллии с Елизаветой Николаевной, было вызвано временной холодностью той, возле которой он переживал годы «долгой муки, ненужной лжи, отчаяния и скуки». Но об этом мы будем подробно говорить в следующей главе.

В 1878 г. начата и трехактная комедия Соловьева «Белая лилия», законченная в 1880 году в Пустыньке. Второе название ее «Сон в ночь на Покрова» является отголоском «Сон студента после 12 января». Это очень странная пьеса, и Соловьев долго не решался опубликовать ее[365]. Шутки самые грубые, развязные и иногда циничные, крайняя нелепость и чепуха переплетаются в ней с той же мистикой Софии. Здесь доведена до nec plus ultra известная «ирония» немецких романтиков. У пьесы есть пролог, не появившийся в печати и сохранившийся в отрывках в черновой рукописи. Написан он по образу «Пролога в небе» Фауста и действие его происходит «в четвертом измерении». На всей пьесе несомненно также влияние пьесы Козьмы Пруткова «Сродство мировых сил». Пролог весь проникнут каббалистическими и шеллингианскими идеями, остро гностичен и показывает, что и к концу 70 годов Соловьев не освободился вполне от того настроения,

---

[365] Напечатана «Белая лилия» впервые в 1893 г., в «Художественно-литературном сборнике "На память"» и перепечатана в «Шуточных пьесах», Москва 1922 г. и 3-м томе «Писем»; Соч., XII, стр. 174–211.

в котором писалась соррентийская «София», когда даже свободные мистики Бэме и Сведенборг были для него «представителями старого христианства». В прологе следующие действующие лица. Геодемон, владетельный дух – покровитель земли, весьма добродушен, иногда впадает в экстаз. Китоврас – приказчик Геодемона, выдает себя за черта, распорядителен. Лакеи Геодемона, в синих и красных ливреях, неизвестно почему считают себя за ангелов и носят картонные крылья, впрочем ленивы, надменны и глупы.

Китоврас является к Геодемону с докладом, и действие открывается монологом Китовраса:

От востока до заката
По лицу земли
Лжи, убийства и разврата
Семена взошли.

Все, что предкам было свято,
Все потомки разнесли,
Опозорено и смято
Ложе девственной земли.

Адской нивы зреют всходы,
Близок жатвы час...
Дня последнего с восходом
Поздравляем вас.

Лакеи Геодемона гонят Китовраса прочь, охраняя покой своего господина. Китоврас смело возражает:

Ну, не таковский я! не больно испугаешь:
Нам папенька – хаос, а мать – глухая ночь.

Лакеи окружают его и, «входя в роль ангелов», кричат:

Ты – ложь и зло! Мы – истина и благо.

Китоврас «со сверхъестественной быстротой наделяет их подзатыльниками и зуботычинами». Является Геодемон, наводит порядок и обращается к лакеям со словами:

Ну, вы, малютки, цыц! Иль быть вам без конфет.

Далее Геодемон, впадая в исступление, произносит прекрасный монолог, где мы узнаем каббалистическое учение о Софии:

Когда Адонай мощной властью
В себе семь духов возбудил
И пламя огненное страсти
Сияньем тихим утолил, –
Тогда над трепетною бездной,
Средь опрокинутых небес,
В короне, радужной и звездной,
Полна таинственных чудес,
Пред ним явилась дева рая
И сетью золотых кудрей
Его окутала играя,
И неподвижно утопая
В лазурном пламени очей,
Благословил он все, взирая
На лик возлюбленной своей.

Китоврас рассказывает о крайнем упадке и развращенности всех людей на земле. Геодемон возражает, что есть и порядочные, и требует свою записную книжку, где имеются две графы: одна для овец, другая – для козлиц. При этом и Китоврас замечает в сторону:

Эге! В четвертом измерении
Есть тоже третье отделение!

Прежде всего, в списке порядочных людей Геодемон находит имя кавалера де Мортемира. Под этим именем автор

несомненно нарисовал пародию на самого себя. В списке действующих лиц он назван «богатый, но совершенно разорившийся землевладелец». Китоврас характеризирует его так: «Как не знать эту сантиментальную старую девку, эту кошку блудливую! Ведь в нем, если и было что путного, то давно ушло, растерялось».

В первом действии кавалер Мортемир отправляется на поиски за таинственной Белой Лилией в компании самых нелепых людей, имена которых Халдей, Инструмент и Сорвал. Перед уходом Мортемир прощается с прекрасной дамой Галактеей.

Мортемир
О, не считай меня неблагодарным!
Тебя любил я более других,
Ты метеором лучезарным
Мелькнула в мраке дней моих.

Галактея
Si c'est ainsi, я и еще, пожалуй,
Во мраке дней твоих готова поблистать...

Мортемир обнимает Галактею, но тут слышен голос из четвертого измерения:

Сладко извергом быть
И приятно забыть
Бога!
Но тогда нас ждет до –
Вольно скверная до –
рога!

Мортемир отскакивает от Галактеи, быстро прощается и уходит, получив на прощание три волшебных розы. Второе действие происходит в лесу. Солнце, растения, птицы и звери с нетерпением ожидают появления «царицы», «девы рая». И волк, «убийца и вор», и львы и тигры, «пьющие горячую кровь», тяготятся своей скверной жизнью и хотят покончить

с прежним житьем, ожидая избавления от Царицы. Входит, Мортемир и произносит монолог:

Она! Везде она! О ней лишь говорят
Все голоса тоскующей, природы.
Не я один, река, и лес, и горы,
Деревья, звери, солнце и цветы
Ее, ее зовут и ожидают.
Явись она, и снежные вершины
За облака ушедших гор пред ней
Поникнут разом, пышные цветы
Пред ней ковер широкий развернут,
Кругом нее львы, барсы, носороги,
Счастливою и дружною семьей
Все соберутся вместе и служить
Ей будут, быстрые и шумные потоки
Вдруг остановятся. Сам бурный океан
Последний раз вскипит и, весь свой жемчуг
К ногам ей бросивши, утихнет и замрет,
И зеркалом недвижным и прозрачным
Пред нею ляжет, чтобы дивный образ
В немом восторге ясно отражать.

Только две породы животных встречают враждебно появление Царицы: кроты и совы. Совы «гнездятся в развалинах замков и старинных церквах», любят гнилушки и плесень, приправой к пище им служат опавшие листья и высохший мох.

Мы верим в блаженство, но только для нас,
Для прочих же – адские муки.
Тогда насладимся вполне, а пока
Мы служим молебны от скуки.
Но в этих занятьях смущает нас весть
Про новую эту Царицу,
Которой явленье нахально так ждут
Дневные все звери и птицы.

Приходит древний мудрец Неплюй-на-стол и приносит таинственный пергамент, отысканный им в развалинах Пальмиры. Мортемир читает:

«Аз – буки – ведь, Аз – буки – ведь.
Здесь смысл возвышенный и тайный,
Его откроет лишь медведь,
Владея силой чрезвычайной.
Но вечно-женский элемент
Тут не останется без роли:
Когда лазоревый пигмент
Избавит душу от мозоли,
Лилеи белой благодать
Везде прольет свою тинктуру,
И род людской, забыв страдать,
Обнимет разом всю натуру».

Третье действие происходит в Южном Тибете. Навстречу Мортемиру и его товарищам из пещеры выходит большой медведь, и голос из четвертого измерения говорит:

Блаженства дверь
Потом – не теперь –
Откроет зверь.
Люби и верь!

Следующая сцена у могилы медведя. Мортемир оплакивает любимого зверя, в котором видел «последний якорь жизненного судна». От горя Мортемир хочет заколоть себя кинжалом, но над могилой медведя появляется Белая Лилия и говорит:

Медведь живет, – лишь нет медвежьей шкуры.
Но не скорби, мой друг! Здесь таинство натуры.
В медведе я была, теперь во мне медведь,
Как некогда его, меня люби ты впредь.

Невидима тогда
Была я, а теперь –
Невидим навсегда
Во мне сокрытый зверь.

В черновой редакции Мортемир перед появлением Белой Лилии пронзает себя кинжалом, тогда как в печатном тексте он только «хочет заколоться». Далее в черновой рукописи следует программа: «Затем она объясняет ему, что под медвежьей шкурой скрывалась она сама, превращенная Сатаной, но что любовь Мортемира к медведю и его собственное страдание уничтожили враждебные чары, и что кровь Мортемира дала ей возможность воплотиться и явиться как живому человеческому существу. За сим они соединяются узами любви, но при этом от излишка блаженства оба умирают в одно мгновение. Окрестные поселяне находят их тела и предают их земле с пением соответствующих обстоятельству песен. На могиле Мортемира вырастают розы, а на могиле Белой Лилии – белая лилия».

В печатном тексте Мортемир и Белая Лилия не умирают, а «обнимаются и, поднявшись на воздух, вдруг переходят в четвертое измерение. На бывшей могиле (медведя) вырастают белые лилии и алые розы».

На сцену выбегают три дамы, «приятные со всех сторон», – Альконда, Галактея и Теребинда, о которых Китоврас в прологе говорит: «одно им название – потаскушки». Устав от блужданий, они скрываются в пещеру. Являются три другие искателя Белой Лилии: Халдей, Инструмент и Сорвал. При виде выходящих из пещеры трех женщин Сорвал восклицает:

Лилея белая, смотри:
Да не одна, а целых три.

Каждый узнает в своей подруге Белую Лилию, они обнимаются попарно и поют песню офитов: – «Белую лилию с розой,

с алою розой мы сочетаем». В черновой рукописи мы читаем: «сойдясь вместе, (они) устраивают пиршество из вина и фруктов, на котором поют хором следующее rondeau: Белую лилию с розой...»

Так кончается эта странная пьеса, где философские стихи («Песня офитов», «Мы сошлись с тобой не даром») перемешаны со всякой чепухой. Пьеса эта многое нам поясняет в отношении Соловьева к любви. В его время он сам чувствовал себя кавалером Мортемиром, влюбленным в Белую Лилию, цветущую где-то в Тибете, и потому так бесплодны были все его брачные планы, что, предоставляя простым смертным узнавать черты Белой Лилии в лице земной подруги, он стремился вдаль, к ней самой и, быть может, ждал нового свидания, уже не в Египте, а за Гималаями, так как в его медиумических записях мы находим слова: «Я думаю, что ты должен непременно ехать в Индию. Я думаю, что ты начнешь там свое дело. Я мудрость Sophie». Но, любя Белую Лилию, он вдыхает и благоухание волшебных роз, данных ему Галактеей[366], светившей ему «лучезарным метеором во мраке его дней». Соловьев находится как бы в колебании, оставить ли всех земных Галактей Халдеям или попытаться самому воплотить небесное в земном и узнать в земной подруге черты подруги небесной. В печатном тексте «Белой Лилии» Соловьев как бы отрекается от розы и переходит с Белой Лилией в четвертое измерение. В черновом наброске он своей кровью дает Белой Лилии возможность воплотиться и умирает с ней от блаженства любви. Но оба решения противоречили действительной жизни: Соловьев сознавал, что развоплотиться и перейти в четвертое измерение он не может и не должен,

---

[366] Имя «Галактея» не случайно является искажением имени «Галатея» и говорит нам о подвиге Пигмалиона. См. стих. «Три подвига» (Стих. 7-ое изд, стр. 77) и «Вы были для меня прелестное созданье» (П., I, стр. 204); Соч., XII, стр. 10, 108.

а соединиться с небесным существом полной духовно-телесной любовью, со всем пылом страсти, – значило бы пойти путем демоническим. Жизнь повела его третьим путем. Он узнал, наконец, глубокую человеческую любовь, но, конечно, и эта любовь предстала ему в мистическом озарении и окончилась не семейным счастьем, а роковой катастрофой.

Из посвящения к «Белой Лилии», написанного в 1880 году, видно, что под веселым тоном этой комедии скрывалось довольно тяжелое состояние духа:

«Не жди ты песен, стройных и прекрасных,
У темной осени цветов ты не проси!
Не знал я дней сияющих и ясных,
А сколько призраков недвижных и безгласных
Покинуто на сумрачном пути».

В «Белой Лилии» – горькая ирония над самим собой и над химерами своей юности. То, о чем он грезил в период писания «Les principes de la religion universelle», обмануло. Но из этого первого крушения он бодро выходит на новый путь, и начинается более зрелый период 80-х годов. Отношение его к «историческому христианству» столь резко меняется, что он одно время близок к тому, чтобы вступить в разряд тех людей, которые выставлены в комедии в виде сов, любящих могилы и развалины.

Ко времени «Белой Лилии» по-видимому, относится романтический сон, запись которого найдена мной в черновых бумагах: «Где-то возле Петербурга, у самого моря, стою я на высокой террасе. Вдали виднеются корабли с белыми и красными флагами. От одного из этих кораблей плывет по направлению ко мне огромный кит. Подплыв к берегу, он поднимает голову и с разинутой пастью старается вспрыгнуть на террасу, где в это время появляется дама вся в белом и полная мистической красоты. Я даю ей руку, подвожу

к краю террасы и, указывая на кита, говорю: “Regardez, Madame, votre bien aimé qui arrive” и вместе с тем обнимаю ее за талию и со свойственным мне (во сне) пафосом хочу прижать ее к своему сердцу. Но внезапный шум и говор многих голосов меня останавливает. Я оборачиваюсь и вижу, что с противоположной стороны на террасу всходит большая толпа, среди которых я узнаю многих приятелей моего отца: Кетчера, Чичерина, Станкевича и других, а впереди всех вижу моего зятя Попова. Все они громко хохочут, указывая на меня пальцами. Я опускаю глаза и к ужасу моему замечаю (весьма обыкновенный эффект в сновидениях), что вместо сапог на мне надеты рваные лапти, а между лаптями и сюртуком совсем ничего нет. Исполненный стыда и отчаяния я бросаюсь с террасы и попадаю прямо на спину большого кита, который мгновенно переносит меня к одному из кораблей. Вот я на палубе и заявляю капитану свое намерение ехать в Индию. Это отлично, говорит он, – корабль едет прямо в Индию».

В 1879 г. Соловьеву пришлось пережить и первое в жизни глубокое горе: он потерял отца. Еще на Святках Сергей Михайлович весело хохотал над «Альсимом», а уже к весне доктора вынесли ему приговор. Советовали ехать летом лечиться на курорт, но на это был упрямый ответ: «Никуда не поеду отдыхать, пока не закончу «Историю России». «Сила больше, чем материя», всегда утверждал Сергей Михайлович и не хотел верить, что материя восторжествует над его умом и волей, оборвав его труд на царствовании Екатерины Второй. Ему не легко было понять, что он умирает, и, несмотря на свою глубокую веру, он был мрачен и угрюм. В доме воцарилась какая-то паника. Никто не хотел верить, что на 56 году упадет этот могучий дуб, все были подавлены и растеряны.

В конце мая 1879 г. Соловьев уехал в Красный Рог. 1-го июня он пишет матери: «Это не хорошо, что вы мне не пишете,

или вы тоже думаете, что меня не печалит и не тревожит болезнь папа? Я тоже раскаиваюсь, что уехал. Впрочем, вероятно, скоро буду у вас, хоть здесь чудесно». И в следующем письме, без даты: «Вероятно, дней через десять или даже раньше я буду у вас. Здешние прелестные, но бестолковые хозяйки наделали путаницы, заставивши меня приехать не вовремя. Может быть, впрочем, обстоятельства переменятся и если я от вас получу хорошие вести о папа, то останусь до конца июня». И от 12 июня к сестре Наде: «Из твоих слов я заключаю, что главная болезнь папа прежняя – камни в печени и происходящие от того спазмы, – это хоть и очень тяжело, но все-таки гораздо лучше того, что можно было предполагать в последнее время».

1 июля Соловьев пишет Цертелеву уже из Нескучного, где Сергей Михайлович проводил свое последнее лето: «Отец мой, по-видимому, уже больше не поправится: у него жировое перерождение сердца – болезнь неизлечимая – кажется, от нее умер Алексей Толстой... В настоящее время во мне совмещаются самые противоположные настроения, и я представляю живой пример единства противоречий. На днях получил очень милые письма из Красного Рога. Кажется, там все благополучно теперь; а то и для них лето началось довольно печально»[367].

4 октября умер Сергей Михайлович. Мария Сергеевна рассказывает о смерти отца в своих воспоминаниях:

«Доктор накануне сказал, что отец не переживет ночи, но ошибся – отец жил еще весь следующий день; мы все безотлучно находились при нем в его комнате. В столовой в назначенные часы подавался завтрак, и чай, и обед, блюда стояли, стыли и нетронутые опять уносились в кухню. Но вот, около семи часов вечера нам всем показалось, как будто отцу стало

---

[367] П., II, стр. 248 сл.

несколько лучше, и Анна Кузминична уговорила нас пойти в столовую постараться хоть что-нибудь съесть... Есть мы не могли, но стали пить чай, и брат попросил как можно крепче. Пили в общем молчании, как вдруг брат сказал: “а что, если наука ошибается, и папа останется жив!”.

Но в эту минуту вбежал лакей, говоря, что мать зовет всех. Когда мы вновь окружили диван, на котором лежал отец, началась тихая агония, длившаяся всего несколько минут, и когда не стало слышно дыхания отца, ударили в нашем приходе ко всенощной, так как это было накануне праздника четырех святителей, а по небу пролетел огромный, редко яркий метеор. После всенощной была у нас панихида; позже, когда уже все разошлись и наступила ночь, брат сказал, что до утра не надо чтеца – он сам будет читать над отцом. Младший брат и я вызвались чередоваться с ним и не пошли к себе, а остались в зале и притворили дверь в гостиную, чтобы чтение не было слышно в жилых комнатах.

– Было бы самое лучшее, если бы мама и другие могли хоть сколько-нибудь уснуть, – сказал брат и пошел к столу, на котором лежал отец, и стал читать. После него читал младший брат, потом я, потом опять Владимир. Когда он начал читать, только на первых словах голос чуть срывался, потом совершенно окреп, и читал он так проникновенно и хорошо, что становилось светлей и легче и не так мучительно жаль тех, кто в это время так плакали у себя в постелях. Срок нашего чтения брат все сокращал, своего удлинял, а под утро положил мне руку на плечо и очень грустно, но в то же время очень решительно сказал: “поди ляг”.

– А Миша?

– И Мишу скоро отправлю.

– Как же ты один?

– Мне ничего, я не устал.

Утром при первой возможности я встала и пошла в залу – там уже читал дьячок из нашего прихода. Я спросила лакея о брате. – Владимир Сергеевич сию минуту только к себе вниз прошли. (В той квартире брат жил вроде как бы в подвальном помещении, где у него было полторы комнаты), а Михаила Сергеевича все ж таки пораньше уговорили лечь отдохнуть. Да Владимир Сергеевич и сейчас не легли: просили им холодной воды дать, голову мочили, теперь сели, не то читают, не то пишут что-то.

Повернув опять в детскую, я в коридоре столкнулась с горничной Дарьей. – А Владимир-то Сергеевич, ангел небесный, как в одну ночь с лица изменились! Даже жалости подобно.

К утренней панихиде приехала одна близкая наша знакомая; сначала сидела у матери, потом вышла зачем-то в переднюю и, тихо плача, говорила Анне Кузминичне: "А Володя-то, голубчик, золотое его сердце, как он изменился! Я просто ахнула, когда увидела. До чего он любил отца! А еще иные считают его холодным и эгоистичным!... Никогда в жизни не видела эдакой перемены в такой короткий срок! Точно годы и годы мучений перенес... А взгляд, несмотря на это, до того светлый и добрый, что просто всю душу перевернул".

Прошло много дней после смерти отца, прежде чем я увидела на лице брата улыбку. Плакать он совсем не плакал, только время от времени как-то особенно вздыхал и отдувался, точно ему не хватало воздуху»[368].

Потеря отца не могла не оставить глубокого следа в душе Соловьева. Это собственно была единственная смерть близкого человека, которую он испытал в жизни. И однако

---

[368] Воспоминания М. С. Безобразовой, Минувшие годы, 1908, № 5, стр. 159–161.

его восприимчивость была так велика, что мысль об умерших стала доминирующей его мыслью в последнее десятилетие жизни. Как для Толстого смерть брата Николая, так для Соловьева смерть отца была толчком к новому пробуждению мысли, к сознанию, что в жизни есть глубокое неблагополучие, что нельзя обойти это неблагополучие, но необходимо преодолеть его. Глубокое горе сделало Соловьева мудрее и старше и подготовило пробуждение в нем той строгой религиозности, которой отмечены 80-е годы. Но для решительного кризиса требовалось более сильное потрясение. В 1883 г. Соловьев стал лицом к лицу перед собственной смертью, и потому мы смотрим на 80–83 г.г. как на заключение первого периода и начинаем второй период с 1883 г.

Перейдем теперь к последней главе нашей первой части, где мы навсегда простимся с Соловьевым-профессором, и Соловьевым-славянофилом.

Глава 7
Докторский диспут. Лекция против смертной казни. Соловьев – Иван Карамазов. Софья Петровна Хитрово

Не по воле судьбы, не по мысли людей,
Не по мысли твоей я тебя полюбил
И любовию вещей моей
От невидимой злобы, от тайных сетей
Я тебя ограждал, я тебя оградил.

В. Соловьев

1 июля 1879 г. Соловьев писал Цертелеву: «Первая (этическая) часть моей диссертации благополучно кончилась в последней книжке "Русского Вестника", и я погружен в пучину метафизики...»[369]. 3 октября (накануне смерти отца): «Я решительно оканчиваю свою диссертацию, которую буду

[369] П., II, стр. 248.

непременно защищать в феврале, если не у Владиславлева, то у Струве в Варшаве. Надеюсь впрочем, что не придется прибегнуть к этой последней крайности»[370].

В письме к Н. Н. Страхову № 8, без даты, очевидно относящемся к концу 1879 г., Соловьев колеблется между февралем и мартом: «На днях хочу опять приняться за свои занятия – оканчивать диссертацию, которая выходит очень длинная, и которую я думаю защищать в феврале или марте. Впрочем, у меня нервы сильно расстроены, так что пожалуй дело затянется»[371]. Диссертация была защищена 6 апреля 1880 г., и Соловьев без затруднений получил степень доктора. Диспут прошел значительно спокойнее, чем магистерский. Свою вступительную речь и прения Соловьев передает сам в письме к А. А. Кирееву: «В своей вступительной речи докторант, указавши два существенные признака всякой философии, а именно: 1) принцип свободного исследования, отличающий всякую философию (и, следовательно, философию вообще) от религии, и 2) универсальность предмета, отличающая философию от частных наук, определил задачу философии так: путем свободного исследования всех данных сознания установить общую связь или смысл (ratio) всего существующего.

Но все существующее для нас принадлежит к трем различным областям и может быть сведено к трем различным началам. Во-первых, мы находим в себе нечто такое, что мы признаем безусловным и высшим себя, что есть в нас, но не от нас, нечто такое, чему мы свободно подчиняемся, как высшему идеалу для нас внутренно-обязательному, – это начало божественное в человеке, делающее человека более, чем человеком. Вместе с ним мы находим в себе некоторое другое

[370] П., II, стр. 250.
[371] П., I, стр. 8,

данное, также от нас независимое, но с противоположным характером, нечто такое, что мы признаем условным, случайным и низшим себя, подчиненным – это есть природное или материальное начало, в нас, но не от нас, существующее и делающее человека менее, чем человеком. Между этими двумя противоположными началами сознание находит само себя, как нечто содержащее в себе оба первых начала, но от них отличающееся, могущее так или иначе к ним относиться, давать им в себе то или другое место. Таким образом самосознание, как таковое, представляет некоторое особенное начало – начало рациональное или чисто человеческое; и если первое, божественное начало образует область религии, и если материальное начало определяет собою внешнюю жизнь и внешнее (эмпирическое) знание, то начало сознания или рациональное составляет собственно сферу философии. Это есть сфера сама по себе *формальная* – все содержание свое она получает от двух других начал, – из мистической области начала божественного и из эмпирической области начала материального, ибо к этим двум областям может быть сведено все нам данное, все для нас существующее. Таким образом, если задача философии заключается в том, чтобы установить общую связь всего существующего, а все существующее сводится к божественному и к материальному (природному) началу, то задача философии определяется ближайшим образом так: установить внутреннюю связь между началом божественным и началом материальным. Одностороннее утверждение в сознании одного из этих начал в ущерб другому оказывается невозможным; оба эти начала существуют в нас и для нас непреложно и неустранимо, и задача сознания и его высшего проявления – философии – может состоять лишь в том, чтобы привести эти начала в определенную гармоническую связь. Такая связь вытекает из существа дела, ибо с одной стороны божественное начало является для нас

(в сознании) как высший идеал и абсолютная цель. Но идеал требует материи для своего воплощения, и абсолютная цель требует средств для своего осуществления; божественное начало требует другого для своей реализации; это другое и дается ему в сфере природного или материального бытия. С другой стороны это последнее, само по себе не имеющее никакого безусловного значения и права на существование, получает таковое, становясь средою и орудием для реализации абсолютного идеального содержания, и задача сознания (и философии) состоит именно в том, чтобы понять и раскрыть ее условия, под которыми бытие божественное осуществляется в бытии природном, и, таким образом, установить внутреннюю связь между ними.

Первый официальный оппонент, профессор Владиславлев, после общих замечаний о достоинствах и недостатках диссертации, заявил, что он не будет спорить против ее основных положений, так как он и сам «немножко» мистик, хотя и не идет так далеко, как докторант, и «по обязанности официального оппонента» перешел к некоторым частным замечаниям. Он между прочим возразил против допущенного докторантом распространения нравственной обязанности на все живые существа, указывая на то, что такое расширение невозможно, так как нам постоянно приходится пользоваться живыми существами как средствами и, например, есть животных. Ответ. Нравственный принцип требует лишь, чтобы мы не относились к другим существам как *только* к средствам, но признавали бы за ними и значение самостоятельной цели. Нравственный принцип запрещает превращать другое существо *всецело* в средство для нас, но он не запрещает отчасти пользоваться другим существом и как средством, что нам приходится делать не только с животными, но и с людьми; что же касается до употребления животных в пищу, то допуская его позволительность (вопрос во всяком случае

спорный) мы нисколько этим однако не избавляемся от *всякой* нравственной обязанности к животным: если даже мы можем их убивать, то во всяком случае не *должны* их мучить.

Далее профессор Владиславлев, указывая на то, что в диссертации основанием идеального общества признается начало любви, находил, что это не соответствует действительному состоянию человечества, что начало любви в действительности слишком слабо для такой роли, и куда же мы тогда денем, прибавил он, противные любви чувства: ненависть, вражду и т. д.? Ответ. Общественный идеал потому и есть идеал, что данное состояние общества ему не соответствует. Что же касается до ненависти и вражды, то совершенно несомненно, что они существуют, и столь же несомненно с нравственной точки зрения, что они не должны существовать. Профессор Владиславлев сделал еще несколько возражений в том же роде; ни с одним из них докторант не нашел возможным согласиться.

Второй официальный оппонент, профессор богословия Рождественский, после длинных похвал диссертации сказал, что его не удовлетворила та ее часть, которая касается собственно религиозных вопросов. Религиозные взгляды докторанта, по мнению о. Рождественского, близко сродные с воззрениями Шеллинга и Шлейермахера, могут быть поняты в пантеистическом смысле и подать повод к заблуждениям. Докторант ответил, что напрасно оппонент смешивает столь разнородные вещи, как религиозный взгляд Шлейермахера (точка зрения религиозного *чувства*) с умозрительным пантеизмом первой Шеллинговой системы (Identitätsphilosophie) и с теософическими построениями второй Шеллинговой системы (так называемой положительной философии); докторант признал сродство своих взглядов только с этой последней системой Шеллинга, в которой этот философ уже освободился от ложного пантеизма своих прежних теорий.

Что касается до самого докторанта, то он не может поручиться, чтобы в его мыслях не найдено было кем-нибудь то, чего в них нет, но это будет уже не его вина.

Третий оппонент, профессор всеобщей истории Бауэр, говоря о законе исторического развития (изложенном в приложении к диссертации), заметил, что в первом фазисе развития заключаются уже элементы второго. Докторант ответил, что он этого нисколько не отвергал и что вообще периоды мировой истории, как процесса сложного, могут определяться не исключительным присутствием того или другого принципа, а только его относительным преобладанием.

Четвертый оппонент, преподаватель полицейского права Ведров, утверждал, что в диссертации неверно характеризован социализм, как принцип материально-экономический, так как в различных системах социализма находятся и другие элементы: нравственные, религиозные и так далее. Докторант отвечал, что присутствие нравственных и религиозных элементов в различных социалистических учениях прямо указано в самой диссертации, но что это нисколько не относится к основному определению социализма как принципа, ибо в таком определении необходимо иметь в виду не те или иные частные теории и системы, которых может быть неопределенное множество, а существенное начало, общее им всем и определяющее их как социализм. А это общее всем социалистическим построениям начало, несомненно, имеет характер материально-экономический, другие же религиозные и нравственные элементы являются посторонneю примесью, не имеющею внутренней связи с социализмом, как таким.

Пятый оппонент, профессор химии Бутлеров, высказал недоумение по поводу одного из тезисов, в котором мистическому элементу придается первенствующее значение в познании. Докторант объяснил, что первенство здесь разумеется не генетическое, а логическое.

Шестой оппонент, студент Онапов.

Седьмой оппонент, кандидат математического факультета Вульфсон, упрекнул докторанта в том, что, признавая начало любви основанием нормального общества, он не упомянул, что это основание было прежде него указано Огюстом Контом. Докторант заметил, что значительно раньше Ог. Конта начало любви было провозглашено Иисусом Христом[372].

Размеры нашего труда не позволяют нам дать подробное изложение «Критики отвлеченных начал». Ограничимся немногим.

Сочинение это представляет особый интерес, потому что только в нем (если не считать последних статей по теоретической философии), мы имеем гносеологию Соловьева. Гносеологическая часть книги хорошо изложена в статье В. Ф. Эрна «Гносеология В. Соловьева»[373]. В предисловии к «Критике отвлеченных начал» Соловьев говорит: «Что касается до внешней стороны, то вследствие различных обстоятельств я не мог дать изложению моих мыслей в настоящей книге той соразмерности и стройности, какие были бы желательны: некоторые мысли изложены слишком кратко и недостаточно развиты, другие напротив представлены с излишнею обстоятельностью; есть намеки на еще не сказанное и лишние повторения уже сказанного. Все же сознавая эти недостатки, я не считаю их однако настолько важными, чтобы задерживать из-за них издание книги; надеюсь, что буду иметь возможность исправить их впоследствии.

По общему плану, критика отвлеченных начал разделяется на три части; этическую, гносеологическую и эстетическую; предлагаемая книга заключает в себе собственно две первые, последняя же, представляющая вопросы и затруднения

---

[372] П., II, стр. 97 сл.
[373] Сборник статей о Вл. Соловьеве № 1, книгоизд. «Путь», 1911, стр. 129.

особого рода, составит отдельное сочинение – о началах творчества»[374]. Когда в девяностых годах Соловьев работал над своим капитальным сочинением по этике «Оправдание добра», он переработал первые главы «Критики отвлеченных начал» и приложил их к «Оправданию добра» с примечанием: «Из не находящейся более в обращении диссертации "Критика отвлеченных начал"; воспроизводимая здесь (с поправками) часть этой книги писана около 20 лет тому назад, когда автор в вопросах чисто-философских находился под преобладающим влиянием Канта и отчасти Шопенгауэра»[375].

Этическая часть занимает первые 16 глав. Соловьев критикует этическое учение гедонизма, эвдемонизма и утилитаризма; дает эмпирическое обоснование нравственности по Шопенгауэру, буддийскому аскетизму и св. Исааку Сирину (о сердце «милующем») и, указав на недостаточность эмпирического или материального начала нравственности, переходит к чисто-разумному или формальному ее обоснованию в трех формулах Кантова категорического императива. Переходя далее от субъективной этики к объективной, он строит схему идеального общества, определяемого как «свободная теократия», образующаяся из свободного взаимодействия трех сфер: церковной, государственной и экономической. Повторив известную нам из «Философских начал» критику отвлеченного клерикализма или ложной теократии Средних Веков, основанной на внешнем авторитете и не признающей прав разума и материальной природы, Соловьев подвергает критике и современное учение о разделении церкви и государства. «Мы видим, что исторически разделение духовной и светской области всегда является как *вынужденная* сделка между гражданским обществом, освободившимся внутренно

[374] Соч., II, стр. VII.
[375] Там же, стр. 371.

от религиозного начала и стремящимся к совершенному упразднению Церкви, но *еще* недостаточно сильным для этого, и теократией, внутренно враждебной гражданскому обществу и стремящейся к его совершенному подчинению, но *уже* лишенной необходимых для этого сил. Таким образом, "свободная церковь в свободном государстве" не выражает собою никакого принципа, а есть лишь практическая непоследовательность, столь же неустойчивая исторически, как и логически»[376]. В свободной теократии церковное начало любви воплощает себя в государственной справедливости. В основу этой теократии положен принцип иерархический, начало власти. *Объем прав должен соответствовать высоте внутреннего достоинства*[377]. В 16 гл. Соловьев, показав в предыдущем несостоятельность отвлеченного морализма, переходит к вопросу об истинном знании.

Сначала он критикует отвлеченный реализм и доказывает недостоверность чувственного опыта, пользуясь аргументацией Гегеля. Далее следует критика сенсуализма, научного эмпиризма и рационализма. В последних главах Соловьев развивает свою собственную гносеологию. Истинное познание не доступно ни эмпирическому наблюдению, ни формальному мышлению. Действительный источник знания – вера, воображение и творчество. Вера сообщает нам, что предмет есть, воображение (или умосозерцание), что он есть, творчество показывает, как он является. Творческий акт нашего духа превращает изменчивую и нестройную толпу ощущений в единый и цельный образ предмета, неподвижно стоящий пред нами средь смутного потока впечатлений. Эту работу нельзя сравнить с работой ваятеля, воплощающего свою идею в мертвом и равнодушном материале.

---

[376] Соч., II, стр. 165.
[377] Там же, стр. 178.

«Ощущения не безусловно равнодушны к тому идеальному образу, который налагается на них умом нашим»[378], они то же для познающего, что для поэта стихия слова. Таким образом, цельное знание, свободная теософия есть своего рода художество. Собственно философии здесь отводится второе место. Действительный предмет познается не логически, а мистически-интуитивно, и истинным мудрецом является поэт. Разум дает только форму нашему познанию, связуя мистические восприятия с материалом, доставляемым чувственным опытом. Здесь видно, как далеко ушел Соловьев от Платона и Гегеля. От термина германской философии «умосозерцание» (Anschauung, интуиция) Соловьев переходит к термину «воображение», тогда как для Платона воображение было низшей функцией души, а все познание идей и божественного мира являлось достоянием разума. Для Гегеля логический процесс есть самораскрытие божества, и рациональная философия должна заменить собою искусство и религию, как высшая и окончательная форма мудрости. Соловьев следует Шеллингу и Гете. Вторая часть «Критики» должна была быть «эстетикой». Этой эстетики Соловьев никогда не написал, и чтобы составить себе представление об его эстетической системе, надо пользоваться отдельными статьями, как например «Красота в природе» и др.

В первый период своей деятельности Соловьев стремится к «цельному знанию» и упраздняет теологию, рациональную философию и искусство для *теургии*. Как правильно замечает В. Ф. Эрн, эта теургия не есть для Соловьева опыт святых, а нечто совершенно новое и главным образом эстетическое, она постулируется, а теург прежде всего является художником и поэтом[379]. В «Оправдании добра» Соловьев несколько изменил свою точку зрения: «По существу своему

[378] Соч., II, стр. 339.

[379] В. Ф. Эрн, Гносеология В. Соловьева, стр. 198.

нравственная философия находится в тесной связи с религией, а по способу познания – с теоретической философией... Взгляд, *всецело* подчиняющий нравственность и нравственную философию *теоретическим* принципам положительно-религиозного или же философского характера, весьма распространен в той или другой форме. Несостоятельность его тем более для меня ясна, что я сам некогда если не разделял его вполне, то был к нему очень близок»[380].

Достойно внимания, что через два года, в 1882 г., Соловьев вносит существенную поправку в свое эстетическое учение. Под тремя символами античного мира Соловьев указывает путь торжества духовного начала над материей и смертью. Все три символа (Пигмалион и Галатея, Персей и Андромеда, Орфей и Эвридика) объединены любовью. Любовь является началом творческого преображения природы. Первый подвиг состоит в эстетическом воплощении мечты:

Когда резцу послушный камень
Предстанет в ясной красоте,
И вдохновенья мощный пламень
Даст жизнь и плоть твоей мечте...

Мечта воплощена, но «не мни, что подвиг совершен»: «нужна ей (Галатее, душе мира, природе) новая победа»:

Скала над бездною висит
Зовет в смятеньи Андромеда
Тебя, Персей, Тебя, Алкид!
Крылатый конь к пучине прянул,
И щит зеркальный вознесен,
И опрокинут – в бездну канул
Себя увидевший дракон.

---

[380] Соч., VIII, стр. 26.

За подвигом эстетическим следует подвиг нравственный, победа над драконом греха, и лишь когда он свершен, волшебная лира Орфея свершает то, что не было доступно резцу Пигмалиона: конечно и здесь торжество над смертью выпадает на долю поэта, пророка (vates). Но Орфей Соловьева – не Орфей греческого мифа, получивший Эвридику только для того, чтобы опять ее потерять. Это тот Орфей, которого изображали первые христиане на стенах катакомб, видя в нем прообраз Спасителя.

Получив в апреле 1880 г. степень доктора философии, Соловьев приобрел право на профессорскую кафедру, «но Владиславлев не поддержал его, и он выступил в университете лишь в качестве приват-доцента»[381]. В своем «Curriculum vitae» Соловьев говорит: «В конце того же (1880) года и в начале следующего читал в Петербургском Университете в качестве приват-доцента лекции по метафизике, а также преподавал философию на высших женских курсах (профессора К. Н. Бестужева-Рюмина)[382]. В осеннем семестре 1880 г. Соловьев начал свой курс в Петербургском Университете очень поздно. Вступительная лекция «Исторические дела философии» произнесена им 20 ноября. В этой лекции философия определяется как сила освобождающая. «Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных, чужих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровений истинного Божества... Процесс философии двойной: разрушительный и творческий. Она делает человека вполне человеком»[383]. На женских курсах Бестужева-Рюмина, как в Москве на курсах Герье, Соловьев читал древнюю философию. «К. Н. Бестужев-Рюмин был на первых

[381] Радлов, ук. соч., стр. 16.
[382] П., II, стр. 338.
[383] Соч., II, стр. 411–412.

порах совершенно очарован Вл. Соловьевым и видел в нем гения, но очень быстро это очарование прошло и уступило место весьма отрицательному отношению. Причина, конечно, заключалась в "измене" Вл. Соловьева славянофильским началам и в симпатии к католичеству. Разочарование было обоюдное, ибо Соловьев убедился, как он выражался, в "двоедушии" К. Н. Бестужева-Рюмина»[384].

В Петербурге в 1880 г. Соловьев жил в Европейской гостинице, часто уезжал отдыхать в Пустыньку к Хитрово и в Лесное. «Я еще не нанял квартиру, но имею в виду очень хорошую. Лесной – это за Выборской стороною – как Петровский парк от Москвы. Я потому удаляюсь в такое уединение, что мне в этом году нужно много работать, а Петербургская толкотня мешает»[385].

В этом году Соловьев начинает жаловаться на крапивную лихорадку и невралгию, болезни, не покидавшие его всю жизнь, при чем невралгия приняла громадные размеры и перешла в «неврит»[386]. «Что вам за фантазия пришла, чтобы я ехал к Боткину из-за крапивной лихорадки?» – пишет он матери в том же письме. «Впрочем, я теперь страдаю ужасными невралгиями в ноге и других местах, но к Боткину все-таки не поеду». В следующем письме: «У меня в доме хорошо. Сам же я не совсем здоров, но и не совсем болен. Начал лекции на Бестужевских женских курсах. Слушательницы отличаются большим количеством и малою красотою»[387].

Связь Соловьева с Университетом скоро порвалась окончательно. После убиения Александра Второго, 28 марта 1881 г., он произнес в зале Кредитного общества речь,

---

[384] Радлов, ук. соч., стр. 17.

[385] П., II, стр. 32.

[386] См. письмо к И. Н. Гроту от 12 ноября 1896 г., П., III, стр. 217.

[387] П., II, стр. 33.

где доказывал, что молодой царь во имя христианской правды должен помиловать убийцу своего отца. Лекция вызвала большой энтузиазм, особенно среди университетской молодежи. Ожидали, что прямо с лекции Соловьев отправится не домой, а в казенное учреждение. Дело обошлось, но Соловьев понял, что ему необходимо подать прошение об отставке из Министерства Народного Просвещения. Прошение было принято, хотя министр, барон Николаи, сказал Соловьеву: «Я этого не требовал»[388]. Свое «Curriculum vitae» Соловьев кончает следующими словами: «В январе 1882 г. возобновил чтения по философии в Петербургском Университете и на Высших женских курсах, но через месяц уехал из Петербурга и оставил окончательно профессорскую деятельность»[389]. Очевидно эта деятельность вообще была ему не по душе. Еще до прочтения лекции о помиловании цареубийцы Соловьев внутренне решил расстаться с Петербургским Университетом вообще. 10 марта 1881 г. он пишет Фету: «С осени думаю поселиться в Москве окончательно, оставив чухонский Содом»[390].

В 1883 г. Соловьев пишет Кирееву: «Мне минул 31 год, и я начинаю тяготиться моей праздностью, не придумаете ли вы мне какого-нибудь практического занятия (кроме профессорского, ибо я к нему не желаю возвращаться)»[391]. За год до смерти В. С. Соловьев получил от Варшавского попечителя Г. Э. Зенгера приглашение в Варшавский Университет, но было уже слишком поздно – Соловьев чувствовал, что вернуться на кафедру он не может»[392].

---

[388] Радлов, ук. соч., стр. 17.
[389] П., II, стр. 338.
[390] П., III, стр. 107.
[391] П., II, стр. 110.
[392] Радлов, ук. соч., стр. 18.

«В течение 17 лет он не выступал в качестве публичного лектора»[393], говорит Э. Л. Радлов. Это ошибка. В апреле 1887 г. Соловьев читал в Москве публичную лекцию «Славянофильство и русская идея», которая не имела успеха в московской «славянофильствующей публике»[394], а в октябре 1891 г. также в Москве была прочитана им лекция «Об упадке средневекового миросозерцания», после чего ему официально запрещено было чтение публичных лекций.

С оставлением Университета Соловьев временно отходит от специально философских работ. Он посвящает себя богословию, церковному вопросу и публицистике.

1881 и 1882 г.г. являются переходным временем. Они подготовляют кризис 1883 г. Этим объясняется малая их продуктивность. Соловьев отдыхает и копит силы для нового творческого периода, падающего на середину 80-х годов. В 1881 году Соловьевым напечатана всего одна статья «О духовной власти в России»; в 1882 г. тоже одна статья «О расколе в русском народе и обществе» и маленькая речь о Достоевском, занимающая около семи страниц.

Первая статья Соловьева церковно-публицистического характера не была напечатана. Я нашел ее в рукописи, в архиве Надежды Сергеевны Соловьевой, принадлежащем книгоиздателю Б. С. Шихману. Подписана она «Красный Рог. 28 мая. 1881 г.». Называется: «Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться (по поводу заметки о внутреннем состоянии России К. С. Аксакова)». Мысли этой статьи почти дословно воспроизводятся в статье «О духовной власти в России». Здесь славянофильство Соловьева достигает своего апогея, и под его словами свободно подписался бы Хомяков или Аксаков.

---

393 Радлов, ук. соч., стр. 115.

394 П., III, стр. 115.

«Образцом Петра Великого была протестантская цивилизация германских народов, образцом Никона было папство... Вы[395], как последователь и преемник Хомякова, конечно согласитесь, что коренное заблуждение, первая ложь западного развития была не в протестантстве, а в католичестве. Не протестантство, а католичество первое уклонилось от истины Христовой и этим уклонением определило тот антихристианский путь, которым пошли западные народы. Кто в этом пути видит заблуждение (хотя бы в конце приводящее к торжеству истины), тот должен признать корень этого заблуждения в папизме, и несомненно, что корень этот пересажен на русскую почву Никоном... Это иерархическое властолюбие, это стремление утверждать свой внешний авторитет и единство церкви путем насилия – ведь это и составляет сущность папизма и если б даже не было прямых и положительных доказательств Никонова папизма, которые мы имеем, то все поведение его и его преемников не оставляет никакого сомнения в том, что иерархия русская со времен Никона заразилась духом латинства и при всех частных исключениях она в общем не отделалась от этого духа и доныне... Я не обвиняю лиц. Напротив в отдельных лицах, несмотря на кастовое обособление, русский народный характер, столь враждебный напряженному клерикализму, более или менее сказывался и парализовал католические тенденции, не давая им сложиться в прочную систему. Несомненно однако, что русская иерархия in corpore не отреклась от латинского принципа, и на словах и на деле заявленного Никоном и его ближайшими преемниками. Но держась того же принципа, последующая иерархия оказалась и слишком несмелой и слишком ленивой для его деятельного осуществления, и естественным следствием было только то, что эта

[395] Обращение к К. С. Аксакову.

иерархия, не устоявшая в истине и бессильная во лжи, потеряла всякий нравственный авторитет... духовная власть в России может иметь смысл, лишь поскольку она сознательно и твердо держится истинно-христианского (а не римского и не византийского) начала и деятельно ведет народ к его осуществлению. Такой духовной власти с общепризнанным нравственным авторитетом в России нет, другими словами, нет в России настоящей духовной власти. Она была в древней Руси, и в этом, я думаю, заключается единственное действительное преимущество древней Руси перед новой».

В статье «О духовной власти в России» католичество признается ложной теократией. «Если всякое предание свято, тогда поклонимся и папе римскому, который твердо держится своего *антихристова предания*»[396]. На ложном пути стояла и Византия, а русская церковь, начиная с Никона, насквозь отравлена византизмом и латинством. Требуется ее коренная реформа. То правильное отношение между церковью и государством, которое постулировалось в «Критике отвлеченных начал», оказывается уже в известной мере осуществленным в Московской Руси, надо только вернуться на оставленный русский путь. «Московские государи, по благословению святителей, служили земле русской, их доверие к народу выражалось в земских соборах»[397]. «Не соперничал с князем Московским митрополит Алексий, а покровительствовал ему: не соперничал с Иваном Грозным митрополит Филипп, но властным словом обличил его и мученичеством своим показал истинное превосходство духовного начала»[398].

Кроме усвоения латинско-византийских начал насилия и деспотизма, русская современная иерархия повинна в «умственном бесплодии», держась исключительно определений

---

[396] Соч., III, стр. 239.

[397] Там же, стр. 231.

[398] Там же, стр. 234.

и формул 7-го и 8-го веков и не питаясь плодами новоевропейской философии[399]. «Воистину дурное предание тяготеет и над иерархиею русской церкви, но ей от него отрешиться легче, чем иерархии западной, которая свое заблуждение возвела в догмат... И вселенский собор собственно для возрождения русской церкви не нужен: грех не на вселенской, а на русской церкви, и прежде всего она должна сама от него очиститься»[400].

Что здесь подразумевает Соловьев под «вселенской» церковью? Вселенская церковь противопоставляется национальной, поместной. Римская церковь называет себя вселенской Церковью, Константинопольская также. Соловьев сначала противопоставляет искаженному строю вселенской (римской и византийской) церкви исконный русский путь, а потом говорит о грехах римской церкви, от которых свободна церковь «вселенская». Очевидно в это время термин «вселенская» понимается Соловьевым очень расплывчато, как синоним церкви «невидимой».

В статье 1882 г. «О расколе» Соловьев делает еще шаг вперед. Сущность церкви связывается для него с ее «вселенским кафолическим характером». Дальнейшая эволюция Соловьева может быть определена как эволюция от буквы Ф к букве Т, вместо термина «кафолический» он скоро поставит термин «католический»[401].

---

399 Соч., III, стр. 237.

400 Там же, стр. 239.

401 Слово «кафолический» вообще искусственный термин, не вошедший в живой религиозный язык, будучи лишь орфографическим дублетом слова «католический». Оно должно быть заменено или словом «вселенский», или «католический». Ведь для грека есть только одно слово καθολικός, и православный грек, как бы враждебно ни относился он к римскому католицизму, именует себя греческим православным католиком.

Впервые в статье 1882 г. Соловьев подчеркивает значение церковного *послушания.* «Первым действием Христа, по евангельскому повествованию, был акт послушания земным Его родителям: “и сниде с нима и прииде в Назарет, и бе повинуяся има”. А сектанты наши начинают с того, что восстают против матери-церкви и уходят из Назарета, и не хотят возвращаться...»[402] Такое безусловно нравственное начало (самоотвержение сына человеческого) сообщает иерархическому пути церкви его божественный характер[403]. Доказывая неправоту русских раскольников, «уходящих от матери-церкви», Соловьев во-первых обвиняет их за приверженность к букве; к символу веры, при переводе его на чужие языки, неизбежно прибавляется не только буква, но и целые слова: где латинянин говорит «кредо», русский – «верую», француз говорит je crois, немец – ich glaube. И если это прибавление местоимения не изменяет существа веры, то тоже самое должно сказать о замене слова «Исус» словом «Иисус», против чего восставали раскольники.

Раскольники противопоставили живому авторитету церкви – старое предание, книгу. Отсюда протестантизм, поскольку толкователем книги предания является отдельное лицо. Доказав противоречивость двух ветвей раскола, поповцев и беспоповцев, Соловьев показывает, как беспоповщина неизбежно переходит в сектантство, мистическое (хлысты) и рационалистическое (духоборы, молокане, баптисты). «Русский раскол в этих четырех фазисах представляет строгую последовательность своего отрицательного хода, своего постепенного удаления от божественного основания церкви, или, что то же, от кафоличества»[404]. Статья «О расколе в русском народе и обществе» составлена из двух. В «Руси» (1882 г.,

---

[402] Соч., III, стр. 270.

[403] Там же, стр. 269.

[404] Там же, стр. 255.

№№ 38, 39, 40,) была напечатана статья «О церкви и расколе», а в № 7 1883 г., в той же «Руси» напечатана статья «Несколько слов о наших светских ересях и о сущности церкви». Затем Соловьев переработал эти статьи в одну и напечатал в «Православном обозрении» (1884, № 5–8) под заглавием «О расколе в русском народе и обществе», в каком виде статья и напечатана в Собрании Сочинений (3, 243). Следовательно, к 1882 г. можно отнести только первую ее половину, помеченную в «Руси» 21 сентября 1882 г., что еще раз подчеркивает нам непродуктивность Соловьева в 1882–83 г.г.

«Светские ереси» Соловьев разбивает на три категории: 1) редстокизм, сводящий всю религию к внутреннему состоянию уверенности в своем спасении и чувству благодарности Спасителю, без всяких обязанностей и дел[405]. Соловьев называет редстокизм «домашней» и сентиментальной религией. 2) Нравоучительное сектантство, сводящее сущность христианства к евангельской нравственности, настроению духа и отрицающее предметные (объективные) истины, догматы и учения. 3) Спиритизм, связывающий религию с *фактом* нашего бессмертия и с фактическими сношениями между нами и невидимым миром духов. Он упускает из виду идеальные и нравственные условия для такого общения, основывая его не на вере и христианском подвиге, а на внешних и случайных фактах. Спириты предлагают религиозному чувству независимую от него объективную опору... Но религиозный человек может опереться только на то, что бесконечно выше и совершеннее его самого, что имеет безусловное значение. Ничего такого нет в спиритизме, здесь все относительно, все случайность и произвол[406].

---

[405] Хорошую сатиру на редстокистов мы имеем в Анне Карениной Толстого, где редстокизмом увлекаются А. А. Каренин и салон графини Лидии Ивановны.

[406] Соч., III, стр. 279–280.

А. Н. Аксаков в «Руси» (1883 г. № 9) напечатал возражения Соловьеву, снабженное обстоятельным примечанием самого Соловьева, где он говорит: «Что же касается до общения с невидимою или неземной церковью, то нужно иметь ручательство, что мы в данном случае сообщаемся с невидимой *церковью*, а не с чем-нибудь иным, или даже совсем противоположным. В спиритизме такого ручательства нет»[407]. Далее следуют весьма характерные слова: «В... творении истины наша задача вовсе не в искании истины. Искать истину через 18-ть веков после того, как она открылась видимо и осязательно, значит chercher midi à quatorze heures... Если спириты пользуются своим материалом медиумических явлений, не отвергая камня Вселенской Церкви, – такие спириты не составляют секты... У кого есть *на чем* строить, тот пусть строит до какой угодно высоты, и кто идет *дорогой*, тот пусть идет в какую угодно даль. Но беда, если за новую дорогу принимают старое болото, со всем тем, что в болотах водится»[408].

Соловьев уже очень далеко ушел от периода «Софии», когда он находился в постоянном общении с духами. Он уже решительно отрицает спиритизм и только восстает против борьбы с ним мерами насилия. Он сам еще не замечает, что свободной философии в его новом миросозерцании нет места. Истина дана нам 20 веков назад, надо ее не искать, а творить, осуществлять в жизни. В чем же может проявить себя разрушительный и созидательный процесс философского развития, о котором Соловьев говорил три года назад во вступительной лекции «Исторические дела философии»? В разрушении ложных богов, ложной теократии. Но уже признана необходимость послушания иерархическому авторитету. Этот авторитет не в Риме, а на православном Востоке.

---

[407] Соч., III, стр. 428.
[408] Там же, стр. 429.

Но вот оказывается, что русская иерархия уже несколько веков усвоила себе те же принципы ложной, римской теократии. Приходится взывать к православию 15-го века, к свв. Алексию и Филиппу. Но не то же ли самое делали и раскольники и не за это ли обвиняет их Соловьев, говоря, что они подменили церковную «кафоличность» старым преданием, старой книгой, истолкователем которой является отдельное лицо, и не оказывается ли сам Соловьев именно таким лицом, противополагающим свое личное понимание предания живому церковному авторитету? И не сам ли Соловьев указывал, что неизбежным выводом из этого положения является протестантский индивидуализм? Соловьев обвиняет раскольников, что они ушли от матери-церкви, но ведь они во имя православного предания ушли от той иерархии, которую сам Соловьев признает изменившей православию. Не надо уходить, надо с любовью исцелять язвы церкви, реформировать ее, оставаясь ее членом. Но в чем состоит сыновнее послушание церкви, раз признано, что ее руководители уже несколько веков уклонились от истины? В послушании церковному преданию, прошлому православия. Но когда же раскольники уклонялись от этого послушания? Они отвергали авторитет господствующей церкви во имя своего понимания православного предания. То же делает и Соловьев. Однако его пока не отлучают от церкви. Но почему это происходит? Не потому ли, что Соловьев развивает свою теософию в духе Бэме и Шеллинга в 19 веке, когда у русской церкви нет не только меча, но и рвения к искоренению заблуждений, а живи и проповедуй Соловьев в 17 веке, не сгорел ли бы он на том же костре, на котором погиб Квирин Кульман за те же идеи Бэме, а если бы и не сгорел, то остался ли бы он «во имя любви» в подчинении иерархии, возглавляемой патриархом Иоакимом!?

Все эти вопросы скоро встали перед Соловьевым. Взгляд его на старообрядчество резко изменяется. В 1888 г. он пишет: «Церковное управление в России, незаконное, схизматическое и подпавшее (lata sentential анафеме по третьему канону седьмого вселенского собора, формально отвергается значительной частью православной России (староверами)[409]. В безмолвии 1881 и 1882 г.г., после того как порвалась связь Соловьева с государственной службой, университетом и официальной наукой, в нем растет новое миросозерцание.

28 января 1881 г. умер Достоевский, может быть наиболее близкий Соловьеву из славянофилов. На отношениях Соловьева с Достоевским мы должны остановиться подробно.

Мы вполне присоединяемся к Е. Н. Трубецкому, утверждающему, что нельзя говорить о влиянии Достоевского на Соловьева, а только об их взаимном влиянии[410]. Согласны мы с Трубецким и в том, что кредо Достоевского, произнесенное им на Пушкинском празднике, – понимание русской идеи как всечеловеческой и синтетической (совпадающее с идеями Версилова в «Подростке»), образовалось у Достоевского под влиянием Соловьева, находясь в противоречии со славянофильством князя Мышкина и Шатова, для которых мир должен быть спасен одним только русским Богом и Христом. Всего теснее было общение Соловьева с Достоевским в 1878–80 г.г., и летом 1878 г. они вместе ездили в «Оптину пустынь» к старцу Амвросию. «До какой степени в ту пору оба жили одной духовной жизнью, видно из того, что, говоря об основах своего миросозерцания, Достоевский

---

[409] Ответ на корреспонденцию из Кракова, изд. «Путь», № 48; Соч., XI, стр. 138.

[410] Е. Н. Трубецкой, «Историческое миросозерцание Вл. С. Соловьева», I, стр. 73–74.

в 1878 г. высказывается от общего их имени»[411]. В первой речи о Достоевском Соловьев говорит: «Церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральной идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый – "Братья Карамазовы". Главную мысль, а отчасти и план своего нового произведения Достоевский передавал мне в кратких чертах летом 1878 г. Тогда же мы ездили в Оптину Пустынь»[412].

«Братья Карамазовы» написаны под влиянием Соловьева и его идей. Это мы чувствуем на каждом шагу, читая роман. Существует предание, что Достоевский изобразил Соловьева в лице Алеши Карамазова, и эта мысль высказывается между прочим католическим писателем d'Herbigny в его книге «Un Newmann Russe». Нам кажется, что Достоевский разделил Соловьева между Иваном и Алешей, причем гораздо больше черт Соловьева в старшем брате. Соловьев до известной степени соединял блеск и диалектику «рыцарски образованного» Ивана с мягкостью и добротой Алеши. Но все же Соловьев был прежде всего философ, а не добрый мальчик, живущий одним сердцем. Первая статья Ивана «О церковном суде», за которую его причли к своим и клерикалы и либералы и за парадоксами которой старец Зосима прозрел «сердце высшее, способное горняя мудрствовати и горних искати», очень напоминает статьи Соловьева и даже не те, которые мог знать Достоевский, а которые Соловьев писал впоследствии, по смерти автора Карамазовых. И Соловьев, и Иван Карамазов, и о. Паисий сходятся в том, что владычество Христа на земле есть царство Церкви, что Церковь должна преобразить и подчинить себе государство, сделав его своим свободным орудием для реализации царства

[411] Е. Н. Трубецкой, «Историческое миросозерцание Вл. С. Соловьева», I, стр. 73.
[412] Соч., III, стр. 197 и прим.

Божия на земле. Для Соловьева в 1878 г., как и для о. Паисия, это осуществление царства Божия должно произойти в восточном православии, а не в Риме, который подпал третьему искушению дьявола.

«По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего типа в высший тип, а напротив государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие буди, буди».

Но вот что любопытно. Хотя Соловьев в конце семидесятых годов был не менее антикатоличен, чем сам Достоевский, последний как будто прозрел будущего Соловьева и изобразил его в Иване. Иван – единственный герой Достоевского, проникнутый духом католической культуры, и не даром Алеша в ужасе восклицает: «Ты едешь, чтобы к ним (иезуитам) присоединиться», а Иван называет старца Зосиму именем св. Франциска Ассизского «pater seraphicus». Надо было иметь гениальную интуицию Достоевского, чтобы в молодом человеке, для которого предание Рима было «антихристовым», предугадать автора «La Russie et l'Église Universelle», который в 1888 г. слышал от своих русских друзей буквально слова Алеши: «Ты едешь, чтобы к ним (иезуитам) присоединиться».

Особенно близка должна была быть Соловьеву и глава Карамазовых «Кана Галилейская», где то же соловьевское сочетание «белой лилии с алой розой», и «земной души со светом неземным». «Тишина земная как бы сливалась с небесной, тайна земная соприкасалась со звездной». И если это преображение души происходит у Алеши после того, как он заснул под чтение евангелия о браке в Кане Галилейской, то Соловьев придает особое значение этому первому чуду Христа, о котором повествует один только Иоанн. «Христос... дела свои начинает светлым чудом в Кане Галилейской,

освящением человеческого веселия и житейского общения»[413]. И если Алеша падает на землю и обливает ее слезами, то Соловьев в 1886 г. «склоняет чело к Земле-Владычице».

Достойно внимания, что старец Амвросий по-видимому отнесся к Соловьеву холоднее, чем Зосима к Ивану. В жизнеописании Амвросия мы читаем: «о последнием (Соловьеве) дал неодобрительный отзыв». Чем было вызвано неодобрение старца? Конечно, не католическими идеями, которых у Соловьева в то время не было, но, быть может, теми идеями и настроениями, в которых зоркий Амвросий уловил будущего апологета папской непогрешимости.

Соловьев произнес три речи о Достоевском. В них мы найдем мало для характеристики автора Карамазовых. Соловьев как бы пользуется его именем для провозглашения своих собственных идей.

В первой речи Соловьев указывает на Достоевского, как на предтечу будущего искусства, того самого, которое явилось как свободная теургия. Старое искусство отвлекало человека от мирской тьмы и злобы; новое искусство привлекает человека к тьме и злобе житейской, с неясным иногда желанием просветить эту тьму, умирить эту злобу[414]. В грубой оболочке современного реализма скрывается крылатая поэзия будущего. В реалистическом художестве есть предсказание будущего религиозного искусства, предтечей которого был Достоевский. Если Гончаров и граф Л. Толстой берут жизнь статистически, все в готовых, твердых и ясных формах[415], то у Достоевского все в брожении, ничто не установилось, все еще только становится. Он предугадывает, куда приведут различные современные ему направления и произносит им суд.

---

[413] Соч., III, стр. 270.
[414] Там же, стр. 189.
[415] Там же, стр. 191.

В краткой второй речи, произнесенной 1 февраля 1882 г., Соловьев рисует Достоевского апостолом вселенского православия, «ясновидящим предчувственником» истины Христовой. «Истинная Церковь, которую проповедовал Достоевский, есть всечеловеческая, прежде всего в *том* смысле, что в ней должно в конец исчезнуть разделение человечества на соперничествующие и враждебные между собою племена и народы... Поэтому Достоевский, говоря о России, не мог иметь в виду национального обособления»[416]. Здесь Соловьев уже навязывает Достоевскому свои собственные формулы, забывая, что в «Дневнике писателя» больше Шатовских идей, чем Версиловских. Да и в «Братьях Карамазовых» только от Востока «звезда сия воссияет», живой Восток даст жизнь омертвелому Западу и объединит арийский мир. И прав Е. Трубецкой, говоря, что уже антисемитизм Достоевского мешал ему принять универсализм Соловьева во всем его объеме[417].

Вообще надо сказать, что как близорукость мешала Соловьеву видеть внешнюю природу и он хоть немножко увидал Ломбардию только благодаря купленному в Париже «носощипу»[418], так бывал он близорук и в отношении людей, был лишен психологической зоркости. Нам думается, что Достоевский лучше понимал Соловьева, чем Соловьев – Достоевского. Трудно представить более противоположных людей. Достоевский – весь анализ, Соловьев весь – синтез. Достоевский весь трагичен и антиномичен: Мадонна и Содом, вера и наука, Восток и Запад находятся у него в вечном противоборстве, тогда как для Соловьева тьма есть условие света, наука основана на вере, Восток должен в органическом единстве соединиться с Западом. Полное расхождение с Достоевским

[416] Соч., III, стр. 201.

[417] Е. Трубецкой, ук. соч., I, стр. 75.

[418] П., II, стр. 15.

ярко сказалось в третьей речи, произнесенной 19 февраля 1883 г. Здесь уже нет ничего от Достоевского, как древние греки говорили о драмах Еврипида: οὐδέν πρὸς Διονύσον.

На рубеже 1882–83 г.г. у Соловьева начинается кризис от православия к католицизму. За год до коронации Александра III-го, следовательно весной 1882 г., Соловьев увидел таинственный сон. «Из его собственного рассказа я знаю», передает Е. Трубецкой, «что *ближайшим* толчком, вызвавшим поворот в его воззрениях, был вещий сон, виденный им за год до коронования Александра III-го. Он ясно видел себя едущим по длинному ряду Московских улиц и твердо запомнил как эти улицы, так и тот дом, у которого остановился его экипаж. При входе вышло ему навстречу высокопоставленное католическое духовное лицо, у которого он тотчас попросил благословения. Тот, видимо, стал колебаться, усомнившись в возможности благословить "схизматика", но Соловьев победил его сомнения указанием на мистическое единство вселенской Церкви, не поколебленное видимым разделением двух ее половин, – и благословение было дано»[419].

Впервые этот сон дает себя чувствовать в третьей речи о Достоевском, сказанной 19 февраля 1883 г. В первой части Соловьев повторяет свою старую схему, подводя под нее Достоевского, «гармонически сочетавшего в себе начала божественное, человеческое и материальное» и одновременно бывшего мистиком, гуманистом и натуралистом[420]. Во второй части он говорит, что задача России – синтез и примирение. Когда великий грех разделения церквей совершился в Византии, рождалась Россия для его искупления[421]. Россия была искони поставлена между двумя врагами: нехристианским востоком, басурманством и западной формой

[419] У. Трубецкой, ук. соч., I, стр. 440–449.
[420] Соч., III, стр. 213.
[421] Там же, стр. 215.

христианства – латинством. Борьба и победа над обоими врагами была необходима для образования государственного *тела* России. Теперь, когда Россия показала и Западу и Востоку свои физические силы, эта борьба теряет свой смысл, ей надо показать свои духовные силы в примирении. Духовное начало поляков есть католичество, духовное начало евреев есть иудейская религия, надо отделить в них то, что есть от Бога и то, что есть от человеков[422].

«Видя, что римская церковь и в другие времена одна стояла твердой скалою, о которую разбивались все темные волны антихристианского движения (ересей и мусульманства); видя, что и в наши времена один Рим остается нетронутым и непоколебимым среди потока антихристианской цивилизации и из него одного раздается властное, хотя и жестокое слово осуждения безбожному миру, мы не приписываем этого одному какому-то непонятному человеческому упорству, но признаем здесь и тайную силу Божию; и если Рим, непоколебимый в своей святыне, вместе с тем, стремясь привести к этой святыне все человеческое, двигался и изменялся, шел вперед, претыкался, глубоко падал и снова вставал, то не нам судить его за эти преткновения и падения, потому что мы его не поддерживали и не поднимали, а самодовольно взирали на трудный и скользкий путь западного собрата, сами сидя на месте, и, сидя на месте, не падали»[423].

Подобные речи о Достоевском можно было говорить только, когда он покоился в могиле. Соловьев во имя Достоевского призывал к примирению с тем, что было тому глубоко враждебно. Достоевский считал Рим антихристом, был полонофобом и антисемитом. Он звал не к соединению с Римом, а к борьбе с ним и народами, восприявшими его культуру.

---

[422] Соч., III, стр. 216.

[423] Там же, стр. 216–217.

Соловьев солидарен с Достоевским в понимании Церкви, как теократии, как Царства Христа, осуществляемого через земное государство. Торжество Церкви связывалось для Достоевского с определенными политическими чаяниями, с образованием славянской державы на берегах Босфора. Теократия для Достоевского есть торжество православного и царского востока над католическим и папским Римом. А Соловьев пытается построить будущую теократию, соединив православный Восток с католическим Римом, восточное царство с западным первосвященством.

Прежде, чем перейти к кризису, совпавшему с болезнью весной 1883 г., мы должны коснуться истории того глубокого чувства, которое заполнило душу Соловьева с 1877 г. и во многом определило его жизненные пути. Мы разумеем единственную серьезную любовь Соловьева, которая заняла десять лет его жизни и, охладев, теплилась в его душе до последних дней. Предметом этой любви была Софья Петровна Хитрово, которой вдохновлены лучшие стихотворения Соловьева.

Когда я спрашивал Софью Петровну о времени ее знакомства с Соловьевым, она отвечала: «Сейчас же по возвращении его из Египта». Значит, знакомство их произошло в 1876–77 г.г., вероятно в Петербурге. Софья Петровна Хитрово (урожденная Бахметьева) была племянницей жены графа А. К. Толстого, Софьи Андреевны. В дом Толстой, жившей вместе с племянницей, Соловьев был введен племянником А. К. Толстого, Д. Н. Цертелевым. Начиная с 1877 года, Соловьев каждое лето ездил в имение Толстых Красный Рог, Брянского уезда. Хозяина, поэта А. К. Толстого, уже не было в живых, но его вдова и племянница жили еще на широкую ногу, и Соловьев в Красном Роге погружался в настоящую vie de château. Фет в своих «Воспоминаниях» описывает окрестности Красного Рога:

«Невзирая на некоторое однообразие хвойных лесов, дорога все-таки не лишена была самобытной прелести. Густая

стена елей порою раздвигалась, давая место озерцу, покрытому водорослями, откуда, при грохоте экипажа, ночами из-под самых ног лошадей, с кряканьем вылетали огромные дикие утки, а по временам на высоких вершинах виднелись мощные отдыхающие орлы. Излишне говорить, до какой степени любезны и гостеприимны были наши хозяева»[424].

Дух умершего Алексея Толстого еще царил в Красном Роге, когда начал приезжать туда Соловьев. Алексей Толстой был очень близок Соловьеву настроениями своей поэзии. Творец «Дон Жуана» и «Иоанна Дамаскина» был поэт-философ, стремившийся соединить пантеистические настроения Гете с христианством. Крупные недостатки Толстого как поэта вероятно ускользали от Соловьева, зачарованного Красным Рогом. Он чуял в покойном хозяине замка глубокого мистика, для которого природа полна таинственных голосов, которому не чужд жуткий демонизм («Упырь», «Коринфская невеста»). У Толстых устраивались спиритические сеансы, и граф находил, что в его жене «много магнетизма»[425]. Фету довелось принять участие в спиритическом сеансе у Толстых в Пустыньке, и стол отвечал ему ямбами и другими размерами. Когда Соловьев заехал в Красный Рог в 1877 г. и отправился в действующую армию на Дунай, в ночь с 13 на 14 июня там произошла какая-то чертовщина и являлся дух Цертелева[426].

Впоследствии настроению Соловьева отвечала вражда Толстого к Московско-Византийскому периоду и деспотизму, его культ Киевского периода, когда русская жизнь была привольной, когда князь Владимир воспринял христианство как религию радостного милосердия и нищелюбия[427].

---

[424] Фет, «Воспоминания», II, стр. 185.

[425] Там же, стр. 27.

[426] П., II, стр. 238.

[427] «Владимир святой и христианское государство», Соч., XI, стр. 121–135.

«Моя ненависть к Московскому периоду», пишет А. Толстой в одном письме, «есть моя идиосинкразия. Моя ненависть к деспотизму – это я сам»[428].

Соловьев попал под сильное влияние графини С. А. Толстой. Он относился к ней с обожанием, смотрел на нее снизу вверх и исповедуется ей в своих юношеских письмах: «Avec des apparences de bonté j'ai un cœur très méchant. C'est mauvais, mais je n'y puis rien»[429].

Графиня по-видимому держала молодого философа довольно строго. «Не думайте, что я думаю, что вы имеете ко мне какое-то особенное расположение, но я ничего совсем не требую, – это "ein längst überwundener Standpunkt", когда я требовал и обижался»[430].

В зрелом возрасте Соловьев значительно охладел к Софии Андреевне, и о некоторых ее поступках рассказывал не без иронии. Но, конечно, дело было не в старой графине, на которую только падал отраженный свет ее племянницы. Софья Петровна была на несколько лет старше Соловьева, и, когда они познакомились, ей было лет 26. Она рано вышла замуж за молодого дипломата и поэта Михаила Александровича Хитрово, которого Фет нашел в Пустыньке еще в 1869 г., при жизни Алексея Толстого. Фет называет его «блестяще образованным молодым человеком, занимающим в настоящее время весьма видное место в нашей дипломатии»[431]. Когда Толстые с Фетом совершали прогулки по лесам на четверке лошадей, молодой дипломат сопровождал их верхом. По-видимому Софья Петровна была не совсем счастлива в браке. В 1887 г. в письме к А. Ф. Аксаковой Соловьев так высказывается о браке Хитрово: «Тут никакой нравственной

---

[428] Соч., VII, стр. 151.

[429] П., II, стр. 202.

[430] Там же, стр. 205.

[431] Фет, воспоминания, II, стр. 185–186.

связи ни с той, ни с другой стороны не существовало, никакой даже чисто-человеческой любви, никакой даже эгоистической привязанности, ничего кроме расчета и внешних случайностей». «Тут уже не только не может быть речи о каких-нибудь идеалах, но тут просто нет ни одного, ни малейшего элемента для настоящего брака»[432]. Конечно, Соловьев не мог в этом случае быть беспристрастным судьей, и в его отзыве есть преувеличение. М. А. Хитрово впоследствии получил назначение в Японию, годами жил вдали от семьи, что способствовало сближению его жены с Соловьевым.

Я знал Софью Петровну в пожилых годах, когда уже мало осталось от ее прежнего обаяния, но молодые ее портреты дают понять ее необыкновенный успех. Мой отец ее сравнивал с розовой августовской астрой. Французский критик Эжен Мельхиор де Вогюэ, гостивший в Красном Роге летом 1878 г., называл ее шутя Eve Touranienne, находя в ее лице монгольские черты.

Газели пустынь ты стройнее и краше
Степная Мадонна, Туранская Ева

начинает Соловьев свое первое, еще очень слабое, стихотворение к Софье Петровне, подписанное 18 авг. 1878 г. Лицо у Софьи Петровны было круглое, глаза карие и узкие. Соловьев особенно любил, когда она надевала голубое платье.

Мне часто задают вопрос: понимала ли Софья Петровна Соловьева? На это я отвечаю: можно ли представить себе, чтобы человек любил женщину около 20 лет жизни, если б она его *совсем не понимала*? Не знаю, разделяла ли Софья Петровна те или другие идеи Соловьева, но несомненно она «умосозерцала» его внутреннее я, и ей оно открывалось

---

[432] Письмо к А. Ф. Аксаковой, не напечатано.

полнее, чем кому-нибудь другому. Вспоминая в 92 г. о Пустыньке, Соловьев горестно говорит:

Жизни там две сожжены.

Не одна его жизнь, а две жизни, ряд лет слитые в одну.

Любовь Соловьева к Софье Петровне разгоралась постепенно. Мы видели, что еще в 1879 г. у Соловьева были увлечения в Москве. Первые годы любовь к Софье Петровне наполняла душу Соловьева главным образом меланхолией, чувство его казалось безнадежно. В 1880 г. он выразил эти настроения в стихах:

Уходишь ты, и сердце в час разлуки
Уж не звучит желаньем и мольбой,
Утомлено годами долгой муки,
Ненужной лжи, отчаянья и скуки
Оно сдалось и смолкло пред судьбой.

«Ненужная ложь» вероятно была особенно тяжела Соловьеву, а ее делало неизбежной присутствие М. А. Хитрово. Письма Соловьева конца семидесятых годов вскрывают пред нами эти годы долгой муки, и по ним мы видим, что апогей его славы во время чтений о Богочеловечестве не делал его счастливым. Письма этого периода самые меланхолические. «Простите, храни вас Бог», пишет он графине Толстой 30 ноября 1878 г. «А я не знаю, что со мной будет. Темнота и туман застилают мой путь, ночь на землю все гуще ложится»[433]. «Я по своему меланхолическому темпераменту склонен чувствовать себя в забвении от Бога и людей (чего я, конечно, достоин), но тем более радуюсь незаслуженной памяти». «Что я делаю, вы спрашиваете? Занимаюсь "красотой и творчеством" – в теории, графиня, увы, только в теории!»[434].

---

433 П., II, стр. 203.
434 Там же, стр. 204.

Июнь 1879 г. Соловьев проводил в Красном Роге, и настроение его было тяжелое. «Ты напрасно предлагаешь мне наслаждаться здесь», пишет он сестре Наде[435], – «до наслаждения далеко, и здесь, как везде на одну минуту приятного или по крайней мере спокойного состояния приходят долгие часы тоски и мучений». Еще сильнее в письме к матери: «Милая мама, если вы меня действительно любите, то должны понимать, что кроме общих с вами огорчений, как теперь болезнь папа, у меня есть еще другое свое несчастие, так что вообще жить мне куда как не весело, и если я все-таки живу и не отправил себя самопроизвольно на тот свет, то уверяю вас, что главным образом меня от этого удерживает мысль о папа и Вас, а то храбрости у меня для этого пассажа достаточно. Потому вы должны быть снисходительны к мелким неприятностям, которые я могу вам иногда причинять, ради того, что от этой и крупной я вас избавляю (12 июня 1879 г.).

Вернувшись в Москву в конце июня, Соловьев пишет С. А. Толстой: «Я действительно был болен, когда уезжал – сердцебиением и головокружением, и очень признателен барону Н., который был со мною всю дорогу более, чем любезен. А С. П. не дала мне никакой реликвии, хоть и обещала... так что главным предметом моего иконопочитания остается по-прежнему фотография с оторванною головою...»[436].

В 1880 г. в течение некоторого времени Соловьев ежедневно записывал свои сны. Приводим некоторые из них:

1880 год

12 августа. (Пустынька) «Я видел себя в Сибири, кажется в Томске, по пути в Японию, я находился в гостинице на высоком балконе с открытым видом, было холодно, я смотрел на небо и видел северное сияние.

---

[435] Цитируемые письма к сестре Н. С. и к матери не напечатаны.

[436] П., II, стр. 205. Здесь неверная дата: 1883 г., между тем в письме говорится о болезни отца, скончавшегося в 1879 г.

13 авг. (Петерб.) Видел, что гуляю с Пустыньскими барышнями около какой-то оранжереи в светлый день. С. П. в стороне одна недовольная.

15 авг. (Петерб.) Видел, что нахожусь с отрядом солдат, отправляющихся в поход.

16 авг. (Пустынька) Видел себя в гамаке, ни к чему не прикрепленным, свободно качаясь на воздухе, а передо мною С. П. и графиня, и эта последняя говорит: «Что ж, это хорошо, я и не знала, что так будет».

17 авг. (Пуст.) Видел, что приехал М. А. Х-во с какой-то довольно красивой женщиной, которая будто бы его жена. С. П. уходит сердитая, а приезжая дама отводит меня в сторону и начинает дурно говорить о С. П. Я ее защищаю.

19 авг. (Пуст.) Видел, что я с отрядом солдат нахожусь около какой-то башни на уступе высокой горы, на которую лезут неприятели. Я говорю солдатам: «подпустите их ближе и тогда стреляйте». Неприятель приближается, мои солдаты хотят стрелять, но ружья оказываются незаряженными, происходит смятение, но я не пугаюсь и говорю: «заряжайте скорей, еще успеем»! И только что неприятель взобрался на гору, как мои люди дали залп, и все враги быстро исчезли.

22 авг. (Петерб.) Видел покойного отца с бледным лицом, но бодрого и очень похорошевшего; он подал мне роскошно изданный том своих посмертных сочинений. Я обрадовался и сказал: вы сами это лучше сделали, чем мы. Потом он ушел в свою комнату отдыхать, а я стал рассматривать его книгу и увидел, что она содержит в себе сочинение о началах русской истории, доведенное до смутного времени. Потом я пошел в комнату отца, чтоб положить книгу на место; я постучался и спросил: «спите ли вы, папа»? Он отвечал: «нет, еще не заснул, войди»! Я вошел, в комнате было довольно темно, он лежал в кровати в сером халате. Я подошел и поцеловал его руку. Он удержал мою руку и сказал: «что ж у тебя готовы матерьялы для сочинения твоего: записки камер-юнкера? Смотри, чтоб было хорошо, для этого нужно много знаний». Я хотел отвечать, что это будет сочинение более литературное, нежели ученое – и проснулся.

30 авг. Видел, что С. П. отделилась от полу и, наклонившись ко мне назад и закинув голову, легла мне на руки, которые я протянул. Сначала мне показалось тяжело, и я согнул колени, но потом выпрямился и держал ее свободно на руках.

31 авг. Видел, что я с сестрами отправляюсь в дорогу в дилижансе. Кто-то спрашивает: «а папа»? Надя отвечает: «он остался дома». Потом видел себя сидящим против С.П. за маленьким столиком, у нее были блестящие глаза. Кто-то подал мне маленький треугольный пергамент, на котором было написано: Et bien! Madame Hitrowo continue-t-elle toujours à faire la coquette avec tout le monde?

2 сент. Видел С. П. в ярко-красном платье, вальсирующую со мною (N. B. в следующий вечер с ней поссорился).

3 сент. Видел, что на каком-то темном дворе даю нищему медные и серебряные деньги. Потом трижды видел С. П....

6 сент. Видел, что сижу с графиней и С. П. в маленькой светлой комнате. Графиня разбирает бумаги и спрашивает у меня какую-то красную книжку, я не нахожу, тогда она сама берет и вынимает ее из футляра и мне показывает. Я сижу у ног С. П....

10 сент. Видел С. П. с изменившимся лицом. Нина Г.(агарина) за самоваром обварила кипятком какую-то серую змею. Графиня жаловалась на нездоровье.

Пустынька под Петербургом около станции Саблино еще теснее связана с жизнью Соловьева, чем Красный Рог, и наложила неизгладимую печать на его поэзию. Там он живал с начала 80-х годов и до последнего года жизни, когда, за несколько недель до смерти, им написано стихотворение «Вновь белые колокольчики». Фет дает нам описание Пустыньки в своих «Воспоминаниях».

«В назначенный день коляска по специальному шоссе доставила нас из Саблина версты за три в Пустыньку. Надо сознаться, что в степной России нельзя встретить тех светлых и шумных речек, бегущих средь каменных берегов, какие всюду встречаются на Ингерманландском побережьи. Не стану распространяться о великолепной усадьбе Пустыньки,

построенной на живописном правом берегу горной речки, как я слышал, знаменитым Расстрелли. Дом был наполнен всем, что вкус и роскошь могли накопить в течении долгого времени, начиная с художественных шкапов Буля, до мелкой мебели, которую можно было принять за металлическую литую... Невзирая на самое разнообразное и глубокое образование, в доме порой проявлялась та шуточная улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях Кузьмы Пруткова»[437].

«Гранитные берега "дикой Тосно"», «белый, сыпучий песок», старые сосны, «стройно-воздушные» колокольчики, похожие на «белых ангелов», – эти образы Пустыньки принадлежат к лучшим образам в поэзии Соловьева. На берегах Тосно был большой камень, который Соловьев прозвал «святым камнем», после того как на нем ему явилось видение церковных старцев, благословивших его «оправдать веру отцов». К этому камню он любил ходить с Софьей Петровной.

Снова веду ее к камню святому я...

Характер Софьи Петровны всего лучше изображен в стихотворении «О, как в тебе лазури чистой много», написанном в 1881 г.:

О, как в тебе лазури чистой много –
И черных, черных туч!
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.

И как в твоей душе с невидимой враждою
Две силы вечные таинственно сошлись,
И тени двух миров нестройною толпою
Теснясь к тебе причудливо сплелись.

---

[437] Фет. «Мои воспоминания», II, стр. 25.

Все та же знакомая нам тема. В душе любимой женщины Соловьев видит всю ту же богиню, «душу мира», отделившую себя от божественного света, одержимую силами хаоса и потому находящуюся в состоянии распадения и страдания. Стихотворение было напечатано в «Руси» (1882 г. № 42) и в нем имелась неудачная третья строфа, которую Соловьев впоследствии выпустил. Но строфа эта, будучи тяжелой и слишком отвлеченной, весьма характерна.

В невидимой чреде друг другу уступая,
Иль споря меж собой без мысли и следа,
И вся твоя душа – их двойственность слепая,
Немой, бесплодный мир, ненужная вражда.

В любви Соловьева к Софье Петровне соединилось и восторженное преклонение, с готовностью «лежать у ее ног, не вставая из праха», и страсть, «дышащая пожаром», и глубокое сострадание, стремление разбудить в ней лучшее, дремлющее начало ее души.

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я любя.
Только имя мое назовешь,
Молча к сердцу прижму я тебя (1887 г.)

И в конце концов горький плач над двумя сожженными жизнями:

Память, довольно! Тень эту скорбящую
Было мне время отпеть!
Срок миновал, и царевною спящею
Витязь не мог овладеть. (1892 г.)

Медиумическая переписка с Софией переходит в переписку с Софьей Петровной. Понемногу и медиумизм идет на убыль, и мы слышим простой голос любящего человеческого

сердца. Уже «София» не «царица», не «богиня», а страдающая и нежная женщина. В медиумических записях того времени постоянно попадаются одни и те же фразы: «Милый мой друг, дорогой мой, единственный... Я не могу быть так, мы должны быть всегда вместе... Я живу и умру с тобой вместе... Я дома... Я давно проснулась и хочу тебя видеть... Я должна казаться очень дурной, но мое лучшее Я пробуждается. Друг мой, верь в меня. Я та, которую ты любишь... Warte nur, balde ruhest du auch... Медленно, но постоянно я пробуждаюсь, друг мой. Я буду твоею. Мы двое будем делать то дело, к которому ты призван... Не думай, чтобы так можно было кончить. Мы связаны друг с другом навсегда. Я не могу жить без тебя, не обманывайся. Мы должны быть вместе всегда. Не будь злым. Это бесполезно. Мудрость требует, чтоб мы были одним человеком. Я душою давно твоя, нужно всем существом. Я думаю, что ты должен быть спокоен. У Бога довольно сил, чтобы оживить тебя. Будь только верен мне и люби меня больше всего. Я до того буду мучить тебя, пока ты совсем не расплавишься и не будешь ничего колючего в себе иметь. Я мало мучила тебя... я буду скоро с тобой совсем. Не печалься. Все пройдет, кроме любви».

Мы смело можем сказать, что С. П. Хитрово была единственной любовью всей жизни Соловьева. Начавшись в 1877 г., эта любовь, меняя свои формы, остается живой до гроба. Первый ее период – «годы долгой муки, ненужной лжи, отчаяния и скуки», с 1883 г. наступает период относительного счастья, в 1887 г. происходит роковой кризис, временное расхождение, но в 1890 г. Соловьев пишет к Софье Петровне:

А когда пред тобой и мной
Смерть погасит все светочи жизни земной,
Пламень вечной души, как с Востока звезда,
Подведет нас туда, где немеркнущий свет,
И пред Богом ты будешь тогда,
Пред Богом любви – мой ответ.

В 1892 году, во время страстного и бурного увлечения С. М. Мартыновой, Соловьев неожиданно пишет лучшее свое стихотворение к Софье Петровне «Память», где на крыльях памяти мчится в милую страну и видит свою возлюбленную «на пожарище тлеющем» и у «святого камня», «в ярком венке из цветов», а в 1894 г. поздравляет ее с Новым годом:

Все же: с новым годом старый, бедный друг!

В Пустыньке Соловьев проводит последний месяц своей жизни, и Софья Петровна у его гроба настаивает, чтобы он был похоронен в Пустыньке, согласно его желанию, в назначенном им самим месте.

Любовь Соловьева к С. П. Хитрово и вызванная ей поэзия – исключительное явление в истории. *Так* не любил ни один поэт. Здесь мистическая символика Vita nuova («все в мыслях у меня мгновенно замирает, о, радость светлая, завижу лишь тебя») сочетается с теплотой простого человеческого чувства. Если вспомнить, что переживал Соловьев в эти годы, какие идеи и планы зрели в его уме, если вспомнить, что года близости с Софьей Петровной совпадают с написанием «Духовных основ жизни», «Истории теократии» и «La Russie et l'Église universelle», то нельзя без признательности отнестись к той женщине, в душе которой ясновидящий взор поэта уловил скрытое от других людей: тени двух миров, сплетшихся между собою в невидимой вражде и в любви, в которой он вновь и вновь черпал свою веру в то, что

Все, кружась, исчезает во мгле
Неподвижно лишь солнце любви.

Весной 1883 года Москва торжественно готовилась к коронации Александра III. В это время на углу Пречистенки и Зубовского бульвара, в доме Лихутина, один молодой

человек лежал в жару и боролся со смертью. Несколько лет назад разрушилась его блестяще начатая карьера, и он взял в руки страннический посох. Теперь готов был разрушиться и его телесный организм. Но ему еще не хотелось умирать: он чувствовал в себе силы для чего-то великого, он сознавал, что еще не исполнил своей жизненной задачи:

«Это случилось весной, если не ошибаюсь в апреле» – вспоминает Мария Сергеевна, – незадолго перед тем, как Москва начала готовиться к коронации Александра III. Время тогда было «волнистое», как выражался один знакомый, а для брата и в личном отношении: он всю зиму перед тем ждал и надеялся, что та, которую он называл своей невестой, решится на последний шаг, чтобы стать его женой... Помню, с каким таинственным и сияющим лицом брат иногда за обедом говорил: «пью за здоровье моей невесты!». Потом, обратясь к матери: «мама, она скоро к Вам приедет, желает с вами познакомиться, а также и с вами», он кивал головой всем нам. Последние дни перед тем как заболеть ждал писем, выходил из своей комнаты на каждый звонок, был то страшно мрачен, то безумно радостен. И вдруг заболел, и сразу плохо; не то тиф, не то нервная горячка. Вероятно, тут была и простуда, и надрыв нервов. Жар страшный и не спадает, но в полной памяти... Думали, что брат спит, и вышли от него, а я села у окна в зале у самой двери – в случае проснется и позовет.

Вдруг слышу – брат явственно окликнул:

– Кто тут?

– Я.

– Поди ко мне – на столе Евангелие, найди брак в Кане Галилейской и прочти мне вслух.

...А покуда читала, брат все время, не переставая, крестился крупным, истовым крестом, нажимая пальцы на лоб, грудь

и плечи. Я кончила читать, а он все продолжал так креститься, и в этом движении яснее всяких слов чувствовалась мне вся страстность желания брата жить и в то же время вся полнота его покорности воле Бога. Наконец брат перестал креститься.

– Подойди ко мне.

Я подошла.

– Не знаешь, телеграмму мою отправили? (к ней, к «невесте»).

– Отправили, отправили.

– Ну хорошо... А теперь, пожалуй, скажи, что могут меня обтирать, если хотят, или что там еще полагается.

Я пошла, но в дверях обернулась на брата и увидала, что он опять крестится, как раньше, и явственно услыхала страстный, горячий шепот: «Господи, спаси! Господи! помоги!».

К вечеру брату стало лучше, и с следующего дня пошло выздоровление»[438].

Квартира в доме Лихутина, куда переехали Соловьевы после смерти Сергея Михайловича, помещалась во втором этаже. В ней царило холодное великолепие, и большие комнаты с пальмами были как-то пустынны. Прямо из передней дверь направо вела в кабинет Владимира Сергеевича, украшенный только двумя картинами: портретом Петра Великого во весь рост и Тициановским Христом с монетой. Зала и гостиная, где никто и никогда не сидел, производили впечатление храма, посвященного памяти Сергея Михайловича. По стенам залы были развешаны портреты великих князей с автографами, в гостиной из-за пальм белел бюст Сергея Михайловича, и на каком-то аналое красовался бювар с металлической крышкой, преподнесенный ему Университетом. За столовой,

---

[438] Воспоминания М. С. Безобразовой, стр. 161–162.

где уже было уютнее, пахло кухней и доносился голос кухарки Анны, находились аппартаменты Поликсены Владимировны с громадной божницей и неугасимой лампадой, изнутри озарявшей белую и круглую Madonna della Sedia Рафаэля.

Владимир Сергеевич поправлялся от болезни и уже ходил по своему кабинету, когда раздался звонок. В передней появилась Софья Петровна, в первый раз в этом доме. Владимир Соловьев молча ей поклонился и, ни слова ей не говоря, провел ее в кабинет, где они долго беседовали. Тиф его сыграл большую роль в истории их отношений.

Вскоре после этого Соловьев ехал на извозчике по московским улицам. Он узнавал виденное им во сне год назад. Та же улица, те же дома и при входе католический прелат. Соловьев попросил у него благословения, и тот, после некоторых колебаний, уступив доводам Соловьева, «благословил схизматика».

Через несколько недель Соловьев, с бритой после тифа головою, уехал в Красный Рог и быстро закончил первое свое сочинение по католическому вопросу: «Великий спор и христианская политика».



Часть вторая
Рим

«Будь я проклят как отцеубийца, если когда-нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима».

В. Соловьев. Письмо к Аксакову № 10

Глава 1
Великий спор. Духовные основы жизни. Хвалы и моления Пресвятой Деве

И, бедное дитя, меж двух враждебных станов,
Тебе приюта нет.

В. Соловьев

19 февраля 1883 года, в третьей речи о Достоевском, Соловьев впервые заговорил о соединении церквей. Через несколько дней он пишет И. С. Аксакову: «Мою речь в память Достоевского постигли некоторые превратности, вследствие которых я могу Вам ее доставить только к 6 № *Руси*. Дело в том, что во время моего чтения пришло запрещение мне читать, так что это чтение принимается якобы не бывшее, и петербургские газеты должны умалчивать о вечере 19 февраля, хотя на нем было более шестисот человек. Вследствие того же полицейского запрещения попечитель Дмитриев, разрешивший речь, пожелал для собственного ограждения как можно скорее иметь ее текст, и я должен был поспешно ее списать для себя. Но эту иероглифическую копию послать Вам было невозможно, и вот я должен еще раз списывать – а речь довольно большая – а я к тому же расстроен и утомлен панихидами и похоронами одного старого приятеля. Таким образом о помещении речи в 5-м номере нечего и думать.

Вам я сам привезу ее в Москву. Напечатать же ее нужно не как речь, а как статью и под другим заглавием. И все это наш друг К.П.П..!»[439].

Грозный обер-прокурор Святейшего Синода, «русский Торквемада», впервые восстает на пути Соловьева. Это только начало борьбы.

С первого номера 1883 г., Соловьев начал печатать в «Руси» свое сочинение «Великий спор и христианская политика». С первыми тремя главами дело обстояло благополучно. Первая глава – «Вступление. Россия и Польша» явилась потом первой главой «Национального вопроса», где носила заглавие «Нравственность и политика. – Исторические обязанности России». Начиная со второго абзаца, первая глава «Великого спора» и первая глава «Национального вопроса» дословно совпадают.

В первой главе Соловьев говорит о проходящем через всю историю великом споре Востока и Запада, начало которого еще Геродот относил к баснословным событиям: похищению финикиянами женщин из Аргоса и Елены из Лакедемона сыном троянского Приама. Этот великий спор должен быть решен, и задача примирения Востока и Запада лежит на России. Соловьев обличает себялюбие и корысть современной европейской политики, называя ее *людоедством*. Сравнивая эксплуатацию англичан и немцев, Соловьев, как и в заключительной главе «Философских начал», указывает на философское превосходство немцев: «Англичанин является перед своими жертвами как пират, немец как педагог, воспитывающий их для высшего образования. Эмпирик-англичанин имеет дело с фактами, мыслитель-немец с идеей: один грабит

---

[439] К. П. Победоносцев. «Русская Мысль», 1913 г. Декабрь, стр. 80. (П., VI, стр. 19).

и давит *народы,* другой уничтожает в них самою *народность»*[440]. Христианство упраздняет национализм, эгоизм и своекорыстие народов, но не народность. Например плоды германской народности – Лессинг и Гёте, Кант и Шеллинг, плоды германского национализма – насильственное онемечение соседей от времен тевтонских рыцарей и до наших дней[441].

Теперешняя вражда Польши и России – лишь выражение векового спора Запада и Востока, и в общеевропейских событиях мусульманство играет эпизодическую роль. Между нами и Царьградом оказывается Вена, поляки-католики вступают в турецкие ряды против русского войска, православные сербы в Боснии соединяются с мусульманами против католической Австрии. Польша – авангард католического Запада против России. За Польшей стоит апостолическое правительство Австрии, а за Австрией стоит Рим. Дело России показать, что она не есть только представительница Востока, что она действительно есть ***третий*** Рим, не исключающий первого, а примиряющий собою обоих»[442].

Во второй главе «Восток и Запад в древнем мире. – Историческое место христианства» (Русь, № 2, 17 января) Соловьев развивает идею о «мифических богочеловеках Востока» и «ложном человеко-боге Запада», нашедшем свое окончательное выражение в апофеозе римского Кесаря, и переходит к христианской религии истинного богочеловечества.

Третья глава (Русь, № 3, 1 февраля) называется «Христианство и реакция восточного начала в ересях – Смысл мусульманства». В январе 1883 г. Соловьев пишет Аксакову: «Вы мне писали как-то, чтобы не очень удлинять статью, поэтому я ее

---

[440] Соч., IV, стр. 5; V, стр. 9.

[441] Соч., IV, стр. 9; V, стр. 13.

[442] Соч., IV, стр. 15–16; V, стр. 20.

довел только *до* разделения церквей, и она не длинна, но довольно содержательна; все ереси, от первых гностических и до иконоборческих включительно, выведены из одного начала – реакции восточного бесчеловечного бога против Богочеловека, и с этим же связано мусульманство; затем в той же связи указывается основной грех Византии (и всего восточного христианства), которая, отстояв в учении православное христианское начало богочеловечности, не выдержала его в жизни и практически впала в ересь разделения божественного от человеческого, откуда я, с одной стороны, вывожу крайности монашества, а с другой стороны – объясняю временный успех мусульманства, открыто признавшего несоизмеримость божественного с человеческим. Все это я стараюсь высказывать осторожно и с благоговением к тому, что действительно священно.

Я слышал, что вся статья удостоилась презрительного отзыва от самого Каткова, который назвал ее "детским лепетом", а бедный Ионин всюду добросовестно повторяет эти слова. Я поручил напомнить ему: аще не обратитесь и не будете яко младенцы, не имате внити в Царствие Божие. Но вообще я замечаю здесь, qu'il y a un parti pris contre moi и это именно с тех пор, как я стал скромнее и отказался от своих притязаний, даже от притязаний поучать нашу, по выражению Ю. Ф. Самарина, "неучащуюся молодежь". Когда я был самоуверенным мальчишкой, меня носили на руках и мой действительно "детский лепет" слушали с величайшим почтением. И теперь еще хорошо, что я не могу достигнуть совершенства в смирении, а то бы меня совсем никто не слушал»[443].

Итак, вслед за Победоносцевым перед Соловьевым встает второй столп русской государственности, Катков, столь

[443] Русская Мысль, 1913, № 12, стр. 79; П., IV, стр. 18.

благосклонно относившийся к молодому философу при его первых выступлениях. Как всегда в таких случаях, борьба ведется нечестно. Стоило Соловьеву заговорить о поляках и евреях, как его философия показалась Каткову «детским лепетом». В 6-м номере «Руси» (15 марта) напечатана третья речь Соловьева о Достоевском, под заглавием «Об истинном деле (в память Достоевского)». Но уже это первое выступление Соловьева адвокатом Рима Аксаков не мог допустить в своем славянофильском органе без примечания редакции: «Западного собрата – Рим, пожалуй, не нам судить, но из этого не следует, что не нам осуждать индульгенции, инквизицию, папское властолюбие и иезуитизм. Напротив, мы должны осуждать их». Здесь же Аксаков извещает читателей, что печатание «Великого спора» откладывается до № 8 или 9. Действительно, 4-я глава появилась только в № 14, 15-го июля. Глава эта «Разделение церквей» весьма смутила Аксакова и А. М. Иванцова-Платонова. Не желая прекращать печатание «Великого спора», Аксаков настаивал на изменениях и сокращениях четвертой главы. Соловьев пишет ему в феврале:

«Я искренно вам признателен за дружественное расположение Ваше ко мне, в которое совершенно верю и которое надеюсь всегда сохранить. Также очень благодарен я Вам за откровенность, с которою Вы ко мне обращаетесь в этом письме. Содержание же его вызывает с моей стороны некоторое объяснение. Чтобы не запутывать дела, я ограничусь констатированием двух фактов и одним категорическим заявлением:

1) Содержание статьи о католичестве и разделении церквей я обдумывал с прошлой весны[444], то есть почти целый год.

[444] То есть со времени сна о благословении у Прелата.

2) Согласившись с Вами, что она в своем настоящем виде неудобна для напечатания по форме и тону изложения, я ни перед Вами, ни перед Алексеем Михайловичем[445] не отказывался ни от одного из выраженных в ней *взглядов.*

3) Говоря о примирении с католичеством, я тем самым уже предполагаю, что католичество в *принципе* не ложно, потому, что с ложью мириться нельзя. Я в католичестве вижу ложное применение, а применение может и перемениться.

При таком взгляде мне действительно приходится по совести защищать католичество от несправедливых, по-моему, обвинений, а потому слух о моей апологии католичества не может меня пугать и удерживать от чтения статьи моим друзьям как в Москве, так и в Петербурге»[446].

Понемногу спор обостряется. В марте Соловьев пишет Аксакову: «Когда Вас поражает дурной запах, происходящий от лесных клопов или от падали, то Вы зажимаете нос и проходите мимо. Но когда дурной запах происходит от гнойных ран на теле Вашего брата, то Вы, конечно, постараетесь помочь больному. Не в моей власти исцелить разделенные церкви, но в моей власти и *обязанности* не растравлять их ран полемикой, а смягчать их словом справедливости и примирения. Если я не умею сказать этого слова, пусть скажет его кто-нибудь другой, лучший, но никто ничего не указывает. Только и есть, что обличение католических грехов да вражда против папизма. Но обличение не облегчает, и вражда не врачует. По плодам их узнаете их. Какие плоды нашей тысячелетней полемики против католичества? Западу не помогли, Восток не оживили, а сами чужим недугом заразились. Не только греки, но и наши в своей вражде к католичеству увлекаются до фальсификации документов, как например,

---

[445] Иванцов-Платонов А. М.

[446] Русская Мысль, 1913, № 12; П., IV, стр. 20.

казанская духовная академия в своем переводе актов вселенских соборов. Но я не хочу вдаваться сам в полемику. Полезнее будет указать основной пункт нашего с вами недоразумения. Мне кажется, Вы смотрите *только* на папизм, а я смотрю прежде всего на великий, святой и вечный Рим, основную и неотъемлемую часть вселенской церкви. В этот Рим я верю, пред ним преклоняюсь, его люблю всем сердцем и всеми силами своей души желаю его восстановления для единства и целости всемирной церкви, и будь я проклят как отцеубийца, если когда-нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима.

Предлагаемое Вами изменение статьи возможно только, если я перенесу вопрос совсем из области религиозной в область социально-историческую, где можно будет говорить не о *самом* вечном Риме, а только о его временном явлении. Такая точка зрения может быть покажется Вам менее отвлеченной, а по моему это-то и есть абстракция. Но довольно спорить. Придется писать для Вас новую статью, а прежнюю, исправив и распространив в целое сочинение, издать за границей по-французски»[447].

Уже в 1883 г. у Соловьева возникает идея «La Russie et l'Eglise universelle». В апреле Соловьев заболел тифом, и затем произошло благословение у папского нунция. В июне он пишет Аксакову из Красного Рога: «Я медленнее, чем думал, поправляюсь от своей болезни и только эти последние дни почувствовал себя в состоянии работать и принялся за продолжение "великого спора", думаю прислать Вам в начале июля»[448]. Наконец 15 июля глава о соединении церквей появилась в «Руси», в сокращенном виде и с примечанием И. С. Аксакова. В № 15, 1 августа, была напечатана

---

[447] Русская Мысль, 1913, № 12; П., IV, стр. 21.

[448] Там же; П., IV, стр. 22.

сравнительно безопасная 5-я глава «Византизм и русское староверие. Народность в церкви». Наконец 6-я глава «Папство и папизм. Смысл протестантства» появилась в № 18, 15-го сентября, но в таком изувеченном виде, что Соловьев был глубоко возмущен. Цитаты, подтверждавшие положения Соловьева, были выброшены, за статьей следовали полемические «примечания» Иванцова-Платонова. В двадцатых числах сентября Соловьев пишет Аксакову:

«Не хочу обижаться на Вас и на Алек. Мих. за свою статью, изувеченную без моего ведома и приведенную почти в неудобочитаемый вид. Ce qui est fait, est fait. Но есть одна вещь, которую я решительно не могу так оставить. Я не верил своим глазам, когда читал конец 20 примечания: не только приписывается мне нелепое и невежественное утверждение (о председательстве пап на вселенских соборах), которого я *нигде никогда* не делал, но еще из этой, ложно мне приписанной нелепости выводятся язвительные заключения и намеки на мою авторскую недобросовестность. Вы знаете мои отношения к Алексею Михайловичу, а это примечание писал точно враг и притом враг, не стеснявшийся в средствах нападения. “Председательство пап”, “личное присутствие пап”, ДА ГДЕ ЖЕ, КОГДА ЖЕ я об этом говорил? Ничего подобного нет в той единственной фразе, в которой у меня упоминается о председательстве на вселенских соборах; в этой фразе (статья № 14, стр. 34) говорится только: “Римские ЛЕГАТЫ председательствовали на вселенских соборах, и восточные монахи выступали союзниками западных иерархов”. Да ведь председательство римских легатов, напр., на IV или на VI вселенском соборе, есть факт, действительно несомненный и общественный. Но где же здесь личное присутствие, где же здесь все соборы? В прежней напечатанной статье у меня также говорилось о председательстве на вселенских соборах и как раз противоположное тому, что мне приписывает

Ал. Мих. Я рад, что у меня сохранился корректурный лист. Посылаю Вам его: прочтите подчеркнутое мной и покажите Ал. Михайловичу.

Я написал необходимый ответ и требую его немедленного напечатания. Не обижайтесь этим словом, это не юридическое требование, а нравственное и дружеское. Я считаю Вас и Ал. Мих. за людей без страха и упрека, считаю Ваш журнал за самый чистый в России. Но сделанная ошибка – нечаянно, я верю – должна быть исправлена: это дело не личное: заподозрена добросовестность писателя, и если явная неправда подозрения не будет указана, может быть потеряно доверие читателей. Если № 19 уже готов, это ничего не значит: мой ответ так короток, что его можно припечатать на любом листке, как Вы сделали с заявлением Чичерина. Но непременно в этом номере. Я оставил в своем ответе только самое необходимое и напечатаю его во всяком случае. Упрекаете Вы меня в неточностях. Если разуметь *фактические* неточности (о таких только и стоит говорить), то во всех примечаниях указана только одна фактическая неточность, правда, ужасно грубая, но она оказывается воображением Ал. Мих. Право, нужно скорее *это* исправить. Упрекаете Вы меня также в увлечениях. Дело в предмете увлечения. Я своего увлечения не стыжусь. Да я же Вас и предупреждал год тому назад... Над окончанием моих статей приходится задуматься: дело выходит мудреное»[449].

В октябре Соловьев пишет Аксакову:

«По долгом размышлении я пришел к тому заключению, что мне необходимо все-таки окончить “Великий спор” в “Руси”, необходимо и для себя и для Вас, и для самого дела. Обо мне распространился решительный слух, что я перешел в латинство. Я бы не считал постыдным сделать это

[449] Русская Мысль, 1913, № 12; П., IV, стр. 23.

по *убеждению,* но именно мои убеждения не допускают ничего подобного. Употреблю глупое сравнение: представьте себе, что моя мать на ножах с своей сестрой и даже не хочет признавать ее за сестру. Неужели, чтобы примирить их, я должен бросить свою мать и перейти к тетке? Это нелепо. Все, что я должен делать, – это внушить всеми силами своей матери (и своим собратьям), что противница ее все-таки родная законная сестра, а не... и при всех своих старых грехах все-таки порядочная женщина, а не..., и что им лучше и благороднее бросить старые счеты и быть заодно. Говоря без аллегории, я "хлопочу" вот о чем:

1) Чтобы представители нашей учащей Церкви не считали церковный спор Востока и Запада порешенным в смысле *безусловного осуждения* западной Церкви, на каковое осуждение они никаких высших полномочий не имеют.

2) Чтобы они не раздували спорных пунктов до нелепых и фантастических размеров.

3) Чтобы они сдали в архив свое "обличительное" и полемическое богословие, которое выдает себя уже одним названием, и вместо судейских и солдатских отношений к западной Церкви допустили родственные и солидарные отношения в сфере религиозной, богословской и церковной, оставляя мирскую политику пока министрам и генерал-губернаторам. *Нравственная* перемена в нашем отношении к западной Церкви будет первым шагом христианской политики, суть которой в том, что она исходит из нравственных чувств и *обязанностей*, а не из *интереса* и не из самомнения. Братское отношение к западной Церкви противно нашим естественным интересам и нашему самомнению, но именно поэтому оно для нас нравственно-обязательно. Ни о какой внешней унии, вытекающей из *компромисса интересов*, здесь нет речи, и в той заключительной статье, которую я хочу Вам дать, будет выражено *решительное осуждение* всем бывшим

униям, и общим (Лионская, Флорентийская), и еще более частным (Брестская, доселе к несчастью существующая в Галиции). Желая этой статьей, между прочим, освободить себя от обвинения в одностороннем латинстве, я тем самым желаю снять и с Вас обвинение в напечатании моих статей. При указанном заключении в них не будет ничего для Вас предосудительного, ничего *противоположного* славянофильским принципам»[450].

Наконец, напечатав 1 ноября в 21 номере пространное возражение А. А. Киреева «Несколько замечаний на статьи Соловьева "Великий спор", Аксаков решил в № 23, от 1 декабря, напечатать и последнюю, 7-ю главу "Великого спора" – "Общее основание для соединения церквей", снабдив ее своим примечанием.

"В день падения Константинополя, в виду наступающих турецких войск", пишет Соловьев, "последним свободным заявлением греков был клич: "Лучше рабство мусульманам, чем соглашение с латинянами". Приводим это не для укора несчастным грекам. Если в этом крике непримиримой вражды и не было ничего христианского, то мало христианского было и во всех попытках вынужденного и формального воссоединения церквей"[451].

"Как ничего христианского!" восклицает Аксаков в подстрочном примечании. "Стократ благословенны греки за то, что предпочли внешнее иго и внешние муки отступлению от чистоты истины Христовой и сохранили нам ее неискаженною папизмом, который, к тому же, именно в то время достиг апогея своего безобразия. Вечная за то грекам слава".

За статьей Соловьева следует письмо в редакцию – патриотический вопль о том, что, говоря про восточную Церковь,

---

[450] П., IV, стр. 25–26.
[451] Там же; Соч., IV, стр. 104.

Соловьев забыл Россию, что для русского мужика православие неразрывно связано со славянской народностью, что русскому мужику болгарин и серб – родные именно потому, что они православные, и прочие славянофильские трафареты, за подписью К. А.

Какова же была в 1883 г. точка зрения Соловьева на разделение Церквей? Разделение произошло не из-за различия в догматах, не из-за filioque. Исконная противоположность Востока и Запада, упраздненная христианством, снова выступает на историческую сцену. В иерархии Востока и Запада оскудевает дух любви и единства, уступая языческой национальной стихии, вселенское на Востоке подменяется греческим, на Западе – латинским. В начале раздора, при Фотии и Керулларии, обидчиками являются греки со своим исключительным староверием и самодовольным эллинизмом. Далее попытки Востока к восстановлению церковного единства уничтожались в самом зародыше "грубым высокомерием и тупой притязательностью тогдашних вождей латинства"[452]. "Только *моя* Церковь есть истинная Вселенская Церковь, – утверждает православный Восток, – поэтому мне нет никакого дела до Запада, лишь бы только он меня оставил в покое". Это есть самомнение, так сказать, *оборонительное.* "Только моя Церковь есть истинная Вселенская Церковь", – утверждает католический Запад, "– поэтому я должен обращать и восточных на мой единственно-истинный путь". Это есть самомнение *наступательное*»[453]. Нужна не формальная уния, подобная Флорентийской и Брестской, а изменение взаимных отношений. Добрая воля к миру и воссоединению. Папство следует отличать от папизма; не принимая папизм,

[452] Соч., IV, стр. 87.
[453] Там же, стр. 109–110.

мы должны признать в римском папстве богоустановленный объединительный центр (centrum unitatis) всего христианского мира.

«Разобрать христианский Восток по частям, как об этом мечтают фанатики латинизма, – невозможно, ибо у этого Востока есть внутренняя духовная связь, есть своя церковная идея, свой общий принцип. В Средние Века это понимали и на Западе; так, великий папа Иннокентий III высказывал ту мысль, что Восточная Церковь представляет собою чисто духовную сторону христианства, есть Церковь по преимуществу Духа Святого. Так это или нет, но во всяком случае самостоятельный характер и значение Восточной Церкви вне сомнения. Эта Церковь есть существенно необходимая, неотъемлемая часть в полноте Церкви Вселенской»[454].

«Каждая из двух Церквей уже есть Вселенская Церковь, но не в отдельности своей от другой, – а в единстве с нею. Это единство существует на деле, потому что обе Церкви на деле обнимаются богочеловеческими связями святительства, догматического предания и таинств... Каждую из двух исторических половин Церкви должно признать в отдельности за часть Церкви, а за целую или Вселенскую Церковь можно признать ее только в соединении с другою половиною – соединении, которое и не нарушалось в области чисторелигиозной – по отношению к Христу, в области же общественной и исторической оно нарушено и должно быть восстановлено»[455].

А. А. Киреев в «добром письме» предупреждал Соловьева, что намерен вступить с ним в полемику. 10 октября Соловьев пишет Кирееву:

«Благодарю Вас за доброе письмо. От полемики *с Вами* я не прочь: во всяком случае это не будет полемикой в дурном

---

[454] Соч., IV, стр. 104–105.

[455] Там же, стр. 109.

смысле этого слова. Совершенно согласен также, что толковать о богословских предметах удобнее в "Руси", чем в "Новом Времени"». Но дело в том, что И. С. Аксаков, кажется, напуган моим «католицизмом» и вместе с тем несколько сконфужен и раздосадован тем неблаговидным оборотом, который был дан «Великому спору» при его пассивном участии, – и все это заставляет его желать, чтобы поднятые мною вопросы поскорее куда-нибудь провалились. Я со своей стороны был настолько догадлив и любезен, что решительно объявил ему о прекращении «Великого Спора» в «Руси». Хотя это не должно помешать Вашей статье, но отвечать мне уже неудобно.

Поэтому не лучше ли Вам будет дать Вашей статье наименее полемический характер – исключить из нее все то, что требовало бы прямого и немедленного ответа?

А затем, если я буду издавать «Великий спор» отдельной книгой, то можно будет в предисловии, или в приложении, а то и в самом тексте, поспорить с Вами на свободе»[456].

1 ноября появился ответ Киреева на «Великий Спор». Положения Киреева сводятся к следующему. Воссоединение Церквей на основаниях, предложенных Соловьевым, невозможно. Римская Церковь утвердила на Тридентском и Ватиканском соборах ереси, из схизматической превратилась в еретическую. Все эти ереси – неизбежное логическое развитие того *софизма,* который лег в основание католического мировоззрения при папах, начавших борьбу с Востоком. Если оправдывать папу Николая I, как это делает Соловьев, то неизбежно принять все последующие еретические догматы римской Церкви, утвержденные на Ватиканском Соборе. Восток на это согласиться не может. Рим также никогда не примет точку зрения Соловьева. Взгляд Соловьева

---

[456] П., II, стр. 102.

на папство, по которому римский первосвященник обладает только скромным правом jurisdictionis и «не может быть источником или действующей причиной догматической истины»[457], уже осужден Ватиканским собором. Для Соловьева, по мнению Киреева, со времени разделения церквей Вселенской Церкви нет, она была до разделения и будет вновь по воссоединении ее разделенных половин. Для Киреева Вселенская Церковь со времени разделения была и остается на Востоке.

Прочитав статью Киреева, Соловьев пишет ему от 12 ноября:

«Наших старо-католиков, конечно, можно сдать в архив, тем более что Вы совершенно правильно сводите вопрос о старо-католиках к более общему вопросу о "Ватиканских догматах". Здесь и наше принципиальное разногласие во всем этом деле. По Вашему, эти "новые" догматы, т. е. "infallibilitas" и "immaculata conceptio", к которым Вы присоединяете также "filioque", составляют ересь и лишают католичество значения *Церкви* в истинном смысле этого слова. По-моему, эти догматы и не новы и никакой ереси ни по существу, ни формально в себе не заключают, а, следовательно, и не могут отнимать у католичества характера истинной Церкви, так как истинная церковность не зависит от большего или меньшего прогресса в *раскрытии* и *формулировании* догматических *частностей*, а зависит от присутствия апостольского преемства, от православной веры в Христа как совершенного Бога и совершенного человека, и наконец, от полноты таинств. Все это одинаково находится и у нас, и у католиков, следовательно, и мы и они составляем вместе единую святую кафолическую и апостольскую Церковь, несмотря на наше историческое временное разделение, не соответствующее истине дела и тем более печальное.

---

[457] Соч., IV, стр. 84.

Поэтому я решительно отвергаю приписанное мне Вами мнение, что вселенская Церковь собственно еще не существует. Напротив, она существует и в восточном православии, и в западном католичестве. Что касается до протестантства, то его историческая и нравственная равноправность с православием и католичеством еще не дает ему никаких прав в *собственно церковной* мистической области. Оторванные от апостольского преемства, нетвердые протестанты находятся *вне Церкви*, тогда как и мы, и католики – *в Церкви*. Все это я более подробно изложил в заключительной статье "Великого Спора", которую Аксаков, кажется, решил напечатать, чтобы сказать по этому поводу и свое последнее слово. Хотя большая часть моего заключения написана до прочтения Вашей статьи, но Вы найдете там косвенный ответ и на главные Ваши замечания. Таким образом, в прямой полемике между нами пока нет надобности»[458].

«Великий спор» вызвал «смущение русских читателей и радость католиков». Обратил на него внимание и епископ Боснии и Сирмия, знаменитый Штроссмайер. Это сочувствие католиков еще более бросило тень на Соловьева в глазах русского общества. «Что касается до смущения русских читателей и радости католиков», пишет Соловьев Аксакову в ноябре 1883 г., «то первое огорчает меня больше, чем второе. Я вполне признаю нашу существенную солидарность с католиками и вполне верю в будущее наше видимое воссоединение, и потому одобрение католиков – будущих наших братьев и союзников в общем христианском деле – мне не в обиду. Не обидно мне внимание епископа Штроссмайера еще и потому, что при всей своей латинской односторонней ревности (это общий грех) он, насколько мне известно, человек весьма почтенный и хороший епископ»[459].

---

[458] П., II, стр. 105–106.

[459] Русская Мысль, 1913, № 12; П., IV, стр. 27.

Конечно, Киреев был прав, указывая, что для Рима точка зрения «Великого Спора» неприемлема. Поклонник Соловьева иезуит d'Herbigny осторожно замечает об этом сочинении: ici tout n'est pas encore éclairé. Но католики не могли не оценить того, что Соловьев первый заговорил о соединении Церквей и при том пошел так далеко в сочувствии Риму, как не шел до него ни один из православных богословов. А слова его о примирении с Польшей, как с авангардом католической Европы, приобрели ему горячую симпатию в польском обществе, задыхавшемся под игом русского самодержавия. Тогда же, в 1883 г., у Соловьева завелась переписка с русским униатским священником о. Астромовым, которому Соловьев написал пять больших писем о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы[460]. Но уже тут выяснилось различие их точек зрения. В октябре Соловьев писал Аксакову: «Ни о какой внешней унии, вытекающей из ***компромисса интересов,*** здесь нет речи»[461].

Тогда же он пишет Кирееву: «...Потеряв надежду Вас увидеть, прибегаю к письму, которое кстати может служить также ответом г-же Полозовой. Я вполне оценил то, что она пишет о соединении Церквей в виде соглашения между мною и о. Астромовым. К несчастью, этот трогательный союз не может состояться потому, что я со второго же письма Астромова понял, в чем дело, а именно, что этот почтенный человек считает себя только чином ниже Бога, не оставляя, впрочем, надежды на повышение, – а известно, что повышение этого рода обыкновенно происходит в тех местах, на которые указывает г-жа Полозова. In jene Sphären wag ich nicht zu streben. Эта аберрация бедного старика тем печальнее, что в его рассуждениях о Богородице есть нечто весьма ценное

---

[460] П., II, стр. 113, примечание.
[461] Русская Мысль, 1913, № 12; П., IV, стр. 25.

и значительное. Что касается до соединения Церквей, то я имею в виду не такое, какое мне приписывает г-жа Полозова: она разумеет соединение механическое, которое и нежелательно и невозможно; я же разумею соединение, так сказать, *химическое,* при котором обыкновенно происходит нечто весьма отличное от прежнего состояния соединившихся элементов (например, от соединения водорода с кислородом происходит вода, совершенно непохожая по свойствам своим на эти газы). Не во власти химика изменить свойства того или другого тела, но он может поставить различные тела в такие условия, при которых они удобно соединяются и производят новое тело, обладающее искомыми качествами. Кой-что по части этой химии можем и мы сделать с Божьей помощью. Мне еще с 1875 года разные голоса и во сне и наяву твердят: занимайся химией, занимайся химией – я сначала разумел это в буквальном смысле и пытался исполнить, но потом понял, в чем дело.

Передайте г-же Полозовой мой поклон и признательность за добрые слова в ее письме (хотя она и считает меня немножко сумасшедшим, но я не обижаюсь)»[462].

Соловьев надеялся издать «Великий спор» отдельной книжкой, увеличив его вдвое. В 1884 г. он пишет Кирееву: «Посылаю Вам 7 экземпляров моей "Христианской политики"... Это только оттиски из "Руси", но я хотел бы очень напечатать книгу вполне, т. е. объемистее теперешнего. Оттиски эти разрешены цензурою гражданскою и избавлены от духовной. В предполагаемых дополнениях нет ничего более противоцензурного, чем то, что разрешено. Тем не менее возможны препятствия. В Вашей дружелюбно-полемической статье в "Руси" Вы, не соглашаясь со мною в частностях (если не ошибаюсь), приходите однако к тому заключению,

---

[462] П., II, стр. 113–114.

что мои рассуждения о церковном вопросе полезны и желательны. Итак, я надеюсь, что Вы окажете мне дружеское содействие к изданию книги здесь, в России, ибо обращаться за границу мне *очень не хотелось бы.* Во всяком случае, я бы очень просил Вас недели через три, расспросив кого следует, сообщить мне, могу ли я без большого риска приступить к печатанию книги, ибо устраивать фейерверки мне не по карману»[463].

И брату Михаилу:

«Я послал Аксакову шестую статью “Великого спора”... Еще будут три и затем нужно будет издать отдельной книгой со включением всего, что я писал о Церкви и кой-чего другого. Эту книгу я может быть поручу тебе, если не проведу зиму в Москве»[464].

Но от этой мысли Соловьеву пришлось отказаться. Хотя ему *очень не хотелось* обращаться за границу, но в конце концов он через пять лет осуществил намерение, высказанное в письме Аксакову от марта 1883 г.: «Придется писать для Вас новую статью, а прежнюю, исправив и распространив в целое сочинение, издать за границей по-французски.»[465] Очевидно, судьба была Соловьеву написать французскую книгу. Вместо «Les principes de la religion universelle» появилась «La Russie et l’Église universelle», но если в юности Соловьев хотел исправлять язык своей книги с помощью аббата Гетте, то теперь этот аббат явился его ожесточенным противником.

Мы видели, как трудно, как задержано было рождение «Великого спора», первого труда Соловьева по соединению Церквей. Но эта затрудненность, эти препятствия свидетельствовали, что в уме Соловьева рождается новая и большая

---

[463] П., II, стр. 116–117.

[464] Русский Вестник, 1915, № 9; П., IV, стр. 87.

[465] Русская Мысль, 1913, № 12; П., IV, стр. 21.

идея. Чем больше идея, чем сильнее будет ее воздействие на людей, тем больше препятствий встречает она при своем возникновении. Идеи, возрождающие человечество, всегда родятся в муках.

После «Великого спора» Соловьев окончательно почувствовал себя «меж двух враждебных станов». Еще в 1882 г. он писал:

В стране морозных вьюг, среди седых туманов
Явилась ты на свет,
И, бедное дитя, меж двух враждебных станов
Тебе приюта нет.
Но не смутят тебя воинственные клики,
Звон лат и стук мечей,
В раздумье ты стоишь и слушаешь великий
Завет минувших дней.

Последние главы «Великого спора» Соловьев писал в Красном Роге, и, вероятно, ему слышался ободряющий голос покойного хозяина, который был, подобно ему, «двух станов не боец, а только гость случайный»:

Смело гребите во имя прекрасного
Против течения.

Правда, Соловьев начал «грести против течения» с самого начала, когда выступил в Университете против господствовавшего позитивизма. Но тогда за ним стоял сильный стан славянофилов, и на его стороне были симпатии московского общества. И Катков, и Суворин, и даже князь Мещерский радушно открывали ему свои двери. С 1883 г. Соловьев оказывается совсем изолирован. Но так как полная нейтральность невозможна даже для «случайного гостя двух станов», то естественно начинается тяготение Соловьева к стану, противоположному славянофилам и правым. Горячие симпатии евреев и поляков влекут его влево, и к 90-м годам он уже будет своим человеком в кружке «Вестника Европы».

Летом 1883 г. Соловьев напечатал в «Новом Времени» две небольшие статьи по католическому вопросу. «Тебе, вероятно, неизвестно», пишет он брату Михаилу, «что я этим летом напечатал в “Новом времени” две политические статьи, из коих первая о соглашении России с Римом была по распоряжению министра внутренних дел перепечатана во французском переводе в Journal de St. Petersbourg. Благодарю, не ожидал!»[466].

В первой статье «Соглашение с Римом и Московские газеты» Соловьев вступает в полемику с «Московскими Ведомостями». Он приветствует восстановление канонического епископского управления в католических епархиях России. Он ссылается на пример Екатерины Второй, оказавшейся plus catholique que le pape в своем покровительстве иезуитскому ордену, этой главной опоре воинствующего католицизма, и на пример Николая I, не побоявшегося, после свидания с папой Григорием XVI, заключить конкордат с Римом. «Пока папа не имеет постоянного представительства в С.-Петербурге, ему поневоле приходится смотреть на Россию глазами польских епископов. Но на этом нельзя остановиться. Рано или поздно две великие исторические силы – римское католичество и православная Россия – должны опознать друг друга и открыто стать лицом к лицу»[467].

Во второй статье «О церковном вопросе по поводу старокатоликов» Соловьев очень резко высказывается о старокатолическом движении, которому сочувствовали в некоторых православных кругах, и в том числе А. А. Киреев. Соловьев обвиняет старо-католиков в том, что они взгляды профессорского кружка поставили выше и предпочли согласному решению всего католического мира, принявшего

[466] Богословский Вестник, 1915, № 9; П., IV, стр. 87.
[467] Соч., IV, стр. 122.

ватиканские определения, и являются таким образом «самочинным сборищем»[468]. Отделившись от Рима, старо-католики стали орудием политики князя Бисмарка. «Вооружаясь против папы и отделяясь от вне-германского центра церкви, старо-католики тем самым служили новой империи... Всякий успех старо-католиков был бы успехом германского единства и поражением его врагов»[469].

Повторив высказанные уже в «Великом споре» обвинения против восточной Церкви, которая исключительно *охраняет основание* Церкви, против западной Церкви, которая исключительно *укрепляет* ее ограду и против протестантизма, который отвергает *основание* Церкви – предание и ее *ограду* или стену – авторитет, приняв за основание свободу личного духа, тогда как свобода есть только вершина или *венец* Церкви[470], Соловьев приходит к необходимости сделать первые шаги для воссоединения Церквей. Интересы католичества должны быть отделены от интересов полонизма, а для этого необходимо правильное представительство Ватикана в Петербурге. «Естественные симпатии между Римом и поляками конечно останутся, и пускай остаются, но все-таки нунций итальянец или испанец в непосредственных сношениях с русским правительством сумеет отличить интерес католической Церкви от польской национальности... Мы верим, что Россия призвана не к одному политическому могуществу, что она имеет и религиозную задачу в истории. Но и тут исполнить эту задачу, достигнуть своего религиозного значения в христианском мире Россия может никак не чрез отчуждение от западной Церкви, а чрез сознательное и разумное сближение с нею. Страшно и подумать о такой великой задаче, глядя на окружающую смуту умов и дел. Но есть у одного

---

[468] Соч., IV, стр. 124.
[469] Там же, стр. 127.
[470] Там же, стр. 128.

старинного историка утешительное изречение: Hominum confusione ac Dei providentia Ruthenia ducitur»[471]. К концу 1883 г. написана Соловьевым статья «О народности и народных делах России», появившаяся в № 2 «Известий СПБ Славянского благотворительного общества» за 1884 г.

«Я пишу для Вас статейку о народности», извещает Соловьев Киреева. «Не знаю, как Вам она покажется. Я признаю народность как *положительную силу,* служащую вселенской (сверхнародной) идее. Чем более известный народ предан вселенской (сверхнародной) идее, тем самым он сильнее, лучше, значительнее. Поэтому я решительный враг *отрицательного национализма* или народного эгоизма, самообожания народности, которое в сущности также отвратительно, как и самообожание личности. Я принимаю вторую заповедь, безусловно: не сотвори себе кумира, ни *всякого* подобия etc. А староверы славянофильства (к которым Вы *не* принадлежите) делают из народности именно кумира, и возносят перед ним свой фимиам многословных и малосодержательных фраз. Хотя бы они подумали о том, что это вовсе не оригинально, – они, которые так хлопочут о самобытности. Что может быть менее самобытно, менее оригинально, менее народно, как эти вечные толки о самобытности, оригинальности, народности, которым предаются патриоты всех стран? Не хотят понять той простой вещи, что для показания своей национальной самобытности *на деле* нужно и думать о самом этом деле, нужно стараться решить его самым *лучшим,* а никак не самым *национальным* образом. Если национальность хороша, то самое лучшее решение выйдет и самым национальным, а если она не хороша, так черт с нею. А то вдруг выскакивают патриоты и требуют, чтобы, например, церковный вопрос решался не ad majorem Dei, – a ad majorem Russiae gloriam, не на религиозной и теологической почве,

[471] Соч., IV, стр. 131–132.

а на почве национального самомнения. В этом случае, пожалуй, вспомнишь, что “патриот” рифмует с “идиот”.

Я, кажется, начинаю браниться, а это противно моим правилам. Значит нужно остановиться»[472].

Ознакомившись с рукописью, Киреев пожелал смягчить некоторые выражения, относящиеся к русской церкви. Соловьев охотно согласился на изменения и например вместо «бездеятельное духовенство» написал: «Наше во многих отношениях почтенное, но, к сожалению, недостаточно авторитетное и действенное духовенство»[473].

В апреле 1883 года Соловьев писал Аксакову: «Я уехал в деревню недели на три дописывать одну книжку религиозно-нравственного содержания, которую намереваюсь издать отдельно этой же весной»[474]. Эта книжка – «Религиозные основы жизни». План издать ее весной 1883 г. не осуществился. Осенью 1883 г. Соловьев хочет печатать первые главы «Религиозных основ жизни» в «Руси» и в октябре пишет Аксакову: «А пока я просматриваю те назидательные статейки, о которых Вам говорил, и первую из них не замедлю Вам выслать к 21 №»[475].

Аксаков отвечал: «Ваша назидательная статья не пойдет в 21 №, я ее еще и прочесть не успел, но прочту завтра утром. Я испугался Вашего заглавия, или перечня, и вперед Вам возвещаю, что такого перечня не допущу в оглавлении газеты: “О последней пьесе г. Шпажинского” – “О грехе и смерти” – “О лесном короеде” – “О благодати”. Грех, смерть, благодать – показались мне до того серьезными, что я решился отложить рукопись и посвятить ей несколько более внимания»[476].

---

472 П., II, стр. 103–104.

473 Там же, стр. 108; Соч., V, стр. 35.

474 Русская Мысль, 1913, № 12; П., IV, стр. 22.

475 Там же; П., IV, стр. 26.

476 Там же, стр. 88.

Назидательные статейки так и не появились в «Руси», и Соловьев начал печатать их в «Православном обозрении» с января 1884 г. В 1884 г. вышла и книжка «Религиозные основы жизни», в 1885 г. появилось ее второе издание, а в 1897 г. третье, с изменением заглавия на «*Духовные* основы жизни». В предисловии к третьему изданию Соловьев объясняет перемену заглавия:

«В заглавии я нашел лучшим вместо слова "религиозные" поставить русское слово "духовные", достаточно соответствующее содержанию книжки. Если нельзя обойтись без существительного "религия", то прилагательное от него удобно может быть замещено в одних случаях словом "благочестивый", а в других – "духовный"[477]. Книга делится на две части. Всего раньше были написаны две первые главы второй части. Первая глава "О христианстве" была напечатана в "Православном обозрении", 1883 г., № 1, под заглавием "Жизненный смысл христианства". (Философский комментарий на учение о Логосе ап. Иоанна Богослова). Подписано: 16 января 1872 г. Мы присоединяемся к предположению Лукьянова, что здесь опечатка: 1872 вместо 1882. Начало этой главы есть лекция, читанная в Петербургском Университете 25 февраля 1882 г.

Первая глава разделяется на пять небольших глав, каждая является комментарием на стихи Иоаннова евангелия (1, 1–14) и первого Иоаннова послания (гл. IV, V). 6-я глава называется "Сущность христианских таинств". Проникая в мудрость четвертого евангелиста, Соловьев связует учение о логосе с учением о воплощении Слова и исцелением и воскресением природы. "Огненному колесу бытия", дереву жизни в распавшейся природе, корень которого грех, рост – болезнь, а плод – смерть, Соловьев противопоставляет бессмертье

---

[477] Духовные основы жизни, изд. 3-е, стр. IV; Соч., XII, стр. 359.

и новое древо жизни, которое коренится в любви и братстве, растет крестом духовной борьбы и приносит плод всеобщего воскресения»[478]. Христианство противополагается *натуральной* религии, где божество пожирает человека в кровавых жертвах и фаллическом оргиазме. Бог мира сего, человекоубийца искони, питается плотью и кровью человека и его жизненным духом. В христианстве Бог уже не питается человеком, а дает ему себя в пищу. Превратив богочеловеческим подвигом свое материальное (механическое) тело в духовное (динамическое), Христос дает его в пищу человеку[479]. «Вместо каннибализма и братоубийственных жертвоприношений – братская любовь (ἀγάπη), благодать евхаристии, вместо символа животной силы и физической страсти – крест, знамение духовной силы, преодолевающей всякое страдание, и наконец вместо исступленного оргиазма, в котором свободно-разумная личность человека покоряется и поглощается бессмысленною жизнью рода, вместо этого торжества слепой природы, увековечивающей смерть и тление, – воскресение мертвых и ἀποκατάστασις των πάντων, т. е. торжество живого смысла над мертвым веществом, увековечение человеческой личности подчинением слепых физических сил разумной воле человека»[480]. Вторая глава второй части «О Церкви» является сокращением статьи «О Церкви и расколе», напечатанной в «Руси», 1882 г., № 38. После этих глав, очевидно весною 1883 г., написана первая часть, разделяющаяся на: «Вступление. О природе, о смерти, о грехе, о законе и благодати» и три главы: I. О молитве, II. О жертве и милостыне и III. О посте.

«Чтобы исправить свою жизнь, нам нужно молиться Богу, помогать друг другу и полагать предел своим чувственным

[478] Соч., III, стр. 353, 379, 380.
[479] Там же, стр. 378.
[480] Там же, стр. 379.

влечениям. Молитва, милостыня и пост, в этих трех действиях состоит вся личная или частная религия». В главе «О молитве» Соловьев разбирает прошения молитвы Господней «Отче наш».

«Избавление нас от лукавого есть дело истинной *мудрости*, которая разоблачает и разрушает все обманы и софизмы самолюбия и вооружает нас не нашими, а Божьими силами. Таким образом наш дух получает неодолимую крепость в искушениях. Духовная крепость в искушениях сообщает нам справедливость в действиях, умеренность в чувствах. А при таком нравственном равновесии все более и более укореняются в душе чистая любовь, постоянная надежда и твердая вера в Бога и вечную жизнь»[481].

Пост имеет три вида:

1) пост духовный: воздержание от самолюбивых и властолюбивых действий, отказ от чести и славы человеческой. Этот пост особенно необходим общественным деятелям.

2) Пост умственный – воздержание от односторонней деятельности ума, от бесплодной и бесконечной игры понятий и представлений, от нескончаемых вопросов, без толку и без цели предлагаемых. Этот пост особенно необходим людям ученым, забывающим изречение старого Гераклита: многознанье уму не научает.

3) Пост чувственной души, то есть воздержание от чувственных наслаждений, неуправляемых и неумеряемых сознанием ума и властью духа. Истинная задача нашей чувственной жизни – возделывать сад земли – превращать мертвое в живое, сообщать живым существам большую интенсивность и полноту жизни, – *животворить* их[482].

Кроме религии частной, необходима религия общественная: участие в жизни Церкви. Христос присущ своей Церкви,

---

[481] Соч., III, стр. 334.

[482] Там же, стр. 348.

как путь, истина и жизнь. «В иерархии сам Христос присутствует как путь, в исповедании веры как истина, в таинствах – как жизнь; соединением же этих трёх и образуется царство Божие, которого владыка – есть Христос»[483].

Последняя глава (3-я глава второй части) «О христианском государстве и обществе» была напечатана в «Православном обозрении» за 1884 год, № 4.

Кончается книга маленьким заключением на двух страницах: «Образ Христа как проверка совести». Здесь Соловьев дает своим читателям совет: «... перед тем, как решаться на какой-нибудь поступок, имеющий значение для личной или общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться в нем и спросить себя: мог ли бы Он совершить этот поступок, или другими словами – одобрит Он его или нет, благословит меня или нет на его совершение? Предлагаю эту проверку всем – она не обманет. Во всяком сомнительном случае, если осталась только возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе, вообразите Его себе живым, каким Он и есть, и возложите на него все бремя ваших сомнений»[484].

Эта книжка в 180 страниц дает нам ключ к пониманию того духовного состояния, которое наступило у Соловьева на рубеже 1882–83 г., и подтверждает слова епископа Штроссмайера: «Soloviof anima Candida, pia ac vere sancta est.» После блестящих и грозных бурь своей юности Соловьев услышал «глас хлада тонка»:

Вот, веет тонкий хлад, и в тайном дуновенье
Он Бога угадал.

То, что для Штроссмайера было доказательством castitatis, pietatis et sanctitatis, – для олимпийца Каткова явилось

[483] Соч., III, стр. 388.
[484] Там же, стр. 416.

«детским лепетом», да и благочестивейший И. С. Аксаков отклонил печатанье «назидательных статеек» в своей «Руси».

Тишина, смирение, кристальная ясность мысли и простота языка – вот что отличает «Духовные основы жизни» от некоторых других творений Соловьева. Мы отмечаем, что эта книга написана одновременно с «Великим Спором».

«Духовные основы жизни» являются достаточным опровержением многих обвинений против Соловьева: мнения В. В. Розанова, что Соловьев нес перед собой свою гордость; мнения М. М. Тареева, что у Соловьева нигде ничего не говорится об историческом Христе; мнения Е. Н. Трубецкого, что восьмидесятые годы были для Соловьева периодом «теократического *искушения*», и так далее.

Пересматривая «Духовные основы жизни» за три года до смерти, в 1897 году, Соловьев нашел, что «в своей скромной мере книжка удовлетворяет своему назначению и требует не существенных переделок, а только небольших стилистических поправок и немногих логических пояснений, которые и взяли у меня лишь несколько дней... Вновь появляясь вслед за моим большим сочинением о нравственной философии, настоящая книжка может служить его дополнением для одних из моих читателей и заменою для других»[485].

«Духовные основы жизни» являются как бы конспектом всего миросозерцания Соловьева и первой книгой, которая вводит нас в круг его идей, выгодно отличаясь от «Оправдания добра» юношеской свежестью чувства и отсутствием схематизма и тяжеловесности. Время написания «Духовных основ» – время радостных надежд, время написания «Оправдания добра» – время горьких разочарований. Свободны эти «назидательные статейки» и от того шеллингианского романтизма, который иногда портит молодые произведения Соловьева. А исключительное проникновение в богословие

---

[485] Духовные основы жизни, изд. 3-е, стр. VI; Соч., XII, стр. 358.

четвертого евангелиста мы можем поставить в связь с теми переживаниями во время тифа весной 1883 г., о которых рассказывает Мария Сергеевна, когда Соловьев в лихорадочном жару просил читать ему о чуде на браке в Кане Галилейской.

Как мы уже говорили, лето 1883 г. Соловьев проводил в Красном Роге, среди семьи Хитрово. В июне Соловьев пишет брату Михаилу:

«Я кажется почти выздоровел, но у меня был настоящий тиф, даже волосы стали лезть и я должен был обрить голову. Это настолько умножило мою красоту, что юнейший из здешних младенцев, Рюрик, с озабоченным видом спрашивал у всех домочадцев: “ведь Соловьев урод, правда урод?”. Я теперь переписываю продолжение “Великого спора”, посылаю его Аксакову к 15 июля. Читаю по-польски и по-итальянски. Мирное течение прерывается иногда кровавыми происшествиями. Недавно большой желтый пес Рог съел также желтую, но маленькую белку. Вета нянчила на руках свою любимую белку и вдруг нечаянно уронила ее на землю. Рог ринулся с быстротой молнии, откусил ей голову, в неистовом аппетите проглотил туловище и утерся хвостом вместо салфетки. Невольно вспоминаются слова поэта:

Небо ясно,
Под небом места много всем.
Но беспрерывно и напрасно
Один враждует он. Зачем?
Да, за человека страшно»[486].

У Софии Петровны было трое детей: старшая Вета (Елизавета), затем Андрей и Рюрик (Георгий). Соловьев до конца жизни относился к ним с особенной нежностью. Ближе всех ему был Рюрик, в девяностых годах превратившийся в светского молодого человека. На любительской фотографии,

---

[486] П., IV, стр. 85.

снятой в Пустыньке, вероятно в 1898 г., Соловьев сидит среди семьи Хитрово и его друзей, рядом с ним иезуит о. Пирлинг. У ног Соловьева сидит Рюрик Хитрово. Молодой человек, опустив глаза, как будто дремлет, а Соловьев с лаской положил ему руку на голову. По смерти Соловьева Рюрик написал поэму, где говорит о том, как опустела Пустынька без друга его матери. В 1913 г. я писал Рюрику Михайловичу по одному делу и получил от него трогательное письмо, где, вспоминая о Владимире Соловьеве, он говорит, что всегда чувствовал в нем «свет нездешний». Скоро и самому Рюрику пришлось приблизиться к «свету нездешнему». Через год началась Германская война, и он был убит в одном из первых сражений.

В июне 1883 г. Соловьев пишет Аксакову:

«Я в это время много езжу по остаткам Брянских лесов, а дома упражняюсь в языках, читаю униатскую полемику XVI века по-польски и Данте по-итальянски.»[487].

Не без влияния гибелинских идей Данте возникает в его уме идея о теократическом призвании русского императора. Он упоминает об этом в «Великом Споре», но это мало смутило Аксакова. В письме к Аксакову от ноября Соловьев пишет, что идея всемирной монархии принадлежит не ему, а есть вековечное чаяние народов. И далее Соловьев сообщает, что намерен говорить о всемирной монархии словами Данте и Тютчева[488].

Летом 1883 г. Соловьевым написано пять писем к о. Астромову о Непорочном Зачатии Марии и в то же время переведены из Петрарки «Хвалы и моления Пресвятой Деве», которые в письме к графине Толстой от 1886 г. он называет «акафистом»[489].

---

487 П., IV, стр. 22.

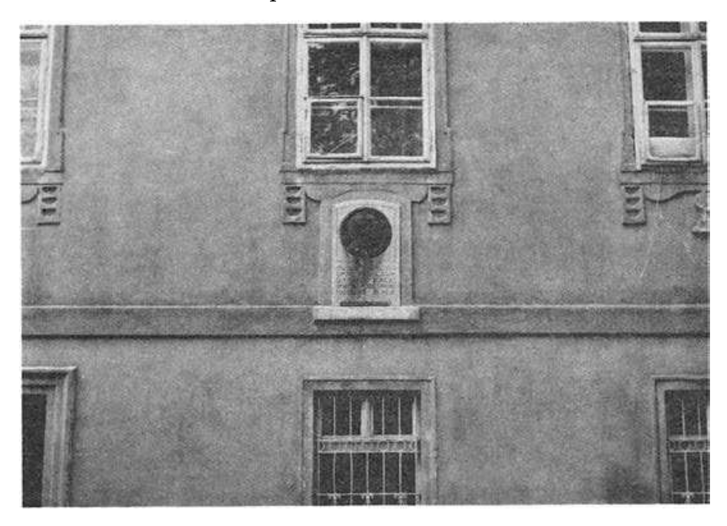
488 Там же, стр. 26–27.

489 П., II, стр. 207.

Догмат «Conceptio Immaculata», утвержденный папой Пием IX-м 8 дек. 1854 г., был первым католическим догматом, который принял Соловьев. Уже в «Духовных основах жизни» он применяет к Деве Марии эпитеты «Пресвятая и Всенепорочная»[490]. Первое свое письмо к епископу Штроссмайеру от 1885 г. он помечает: «В день непорочного зачатия Пресвятой Девы»[491].

Евангелие Иоанна, Данте, Петрарка и униатская полемика XVI века, – вот чем питается теперь ум Соловьева. Фантастическая религия будущего переходит во всемирную теократию, София Каббалы – во Всенепорочную Деву Марию. И действительно, «акафистом» звучат стихи 1883 г.:

В солнце одетая, звездо-венчанная,
Солнцем Превышним любимая Дева![492]



Дом каноника Рачкого, у которого Соловьев гостил в Загребе

[490] Соч., III, стр. 382.
[491] П., I, стр. 180.
[492] Стихотв., изд. 6-ое, стр. 224; Соч., XII, стр. 53.

Глава 2
Еврейский вопрос. История теократии

Primum et ante omnia Ecclesiae imitas instauranda, ignis fovendus in gremio sponsae Christi.

Соловьев. Из письма к А. А. Кирееву[493]

Мы видели, что в юности Соловьев в совершенстве изучил философию и мистическую литературу и усвоил древние классические языки и три новых. Теперь он вступает в новый период самообразования. Круг его чтения в 80-тых годах – все, относящееся к вопросам: католическому, польскому и еврейскому. Летом 1883 г. он читает униатскую полемику на польском языке и Данте по-итальянски. В 1884 г. он начинает усиленно работать над еврейском языком под руководством Файвеля Бенциловича Геца, «талмудского юноши»[494]. Он прочел всю Библию в оригинале и в конце жизни он пытался сделать ее полный перевод[495]. В 1886 году он извещает Геца: «Еврейское чтение продолжаю. Кроме Торы и исторических книг, прочел всех пророков и начал псалмы... Теперь, слава Богу, я могу хотя отчасти исполнять долг религиозной учтивости, присоединяя к своим ежедневным молитвам и еврейские фразы»[496].

С католической догматикой Соловьев знакомится по многотомному сочинению Peronne «Praelectiones theologicae». В конце 1889 года он пишет брату: «Не взял ли ты невзначай (или взначай) моего Peronne, “Praelectiones theologicae” (три первых тома)?[497] В то же время Соловьев

---

[493] П., II, стр. 107.
[494] П., IV, стр. 96.
[495] П., II, стр. 135, 144.
[496] П., II, стр. 144.
[497] П., IV, стр. 88.

читает в Петербургской Публичной библиотеке “Акты Вселенских Соборов” Mansi – на латинском языке. 18 февраля 1885 года он пишет брату: “Я уже читаю шестнадцатый фолиант Mansi”[498]. В записных книжках Соловьева этой эпохи много выписок из латинских богословов, по-видимому он изучил в оригинале более или менее все сочинения папы Григория VII и Иннокентия III-го.

Особое влечение к еврейству Соловьев высказывал уже в юности, во время занятия Каббалой и писания “Софии”. И в этом юношеском сочинении и в “Чтениях о Богочеловечестве” Соловьев объясняет, почему Христос родился именно в Иудее. Теперь, в сочинении “Еврейство и христианский вопрос”, Соловьев развивает свою мысль подробнее. Еврейской душе было противно служить стихийным и демоническим силам природы, евреи искали личного и нравственного Бога и верою поднялись выше халдейской магии и египетской мудрости. Сосредоточие еврейской религии – союзный договор, или завет Бога с Израилем. Заключив договор с Богом, еврей не теряет своей свободы, своего самосознания и самодеятельности. “Израиль был велик верою”[499]. Далее Соловьев находит у евреев отсутствие дуализма и отвлеченного спиритуализма, идею “святой телесности”. Они видели в природе не дьявола и не божество, а лишь недостойную обитель богочеловеческого духа»[500]. Переходя к современному еврейству, Соловьев оправдывает евреев от обвинения в исключительном стремлении к деньгам и материальному благосостоянию. Главный интерес в современной Европе – это деньги; евреи – мастера денежного дела, естественно, что они – господа в современной Европе. Но деньги нас связывают и унижают, а евреев освобождают и возвеличивают,

498 П., IV, стр. 89.

499 Соч., IV, стр. 146.

500 Там же, стр. 149.

потому что они находят в них ныне главное орудие для торжества и славы Израиля, т. е., по их воззрению, для торжества дела Божия на земле[501]. Неверно, что евреи составляют исключительно вредный, паразитический класс в русско-польском краю. Израиль не лишний среди Египта и Ассура и среди Польши и России. В белой и червонной Руси социальные элементы распределены по различным народностям: русские составляют сельский, земледельческий класс, поляки – высший класс, а городской, промышленный – евреи. Если промышленный класс повсюду эксплуатирует сельский народ, то неудивительно, что евреи там, где они составляют весь промышленный класс, являются эксплуататорами народа, но не они создали такое положение[502].

В России нет ни сильного дворянства, ни интеллигенции, ни развитого промышленного класса. Строй России опирается на царя, собор иерархов и сельские общины. Россия – дворец, монастырь и село. Для усиления России надо не подавлять Польшу с ее сильно развитой шляхтой, не подавлять промышленный еврейский класс, а соединять эти силы для одного созидательного дела.

Грех поляков в том, что они не хотят понять своей провиденциальной роли в России быть мостом между православием и Римом, так как поляки – подданные русского царя и духовные дети римского папы, славяне, близкие русским по крови, а по духу и культуре примыкающие к романо-германскому Западу[503]. Но поляки, забыв о своей универсально-религиозной задаче, направляют свои усилия к задаче национально-политической, к восстановлению великого польского государства. «Наступит день и исцеленная от долгого безумия Польша станет живым мостом между святыней

[501] Соч., IV, стр. 137.
[502] Там же, стр. 183.
[503] Там же, стр. 181.

Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику»[504]. Когда через Польшу Россия соединится с Римом, тогда и евреи окажутся необходимым элементом будущей теократии. «Природа с любовью подчинится человеку, и человек с любовью будет ухаживать за природой. И какой же народ более всех способен и призван к такому ухаживанию за материальной природой как не евреи, которые изначала признавали за ней право на существование и, не покорясь ее слепой силе, видели в ее просветленной форме чистую и святую оболочку божественной сущности»[505].

Сочинение «Еврейство и христианский вопрос» было напечатано в «Православном обозрении» (1884 г., №№ 8 и 9), а затем вышло отдельной книжкой. В то же время Соловьев посвящает небольшую статью еврейской секте «Новый Израиль», основанной Иосифом Рабиновичем, «пришедшим путем закона и пророков ко Христу»[506] и основавшим в Кишиневе молитвенный дом «Вифлеем». «Статский советник Лесков», пишет Соловьев брату, «ввел тебя кажется в заблуждение насчет Нового Израиля. Я читал документы, их символ, литургию и прочее. Это противоположность протестантства, хотя очень похоже на него.

Дело в том, что протестантство, если смотреть в корень, есть отрицание закона, а Новый Израиль обеими руками держится за закон. Скорее это первобытная иудействующая форма христианства, из которой вышел не протестантизм, а Церковь»[507].

Евреи горячо отозвались на статьи Соловьева о еврейском вопросе и навсегда остались его верными друзьями.

---

[504] Соч., IV, стр. 183.

[505] Там же, стр. 185.

[506] Там же, стр. 207; П., IV, стр. 89–90.

[507] П., IV, стр. 90.

С Ф. Б. Гецем он вел деятельную переписку. «Я в последнее время имел случай убедиться, что в действующей русской интеллигенции самый честный элемент есть все-таки еврейский», пишет он Гецу[508]. И по поводу телеграммы в «Московских Ведомостях» о еврейском погроме: «Что же нам делать с этой бедой? Пусть благочестивые евреи усиленно молят Бога, чтобы Он отдал судьбы России в руки религиозных и вместе с тем разумных и смелых людей, которые и хотели бы и умели, и смели сделать добро обоим народам»[509].

Еврейскому вопросу посвящена также статья 1885 г. «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии»[510]. Сначала Соловьев характеризует три еврейские партии: саддукеев, фарисеев и ессеев. Для саддукеев слово Божие – лишь факт прошедшего, для фарисеев оно – закон настоящей жизни, для ессеев – идея будущего.

Все три секты односторонни и бесплодны. Исключительная духовность и односторонний идеализм ессеев может быть еще бесплоднее, чем житейская мудрость саддукеев или нравственно-юридический формализм фарисеев. Саддукеи и ессеи окончили свое существование с разрушением Иерусалима. Ессеи были поглощены христианством, а саддукеи не пережили разрушения храма. Одни фарисеи остались представителями всего еврейства и продолжали возводить ограду вокруг закона, в результате чего появился Талмуд. Соловьев выписывает много высоконравственных правил из Талмуда и приходит к выводу, что между законничеством Талмуда и новозаветной нравственностью, основанной на вере и альтруизме, нет противоречия в *принципе.* «Принципиальный спор между христианством и еврейством заключается не в нравственной, а в религиозно-метафизической области,

---

[508] П., II, стр. 134.

[509] П., II, стр. 139; ср. также письмо из Загреба, П., II, стр. 138.

[510] Соч., VI, стр. 3.

в вопросе о богочеловеческом значении и искупительной жертве Христа.»[511] Далее, Соловьев полемизирует с двумя антисемитическими сочинениями, профессора Роллинга и доктора Юстуса, доказывая во-первых, что многие правила Талмуда, направленные против христиан, неверно поняты и принадлежат к частным мнениям, а во-вторых, что христианское человечество, при своем вероисповедном разделении, при противоречии его жизни христианским идеалам, не вправе обвинять евреев, которые сохранили свое религиозно-национальное единство и живут по законам своей религии. Например, если рабство есть зло, осужденное христианским идеалом, то уже Моисеево законодательство принимало против рабства гораздо более общие и действительные меры, чем смягчающие паллиативы церковных канонов. Окончательное упразднение рабства произошло только в XVIII–XIX-в.в., в эпоху религиозного упадка и господствующего неверия[512]. Евреи могли бы сказать современным христианам: «выучитесь исполнять свой Новый Завет, как мы исполняем свой, Ветхий Завет, и тогда мы придем к вам и соединимся с вами»[513].

По-видимому Соловьев хотел напечатать «Талмуд» в «Вестнике Европы». В 1886 г. он пишет Гецу из Загреба: «...Я получил письмо от Стасюлевича, что "Талмуд" не может быть напечатан, ибо подлежит (?) предварительной духовной цензуре, которая его наверно (?) запретила бы.»[514] Что же касается «Великого Спора», Аксаков закрыл для Соловьева страницы своей «Руси».

«Православное обозрение», журнал, редактируемый священником Преображенским, продолжал печатать статьи

---

[511] Соч., VI, стр. 16.

[512] Там же, стр. 29.

[513] Там же, стр. 31.

[514] П., II, стр. 138.

Соловьева. В № 4-м за 1884 г. «Православное обозрение» напечатало открытое письма Соловьева к И. С. Аксакову «Любовь к народу и русский народный идеал», знаменовавшее окончательный разрыв. Соловьев продолжает считать себя славянофилом, но в отличие от Аксакова и других видит в соединении церквей «осуществление святой Руси». «Святая Русь требует святого дела»[515]. Первым славянофилом считает он хорвата-католика Юрия Крижанича, который в XVII веке жил при дворе Алексея Михайловича и «погиб за свою ревность о доме Божием»[516]. Крижанич считает разделение церквей величайшим грехом против величайшей добродетели – любви. Бедствия и страдания России он объясняет как последствие величайшего и неосознанного греха схизмы. От хорвата Крижанича Соловьев переходит к другому хорвату, Боснийскому епископу Штроссмайеру, переписка с которым у него завязалась в 1885 г. Оригинальное славянофильство склоняет его симпатии к католикам-славянам, полякам и хорватам. О болгарах и сербах он самого низкого мнения. «Да, история идет быстро», пишет он Страхову, «и особенно при помощи таких исторических народов, как Сербы и Болгары, которым знаменитый "исторический" человек – Ноздрев – мог позавидовать»[517].

В середине 80-х годов окончательно порывается связь Соловьева с правыми кругами. В 1885 г. он вызывает на бой «Голиафа, живущего на Страстном бульваре», – столпа русской государственности, М. Н. Каткова[518]. Эту статью, «Государственная философия в программе министерства народного просвещения», И. С. Аксаков решается напечатать в «Руси».

---

[515] Соч., V, стр. 55.

[516] Соч., IV, стр. 191.

[517] П., I, стр. 24.

[518] П., IV, стр. 92. В письме к Страхову Катков называется «Левиафаном», П., I, стр. 24.

Хотя это и грозило ему неприятностями, но выступление Соловьева против «единовластия бюрократии, превращающего церковь в одно из своих ведомств, а народ в безразличный материал для своих законодательных экспериментов»[519], должно было вызвать глубокое сочувствие старого либерального славянофила.

В начале 1886 г. Соловьев пишет брату из Петербурга: «За мною здесь ухаживают, с одной стороны, "Новое Время", а с *другой* – либералы, не говоря уже о евреях. Я веду тонкую политику и с теми, и с другими, и с третьими.

Зато с казенною Россией я потерял всякое соприкосновение. Дивлюсь только издалека ее мудрости»[520].

Лишь один писатель из правого лагеря относился к Соловьеву в 80-х гг. с обожанием и восторгом – Константин Леонтьев. Глубокое различие мировоззрений вскрылось позднее, в начале 90-х годов, а в 1887 г. «История теократии», грандиозный замысел соединения русского царства с папским Римом, эта реставрация византийско-римского средневековья пленяет византийца Леонтьева, плотно закрывавшего глаза на «либерализм» Соловьева. В одном разговоре он сравнивал Соловьева с церковным колоколом, гудящим на всю Россию. И Соловьев до конца жизни сохранил теплую признательность к Леонтьеву и ценил в «отце Клименте» подлинный дух подвижника и аскета. Это лишний раз показывает, что люди сближаются не по партийным ярлыкам.

Леонтьев, реакционер, для которого Голиаф Страстного бульвара был слишком левым, чувствовал себя родным Соловьеву, своему человеку в либеральном кружке Стасюлевича. Вероятно эстета Леонтьева пленял византийский, иконописный облик Соловьева.

---

519 Соч., V, стр. 413.
520 П., IV, стр. 97.

В 1885 г. Соловьев написал почти весь первый том своего трехтомного «Левиафана», того труда, который должен был стать основным трудом его жизни, заменив юношеские «Principes de la religion universelle». Название этого труда «История и будущность теократии».

Первый том содержит в себе пять книг. Если судить по времени печатанья, то раньше всего, еще в 1884 г., была написана последняя часть пятой книги, напечатанная в «Православном обозрении» (1885 г., № 6) под заглавием «Евангельское основание боговластия». Здесь Соловьев доказывает необходимость иерархического авторитета и послушания. «Самоотрицание, отречение от себя есть чудный закон и святая тайна всемирной жизни – всемирного жертвоприношения»[521]. «Если церковь есть здание из живых камней, то общий ее архитектурный план есть иерархический строй»[522]. Боговластие, теократия, установлены самим Христом, сказавшим: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. XXVIII, 16–20). «Всякая власть», значит бесправно и бессильно то правительство, которое отделяет себя от источника всякой власти, значит обманывает себя тот народ, который восстает против царской власти Христовой, повторяя крик иудейской черни «не имамы царя, токмо кесаря», значит осуждены те государственные люди, которые попилатовски умывают руки, лицемерно провозглашая свободную церковь в свободном государстве[523].

«На небесах Христос есть прежде истина, а потом уже – власть, в земном же нашем мире Христос является сперва как власть, а затем уже понимается как истина. Тот, в кого мы

---

[521] Соч., IV, стр. 604.
[522] Там же, стр. 605.
[523] Там же, стр. 618–619.

верим, прежде всего есть для нас высший авторитет: послушание прежде понимания. Чтобы достигнуть вершин свободного совершенства, необходимо пройти долину смирения»[524].

«Дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли» – Тот же это говорит, кто прежде сказал: «воздадите кесарево кесарю, а Божия Богови». Так было сказано тогда, ибо еще не прославился Сын человеческий и еще не дадеся Ему всяка власть – и над кесарем. А ныне дадеся – и где же власть ***безбожного*** кесаря? И где же *языческая* империя? Шаткая тень ее еще колеблется там внизу в долине, но не достигает до вершины горы галилейской, на которой апостолы услышали богочеловеческое слово: «дадеся Ми всяка власть на небѐси и на земли». Услышит эти слова и равноапостольный кесарь, тогда исчезнет и дольная тень языческого царства: сим победиши![525] Что общий строй церкви по Евангелию есть строго иерархический, а отнюдь не демократический, это достаточно явствует из того, что полнота данной апостолам власти вязать и решить ничем не ограничена и о каком-нибудь участии народа в этой власти нет речи[526]. В рукописи этой статьи были и доказательства примата апостола Петра, но Соловьев выбросил эту главу по цензурным соображениям[527] и включил в «La Russie et l'Eglise universelle». Он надеялся напечатать «Историю теократии» в России, но когда это оказалось невозможным, издал ее в Загребе.

---

[524] Соч., IV, стр. 621.

[525] Там же, стр. 622.

[526] Там же, стр. 623.

[527] П., II, стр. 131; III, стр. 144.

Приблизительно в то же время, когда писалось «Евангельское основание Боговластия», написано Соловьевым одно стихотворение, ярко выражающее его настроение середины 80-х годов:

От пламени страстей, нечистых и жестоких,
От злобных помыслов и лживой суеты
Не исцелит нас жар порывов одиноких,
Не унесет побег тоскующей мечты.

Но средь житейской мертвенной пустыни,
Не на распутье праздных дум и слов
Найти нам путь к утраченной святыне,
Напасть на след потерянных богов.

Не нужно их! В безмерной благостыне
Наш Бог земли Своей не покидал
И всем единый путь от низменной гордыни
К смиренной высоте открыл и указал.

И не колеблются Сионские твердыни,
Саронских пышных роз не меркнет красота,
И над живой водой, в таинственной долине
Святая лилия нетленна и чиста[528].

Вслед за пятой книгой очевидно была написана 6-я, явившаяся гвоздем всего сочинения: «Разбор главных предрассудков против теократического дела в России». Часть этой книги была напечатана в «Православном обозрении», под названием «Догматическое развитие церкви в связи с вопросом о соединении церквей», а затем вышла отдельной брошюрой. Здесь Соловьев на основании детального разбора догматических учений первых веков доказывает, что догмат развивался так, что учение Никейского собора было «новшеством» по сравнению с учением мужей апостольских, учение Халкидонского

[528] П., IV, стр. 91; Соч., XII, стр. 91.

собора было «новшеством» по сравнению с учением Никейских отцов и т. д. Православные полемисты обвиняют католиков в провозглашении новых догматов, но эти догматы являются только раскрытием, выражением explicite того, что содержится в учении восточных отцов impliciter. Против Соловьева выступил в Харьковском журнале «Вера и разум» Т. Стоянов и профессор Московской духовной академии А. Шостьин (к вопросу о догматическом развитии церкви). Соловьев включил свой ответ Стоянову во второе издание «Догматического развития церкви», которое было запрещено цензурой, а Шостьину возражал в статье «Ответ анонимному критику по вопросу о догматическом развитии в церкви»[529].

Вторая книга «Первоначальные судьбы человечества и теократия праотцев» является философским комментарием на книгу «Бытия». В Аврааме, Исааке и Иакове Соловьев видит три теократические добродетели: веру, послушание и религиозную ревность. Исаак и Иаков – два противоположных теократических типа. Исаак – «пассивный и мечтательный», Иаков более похож на свою мать, «деятельную и предприимчивую Ревекку». Его «религиозная ревность выражается не тем, что он повергает все существо свое перед лицом Божьим, а в том, что он как бы схватывается с мышцей Божией для крепкой борьбы; эта ревность выражается у него не в полноте человеческого самопожертвования, а в настойчивом требовании от Бога полноты Его даров и обещанного Его благословения»[530].

Книга третья «Национальная теократия и закон Моисеев» является философским комментарием на книгу «Исход» и содержит в себе символику ветхозаветных жертвоприношений и Моисеевой церкви.

---

[529] Соч., IV, стр. 643.

[530] Там же, стр. 407.

Книга четвертая – «Завершение национальной теократии развитием трех властей: первосвященнической, царской и пророческой и переход к вселенской теократии» – содержит в себе философский комментарий на книги Судей, Царств, Пророков. Во второй книге Соловьев приводит библейские тексты в славянском переводе, начиная с третьей книги он сам переводит с еврейского, вместо Иегова пишет – Ягвэ, вместо Симеон – Шимшон, вместо Сихем – Шихем и т. д.

Предисловие к Теократии подписано – Москва, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 1887. Несомненно дата 1887 г. неверна.

В апреле 1887 г. первый том Теократии уже был напечатан, а сдан в типографию в 1886 г. Вероятно 87 поставлено здесь вместо 86. В этом предисловии Соловьев призывает Россию в лице ее царя «исполнить всякую правду». Христос как представитель *царского* дома Давидова оказал явное подчинение Иоанну, сыну первосвященника Захарии из рода Ааронова, как последнему представителю истинного священства ветхозаветного. «Мы должны последовать примеру вечного царя, и тогда Церковь вселенская явится нам уже не как мертвый истукан, а как истинная подруга Божия... та София, Премудрость Божия, которой наши предки по удивительному пророческому чувству строили алтари и храмы, сами еще не зная, кто она»[531].

О том, как работал Соловьев над «Теократией», мы имеем показание в письме к брату Михаилу от января 1886 года:

«Я в Пустыньке жил почти все время совершенно один, в огромном, старом, холодном доме, спал большей частью не раздеваясь в двух пальтах, зато много работал, написал весьма большую главу из ветхозаветной теократии. Писал по новой методе, а именно: без всяких черновых, а прямо

---

[531] Соч., IV, стр. 261.

набело – под один локоть Библию, под другой белую бумагу и строчу. Кажется не вредно, а сокращение времени большое.»[532]

В пустом, холодном доме Пустыньки Соловьеву слышался таинственный призыв:

«От родных многоводных Халдейских равнин,
От нагорных лугов Арамейской земли,
От Харрана, где дожил до поздних седин,
И от Ура, где юные годы текли, –
Не на год лишь один,
Не на много годин,
А на вечные веки уйди.»[533]

Теперь таинственный голос звал его уже не в Египет, а в Хорватию, к епископу Штроссмайеру.

В том же году, когда Соловьев был утвержден доцентом Московского Университета, почетным членом того же Университета был избран римско-католический епископ Иосиф Юрий Штроссмайер, «покровитель юго-славянской академии наук и художеств, основатель Хорватского Университета»[534]. Уже в 1883 году «Великий спор» обратил на себя внимание Штроссмайера. В декабре 1885 года Соловьев получил письмо от «знаменитого служителя Церкви и радетеля славянства». В день Непорочного Зачатия пресвятой Девы Соловьев пишет епископу восторженное письмо:

«Сердце мое горит от радости при мысли, что имею такого руководителя, как Вы. Да сохранит Бог на долгие лета Вашу драгоценную главу для блага святой Церкви и народа славянского.

Многа имех писати, но не хочу чернилом и тростью писати тебе: уповаю же абие видети тя, и усты ко устам глаголати.»[535]

---

532 П., IV, стр. 94.
533 Стих., стр. 85; Соч., XII, стр. 26.
534 *Лукьянов*, II, стр. 87.
535 П., I, стр. 180.

Весной 1886 г. Соловьев собирается в свое второе заграничное путешествие. Как же текла личная жизнь Соловьева в 1885–1886 г.г.?

В общем, настроение его было исключительно бодрое. Юношеские иллюзии рассеялись, но он верил, что, совершая свой одинокий путь «в холодный зимний день», дойдет до своего заветного храма, «пламенеющего небесными огнями». Первые удары со стороны русского государства и церкви не огорчали его, а только разжигали его воинственный пыл. Пусть против него Катков и Победоносцев, пусть от него отвернулся Аксаков, – к его словам начинает прислушиваться левая интеллигенция, в глазах которой бывший друг Любимова и Каткова высоко поднялся после лекции о помиловании цареубийц. Среди русской церкви у него есть добрые друзья, например архимандрит Антоний Вадковский (будущий митрополит Петербургский), редактор «Православного Обозрения», священник Преображенский. Евреи ему благодарны, как умеют быть благодарны только евреи, а вдали его ждет епископ Штроссмайер и, может быть, сам – lumen in coelo, Лев XIII. Правда он одинок и лишен всякого определенного общественного положения. В 1886 году он пишет сестре Наде:

«Из всех мест на земном шаре я конечно предпочитаю два: Пустыньку (когда не слишком холодно) и дом Лихутина (когда не слишком музыкально). Но увы! Окончательно фиксироваться ни могу ни там ни здесь, ибо je suis né sous l'astre des voyages, или, говоря высоким библейским слогом, должен ходить перед Господом, что конечно лучше, чем ходить перед людьми на задних лапах. Малая способность к делу последнему и не позволяет мне в наши (довольно подлые времена) найти себе постоянную житейскую рамку. А может быть это собственная натура и судьба. Неправда ли, это удивительно, что когда мы были еще детьми, папа

называл Всеволода волком, а меня *теленком*.» Правда, здоровье его начинало заметно расстраиваться.

«Я уехал на масленицу в Пустыньку, там захворал не то маленькой корью, не то большущей крапивной лихорадкой, осложненной чем-то нервно-церебральным»[536] (1885 г.). «Я сам все это время страдаю от довольно глупой болезни, состоящей в распухании всего лица и в особенности глаз, без особенной боли, но со страшным зудом периодическим, что однако не мешает ни работе, ни питанию, ни сну» (1886)[537].

Но в общем на портретах этого времени у Соловьева особенно мощный вид. Он оброс жидкой бородой, в наружности его появилось что-то величавое, библейское, он напоминает Моисея, на некоторых портретах середины 80-х годов в его лице есть что-то иконописное. В январе 1886 г. (во время писания главы о ветхозаветной теократии) написан известный портрет Крамского, находящийся в Петербургском Музее, бывшем Александра Третьего. «Завтра Крамской начинает меня дописывать», сообщает Соловьев матери от 27 января 1886 г. У швейцара того дома, где он живет, есть две маленькие девочки, которые выбегают ко мне, и, хватая за полы моей шубы, восклицают: «Божинька, Божинька!», очевидно принимая меня за священника. А однажды на лестнице Европейской гостиницы незнакомый почтенный господин с седою бородою бросился ко мне с радостным возгласом: «Как, вы здесь, *батюшка*?! и когда ему заметил, что он, вероятно, меня принимает за другого, то он возразил: “Ведь Вы отец Иоанн?”, на что я конечно заметил, что я не только не отец Иоанн, но и вовсе не отец ни в каком смысле.»[538]

Отношения с Софьей Петровной в 1885–86 г.г. не доставляли ему прежних мучений. По-видимому наступила пора

[536] П., IV, стр. 89.
[537] Там же, стр. 94.
[538] П., II, стр. 46.

тихой и прочной любви. В октябре 1885 г., поздравляя моего отца с моим рождением, Софья Петровна писала: «Вы знаете, Михаил Сергеевич, до какой степени вы все мне близки к сердцу, и как мне жаль, жаль, что жизнь моя все еще отдаляется от всех вас, но только во внешнем мире – а я бы ужасно хотела, чтобы вы имели ко мне то же дружеское чувство, которое я к вам питаю». Письмо подписано одним словом: София.

А что же «таинственная подруга?» Редко доносится теперь до Соловьева ее «гаснущий призыв» и «еле слышится далекий голос тени: не верь мгновенному: люби и не забудь». Вместо «тумана утреннего» наступал «холодный, белый день» и «трезвенная работа».

В мае 1886 г. Соловьев пережил в Пустыньке один из незабываемых дней, о котором вспоминает через 12 лет:

Другой был правда день, безоблачный и яркий,
С небес лился поток ликующих лучей,
И всюду меж дерев запущенного парка
Мелькали призраки загадочных очей[539].

В этот день написано Соловьевым известное стихотворение «Земля Владычица»:

И в явном таинстве вновь вижу сочетанье
Земной души со светом неземным,
И от огня любви житейское страданье
Уносится как мимолетный дым[540].

Здесь, в Пустыньке, «житейское страданье уносилось как мимолетный дым», а там, в Альпах, ждал «Штроссмайер и его супруга Теократия»[541].

---

[539] Стих. изд. 7-ое, стр. 169; Соч., XII, стр. 75.
[540] Стих. изд. 7-ое, стр. 88; Соч., XII, стр. 22.
[541] П., IV, стр. 98.

Софья Петровна жила с детьми в Гапсале. Соловьев наметил свой маршрут «на окружности круга»: Пустынька, Ревель, Гапсаль, Штецин, Бреславль, Вена[542]. Но отъезд Соловьева был осложнен «маленькой» неприятностью. Он приготовил для путешествия 500 рублей, и деньги эти были взяты из стола «коварным Личардой», лакеем Алексеем[543]. Остроумный зять Соловьева Нил Александрович Попов назвал это событие «пятикратным отречением от Екатерины», а жена его Вера Сергеевна вместе с малознакомым, но добродетельным В. А. Писаренко достали для Соловьева новые 450 рублей. Скоро по приезде в Загреб Соловьев оказался без денег и был принужден жить временно за счет каноника Рачкого[544]. В Гапсале Соловьев от 31 мая до 11 июня, купался в море и усиленно звал в Гапсаль брата Михаила из его подмосковного Дедова: «Без всяких шуток я нахожу, что это было бы тебе гораздо полезнее и приятнее, нежели Крым. Климат теплый, виноград растет на воздухе (хотя, конечно, не вполне дозревает), температура моря не бывает ниже 18°, а в середине лета обыкновенно 25–27. Есть необычайно целительные грязи, и жизнь весьма комфортабельно по-немецки устроенная.»[545]

В 1886 г. Владимир и Михаил вместе работают над новооткрытым памятником первохристианства: «Учение 12 апостолов». Михаил сделал перевод, Владимир написал «Введение». В июне он пишет брату из Гапсаля: «Я посылаю нашему пчеловоду Введение в Διδαχή (твоя рукопись уже давно у него)[546].

---

[542] П., IV, стр. 98.

[543] Там же, стр. 97; см. подробности этого эпизода в Воспоминаниях Марии Сергеевны Безобразовой, стр. 146, 147.

[544] П., IV, стр. 99–100.

[545] П., IV, стр. 98.

[546] Там же.

«Пчеловод» – все тот же священник Преображенский, которого в письме к брату Соловьев превращал в «Преобрамужского». В некрологе на смерть Преображенского, написанном в 1900 г., Соловьев говорит об отце Петре: «Хотя возникшие на почве практической (воск для епархиальных свечных заводов), занятия пчелами приняли у старика характер сердечной любви и трогательной заботливости. Приобретя себе подмосковную дачу в Пушкине, он с ранней весны по целым месяцам весь отдавался любимому делу... Кто посещал его в это время и не находил ни дома, ни в саду, мог встретить приехавшего из Москвы по делам причетника, с одобрительною улыбкою говорившего: «Теперь, сударь, придется подождать: отец протоиерей над маткой сидит»[547].

Направляясь в Загреб, Соловьев был далек от мысли принять католичество. 8 апреля 1886 г., проведя накануне вечер среди профессоров Петербургской Духовной Академии, он пишет инспектору Архимандриту Антонию Вадковскому, впоследствии митрополиту Петербургскому и Ладожскому: «Вчера я чувствовал себя среди общества действительно христианского, преданного делу Божию прежде всего. Это ободряет и обнадеживает меня, а я со своей стороны могу Вас обнадежить, что в *латинство никогда не перейду.*

Если и будут какие-нибудь искушения и соблазны, то уверен с Божьей помощью и Вашими молитвами их преодолеть.

В конце Святой, может быть, я еще приеду на несколько дней в Петербург и в таком случае надеюсь увидеться с Вами еще до заграницы, а по возвращении оттуда – наверное.

Передайте, пожалуйста, мой сердечный поклон о. Михаилу, о. Антонию и всем новым знакомым.»[548]

---

[547] Соч., IX, стр. 428–429.

[548] П., III, стр. 187. О. Антоний – вероятно будущий враг Соловьева, архиепископ Антоний Храповицкий.

О том же вечере в Петербургской Духовной Академии Соловьев сообщает в Загреб канонику Рачкому из Вены 29 июня. «Я остался очень доволен этой беседой, но нашему церковному (то есть светскому) начальству это не столь понравилось, и как некий антидот против моих соблазнов был приглашен в ту же академию для беседы со студентами – о. Наумович, недавно приехавший в Петербург.»[549] Но промемория, посланная из Загреба в Дьяковар епископу Штроссмайеру, могла выйти только из-под пера человека, который уже был «toto animo et corde catholicus».

Глава 3
Путешествие в Загреб

Soloviev anima candida, pia ac vere sancta est.

Strossmayer

Соловьев выехал из Гапсаля 11 июня[550] и, переехав Австрийскую границу, остановился на некоторое время в Вене. Из Вены он пишет матери[551], епископу Штроссмайеру[552], канонику Рачкому[553] и Ф. Б. Гецу[554]. Он пробыл в Вене 8 дней[555], и здесь им написано большое (29 стр.) «Предуведомление», т. е. предисловие к «Истории теократии», замененное впоследствии другим предисловием. В этом «предуведомлении» есть тщательно зачеркнутая фраза, весьма характерная для Соловьева, который с отроческих лет был настроен рыцарски и воинственно. Говоря, что он обращается только к людям

549 П., I, стр, 165.
550 П., II, стр. 42.
551 Там же.
552 П., I, стр. 181.
553 П., I, стр. 165.
554 П., II, стр. 138.
555 Там же.

доброй воли, Соловьев прибавляет: «А относительно противников этого дела», мы считаем себя in statu belli и «занимаемся ими лишь постольку, поскольку они могут доставить нам военную добычу». Статья подписана: Вена, Петров День, 1886 г. В тот же день написано письмо епископу Штроссмайеру, помеченное 29 Juni 1886, Wien, Goldnes Lamm. «Слава Богу, теперь я свободен, и никакие δυνάμεις καί έξουσίαι τοῦ κόσμου τούτου не помешают мне видеться и беседовать с Вами»[556].

В Вене Соловьев тщетно разыскивает сирийскую Библию. Виделся ли он с папским нунцием при Габсбургском дворе Серафимом Ванутелли, мы достоверно не знаем.

В начале июля Соловьев был в Загребе, где остановился у каноника Рачкого. Каноник Франциск Рачкий, родившийся в 1829 г., был президентом юго-славянской Академии. Из многих его ученых трудов особенно важным Соловьев считает книгу о Св. Кирилле и Мефодии («Век и делованье свв. Кирилла и Мефодия»). Когда Рачкий скончался в 1894 г., Соловьев посвятил его памяти сочувственный некролог, в конце которого дает живой образ Рачкого:

«Со смертью Рачкого осиротели югославянские Афины... я, по крайней мере, не могу себе представить Загреба без вездесущей, всюду мелькающей фигуры этого малорослого, но крепкого человека в коротком кушаке и высоких сапогах, быстрыми и ровными шагами переносящегося из собора в академию, из академии в типографию, оттуда в свой рабочий кабинет, из кабинета за город в виноградники (Рачкий, сверх всего, был образцовым хозяином вообще и виноделом в особенности).

---

[556] П., I, стр. 181.

Когда в Загребе было большое землетрясение, наполовину разрушившее его готический собор, Рачкий в этом самом соборе служил обедню. Все в ужасе бежали, а он остался один и, схватясь за край престола, ничего не видя от пыли, поднятой обвалившимся потолком, докончил службу и вышел весь белый от пыли, но целый и невредимый. Как в эту минуту, так и во всю свою жизнь он был прежде всего человеком долга и непоколебимой верности»[557].

Описание жизни в Загребе Соловьев дает в письмах к Фету[558], к матери[559], брату Михаилу[560], сестре Наде[561] и Ф. Б. Гецу[562].

Сестре Наде Соловьев пишет:

«Живу у каноника Рачкого, который есть самое уважаемое лицо в здешних местах. Дом его на краю города с большим садом. Называется это место капитул, ибо примыкает к собору, и все дома принадлежат каноникам и прочим соборным священникам, всего 40, да около трехсот клириков, учащихся в семинарии и теологическом факультете и тут же рядом с домом, где я живу, францисканский монастырь, – так что совсем поповский город. Я встаю в 8 ½ ч., хожу каждый день к обедне в прекрасный готический собор XI-го века, обедаю в 1 час, ужинаю в 9 часов, чаю вовсе не пью (потому что здесь нет такого заведения, а утром кофе, вечером же вино, которое здесь необыкновенно хорошо – собственного приготовления, а в продаже 10 копеек бутылка), питаюсь всякой зеленью и плодами в изобилии, назло соседней холере. Моя кишечная

---

557 Соч., IX, стр. 410–411.

558 П., III, стр. 13.

559 П., II, стр. 43.

560 П., IV, стр. 98–99.

561 Не напечатано.

562 П., II, стр. 140.

болезнь кажется совсем прошла от белого хорватского вина (оно имеет это целительное свойство). Книга моя печатается понемножку».

В письме к Фету от 27 июля:

«Чувствую себя не совсем за границей, ибо говорю большей частью по-русски, да и народ здесь (простой) совсем наши хохлы, только еще религиозней (что, к сожалению, нельзя сказать о православных славянах). Церкви здесь и в будни полны народом, а в воскресение не протолкаешься. Вместе с тем здесь есть академия наук и университет, картинная галлерея и музей древностей, все это основано главным образом епископом Штроссмайером и каноником Рачким».

В письме к Гецу Соловьев дает резюме своего житья в Загребе:

«Oro et laboro, но, чтобы Вы не возымели обо мне слишком хорошего мнения, прибавлю третье: bibo хорватское вино, которое удивительным образом избавило меня от геморроя и прочих недугов».

21 августа (новый стиль) Соловьев писал Фету, что через несколько дней едет к еп. Штроссмайеру. Значит около 10 августа Соловьев отправился на свидание к Штроссмайеру в курорт Rohitsch-Sauerbrunn, где епископ лечился водами[563]. Там он прожил 10 дней. Указанием о настроении Соловьева во время этого путешествия может служить стихотворение «В Альпах»:

Мыслей без речи и чувств без названья
Радостно-мощный прибой.

Стихотворение это Фет считал лучшим из стихотворений Соловьева.

[563] П., IV, стр. 99.

В двадцатых числах августа Соловьев возвращается в Загреб и готовится к новому свиданию с епископом, уже не на курорте, а в Дьяковаре. Но тут повторилась Каирская история: «в моем кармане хоть кататься шару». В конце августа или в начале сентября Соловьев пишет брату: «Епископ Штроссмайер ждет меня в своем Дьякове, а я не могу тронуться, не имея ни гроша. Если ты еще не отправил мне, как я тебе писал, австрийскими бумажками, то сделай иначе, а именно: по телеграфу из какого-нибудь московского банка в какой-нибудь венский и с переводом из последнего в Kroatische Escompte-Banque (в Agram)..., мне весьма неловко, – не просить же денег у хозяина, которому я и без того на шею сел»[564].

И в следующем письме:

«Посланный тобой билет, который я разменял, хотя и на восемь дней, но без всяких затруднений, избавил меня от крайности занимать деньги у моего великодушного и гостеприимного хозяина, дабы ехать в Дьяково к епископу Штроссмайеру, который усиленно вызывал и торопил меня письмами и телеграммами»[565].

В Дьяковаре Соловьев провел 18 дней. «Это был постоянный праздник с бесконечными обедами, спичами, пением и т. д.», и далее: «Милый друг, в Дьякове имел много неожиданно-приятного и утешительного»[566].

Рачкому Соловьев пишет из Дьяковара: «Епископ говорит со мною и по-латыни, и по-французски, и по-хорватски, – и на всех языках одинаково приятно слышать его вдохновенную речь. Соглашаюсь вполне с о. Франки, что ни у одного народа нет такого епископа»[567]. Светозар Ритич говорит

---

[564] П., IV, стр. 99–101.
[565] П., IV, стр. 101.
[566] П., IV, стр. 103.
[567] П., I, стр. 167.

об отношениях Соловьева со Штроссмайером: «Оба сошлись в одном и том же духе, имея одинаковые намерения и идеи, для того и другого вопрос о единении был первый и самый важный из всех, оба были идеалистами и платониками, оба были одарены одинаковой наклонностью к мистике и созерцательным прозреваниям будущего, с той, пожалуй, разницей, что Соловьев был поэтом, Штроссмайер же более оратор».

Со слов прелата Цепелича, Ритич сообщает, что Соловьев, будучи в Дьяковаре, ежедневно присутствовал на обедне и молился чрезвычайно усердно. Крестился по латинскому способу, но при молитве складывал по-гречески руки на груди».

По возвращении в Загреб Соловьев пишет Штроссмайеру в Дьяковар: «Покинув Вас в действительности, я не перестаю видеть Вас во сне каждую ночь. Ваше здоровье слишком необходимо для всего мира и, хотя я уверен, что Вы находитесь под особой охраной добрых ангелов, тем не менее я позволяю себе рекомендовать Вам русскую пословицу: "Береженого Бог бережет"... Ах! Если бы только Бог даровал нам счастье видеть Вас в Петербурге или в Москве, это многое изменило бы и это было бы для нас единственным случаем искупить наш грех относительно Вашего предшественника Крижанича. Я прошу Вас, Владыка, передать мой сердечный привет нашему доброму другу Цепеличу и всем вашим достойным каноникам и священникам... Мои сны доказывают мне, что я действительно оставил часть моей души в Дьяковаре»[568].

При этом же письме, 21 сентября, Соловьев посылает Штроссмайеру свою промеморию на французском языке. Эта промемория была напечатана в Дьяковаре в 10 экземплярах.

[568] П., I, стр. 182.

Один был послан папе Льву XIII, один – кардиналу-секретарю в Риме Рамполле, три – нунцию в Вене, Серафиму Ванутелли, один взял Коста Войнович в Загребе, четыре посланы были Соловьеву. В заметке Милко Цепелича, приведенной в I томе писем Соловьева, мы читаем: «Один (экземпляр) послан нунцию в Вене... три взял Коста Войнович для своих друзей». Но на той же странице цитата из письма Штроссмайера к Ванутелли: «Tria harum litterarum exemplaria Excellentiae Vestrae submitto»[569]. Очевидно у Цепелич ошибка. Промемория перепечатана в собрании писем Соловьева (т. I, 183).

Промемория написана в форме письма к Штроссмайеру, епископу Боснии и Сирмия, апостолическому викарию в Сербии и т. д. Соловьев начинает с указания на мудрость папы Льва XIII, которого древние пророчества отличили в ряду пап мистическим наименованием «свет в небе» (lumen in caelo). Далее Соловьев говорит, что Восточная Церковь не объявила обязательным догматом (dogme obligatoire) ни одного учения, противного католической доктрине. Догматические определения семи первых вселенских соборов образуют всю совокупность вероучительных истин, абсолютно бесспорных и неизменных, признаваемых восточною церковью в ее целом. «Все прочее спорно и может быть рассматриваемо, как частная доктрина той или другой школы, или того и другого отдельного богослова, но не обладает авторитетом непогрешимого учительства. Догматика нашей церкви, ограничиваясь постановлениями вселенских соборов, вполне православна и католична (orthodoxe et catholique). Наша схизма существует de facto, но не de jure. Adhuc sub judice lis est». Упоминая о подписании Флорентийской унии Московским митрополитом Исидором и прочтении этого акта

---

[569] П., I, стр. 190–191.

в Московском Успенском соборе, Соловьев отмечает, что бояре и народ слушали чтение в безмолвии, и только великий князь Василий отверг унию и заключил митрополита Исидора в тюрьму. После этого племянники великого князя ослепили его, и он получил наименование Василия Темного (obscur ou ténébreux).

Соединение церквей возможно на следующих основоположениях: римская церковь есть Romana, но Latina только ее западная часть, только римская, а не латинская церковь mater et magistra omnium ecclesiarum. Епископ римский, а не патриарх Запада говорит непогрешимо ex cathedra и не следует забывать, что было время, когда римский епископ говорил по-гречески. При возвращении России к католическому единству русская церковь должна сохранить не только свой обряд (что само собой разумеется), но и всю автономию организации и администрации, которыми обладал Восток до разделения церквей. В частности, высокое положение, которое всегда принадлежало в восточной церкви императору, должно остаться неприкосновенным. Итак, в основании соединения церквей должны быть положены два различия:

1) Различение между частными мнениями наших богословов, которые могут быть ошибочны, антикатоличны и еретичны, и верой восточной церкви в ее целом, которая остается православной и католической.

2) Различение между авторитетом папы, как преемника ап. Петра, пастыря и непогрешимого учителя вселенской церкви и его административной властью, как патриарха Запада. Это различение гарантирует автономию восточной церкви и без этого соединение, рассуждая по-человечески, невозможно.

Но Соловьев не настаивает на последнем пункте. Он имеет полное доверие к засвидетельствованной веками мудрости римской церкви и к высокому уму и исключительным

добродетелям папы Льва XIII. «Для нас дело не в том, чтобы защищать наши права, а принять отеческую любовь».

Соединение даст много обеим сторонам. Рим приобретет народ благочестивый и полный религиозного энтузиазма и верного защитника в лице русского императора, Россия освободится от невольного греха схизмы и сможет осуществить свое великое мировое призвание – объединить вокруг себя все славянские народы и создать воистину христианскую цивилизацию.

Посылая промеморию Венскому нунцию Ванутелли, Штроссмайер пишет по-латыни о том, что славянские народы только тогда выполнят свое призвание в Европе и Азии, когда вернутся к католическому единству как отсеченная ветвь к древнему стволу. «Я сам по грехам моим едва ли удостоюсь увидеть зарю этого радостного дня, но Соловьев и княгиня Волконская и другие души благочестивые и святые верно удостоятся видеть если не полное сияние, то по крайней мере утреннюю звезду этого радостного дня, который Вечный Отец держит в своей власти для утешения тех, кто не отчаивался в бедах, но напрягал свои силы для соединения»[570].

Здесь же Штроссмайер определяет Соловьева как anima candida pia ac vere sancta, «душа чистая, благочестивая и воистину святая». Такое же впечатление Соловьев произвел и на других католиков в Кроации. Др. Светозар Ратич в своей статье «Об отношении Соловьева к кроатам» передает предание, сохранившееся о Соловьеве в Кроации, что «это была душа воистину ангельская», что «он не совершил в жизни ни одного тяжелого греха, не пил вина и не знал женщин». Таков был Соловьев в 1886 г. во время своего пребывания в Хорватии.

Ознакомившись с промеморией, мы не можем не согласиться со Штроссмайером, писавшим кардиналу Рамполла

[570] П., I, стр. 191.

в Рим, что Соловьев «toto animo et corde catholicus». Эта промемория указывает на неверность того распространенного мнения, что Соловьев принял католические догматы только во время писания La Russie et l'Église universelle, то есть в 1887–1888 г.г. Уже в 1886 г. он признавал все католические догматы и прежде всего Непорочное зачатие Марии и непогрешимость римского первосвященника. Вероятно епископ Штроссмайер не сомневался, что присоединение Соловьева к римской церкви только вопрос времени и предполагал свидеться с ним в Риме весной 1888 г. По словам кардинала Рамполла, Лев XIII, прочитав промеморию, воздал Соловьеву одобрение и хвалу и горячо молился. Соловьев передавал Е. Н. Трубецкому, что папа сказал о нем: «Вот овца, которая, надо надеяться, скоро войдет во двор овчий»[571].

Несмотря на все очарование Штроссмайера, Соловьев в Загребе исповедывался и причастился у настоятеля православной сербской церкви о. Амвросия, и привез с собой в Россию свидетельство об этой исповеди. «На попытки обращения, направленные против меня *лично*», пишет Соловьев архимандриту Антонию из Москвы 29 ноября 1886 года, «я отвечал прежде всего тем, что (в необычайное для сего время) исповедался и причастился в православной сербской церкви в Загребе, у настоятеля ее, иеромонаха Амвросия. Вообще я вернулся в Россию, – если можно так сказать, – *более православным,* нежели как из нее уехал»[572].

В России упорно циркулировали слухи о принятии Соловьевым католичества. В хорватском журнале Соловьев напечатал статью «Je li istočna crkva pravoslavna?» (т. е. Православна ли восточная церковь?), где, «становясь на точку зрения своих

[571] Владимир святой, изд. Путь, М 1913, стр. 75.
[572] П., III, стр. 189.

католических читателей, доказывал, что и с этой точки зрения *наша восточная церковь должна быть признана православной*»[573].

Противоположное мнение высказывалось францисканцем о. Марковичем, нападавшим на Соловьева и на солидарного с ним доктора Франки. В лице о. Марковича Соловьев впервые встречает уже не с православной, а с католической стороны оппозицию своим взглядам... На статью Соловьева Маркович ответил новой статьей «Na obranu» (В защиту), краткий ответ Соловьева на которую был напечатан уже по возвращению его в Россию, в газете «Katolički List» 11 декабря 1886 г. Но о. Маркович не успокоился и в 1891 г. в своем труде «Cezarism i Bizantinstvo» поместил целый трактат против Соловьева и доктора Франки. 27 июля 1886 г. Соловьев поместил в «Новом времени» первое письмо из Загреба (следующие письма не появились), где опровергает распространенное в России мнение, что хорваты являются орудием австро-венгерского правительства для облатынения православного Востока. Соловьев указывает на симпатии хорватов к России и приводит заявление, сделанное в австрийском рейхстаге хорватским депутатом, католическим священником Павлиновичем: «если мы не можем быть хорватами, то сделаемся русскими, чтобы все-таки остаться славянами»[574].

В начале октября Соловьев вернулся в Россию, 9/21 октября он пишет из Москвы своему гостеприимному хозяину в Загребе:

«Я совершил свое путешествие довольно благополучно, – только в Зиданом мосте потерял свой плед, да еще на границе был немного задержан таможенными чиновниками, которым показалось странным, что мой маленький багаж состоял почти исключительно из книг и бумаг. Чтобы разрешить свои сомнения, они послали за экспертом по книжной части,

---

[573] П., III, стр. 194.
[574] П., III, стр. 169.

именно за жандармским капитаном; но и для этого ученого авторитета Ваши хорватские сочинения оказались китайскою грамотой, и он уже принялся за чтение моей переписки, но против этого я решительно восстал и, выложив перед ним коллекцию моих Библий, убедил его в своей благонамеренности... Сам я и в России остаюсь полу-хорватом и, несмотря на плохое знание языка, иногда думаю по-хорватски. Благодаря моему пребыванию у Вас я стал теперь славянофилом не в мыслях только, но и в сердце»[575].

29 ноября Соловьев пишет архимандриту Антонию:

«Я вернулся из-за границы, познакомившись ближе и нагляднее как с хорошими, так и с дурными сторонами Западной церкви и еще более утвердившись на той своей точке зрения, что для соединения церквей не только не требуется, но даже была бы зловредной всякая внешняя уния и всякое частное обращение»[576].

После радостной поездки в Кроацию для Соловьева наступил весьма тяжелый 1887 год. В этом году он терпит поражение на всех фронтах... В декабре 1886 г. он пишет Гецу:

«Вы, вероятно, знаете, что я теперь претерпеваю прямо гонение. Всякое мое сочинение, не только новое, но и перепечатка старого, безусловно запрещается. Обер-прокурор синода П-в сказал одному моему приятелю, что всякая моя деятельность вредна для России и для православия и, следовательно, не может быть допущена. А для того, чтобы оправдать такое решение, выдумываются и распускаются про меня всякие небылицы. Сегодня я сделался иезуитом, а завтра, может быть, приму обрезание; нынче я служу папе и епископу Штроссмайеру, а завтра наверно буду служить Alliance Israélite и Ротшильдам. Наши государственные, церковные и литературные мошенники так нахальны, а публика

---

[575] П., I, стр. 168.
[576] П., III, стр. 189.

так глупа, что всего можно ожидать. Я, конечно, не унываю и держусь своего девиза: Бог не выдаст, свинья не съест. Но все-таки следует быть по возможности осторожным»[577].

В 1886 г. Соловьев впервые почувствовал, что его молодость кончилась по дороге из Дьяковара в Загреб, «в вагоне» сочинено им стихотворение:

Пора весенних грез еще не миновала,
А уж зима пришла,
И старость ранняя нежданно рассказала,
Что жизнь свое взяла.
И над обрывами бесцельного блужданья
Повис седой туман.
Душа не чувствует бывалого страданья,
Не помнит старых ран.
И, воздух горный радостно вдыхая,
Я в новый путь готов,
Далеко от цветов увянувшего мая,
От жарких летних снов[578].

Но после горного воздуха Хорватии его ждала в России тлетворная атмосфера разлагающегося царизма и роковая, и нежданная развязка его многолетней любви.

---

[577] П., II, стр. 142.

[578] Стих., XXXI; Соч., XII, стр. 21.

Глава 4
1887 год. Безрадостной любви развязка роковая

Безрадостной любви развязка роковая,
Не тихая печаль, а смертной муки час.

В. Соловьев

Соловьев едва ли ожидал, какие гонения ждали его в России по возвращении из Австрии. В октябре 1886 г. он пишет Стасюлевичу: «Я, подобно краснокожему индийцу, пою и благодушествую среди пытки. В то время как духовная цензура терзает невиннейший первый том моей “Теократии”, светская цензура, несмотря на любезные письма ко мне Феоктистова[579], прищемила по-видимому статью “Грехи России”[580], посланную в “Новости” по просьбе редакции этой газеты»[581]. Второе издание «Догматического развития» было запрещено, «и даже оригинал оного бесследно пропал на квартире цензора»[582]. Глава «Истории теократии» «О законодательстве Моисеевом» была безусловно запрещена под тем предлогом, что «цитаты из Библии в ней переведены прямо с еврейского»[583]. «Первый том Теократии вышел в конце апреля в Загребе, который настолько отдален от меня системой нашего церберизма, что я не только не видел до сих пор своего собственного произведения, но не знаю, когда и увижу»[584]. 25 мая Киреев извещает Соловьева, что его книга «попадает в руки духовной цензуры», что Соловьев назвал «попаданием книги в ров львиный»[585].

---

579 Начальник главного управления по делам печати.
580 П., II, стр. 187–191.
581 П., IV, стр. 28–29.
582 П., II, стр. 128–129.
583 Там же.
584 П., II, стр. 126.
585 Там же.

Соловьеву приходилось искать новых союзников. Уже в 1886 г. он начинает печатать стихи в «Вестнике Европы». С этого года у него завязывается оживленная переписка со Стасюлевичем. В 1887 г. он готовит для «Вестника Европы» критику книги Данилевского «Россия и Европа». Статья «Россия и Европа»[586] была дебютом Соловьева в «Вестнике Европы», открытием кампании против славянофилов, главным представителем которых в то время являлся Н. Н. Страхов. В личных делах Соловьева также к 1887 г. произошла катастрофа. На Рождество 1886 г. Соловьев удаляется в Сергиев Посад, где проводит «все так называемые праздники (беззаконие и празднование, как справедливо замечает один пророк)»[587]. 16 декабря 1886 г. Соловьев пишет А. Ф. Аксаковой в Сергиев Посад: «К Вам думаю ехать в первый день праздника вечером». Из Посада он пишет сестре Наде: «Встречал Новый год один в двух комнатах и даже забыл спросить себе вина. Вернуться думаю 12 к обеду (не к университетскому конечно)... Левушке[588] скажи, что я совсем пропитался деревянным маслом от лампадки; потому ядовитого писания, которого он от меня ждет, не будет вовсе, а будет только вино и елей».

Остановился Соловьев по-видимому не у А. Ф., а в гостинице: «Вчера (4-го января) обедал у А. Ф. Аксаковой и сегодня буду также», пишет он сестре. В последних числах декабря он извещал А. Ф.: Mes affaires intimes, dont je vous ai parlé l'autre fois à Moscou et Троица ont eu un dénouement inattendu et définitif à ce qu'il paraît. Et je reste maintenant «на этом пепелище моих надежд земных». «J'espère, que c'est pour le mieux». Несмотря на мужественное «j'espère, que c'est pour

---

[586] « В. Е.», 1888 г., № 26; Соч., V, стр. 82–147.

[587] П., I, стр. 25.

[588] *Л. М. Лопатин.*

le mieux», Соловьев переживал в эти дни «не тихую тоску, а смертной муки час». 1-го января 1887 г. написаны им стихи:

> Безрадостной любви развязка роковая,
> Не тихая печаль, а смертной муки час!
> Пусть жизнь лишь злой обман, но сердце, умирая,
> Томится и болит, и на пороге рая
> Еще горит огнем, что в вечности погас.

Под недобрым знаком начался для Соловьева 1887 год.

«В эти недели я испытал или начал испытывать одиночество душевное со всеми его выгодами и невыгодами», пишет он Страхову 11 января 1887 года[589]. Неожиданная трагическая развязка его многолетней любви естественно склоняла его к мысли о принятии монашества. Совсем шутливо пишет он об этом Страхову:

«Кроме монахов допотопных, мне приходится иметь дело и с живыми, которые весьма за мною ухаживают, желая, по-видимому, купить меня по дешевой цене, но я и за дорогую не продамся»[590].

Серьезнее в письме Рачкому:

«Архимандрит и монахи очень за мною ухаживают, желая, чтобы я пошел в монахи, но я много подумаю, прежде чем на это решиться»[591].

Еще серьезнее архимандриту Антонию Вадковскому:

«Если бы не то положение, о котором Вы писали, я имел бы теперь большую склонность пойти в монахи. Но пока это невозможно»[592].

Иезуит о. Пирлинг передал Соловьеву через Штроссмайера о желании французского писателя Леруа-Болье иметь

---

[589] П., I, стр. 25.
[590] Там же, стр. 26.
[591] Там же, стр. 171.
[592] П., III, стр. 191.

достоверные сведения о «религиозной системе» Соловьева. 31 января Соловьев пишет Пирлингу в Париж:

«Заданная мне Вами и г. Леруа-Болье задача будет, я думаю, наиболее целесообразно исполнена, если я напишу сам, на французском языке по возможности, краткое и полное изложение тех понятий о религии и церкви, которые составляют, по моему разумению, принципиальную основу для дела соединения церквей; сюда войдет, вероятно, и философское оправдание тех трех учений католической церкви, которые составляют главную доктринальную преграду между нею и Востоком: именно учение об исхождении Св. Духа и от Сына; затем учение о непорочном зачатии Пресвятой Девы и наконец infallibilitas Summi Pontificis ex cathedra. Все это составит статью от 4 до 5 печатных листов, которую я уже начал писать под заглавием "Philosophie de l'Eglise universelle"[593].

Писание статьи "Philosophie de l'Église universelle", очевидно, было главным делом Соловьева в Сергиевом Посаде в январе 1887 г. Эта статья к лету разрослась в большое сочинение "La Russie et l'Église universelle", заменившее 2 том Теократии.

С января 1887 г. начинается оживленная переписка Соловьева с другим иезуитом о. Мартыновым, "почтенным сожителем Пирлинга"[594]. Мартынов прислал Соловьеву портрет Чаадаева и книгу "Исхождение Св. Духа и вселенское первосвященство", подписанную псевдонимом Асташкова и написанную немцем, католическим священником в Петербурге. "Благодарю Вас за портрет Чаадаева", пишет Соловьев Мартынову, "с писаниями которого я познакомился лишь недавно. Несомненно он представляет очень важное явление в умственной истории России, хотя бы лишь как живое

---

593 П., III, стр. 138.

594 Там же, стр. 146.

опровержение того, очевидно ныне распространенного, взгляда, по которому западничество и нигилизм в сущности одно и то же"[595]. О книге Асташкова Соловьевым был дан весьма отрицательный отзыв в письмах к Мартынову[596], Пирлингу[597] и Рачкому[598].

Первая часть этой книги, по мнению Соловьева, слишком схоластична, а в полемических местах обнаруживает непозволительное и ненужное озлобление (не говоря уже о разных ошибках)... Помимо прочих недостатков, автор этой книжки – иностранец, живущий в России, – не обнаруживает достаточной любви к народу, который хочет просвещать. А без этого его величайшая ревность о вере едва ли может быть плодотворной. Наши враги церковного соединения уже воспользовались этим случаем, чтобы уязвить меня».

Между тем, в Париже аббат Гетте, тот самый, которому Соловьев хотел в 1876 г. отдать для исправления свое французское сочинение «Les principes de la religion universelle», выступил против Соловьева в декабрьском номере «Union chrétienne». «Я прочел эту статью,» пишет Соловьев Мартынову 9 марта 1887 г., «и нашел ее совершенно вздорной и не заслуживающей возражения по существу»[599].

В конце марта Соловьев прочел (в пользу бедных студентов) две лекции на тему «Славянофильство и русская идея», о содержании этих лекций мы узнаем из письма к о. Пирлингу от 28 марта[600], Фету от 9 апреля[601] и о. Мартынову от 14 апреля[602].

---

[595] П., III, стр. 18.
[596] Там же, стр. 20.
[597] Там же, стр. 142.
[598] П., I, стр. 173.
[599] П., III, стр. 21; см. так же письмо Кирееву, П., II, стр. 131.
[600] П., III, стр. 142.
[601] П., III, стр. 115.
[602] П., III, стр. 23.

Мысли этих лекций мы находим в статье «Владимир святой и христианское государство», помещенной во французском журнале «L'Univers» в 1886 г. и переведенной на русский язык Г. А. Рачинским (М., 1913 г., книгоизд. Путь). Подробное изложение лекций и отчет о впечатлении, произведенном ими в московской славянофильствующей публике, я нашел в архиве Л. И. Поливанова, благодаря любезности его сына И. Л. Поливанова. В письме к своему родственнику Н. А. Демидову Поливанов сообщает:

«На лекцию Соловьева съехалась вся та часть московской публики, которая представляет современную аристократию и та часть не аристократической Москвы, которая интересуется философией, литературой, а также политикой, разделяя так или иначе мнение славянофилов».

Соловьев делит историю развития христианской идеи на следующие моменты: Константин Великий, Владимир Святой, Петр Великий, укрепивший христианство западной наукой, Пушкин, растворивший европейскую культуру в русском духе. Теперь русская идея должна дать свой плод; Соловьев хочет *доказать* мысль славянофилов. «Нужно осуществить на земле организацию вселенской Церкви, с видимою одною главою: видимою, ибо невидимая глава есть Христос; но я говорю о земной организации человечества христианского. Вывод неизбежен один: нужен общехристианский вселенский отец. Нам неизбежно обратиться к такому хранителю церковной дисциплины, сохраненному историей».

«Встреченный шумными рукоплесканиями», Соловьев был провожден «гробовым и мрачным молчанием». «Вдова И. С. Аксакова, которая издает теперь все статьи своего мужа, только что подготовила новый том их, где просила написать предисловие Соловьева, что и было им исполнено; том был отпечатан с этим предисловием и готовился к выходу. Возвратившись со второй и последней лекции Соловьева, она

немедленно вырезала предисловие Соловьева (и отослала ему), а в типографию дала знать, чтобы то же было сделано с прочими экземплярами».

Своим поступком А. Ф. Аксакова подтвердила еще раз ту характеристику, которую дает ей Соловьев после ее смерти: «При большой сердечной доброте она менее всего была похожа на овечку. Я никогда в жизни не видел более раздражительного, резкого и вспыльчивого существа. Она не сердилась, а как-то вдруг вся загоралась и начинала "бросать огонь и пламя" по французскому выражению»[603].

Соловьев от души простил А. Ф. ее поступок с предисловием и остался с ней в самых близких отношениях, но на Московское общество он сильно рассердился и 4 апреля написал следующий «комплимент Москве»[604]:

Город глупый, город грязный
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной
Скуки, сна, галиматьи.

Фету он заявил, что сам столько же доволен своей лекцией, сколько недовольна ею «славянофильствующая московская публика», и утешал себя тем, что «на щи и кашу бедным студентам собрал около двух тысяч рублей и сказал то, что хотел сказать»[605]. Комплимент Москве написал 4 апреля, а накануне, 3 апреля, написано стихотворение «Друг мой, прежде как и ныне, Адониса отпевали».

На Пасху Соловьев извещал своего старого друга Анну Федоровну: «Я проводил Святую как следует. Ночью был в Кремле, а днем посещал одних только покойников – других

---

603 (П., III, изд. 1-ое, 1911 г, стр. 277); Соч., XII, стр. 484.
604 П., IV, стр. 105; Стих., изд. 7-ое, стр. 363; Соч., XII, стр. 125.
605 П., III, стр. 115.

визитов не делал... Я написал несколько плохих стихотворений, из которых вот Вам одно. Победоносцев вывел бы из него, что я язычник и не верю в Христа, но Вы, надеюсь, этого заключения не сделаете.

Друг мой! прежде как и ныне,
Адониса отпевали.
Стон и вопль стоял в пустыне,
Жены скорбные рыдали.

Друг мой! прежде как и ныне,
Адонис вставал из гроба,
Не страшна его святыне
Вражьих сил слепая злоба.

Друг мой! ныне, как бывало,
Мы любовь свою отпели,
А вдали зарею алой
Вновь лучи ее зардели.

Но это только в стихах, а на самом деле никаких лучей и никакой алой зари, а только та тяжелая медь, которую вы видели во сне[606]... Я это время очень плохо молюсь, потому что церковные каноны запрещают от Пасхи до Духова дня тот род молитвы, к которому я привык»[607].

Но надежды Соловьева, что А. Ф. терпимее, нежели Победоносцев, не оправдались: стихи об Адонисе опять вызвали «огонь и пламя». В письме от 28 апреля, уже из Воробьевки Фета, Соловьев кротко оправдывается перед А. Ф. и немного хитрит:

«Своими вздорными стихами я ввел Вас в двойное недоразумение: Я вовсе не имел в виду греко-римского Адониса, выдуманного поэтами, а настоящего сирийского, семитического

[606] А. Ф. видела во сне слова С., написанные золотыми письменами, но вслед за тем он вошел, согбенный под тяжестью мешка с медью.
[607] От Пасхи до Духова дня запрещается коленопреклонение.

Адониса или Адоная (что означает Господь), который не имел никаких дел с Венерой и Марсом, а был настоящим прообразом Христа. 2) Я совсем ни о какой даме не думал, а прибавил последнюю строфу, только чтобы закончить стихотворение, вызванное единственно только образом вечно погребаемого и вечно воскресающего Бога. А затем, оставляя в стороне меня с моими плохими стихами, а также и Лютера (который наполнил свои Tischreden всякими непристойностями), я должен сказать про отцов церкви, что их малая способность ценить красоту (в форме ли мифологических представлений, или в форме интересных дам) есть ихняя односторонность, которой я нисколько не завидую. У них христианство находится в своем *напряженном и исключительном* состоянии, оно несвободно – это не есть высшая степень христианства... На ночь вместо французских романов читаю Сведенборга по-латыни. А мой собственный русский роман стоит на точке замерзания. Уже три месяца не имею никаких известий».

Любимая Пустынька была для Соловьева теперь закрыта, и он решил провести лето в Воробьевке у Фета. Выехал он туда в двадцатых числах апреля и предполагал прожить до октября[608]. 5 мая он пишет сестре Наде:

«Я вспоминаю о вас, ходя по здешнему парку, и во внимание к вашей заботливости о моем здоровье стал с нынешнего дня пить железную воду из здешнего источника, в котором, по исследованиям знающих людей, столько же железа, сколько в Кавказском Железноводском... Я более или менее здоров, продолжаю вести правильный образ жизни. Здесь началась жара с дождями вперемежку, березы и тополи распустились, черемуха цветет, соловьи поют, фонтан плещет,...».

[608] П., III, стр. 143.

В последних словах письма мы узнаем знакомую нам из «Вечерних огней» природу Воробьевки. Скажем немного об отношении Соловьева к ее хозяину. С Афанасием Афанасьевичем Фетом у Соловьева была семейная связь, поскольку Фет был близок с родными по матери Бржесскими. У Соловьевых был как бы домашний культ Фета. Для Владимира Соловьева Фет был воплощением чистой поэзии, «отрезком ее неподдельной радуги, сияющей над океаном человеческой бессмыслицы»[609]. Читая «Воспоминания» Фета, мы можем представить себе всю обаятельность этого человека. Среди современных ему писателей Фет отличался необыкновенной простотой, скромностью, действительной добротой и остроумием. С ним трудно было поссориться даже такому неуживчивому человеку, каким был Тургенев. Несмотря на разницу миросозерцаний, Соловьев хорошо чувствовал себя с Фетом и отдыхал в его обществе. А миросозерцания их были весьма различны: Фет был крайний правый, Соловьев именно в 80-х годах вступил в стан западников-либералов; Соловьев был христианином, а у Фета, при его консервативном уважении к русской церкви, как к одному из устоев быта и государства, было ироническое отношение к основным догматам христианства. Его философия в зрелые годы сложилась под влиянием Шопенгауэра с одной стороны, под влиянием пантеизма Гёте – с другой. Соловьев всегда подчеркивал свое расхождение с Фетом в вопросах религиозных. Письмо от 9 апреля 1887 г. начинается словами: «Христос воскресе, дорогая Марья Петровна, *здравствуйте,* Афанасий Афанасиевич!» Из Воробьевки Соловьев пишет матери: «Здесь была чудотворная икона Божией Матери Курской (из Коренной пустыни): Я ее носил по усадьбе с Марьей

[609] П., III, стр. 119.

Петровной». Очевидно у Соловьева с Марьей Петровной был некий союз против Афанасия Афанасиевича.

После смерти Фета Соловьева преследовала мысль, что Фет страдает в загробном мире. Когда расцветала столь любимая Фетом весна, Соловьеву чуялось, что старый друг с тяжкой печалью шепчет ему: «вспомни обо мне»[610] «С этой могилой меня не может время примирить»[611]. И все та же тень А. А. Фета стояла над мечтой Соловьева, когда он в 1898 г. ехал по Архипелагу. Смерть того, кто «сливал брызги жизни в алмазные грезы»[612], была для него «чужим крушением», которого нельзя забыть, «чужим, далеким, мертвым горем».

Фет соединял в своей гостиной самых несоединимых людей: Тургенева с Толстым, Соловьева со Страховым. Но полевение Соловьева к началу девяностых годов привело к охлаждению их отношений. Когда Фет получил камергерский мундир, Соловьев писал брату Михаилу:

Жил-был поэт
Нам всем знаком
Под старость лет
Стал дураком

и кончает письмо горькими словами:

Поговорим о том, чем наша жизнь согрета,
О дружбе Страхова, о камергерстве Фета.

Но летом 1887 г. до этого охлаждения было еще далеко. Соловьев услаждал Фета, говоря ему наизусть Катулла («Когда Катулл мне наизусть твоими говорил устами»). Они вместе

---

610 Стих, стр. 142; Соч., XII, стр. 47.
611 Стих., стр. 118; Соч., XII, стр. 63.
612 Стих., стр. 161; Соч., XII, стр. 70.

переводили Энеиду и «валяли в день по 80 стихов»[613]. Шестая книга была переведена общими силами, седьмая, девятая и десятая книги переведены одним Соловьевым. Несмотря на спешность работы, перевод Соловьева весьма звучен и выгодно отличается от Фетова, например:

Тебя то оплачет
Лес ангвитийский, тебя кристальная влага фуцины
Озера волны тебя...

Этим же летом Соловьев перевел IV-ю эклогу Вергилия «Поллион». Главным трудом Соловьева летом 1887 г. было писание «La Russie et l'Église universelle». План и название сочинения выработались не сразу. Не оставляя мысль продолжать «Историю теократии», Соловьев еще в январе начал писать на французском языке статью «Philosophie de l'histoire universelle». Начало было им послано о.о. Пирлингу и Мартынову. О. Пирлинг нашел в этом сочинении лишние «умствования» и советовал сократить. 14/26 июля Соловьев отвечает ему, что в сочинении с таким заглавием нельзя «вовсе обойтись без общих соображений и отдаленных умствований»[614]. Он указывает, что пишет «Философию всеобщей истории», а не историческое исследование, каковое должно быть в следующих томах «Теократии». В конце концов он просит отцов иезуитов самих произвести необходимые с их точки зрения изменения и сокращения в изложении. «С моей стороны было бы совершенно нелепо печатать о соединении церквей что-нибудь такое, что не одобрялось бы представителями католической церкви». В следующем письме 17/29 июля, Соловьев сообщает Пирлингу о перемене всего плана сочинения и решается сам «уничтожить отдаленные

---

613 П., IV, стр. 106.
614 П., III, стр. 150.

умствования, то есть всю первую часть, уже лежащую на моем столе» и изменить заглавие книги на «La théocratie dans l'histoire et la réunion des Églises»[615].

Но Пирлинг возразил и против этого названия, и в следующем письме Соловьев предлагает новое: «La Réunion des Églises et les devoirs (la mission historique) de la Russie»[616]. В то же время Соловьев замышляет ряд брошюр под общим заглавием: «Русская полемика против католичества в XIX веке:

1) Славянофилы и иезуиты.
2) Митрополит Филарет и Вселенская Церковь.
3) Архиепископ Никанор и папское главенство.
4) Архиепископ Анатолий (Авдий Востоков) и А. Муравьев о православии и католичестве»[617].

31 августа от пишет Пирлингу: «Относительно заглавия не будет ли всего проще La Russie et l'Église universelle»[618]. И 18 сентября брату Михаилу: «Я выбросил все теософское и назвал сочинение La Russie et l'Église universelle»[619].

Вторая из задуманных брошюр «Митрополит Филарет» вошла целиком в «La Russie», прочие брошюры не были написаны. В письмах к Аксаковой, которой Соловьев летом 1887 г. писал почти еженедельно, мы находим целые страницы из «La Russie»: об отношении митрополита Филарета ко вселенской церкви, легенду о св. Николае и Касьяне и т. д. Сношения и совместная работа Соловьева с членами ордена Иисуса конечно смущали его друзей. 18/30 июля он жалуется о. Мартынову, что «ревнители православия стреляют в него толстыми томами сочинений Самарина, где главное место принадлежит «Письмам о иезуитах».

---

615 П., III, стр. 152–153.
616 Там же, стр. 157.
617 Там же, стр. 156.
618 Там же.
619 П., IV, стр. 113.

«Это грустно и забавно»[620]. Далее он приводит выписки из письма одного молодого человека, занятого разбором славянофильского «богословия». Под этим молодым человеком подразумевается брат Михаил, как видно из письма к нему № 27: «Благодарю тебя за письмо насчет Самаринских иезуитов». Мой отец в четырех тезисах защищает орден Иисуса от обвинений Самарина и кончает так:

«Что лучше: деятельное миссионерство, допускающее provisoirement сделки с язычеством, или отсутствие миссионерской деятельности? Руководство совестью при условном допущении поблажек, или отсутствие всякого руководства? В конце книги встретил несколько слов, в которых все славянофильство: нам не нужно относительной правды, потому что у нас *"жажда* безпримесной правды", то есть нам не нужно хлеба, потому что мы жаждем амброзии, хотя и не имеем никаких средств ее достать»[621].

Если летом 1883 г. Данте питал католическое настроение Соловьева, то теперь место Данте заступает сам его вождь по аду и чистилищу, мудрый Вергилий. «Переводя теперь Энеиду русскими стихами», пишет Соловьев Пирлингу, «я с особенной живостью ощущаю в иные минуты ту таинственную и вместе естественную необходимость, которая сделала из Рима центр Вселенской Церкви.

Dum domus Aeneae Capitoli immobili Saxum (*πέτρα*)
Accolet, imperiumque Pater Romanus habebit
Дом Энеев пока Капитолия *камень недвижный*
Обитает и власть за *Римским Отцом* пребывает.

Чем это не пророчество! Конечно Вергилий думал не о папе»[622].

---

[620] П., III, стр. 25.
[621] Там же, стр. 26.
[622] Там же, стр. 155.

25 мая Киреев известил Соловьева о том, что первый том «Теократии» попадает в руки духовной цензуры. Соловьев в раздраженном тоне просит Киреева употребить свое влияние в высших сферах для разрешения книги. «Кажется, я к вам придираюсь, дорогой и уважаемый Александр Алексеевич. Я очень дурно себя чувствую и не столько от крупных огорчений, против которых есть нравственные средства, сколько от мелких и бессмысленных притеснений, которые до души не доходят и тела не убивают, а только бьют по нервам»[623]. Скоро Соловьев узнал о «безусловном запрещении» его книги в России[624]. Что же касается Киреева, на которого Соловьев возлагал надежды, то последний могикан славянофильства, ознакомившись с книгой, прислал ее автору 20 июля весьма кислое письмо, которое Соловьев нашел «не только глупым, но и фальшивым».

«Вы говорите мне», пишет Киреев, «что Вы старались исключить все то, что могло бы подать повод к запрещению; между тем *на практике* Вы ничего не исключили, Вы не заметили, что относитесь к православию далеко не объективно, далеко не беспристрастно, что все Ваши симпатии на стороне Рима; говорю это не в укор Вам, что же делать, когда по Вашему так выходит, когда Ваши выкладки дали такие результаты!... Можно ли и ожидать от автора справедливой оценки дела, ожидать объективного суда, когда одной из сторон Вы говорите, ты нуждаешься в оправдании и очищении, я вот произведу с тобой нужную операцию и возведу тебя на высшую степень, поведу тебя в Рим, там тебя дуру научат уму-разуму... И сколько Вы потратили таланта и знаний... Да, очень тяжелое впечатление производит чтение Вашей книги»[625].

---

[623] П., II, стр. 127.

[624] П., III, стр. 148.

[625] Русская Мысль, 1917 г., №№ 7–8, стр. 137–138.

4 августа Соловьев пишет Аксаковой:

«На днях Киреев прислал мне по поводу запрещения моей книги письмо, которое мне показалось не только глупым, но и фальшивым. Так как я его все-таки люблю и считаю в сущности хорошим человеком, то я изложил ему с полной откровенностью свое мнение и мотивировал его на многих местах. Надеюсь, что это принесет ему некоторую пользу. Я оставил у себя копию с этого длинного письма и прочту вам его при свидании. Замечаю, что у меня начинает образовываться "озлобленный ум". Ужасно трудно выйти из этого круга: подавляет чувственность, развивается злоба, если не хочешь быть животным, становишься дьяволом. Не подумайте впрочем, что я в самом деле осатанел: я говорю только про крайние пределы, между которыми приходится колебаться».

Письмо Кирееву, занимающее более восьми печатных страниц[626], действительно очень зло. Местами остроумно и блестяще, местами грубо. Соловьев со всей силой обрушивается на «мнимые догматы» православия, например, что Дух Св. исходит от одного только Отца без всякого участия Сына, что Прес. Дева, хотя церковь и называет ее Всенепорочною, однако, на самом деле порочна и т. д. «Заклинаю Вас тенью самого Хомякова, обратившего своим всезнанием Диоскора в арианство и заставившего халкидонский собор в пятом веке осудить Онория, жившего в седьмом веке, этою бестрепетною и правдивою тенью заклинаю Вас... Любовь к вселенской православной церкви и вытекающая отсюда вражда к Вашему "лагерю" (т. е. к врагам церкви) у меня вполне сознательна и составляют не результат, как Вы странно предполагаете, а мотив всех моих писаний. Любовь свою к Вечной Подруге Божией я перенесу с собою в вечность,

---

[626] Русская Мысль, 1917 г., №№ 7–8, стр. 138–147.

а вражда моя к ее врагам на земле погаснет только с торжеством ее дела, или же с моею смертью». Особенно интересен конец письма:

«Вот это католичество, которое всегда откровенно стояло за принцип *авторитета,* а в известных обстоятельствах и *понуждения* и никогда не объявляло себя религией духовной свободы, это самое католичество уже более ста лет бестрепетно и безвредно выдерживает в своих собственных пределах не только свободное обсуждение, но и яростные нападения своих врагов! Укажите мне хоть одну католическую страну, хоть один город на всем земном шаре, где католическая религия не была бы публично всячески осуждаема и поносима, без малейшего впрочем ущерба для своей духовной силы. Пусть хотя бы на минуту ваше мнимое свободное православие стало в такое положение, хотя бы на минуту дало отдых государственной опеке, хотя бы на минуту поверило в свои духовные силы! Куда тут! С одной стороны раскольники, с другой – иезуиты в миг растащут и следа не останется! По совести, Александр Алексеевич, какую бы Вы на себя самоуверенность не напускали, а в глубине души Вы отлично знаете, что слова о Церкви, которой не одолеют врата адова, – что эти слова не про Вас писаны... Желаю Вам здоровья лучшего, чем мое и душевного спокойствия, хотя бы такого, как мое».

Благодушный Киреев очевидно понял, в каком измученном состоянии писал ему Соловьев, и отвечал ему весьма мягко и примирительно: «Вы стали в фальшивое положение и все Ваши удары идут не туда, куда следует»[627].

Так проводил Соловьев лето 1887 г., деля время между сочинением La Russie, переводом Энеиды и писанием бесчисленных писем, а на ночь читал Сведенборга по-латыни.

---

[627] Р. М., 1917 г., №№ 7–8, стр. 147–148.

Несмотря на то, что Соловьев это лето вел правильный образ жизни, вставал в 8 часов, ложился в 12, пил железную воду и купался, здоровье его было очень плохо: он не выходил из состояния невралгий и бессонниц. Какой контраст с предыдущим летом в Загребе! Добрую Марию Петровну Шеншину очень смущало это плохое состояние ее гостя. «Марья Петровна, накормив меня до бесчувствия, замечает с грустью: «И чем только жив? Ведь ничего не кушает!».

В письмах к матери Соловьев, чтобы ее не беспокоить, сообщает, что его здоровье в отличном виде. Но в письме к сестре Наде, написанном перед осенним отъездом из Воробьевки, мы читаем следующие грустные строки: «Так как теперь лето прошло, то я могу тебе сказать (по секрету от мама), что я все это лето, несмотря на всяческое ухаживание своих хозяев, хворал лихорадками, невралгиями и бессонницами. Поэтому редко и писал: нельзя же лжесвидетельствовать каждую неделю».

Кроме запрещения «Теократии» и разлука с Софией Петровной давала себя чувствовать. В письмах к Аксаковой этого лета приподымается завеса над мучительным для Соловьева вопросом о возможности его брака с Софьей Петровной, первым шагом к которому неизбежно являлся ее развод. Соловьев развивает мысль, что развод допустим с христианской точки зрения. В истинном церковном браке необходимым условием является идеальная нравственная связь, только тогда брак заключается для вечной жизни. Как таинство евхаристии, когда оно достойно принято, становится зачатком жизни, а в противном случае это таинство может быть только зачатком вечного разделения, и тогда развод не только дозволителен, но и становится рано или поздно совершенно необходимым. «Я совершенно согласен с Иваном Сергеевичем, что моя женитьба на разведенной была бы вредна и недостойна и очень рад, что этого не вышло. Но это не потому,

чтобы первый брак был нерушимым абсолютно (ничего подобного не признает церковь, допускающая второй брак для вдовых, даже для одной из разведенных сторон), а просто ради ни в чем неповинных детей, которые были бы поставлены ***таким*** браком в трагическое положение между отцом и матерью. Это есть *единственное* нравственное препятствие в этом деле».

Соловьева огорчает дурное отношение Аксаковой к Софье Петровне. «Мне жаль, что Вы, кажется, имеете какое-то предубеждение против бедной дамы моего сердца. Она очень замечательная и очень несчастная женщина».

В любви Соловьева все более нот нежного сострадания. 17 сентября, в день именин Софьи Петровны, он пишет одно из лучших своих стихотворений – «плод бессонной ночи»[628]:

Бедный друг! истомил тебя путь,
Темен взор, и венок твой измят,
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догорая, закат.

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я любя;
Только имя мое назовешь –
Молча к сердцу прижму я тебя.

Смерть и Время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви[629].

Соловьев вообще не писал в Воробьевке серьезных стихов. Ему казалось чем-то нескромным соперничать с Фетом в его резиденции. Но Соловьев не ожидал, что «Бедный друг»,

---

[628] П., IV, стр. 114.
[629] Стих., стр. 93; Соч., XII, стр. 23.

подписанное Воробьевкой, «сделало бы это имя бессмертным, даже если бы не было “Вечерних огней”». Соловьев сам придавал очень мало значения своей поэзии.

22 сентября Соловьев выехал из Воробьевки под Серпухов, в Рождествино, имение Соллогубов.

«Соллогубиха[630] нужна мне ради исправления моей французской рукописи, треть которой уже готова. Обещали издать в Париже без моих иждивений», пишет он брату[631].

Из Рождествина Соловьев извещает Аксакову, что доктор Трифоновский, исследовав его, нашел все органы в полной исправности, но нашел предрасположение к болезни печени и весьма одобрил воздержание от мяса и вина. В Рождествине стояло l’été de saint Martin – бабье лето, Соловьев много гулял и чувствовал себя «довольно хорошо». В Москву вернулся он 4-го ноября[632], загостившись у Соллогубов дольше, чем предполагал. Бессонница продолжала его мучить. 4/16 октября он пишет Пирлингу:

«Озабочивает меня печальное состояние моего здоровья... Величайшее мое страдание состоит в невозможности спать при малейшем звуке»[633].

24-го ноября он извещает Пирлинга о посылке ему в Париж 46–121 страниц французской рукописи. «Это с прежним около половины всего сочинения, так как две следующие части меньше первой»[634].

В декабре послана в «Вестник Европы» первая статья о России и Европе (В. Е. 1868 г. №№ 2 и 4).

---

[630] Графиня Н. М. Соллогуб.

[631] П., IV, стр. 113.

[632] В письме Аксаковой от 26 окт.: «в Москву возвращаюсь 4 ноября».

[633] П., III, стр. 157.

[634] П., IV, стр. 160.

19-го ноября Соловьев рассказывает Аксаковой о своем посещении митрополита Михаила:

«Митрополит Михаил лично очень мил, но как представитель Церкви поверг меня в уныние и недоумение. Сам рассказывает, какая во всей восточной церкви "мерзость запустения" и тут же прибавляет "я только одно говорю католическим миссионерам: обращайте мусульман, евреев, оставьте нас в покое!" Следовало бы, по его собственному рассказу, выразиться иначе: оставьте нас сидеть в болоте, или – в навозной куче. На вопрос: какой же выход из тех безобразий, на которые он жаловался, я никакого определенного ответа не добился. Тем не менее он, действительно, гораздо лучше наших Никаноров и я пойду к нему еще раз».

27-го ноября у Соловьева была графиня Ефимовская, католическая монахиня, мать Екатерина. Соловьев пишет Аксаковой, что мать Екатерина была к нему очень благосклонна и «мало клерикальна» (peu cléricale) и подарила ему благословенную медаль с изображением Леснинской Пресвятой Девы, одновременно православной и католической, что было принято Соловьевым как символ соединения церквей.

В это время окончательно портятся отношения Соловьева с его старым учителем Иванцовым-Платоновым. В письме к Аксаковой от 27 ноября Соловьев раздраженно замечает: «C'est un grand diplomate que le père Иванцов surtout dans les petites affaires et dans les rapports purement personnels, où la sincérité est absolument nécessaire.» В том же письме Соловьев сообщает, что третьего дня (25 ноября) был у него Лев Толстой, который и извинился перед ним в некоторых странных поступках. Придется идти к нему и соблюдать осторожность (être sur ses gardes).

На Рождество Соловьев опять уехал в Сергиев Посад и на этот раз остановился у Аксаковой. 30 декабря он пишет брату: «Дорогой в вагоне выспался и приехал к Анне Федоровне

бодрым и свежим. Здесь мне весьма удобно, но вследствие припадков любовной тоски сплю мало и плохо и с лица похож на привидение. Сегодня был у о. Варнавы, который объявил мне, что любит меня как сына, затем советовал непременно жениться, но в таких странных выражениях, что никак нельзя было понять, говорит ли он о настоящей жене, или о Богородице, или о Церкви.

Несмотря на свое изможденное состояние, я в большом ударе писать и на сомнительном французском языке изображаю гениальные вещи (может быть: «воздух сух как гвоздь»)[635].

Относительно брака Соловьев имел разговоры и с Анной Федоровной. По поводу того, что графиня Ефимовская «на его взгляд помолодела и похорошела», Соловьев замечает в письме к Аксаковой от 27 ноября:

«Это к счастью, что она в монастыре. Вы видите, что Провидение явно против моего брака. Чтобы покончить с этим вопросом, вот мой ультиматум: вдова от 25 до 45 лет, очень приятная и очень богатая. Что касается барышень, я объявляю вместе с Пием IX-м: NON POSSUMUS.»

Племянник Аксаковой Н. И. Тютчев, бывший в 1888 г. мальчиком и проводивший Рождество у тетки в Посаде, рассказывал мне, что когда он слушал святочным вечером разговоры тетки с Соловьевым, ему становилось страшно идти к себе спать: разговоры эти были сплошь о таинственных явлениях, вещих снах и привидениях. В статье «Аксаковы» Соловьев говорит об Анне Федоровне:

«Сверхъестественный мир был для нее реальностью, она наполовину жила в мире вещих снов, пророческих видений и откровений. И в моих воспоминаниях Анна Федоровна неизбежно вызывает память о фактах мистических»[636].

---

[635] П., IV, стр. 115.

[636] П., IV (изд. 1-ое, 1923), стр. 275; Соч., XII, стр. 482.

Извещая А. Ф. о своем приезде на Рождество, Соловьев говорит: «Очень интересно будет услышать от Вас то, что по нашей части. У меня давно не было никаких соприкосновений с другим миром и от того как-то серо на душе».

15/27 января Соловьев извещает Пирлинга: «Книга моя французская кончена» и высказывает намерение «представить в самом начале весны о.о. Пирлингу и Мартынову в Париже»[637].

Соловьев еще не оставил мысли писать и печатать в Париже, кроме La Russie, 2 том Теократии[638]. Он думал приехать в Париж на две-три недели, чтобы lancer le livre, найти книгоиздателя и затем пожить в Австрии[639].

Строгой Анне Федоровне Соловьев с 23 января дает обещание «жить в Париже, как на горе Кармиле». Уехать из России ему необходимо и для того, чтобы достойным образом «выйти из Египта», закончить роман с Хитрово. «Я вас уверяю, положа руку на сердце, что я способен следовать суровой морали и что даже она была бы для меня легче, но это не выходит (mais cela ne va pas). До свидания. Не сердитесь на меня»[640].

Появление «России и Европы» в февральском и апрельском номерах «Вестника Европы» было сигналом к последнему разрыву Соловьева с националистически-православной Москвой. Он принял либеральное крещение, и Стасюлевич назвал его статью «добрым делом»[641].

В конце февраля Соловьев окончательно поссорился с Иванцовым-Платоновым и в письме Аксаковой от 2 марта называет его «бывшим другом».

---

637 П., III, стр. 162.

638 Там же, стр. 163.

639 Там же.

640 Не напечатано.

641 П., III, стр. 162.

«Бывший мой друг Иванцов издал маленькую книжку, в которой опровергает католичество, а кстати уж и все протестантские секты. При теперешних условиях нашей печати полемизировать в России против католичества и протестантства, значит нападать на связанного противника, это просто *нечестный поступок,* после которого я больше не желаю видаться с Иванцовым. Я очень снисходителен к личным слабостям и порокам и если б этот почтенный протоиерей украл иди нарушил седьмую заповедь, то это нисколько бы не помешало нашей дружбе. Но в вопросах социальной нравственности я считаю нетерпимость обязательной»[642].

В марте Соловьев поехал в Петербург, где был принят с энтузиазмом. «В Петербурге,» пишет он Пирлингу, «меня приняли с таким empressement в разных кругах общества, начиная с самых высоких и кончая “умственным пролетариатом”, что я вместо десяти предположенных дней пробыл там целый месяц, и не видел, как проходило время. То, что Вы пишете по поводу этой моей статьи, меня несколько удивило. Что псевдопатриотическая клика, которую я назвал “хрюкающим и завывающим воплощением национальной идеи”, отозвалась на этот комплимент соответственною бранью – это было вполне естественно и мною предусмотрено»[643].

Фраза «То, что Вы пишете по поводу этой моей статьи, меня несколько удивило» – начало подготовляющегося расхождения с иезуитами. Очевидно о. Пирлинг не очень одобрил либерально-западническую статью. Связь с самодержавно-православной Россией у Соловьева порвана, на западе его ждут иезуиты в Париже и в апреле предполагается свидание с епископом Штроссмайером в Ватикане.

[642] Не напечатано.
[643] П., III, стр. 165.

Но уже перед отъездом намечается, что отныне Соловьев будет своим человеком, временно оторвавшись и от Москвы, и от Ватикана, только в Петербурге, в кружке Стасюлевича, между либеральной аристократией и «умственным пролетариатом» и евреями.

«Сочувствие лучшей части русского общества мне обеспечено», пишет он Пирлингу 7/19 апреля, «а относительно худшей могу только сослаться на свой уже известный Вам девиз: Бог не выдаст, свинья не съест. Я уже запасся паспортом и ввиду грозящего дальнейшего падения курса – французскими банковыми билетами. Через неделю думаю выехать и, заехав дня на два в Карлсруэ, – явиться к Вам. Если бы Вы написали мне в Карлсруэ poste restante, адрес той парижской гостиницы, которую Вы мне рекомендуете, то я был бы Вам очень благодарен. Мне нужно гостиницу дешевую и главное *тихую.* Но вот еще затруднение: я *давнишний* (хотя и не педантичный) *вегетарианец,* и потому пансион с обязательным табл д'отом для меня не годится. Но надеюсь, что можно будет как-нибудь устроить»[644].

Так как письмо помечено 7/19 апреля, то можно предположить, что Соловьев выехал из Москвы в двадцатых числах апреля по старому стилю.

Глава 5
Путешествие в Париж. Россия и вселенская Церковь

> «Открой же им, ключарь Христов, и пусть врата истории будут для них и для всего мира вратами Царства Божия».
>
> *La Russie et l'Église universelle*

Православную Пасху 1888 г. Соловьев встретил в Бадене. 25 апреля он пишет матери: «Пишу Вам из Баден-Бадена,

---

[644] П., III, стр. 166.

где встречал Пасху. Представьте себе, что я не только был в русской церкви, но даже первый раз в жизни выслушал вполне всю пасхальную службу: полунощницу, заутреню, обедню и потом вечерню. Разговлялся у принцев Баденских (Мария Максимилиановна и муж ее), был обильнейший ужин, но я ел только пасху и салат и пил шампанское»[645].

Из слов этого письма «завтра буду в Париже» можно предположить, что Соловьев приехал в Париж 8 мая по новому стилю. Здесь Соловьев завел много знакомств и энергично работал. «Вы думаете, что я отдыхаю в Париже», пишет он Стасюлевичу, «а я, напротив, вспоминаю здесь о своем пребывании в Петербурге, как о днях dolce far niente»[646].

С иезуитами, о.о. Пирлингом и Мартыновым, как мы увидим далее, у Соловьева произошло некоторое охлаждение, но он сразу приобрел много новых знакомых среди писателей (Леруа-Болье, Вогюэ), политиков (Луазо, Минар, барон д'Авриль) и духовных лиц (де Паскаль). Особенно сблизился он с Евгением Тавернье, письма к которому, свидетельствующие об интимной близости, напечатаны в 4 томе писем[647].

Прежде чем приступить к печатанию своей книги «La Russie» Соловьев, чтобы ознакомить французскую публику со своими воззрениями, прочел 25 мая, в салоне княгини Сайн-Витгенштейн, доклад на французском языке «L'Idée Russe» – «Русская идея». Здесь Соловьев более смело и открыто, чем раньше, критикует цезаропапистический строй России и цитатами из И. С. Аксакова рисует плачевное состояние русской Церкви, превратившейся в «одно из государственных ведомств».

---

[645] П., II, стр. 59.

[646] П., IV, стр. 35.

[647] П., IV, стр. 183–220.

«Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царствующую власть Сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца) и отвести подобающее место общественной свободе (действию Духа). Русская империя, объединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви и делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет в семейство народов мир и благословение»[648]. 14/26 июня Соловьев писал Аксаковой из Парижа:

«По приезде в Париж в первый раз видел во сне Ивана Сергеевича. Очень яркий и кажется знаменательный сон. Будто мы с Вами разбирали бумаги и читали печатные корректуры писем И. С. Встретилось какое-то недоразумение, и Вы меня послали на могилу И. С. спросить его самого. Около могилы был недостроенный дом. Я вошел туда и увидел И. С., очень больного. Он позвал меня за собой, и мы перешли в другое здание, огромное и великолепное. Тут И. С. сделался вдруг совсем молодым и цветущим. Он обнял меня и сказал: я и мы, все помогаем тебе. Тут я спросил его: разве Вы не сердитесь на меня, И. С., за то, что я не согласен со славянофильством? Он сказал: да, немного, немного, но это не важно. Потом мы вошли опять в недостроенный дом, и И. С. опять изменился, лицо его сделалось бледно-серым, и он падал от слабости. Я посадил его на красное кресло с колесами, и он сказал: здесь мне нечем дышать, неоткуда жизнь брать, скорее туда: – Тогда я повез его на кресле к великолепному зданию, – но тут меня разбудили. Утром я помнил больше подробностей этого сна, теперь они сгладились. Это было, должно быть, 27 или 28 апреля (старого стиля)»... «L'idée russe» вышла отдельной брошюрой, «имела большой успех в Парижском обществе».

---

[648] В. Соловьев «Русская идея», стр. 50; Соч., IX, стр. 117.

В католической газете «L'Univers» новый друг Соловьева Тавернье напечатал 2-го июля восторженную рецензию: «Penseur, M. Soloviev l'est avec une incontestable supériorité. Il jette à profusion des idées pleines et originales. Son imagination est aussi riche que sa raison est solide. Il est vraiment à la hauteur de la tâche, qu'il accepte, qu'il s'avance avec confiance dans la voie glorieuse qu'il s'est ouverte. Ses frères français l'accueilleront avec affection et avec fierté; ils le soutiendront de leurs prières et de leurs applaudissements.»

«О брошюре моей "L'idée russe"», пишет Соловьев Фету от 6 октября, «было в разных французских и бельгийских журналах и revues (большею частью религиозных) много хвалебных статей. Хвалят между прочим за чистоту французского языка, в котором я за последнее время, действительно, усовершенствовался»[649].

В письме к брату Соловьев передает, что Вогюэ говорил: «Où ce coquin de Solovief a-t-il pris son français?»[650]

Газета «L'Univers» открыла Соловьеву свои страницы и он напечатал в ней (4, 11 и 19 августа) статью «Saint Vladimir et l'État chrétien», являющуюся переработкой лекции, прочитанной в Москве в марте 1887 г., «Славянофильство и русская идея».

Как можно было предполагать, выступление Соловьева в салоне княгини Витгенштейн и «L'idée russe» произвели весьма неблагоприятное впечатление в русских правительственных сферах. До него доходят угрожающие слухи. 15/27 июля Соловьев пишет Фету из Парижа:

«Из России мне пишут про разные вздорные сплетни в газетах на мой счет... Боюсь... как бы не вышло какого-нибудь затруднения с возвращением моим из-за границы»[651].

---

[649] П., III, стр. 117–118.

[650] П., IV, стр. 121.

[651] П., III, стр. 116.

И еще сильнее в письме к Стасюлевичу от 11 августа: «Из Петербурга приходят угрожающие известия. Я, со своей стороны, принял решение во всяком случае возвратиться в Россию, но, по-видимому, не в Петербург и не в Москву, а куда-нибудь подальше»[652].

В конце августа Соловьев поселился в Вирофлэ, близ Версаля, на даче Bon repos у Леруа-Болье, уехавшего в деревню к теще и предложившего в распоряжение своего русского приятеля павильон с садом. «Этот сад», пишет Соловьев Фету, «весьма красивый, и смежность большого леса Сан-Клу делают мое местопребывание раем земным – до сотворения Евы, так как я нахожусь в полном одиночестве. Впрочем, о рае можно здесь говорить только сравнительно с парижской гостиницей, наполненной шумливыми и бесцеремонными американцами. А для настоящего рая в моем Bon repos помимо Евы недостает многого, например рек: Фисона, Тихона, Хиддекеля и Евфрата. Не шутя, без воды природа теряет половину своей прелести.»[653]

В L'Univers 18 сентября появилась статья Краковского корреспондента «Взгляд на религиозную историю России по поводу статей г. Соловьева».

«Я *чрезвычайно* сожалею, что в L'Univers напечатали Краковскую статью, не предупредив меня об этом», писал Соловьев Евгению Тавернье из Вирофлэ. «Я не знаю автора, ни его намерения, но я нахожу в статье невероятные ошибки и такую ненависть к России, которую L'Univers, по моему мнению, не должен был бы поощрять. Но так как дело сделано, я посылаю Вам опровержение с просьбой напечатать его тем же шрифтом и на том же месте, как и польскую статью, то есть на первой странице»[654].

---

[652] П., IV, стр. 36.
[653] П., III, стр. 117.
[654] П., IV, стр. 185 (франц. ориг.) и стр. 206 (русский перевод).

Возражение Соловьева было напечатано в L'Univers 22 сентября. Указав грубые исторические ошибки польского автора, Соловьев утверждает следующие тезисы:

1) Русская религия, если понимать под этим термином веру народную и богослужение, вполне православна и кафолична.

2) Ложные и антикатолические учения, преподаваемые у нас в семинариях и духовных академиях, не имеют характера обязательности для тела русской Церкви и ни мало не затрагивают веру народную.

3) Церковное управление в России, незаконное, схизматическое и подпавшее (lata sententia) анафеме по третьему канону седьмого вселенского собора, – формально отвергается значительной частью православной России (староверами), и терпится остальными поневоле и за неимением лучшего[655]

К октябрю Соловьев закончил свое сочинение «La Russie et l'Eglise universelle». 18/30 ноября он пишет брату из Загреба: «Во Франции я запоздал по весьма законной причине: улаживал и благополучно уладил издание всей книги, при чем значительно сократил первые две части (написанные в России) и вновь написал большую третью»[656].

Мы видим, что о. Пирлинг, которому Соловьев в 1887 г. посылал первые листы своей французской рукописи, советовал ему сократить сочинение и выкинуть «отдельные умствования»[657]. Вероятно, о. Пирлинг уже с первых страниц был смущен мистицизмом Соловьева. В конце концов Соловьев «выбросил все теософическое»[658]. В Париже Соловьев

---

[655] «Владимир Святой», изд. путь, М. 1913, стр. 47–48; Соч., XI, стр. 138.
[656] П., IV, стр. 116.
[657] П., III, стр. 153.
[658] П., IV, стр. 113.

написал заново всю третью часть, которая, благодаря своему теософическому характеру, явилась неприемлемой для многих католиков.

Работа над окончанием La Russie у Соловьева сначала не клеилась. Наконец, 4/16 октября он пишет к Тавернье из Вирофлэ: «Ура! Я нашел удовлетворительную форму, чтобы закончить мою книгу. Все, что я должен был сказать в конце, устроилось самым неожиданным образом. Вчера (понедельник) я совсем не обедал, я пил только черный кофе и воду с сахаром, и это мне пошло на пользу. Я писал с 12 дня до 11 ночи. Предстоящая работа (сократить лишнее, усилить главное в том, что Вам прочел, и придать всему более литературную форму) – работа более скучная, чем трудная. Я надеюсь, что это займет у меня не более восьми дней»[659].

Оставалось найти издателя для книги. От 12/24 ноября Соловьев пишет Стасюлевичу: «О. Пирлинг, русский иезуит, заявил мне устно и письменно, что никакого участия в издании моей книги принимать не может *вследствие различия наших взглядов*»[660]. Жозеф Минар познакомил Соловьева с издателем Альбертом Савином, у которого «La Russie» и была напечатана. В последних числах октября Соловьев сдал рукопись Савину, но без предисловия, которое было написано на возвратном пути в Россию, в Загребе[661].

21-го августа Соловьев пишет Фету: «Здесь, в Вирофлэ, проживу я до 22-го, то есть по русскому до 10-го сентября, и если это мое письмо дойдет до Вас своевременно, а Вы с обычной Вам аккуратной любезностью захотите тотчас ответить мне, то можете адресовать сюда. Отсюда, остановившись

---

[659] П., IV, стр. 185, 207.

[660] Там же, стр. 38.

[661] Там же, стр. 209.

на три или четыре дня в Париже, еду через Лион, Лозанну, Вену, Загреб и Краков – в Москву»[662].

Но Соловьев зажился во Франции значительно дольше, и выехал только в начале ноября.

Тавернье передает, что Соловьев был в довольно удрученном настроении. Здесь, в Париже, произошло разногласие с друзьями-иезуитами, обвинившими его в ереси – там, в России, он мог ожидать заключения в Соловки. Но он мужественно заявил Тавернье: «Я еду свидетельствовать об истине». Чтобы оградить себя от козней Победоносцева и К°, он решил обратиться с письмом к государю Александру III. Письмо это, черновой текст которого сохранился, не было отправлено царю.

Путь Соловьева в Россию лежал на Загреб, Вену и Краков. В Загребе он пробыл дольше, чем предполагал, целый месяц. Здесь закончено его «огромное предисловие» к La Russie, составившее «по крайней мере 50 страниц»[663]. 28 ноября Соловьев извещает Тавернье, что предисловие это будет готово «послезавтра»[664]. В Загребе Соловьев жил, как и два года назад, у каноника Рачкого «самым каноническим образом», «вставал в 8, ложился в 12 ½ и каждое утро ходил к обедне в прекрасный готический собор.»[665]

Из Загреба Соловьев еще раз ездил в Дьяковар к епископу Штроссмайеру и читал ему свое предисловие к «La Russie». В Дьяковаре Соловьев провел католическое Рождество, хорватский Божич. Впечатление от Штроссмайера было иное, чем в 1886 году. За эти два года общие планы Штроссмайера и Соловьева потерпели поражение, и Соловьев вновь должен был сознать, что «цель еще далека». «Он болен», пишет

---

662 П., III, стр. 118.

663 П., IV, стр. 190, 212.

664 Там же, стр. 188, 210.

665 Там же, стр. 189, 210–111.

Соловьев Тавернье об епископе, состарился физически, ожесточился духом, но все так же экспансивен и красноречив»[666].

И в письме к брату Михаилу:

«А был я эти дни в Дьякове (варе) у Штроссмайера, встречал с ними ихний Божич. Все Дьяковские ребята, разделившись на несколько компаний, приходили представлять "Бэтлэм" и пели очень милые и наивные хорватские песни. Сам Штроссмайер нездоров, огорчен и постарел. Со мной был, как всегда, непомерно любезен. Посылал папе "L'idée russe". Папа сказал: "Bella idea, ma fuor d'un miracolo è cosa impossibile". Я очень рад, что съездил к Штроссмайеру, – пожалуй больше не придется свидеться.»[667]

В Загребе Соловьев прочел ответ «старого кота»[668] Страхова на «Россию и Европу» и написал возражение, которое под названием «О грехах и болезнях» появилось в январском номере «Вестника Европы» 1889 г. В это время Соловьев надеялся, что у него со Страховым не дойдет до окончательного разрыва. «Страхов, которого я люблю», пишет он брату Михаилу, «но которого всегда считал свиньей порядочной, нисколько меня не озадачил своей последней мазуркой, и хотя я в печати изругал его как последнего мерзавца, но это нисколько не изменит наших интимно-дружеских и даже нежных отношений»[669].

И отправляя статью Стасюлевичу: «Если найдете какое-нибудь личное обращение слишком грубым или какую-нибудь шутку тяжелою – зачеркните пожалуйста... Я знаю, что в последнее время и в известных кругах Страхов стал пользоваться чуть не авторитетом, и изобличить его восточные грехи дело по-моему не бесполезное, хотя и очень

---

[666] П., IV, стр. 181, 211.

[667] Там же, стр. 118–119.

[668] Там же, стр. 117.

[669] Там же, стр. 118.

скучное. Это первая и, надеюсь последняя, статья в этом роде мною написанная, и я почувствовал вчера большое облегчение, сдавши на почту последние листы»[670].

Соловьев извещает Стасюлевича: «Из Загреба еду в Петербург»[671]. Единственное письмо к Тавернье не имеет даты[672], издатель помечает его: вероятно, январь 1889 г. Письма из Вены помечены 28 дек.[673], 29 дек.[674] и 6 января[675]. Мы знаем, что католическое Рождество Соловьев встречал в Дьякове. Действительно он прибыл в Вену между 26–28 декабря. В письме к брату Михаилу от 28 декабря Соловьев говорит: «Пишу тебе немедленно по приезду в Вену, а был я эти дни в Дьякове»[676]. Последнее письмо из Вены к Стасюлевичу датировано 25 декабря/6 января. Очевидно, что Соловьев, уехав из Дьякова, приехал в Вену, где и остановился. Далее мы имеем недатированное письмо к А. Ф. Аксаковой. «С Новым годом, глубокоуважаемая А. Ф., я встречу его где-нибудь на железной дороге между Варшавой и Петербургом». Но это предположение не сбылось. В первый день Рождества по старому стилю, поздравляя Стасюлевича с Новым годом, Соловьев сообщает: «Думал встретить его (Новый год) в Петербурге, но застрял здесь ради нескольких необходимых мне книг, которыми не успел заняться в Париже и которых нет в петербургской библиотеке»[677]. Очевидно в начале января по старому стилю Соловьев выехал из Вены в Краков, где и провел несколько недель, прежде чем вернуться

---

[670] П., IV, стр. 39–40.
[671] Там же, IV, стр. 39.
[672] Там же, стр. 190–212.
[673] Там же, стр. 118.
[674] Там же, стр. 189, 211.
[675] Там же, стр. 40.
[676] Там же, стр. 118.
[677] Там же, стр. 40.

в Россию. В Кракове он вел жизнь «рассеянную и добродетельную». «Все же я прочел здесь кое-что», пишет он Таверные. «Кроме польских книг, я прочел Молина» «De Concordia gratiae cum libero arbitrio», и посмертный труд кардинала Францелина «De Ecclesia Christi». Из романов пробежал оба тома «Истории Израильского народа» Ренана[678].

Настроение Соловьева на обратном пути в Россию, несмотря на установившуюся вражду «двух станов», было повышенное и сносное. «Я, слава Богу, пребываю в полном дудушевном равновесии и полном здравии»[679]. «Вот более восьми месяцев, как я нахожусь в том состоянии духа, которое смущает меня, так как я положительно затрудняюсь сказать, что это – состояние благодати или состояние господина Победоносцева»[680].

Соловьев знал, что его ждет в России и месть врагов и клевета друзей (письмо к А. Ф. Аксаковой, ср. с письмом к брату Михаилу, П., IV, 122). Но он знал также, что имеет защитников и истинных друзей. «Кланяйся очень тем приятелям», пишет Соловьев своему брату Михаилу из Вены, «которые встали за меня горой, а так же и тем, которые встали маленькими холмиками и даже кочкой»[681]. Особенно предвидел он неприязнь к себе в Москве. «Вообще жить в Москве не расположен по множеству причин. Я в иных отношениях непомерно впечатлителен, быть может потому, что у меня, яко у недоноска, слишком тонкая кожа»[682]. Прямо из Австрии Соловьев вернулся в Петербург, но в конце февраля мы уже находим его «под сенью великопостной Москвы»[683].

---

678 П., IV, стр. 191, 213.

679 Там же, стр. 189 (210).

680 Там же, стр. 190 (212).

681 Там же, стр. 119.

682 Там же, стр. 118.

683 Там же, стр. 41.

Пора нам однако ознакомиться, хотя бы в общих чертах, с сочинением «La Russie et l'Église Universelle». Оно состоит из трех частей; две первые написаны в Париже летом 1888 г., большое предисловие – в Загребе, в ноябре 1888 г. Первая часть «Положение религии в России и на православном Востоке» носит полемический характер. Здесь Соловьев доказывает, что ни в русской официальной церкви, ни в старообрядчестве, ни в восточных патриархатах нет истинного духовного управления. Русская церковь, вопреки 3 канону 7 вселенского собора, управляется светской властью государя. В расколе Соловьев усматривает «глубочайшее невежество, ультрадемократическое стремление и дух мятежа»[684].

Попытки найти центр церковного единства где-нибудь на Востоке бесплодны. Между тем, в видимой, земной церкви необходима единая власть, обладающая непогрешимым авторитетом. Или видимой церкви нет, или она, как верят раскольники, окончилась, и с 1666 года, вместо царства Христа на земле, наступило царство Антихриста, или истинная церковная власть, установленная Христом, находится на Западе. Соловьев принимает второе, и в следующей части, «Церковная империя, основанная Иисусом Христом» доказывает, что церковь с самого начала была монархией, возглавляемой апостолом Петром. Римские папы были его преемниками и всегда обладали даром непогрешимого учительства. Римская империя стала прообразом христианской церкви. Имя Рима, читаемое мистически справа налево, есть Amor – Любовь. Самое начало его было обвито таинственными сказаниями и многозначительными знамениями[685]. Римский народ и династия цезарей были связаны с матерью любви – Венерой, а через нее с верховным богом.

---

[684] «Россия и вселенская Церковь», стр. 105; Соч., XI, стр. 187.
[685] Там же, стр. 128, 243.

Но их верховный бог был отцеубийцей, их любовь – служительницей смерти. Династия Юлия Цезаря, верховного первосвященника и бога, сменилась династией Симона Петра, верховного первосвященника и слуги слуг Божиих[686].

Здесь впервые Соловьев выступает открыто с защитой догмата папской непогрешимости, который он признавал уже в 1886 г., в своей промемории. По поводу слов Петра «Ты – Христос, Сын Бога Живаго», Соловьев пишет: «Не очевидно ли, что это слово, удовлетворившее Господа, не нуждалось ни в каком человеческом подтверждении? Что оно сохраняло всю свою ценность, etiam sine consensu Ecclesiae?[687] Не после коллективного совещания, а при непосредственной помощи Отца Небесного (как это засвидетельствовано самим Иисусом Христом), Петр формулировал основной догмат нашей религии и слова его определили веру христиан собственной мощью своей, а не ввиду согласия других – ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae»[688].

Римский престол – чудотворная икона вселенского христианства[689]. Папство – непогрешимый хранитель христианской истины[690]. Соловьев признает, что второй вселенский собор не был законным до утверждения его папой[691]. Греческие епископы на 6-м вселенском соборе изобрели ересь папы Гонория и навязали эту басню добродушию римских легатов[692]. Папа открывает небо душам Чистилища[693].

---

[686] «Россия и вселенская Церковь», стр. 235; Соч., XI, стр. 246.
[687] Там же, стр. 235; Соч., XI, стр. 236.
[688] Там же, стр. 184; Соч., XI, стр. 223.
[689] Там же, стр. 26; Соч., XI, стр. 153.
[690] Там же, стр. 27; Соч., XI, стр. 154.
[691] Там же, стр. 35; Соч., XI, стр. 157–158.
[692] Там же, стр. 43; Соч., XI, стр. 161.
[693] Там же, стр. 385; Соч., XI, стр. 317.

Третья часть книги «Троичное начало и его общественное приложение» носит характер догматически-теософский и является концом того, что мы читали в юношеском сочинении «София», «Философских началах цельного знания» и «Чтениях о богочеловечестве». Здесь его прежнее учение о Троице и Софии развито глубже и полнее, оно приняло свою законченную форму. Мы и здесь находим трихотомии: сила, истина и благость; могущество, справедливость и милосердие; реальность, идея и жизнь[694]. Но в троичную систему введено понятие filioque: Отец вместе с Сыном есть причина исхождения Св. Духа[695]. Св. Дух есть общее сердце Отца и Сына[696].

Учение о душе мира и космическом процессе почти дословно воспроизводит страницы Соррентинской «Софии», но терминология несколько изменилась под влиянием христианской догматики. Душа мира определяется как materia prima и истинный substratum нашего сотворенного мира[697]. Внутренний смысл существования человека есть единение земной мощи и божественного акта, Души и Слова[698].

Учение о Софии изложено много полнее, чем в «Чтениях о Богочеловечестве». Несотворенная, небесная София не есть душа мира, но ангел-хранитель «мира», «Субстанция Св. Духа, носившегося над водной тьмой нарождающегося мира»[699]. Она – *лучезарное* и небесное существо, отделенное от тьмы земной материи[700]. Она одна богочеловеческое существо, центральное и вполне *личное* обнаружение которой есть

[694] «Россия и вселенская Церковь», стр. 331; Соч., XI, стр. 291.
[695] Там же, стр. 322; Соч., XI, стр. 287.
[696] Там же, стр. 328; Соч., XI, стр. 289.
[697] Там же, стр. 339; Соч., XI, стр. 295.
[698] Там же, стр. 365; Соч., XI, стр. 307.
[699] Там же, стр. 347; Соч., XI, стр. 299.
[700] Там же, стр. 349; Соч., XI, стр. 300.

Иисус Христос, женственное дополнение – Святая Дева и вселенское распространение – Церковь[701].

Душа мира есть «низший противообраз Софии». Вечный Отец создал ее, сдержав акт своего всемогущества, от века подавлявшего слепое желание анархического существования...»[702]. Раздерганная во все стороны слепыми силами, оспаривающими друг у друга исключительное существование, разорванная, раздробленная, обращенная в пыль бесчисленного множества атомов, душа мира испытывает смутное, но глубокое желание единства[703]. Перед душой мира выбор: или полагать существование для себя вне Бога, стать на эту точку зрения хаотичного и анархического существования, или же низвергнуть себя перед Богом, свободно привязаться к Божественному Слову, привести все создание к совершенному единству и отождествиться с вечной Премудростью[704].

Космический и исторический процессы трактуются совершенно так же, как в «Sophie». Душа мира постепенно освобождается от хаоса в своем стремлении к единству, к слиянию со своим первообразом Софией. «Противобожественная сила, не будучи в состоянии подчинить себе высшую Премудрость, осаждает душу мира... Космический процесс будучи, с одной стороны, мирной встречей, любовью и браком двух деятелей – небесного и земного – с другой стороны представляет борьбу на смерть Божественного Слова и адского начала, за власть над мировою душою»[705].

---

701 «Россия и вселенская Церковь», стр. 367; Соч., XI, стр. 308.

702 Там же, стр. 341; Соч., XI, стр. 295.

703 Там же, стр. 341; Соч., XI, стр. 296.

704 Там же, стр. 340; Соч., XI, стр. 295.

705 Там же, стр. 356; Соч., XI, стр. 303.

Здесь нет терминов «Демиург» и «Сатана», которые мы находим в «Софии», говорится только о «противобожественной воле» и «противнике Бога»[706]. Эта противобожественная воля по необходимости вечна и безвозвратна. Противник Бога первоначальным актом своей воли отделил себя от Бога, «изменить этот акт, вернуться к Богу для него безусловно невозможно»[707]. Мы видим, что отношение Соловьева к Оригену изменилось. Если в «Чтениях о богочеловечестве» он признает авторитет александрийского отца безусловно, то теперь он замечает, «что этот, столь возвышенный духовно и столь богато одаренный ум имел, тем не менее, лишь очень недостаточную идею о сущности нравственного зла»[708]. Окончательный суд над Оригеном Соловьев произнес в своей статье «Ориген», в словаре Брокгауза-Эфрона.

В заключительных главах Соловьев набрасывает схему идеального человеческого общества, вселенской Церкви. Это общество должно быть воплощением небесной Софии, отражением божественной Троицы. Отцу соответствует на земле вселенский первосвященник – папа римский, Сыну – христианский царь, Духу Святому – пророк. Пророческое служение есть главное, представляющее синтетическое единство двух первых[709].

В предисловии, написанном в Загребе, заметно увлечение Францией, о которой Соловьев так резко отзывается во время своего первого заграничного путешествия. Теперь Франция для него – «передовой отряд человечества»[710]. «Франции принадлежит, в особенности, привилегия всемирного воздействия

[706] «Россия и вселенская Церковь», стр. 352; Соч., XI, стр. 301.
[707] Там же, стр. 353; Соч., XI, стр. 301.
[708] Там же, стр. 353; Соч., XI, стр. 302.
[709] Там же, стр. 436; Соч., XI, стр. 340.
[710] Там же, стр. 1; Соч., XI, стр. 143.

в области политической и общественной»[711]. Французская революция, «провозгласив права человека, разрушила много, чему надлежало быть разрушенным, унесла с собой раз и навсегда много неправд, но точка ее отправления была ложной»[712].

Осуществить права человека, установить действительное царство свободы и справедливости может только вселенская Церковь, возглавляемая римским первосвященником, одушевленная духом пророческим. Кончается книга вдохновенным воззванием к славянским народам и римскому первосвященнику:

«Ваше слово, о народы слова, это – свободная и вселенская теократия, истинная солидарность всех наций и всех классов, христианство, осуществленное в общественной жизни, политика, ставшая христианской, это – свобода для всех угнетенных, покровительство для всех слабых, это – социальная справедливость, "добрый христианский мир". Открой же им, ключарь Христов, и пусть врата истории будут для них и для всего мира вратами Царства Божия»[713].

В юности Соловьев говорил о соединении Востока с Западом. Восток являлся началом статистическим, началом предания, святыни, церкви. Запад, в понятии которого Соловьев мыслил тогда и папство и французскую революцию, и германскую философию, – началом динамическим, началом движения, прогресса. Теперь схема перевернулась. Началом святыни, традиции, благочестия является папский Рим, воплощающий в себе церковное прошлое, началом движения, прогресса, пророчества является русский Восток, представляемый царем и пророком. Дело идет не столько о соединении церквей, сколько о соединении католичества с духом

[711] «Россия и вселенская Церковь», стр. 2; Соч., XI, стр. 143.
[712] Там же, стр. 3; Соч., XI, стр. 144.
[713] Там же, стр. 72–73; Соч., XI, стр. 173.

пророческим, с современным прогрессом и откровением Софии. Русская церковь в этой схеме совершенно проваливается. Отцы первых десяти веков всецело переходят к католической церкви. Оригинальным и самобытным в русском православии является предчувствие откровения о Софии у зодчих древних русских храмов, которые отличали Софию и от Богородицы и от Христа (тогда как греки отождествляли Софию с Логосом). «Она была для них небесной сущностью, скрытой под видимостью низшего мира, лучезарным духом возрожденного человечества, ангелом-хранителем земли, грядущим и окончательным явлением Божества»[714].

Соловьев и в «La Russie» является славянофилом. «Дело в том, чтобы дать ясную форму живой мысли, которая зародилась в Древней Руси и которую новая Россия должна поведать миру»[715]. А так как София в «La Russie» определяется как субстанция Св. Духа, то очевидно, что это будущее откровение, которое предчувствовали старые русские иконописцы, может быть определено как «религия Духа Святого». Позднее в 1892 г., в письме к Розанову, Соловьев решился прямо употребить этот термин: «Исповедуемая мною религия Св. Духа шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий»[716].

Но Соловьев теперь менее всего желал основать новую религию. Если в 1876 г. католицизм был для него лишь засохшей ветвью на дереве вселенского христианства, которую пора отрубить, то теперь он желает нового откровения в пределах самой Церкви, расширенной и воссоединенной. Он сам был убежден, что его идеи не стоят в противоречии с церковным преданием и готов был отдать их на суд непогрешимой инстанции – римского престола. Но представители римской церкви взглянули на дело иначе.

---

[714] «Россия и вселенская Церковь», стр. 371; Соч., XI, стр. 310.

[715] Там же, стр. 372; Соч., XI, стр. 310.

[716] П., III, стр. 44.

На возвратном пути из Франции в Россию Соловьев пишет Аксаковой: «loin de devenir jésuite je ne suis plus en aucun rapport avec ces bons pères, qui m'ont déclaré, que malgré toutes mes qualités aimables, ils ne peuvent pas approuver mes idées téméraires et sentant l'hérésie».

Еще сильнее в письме к С. М. Мартыновой[717] летом 1892 г.: «Вот Вам в двух словах мое окончательное отношение к папизму: я его понимаю и принимаю tel quel, но он меня не понимает и не принимает, я его вместил в себя, в свой духовный мир, а он меня вместить не может, я пользуюсь им как элементом и орудием истины, а он не может сделать из меня своего орудия и элемента. Бог превратил для меня латинский камень в хлеб и иезуитскую змею в рыбу, а дьявол сделал для них мой хлеб камнем преткновения и мою рыбу – ядовитою змеею. Один иезуит так прямо и говорил мне: "vos idées sont d'autant plus dangereuses, qu'elles semblent être catholiques, vous vous servez de l'or latin le plus pur pour dorer les pil(l)ules, qui renferment votre poison oriental. Nous ne les avalerons jamais..." Но чувствую также, что Вы уже давно упрекаете меня в гордости и самомнении...».

11/23 июля 89 г. Соловьев писал Таверньe: «Возвращаясь к моей книге, – я не только ее не видал, но даже ничего о ней не знаю, исключая факта ее появления»[718].

27-го июля Стасюлевичу: «Французская книга, хотя и вышла, как сообщают мне, вторым изданием,... но это меня мало радует ввиду того, как они ее обработали»[719].

Тем же летом 1889 г. Соловьев пишет Фету: «Я не получил еще ни одного экземпляра и никаких известий, кроме того что мои приятели иезуиты сильно меня ругают за вольнодумство, мечтательность и мистицизм. Вот и угоди на людей!

---

[717] Письмо не напечатано.

[718] П., IV, стр. 216.

[719] Там же, стр. 44.

Я, впрочем, не только об угождении, но даже и об убеждении людей – давно оставил попечение»[720].

И 9/21 декабря канонику Рачкому:

«Книгу мою французскую не одобряют с двух сторон: либералы за клерикализм, а клерикалы за либерализм. О.о. иезуиты совсем на меня махнули рукой и стараются меня “замалчивать”. Зато я получил (косвенное) известие о печатном одобрении со стороны епископа, и это меня очень утешило»[721].

С 1889 г. Соловьев понемногу отходит от церковного вопроса. Он работает над вторым томом Теократии[722], но эта работа останавливается. Мы пока не имеем второго тома Теократии. Самая его теократическая схема начинает разрушаться. Он все более разочаровывается в русском самодержавии и ведет ожесточенную борьбу с православным клерикализмом. Либерализм его растет с каждым годом, и наконец в 1891 г. назревает новый кризис, также совпавший с болезнью, как кризис 1883 г.



Paris, rue de l'Université № 33.
Здесь в 1888 году Вл. Соловьев читал доклад «Русская идея»

[720] П., III, стр. 121.
[721] П., I, стр. 179.
[722] Там же.

Глава 6
Окончание «Национального вопроса». Полемика со Страховым. Лекция об упадке средневекового миросозерцания

О Русь! В предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Ex Oriente lux

Между тем как Соловьев строил схему идеальной теократии, в России осуществлялась своя «псевдотеократия»[723] или «зловредный триумвират из лжецерковника Победоносцева, лжегосударственного человека Д. А. Толстого и лжепророка Каткова», как писал Соловьев Стасюлевичу в 1886 г.[724] Но тогда еще Соловьев был исполнен надежд на «решительную перемену к лучшему с исчезновением этих зловредных людей, отводящих глаза честному и благонамеренному Государю.» Долго Соловьев верил в возможность возрождения России актом государственной власти. В 1885 г. он вел переписку с «епитропом Гроба Господня» Тертием Ивановичем Филипповым. «Суждение мое по этому предмету может состоять только в выражении полнейшего согласия с тем, что Вы так верно и сильно изложили», пишет он Филиппову 2 мая 1885 г.[725] В 1886 г. Соловьев в ином плане отзывается о Т. Филиппове:

Ведь был же ты, о Тертий, в Палестине
И море Мертвое ты зрел, о епитроп,
Но над судьбами древней мерзостыни
Не размышлял Твой многохитрый лоб.

[723] П., IV, стр. 44.
[724] Там же, стр. 30.
[725] Там же, стр. 165.

И поддержать Содомскую идею
Стремишься ты на берегах Невы...[726]

30 июля 1889 г. Соловьев поздравляет Филиппова со вступлением в первый ряд государственных сановников: «Меня связывает с Вами не столько единомыслие, сколько единоволие... У нас одна и та же цель: ignem fovere in gremio sponsae Christi»[727].

Но движения воды в русской церковной купели не начиналось... Умер лжепророк Катков, за ним последовал Д. А. Толстой, но на место их появилось много новых лжепророков. Настроение у Соловьева было удрученное. Здоровье ему изменило. Он жалуется Стасюлевичу на «невозможность при кочевом быте вести правильную и спокойную жизнь.»[728].

Мы видели из письма к брату Михаилу, что Соловьев не предполагал в 1889 г. жить в Москве. Но неожиданно он нашел в Москве «целую философскую плантацию»[729]. В Московский Университет был переведен профессор Н. Я. Грот, «пламеневший желанием основать философский журнал»[730]. Отделы были распределены так: психология и логика – Грот, философия религии – Соловьев, история древней философии – Гиляров, история новой философии и метафизика – Лопатин. Соловьев решил привлечь к журналу старого своего друга Д. Цертелева. При журнале образовалась «философская библиотека» – серия переводов философских классических сочинений. Для первой книжки Соловьев отделал и дополнил свой юношеский перевод «Пролегомен» Канта.

[726] П., IV, стр. 28.
[727] П., II, стр. 329.
[728] П., IV, стр. 44.
[729] П., II, стр. 255.
[730] Там же.

В апреле 1889 г. он уехал в Тамбовскую деревню Цертелева «Липяги», где закончил Anhang Пролегомен[731].

Разочарование в близком соединении церквей, невозможность ничего печатать в России по церковному вопросу (в мае 1889 г. Соловьев получил известие, что духовная цензура «вторично и окончательно осудила Теократию»[732]), и в июле было запрещено третье издание «Религиозных основ жизни», где «кроме славословия решительно ничего не заключалось»[733], появление в Москве новой философской плантации – все это склоняло Соловьева вернуться к философским занятиям. Члены «философской плантации», будучи близкими друзьями Соловьева, были равнодушны или враждебны к его католическим убеждениям. Он сходился и с Гротом, и с Лопатиным в философском идеализме, в общем положительном отношении к христианству, но ...[734] глубоко затаить от московских друзей...[735] Это расхождение Соловьева с московскими философами проявилось тогда, когда Психологическое Общество вознамерилось послать приветствие итальянскому комитету по случаю основания памятника Джордано Бруно, поклонником которого был Грот. «Мне было бы очень странно являться представителем общества в этом деле», пишет Соловьев Гроту 28 апреля из Липягов. Соловьев мог высказать только *условное* сочувствие этому делу, сделав оговорки «по поводу антиватиканского направления бруновской агитации»[736].

Живя уже около месяца в Липягах, Соловьев заехал к Дмитриеву в Сызранскую деревню, а оттуда поднялся вверх

---

[731] П., I, стр. 61.
[732] П., I, стр. 63.
[733] П., IV, стр. 44.
[734] Неразборчиво.
[735] Неразборчиво.
[736] П., I, стр. 62.

по Волге на Сызрань, Казань и Нижний. В Москве он пробыл только один день, посетил брата Михаила в Дедове, и в середине июня был в Петербурге[737]. Оттуда он приехал в Финляндию, к доктору С. П. Боткину, который не нашел в нем никакой настоящей болезни, а общую «иннервацию»[738] или «болезненное состояние симпатических нервов» и приписал ему «спокойную жизнь и благодетельные пилюли из ляписа белладонны и еще чего-то»[739]. В июле Соловьев основался в Москве, в пустой родительской квартире на Зубовской площади, вдвоем со старухой кухаркой[740].

«В настоящее время я, так сказать, еду на тройке», писал он Фету, «в корню у меня семилетний труд, который только что теперь окончил вчерне и начал набело, а на пристяжке, с одной стороны, разрушение славянофильства для осенних №№ "Вестника Европы", а с другой стороны, рассуждение "о красоте" для первого № Гротовского журнала. Определяю красоту с отрицательного конца как чистую бесполезность, а с положительного как духовную телесность»[741].

Что же такое этот семилетний труд, оконченный вчерне? Возможно разуметь только Историю Теократии, начатую в 1883 г. Закончен вчерне очевидно был второй том, так и не появившийся в печати («Время от времени балуюсь со вторым томом "Теократии", писал Соловьев Страхову в декабре 1887 г.»)[742]

Разрушение славянофильства для осенних номеров «В. Е.» – «Очерки из истории русского сознания», появившиеся в №№ 11 и 12 «В. Е.» 1889 г. и составившие две первые главы второго выпуска «Национального вопроса» – «Несколько слов

---

737 П., II, стр. 64.

738 Там же.

739 П., III, стр. 120.

740 Там же.

741 Там же, стр. 124.

742 П., I, стр. 46.

в защиту Петра Великого», «Славянофильство и его вырождение»[743]. Статья эта созрела в голове Соловьева еще за границей. «У меня есть в мыслях», писал он Стасюлевичу 25 декабря/6 января 1888 года из Вены, «еще другая статья – вполне цензурная: о распадении славянофильства. На мой взгляд старое славянофильство было смешением нескольких разнородных элементов и главным образом трех: византизма, либерализма и брюшного патриотизма. В нынешнем quasi-славянофильстве каждый из этих элементов выделился и гуляет сам по себе, как нос майора Ковалева. Византийский элемент нашел себе проповедников в Т. Филиппове, К. Леонтьеве, либеральный – в О. Миллере и особенно в проф. Ламанском, у которого от славянофильства осталось только одно звание, наконец брюшной патриотизм, освобожденный от всякой идейной примеси, широко разлился по всем нашим низинам, а из писателей индивидуальных представителем его выступил мой друг Страхов, который головою всецело принадлежит "гнилому западу" и лишь живот свой возлагает на алтарь отечества»[744].

28 февраля 1889 г. Соловьев пишет Стасюлевичу из Москвы: «Под сенью великопостной Москвы начал составлять лекцию (статью тоже) под заглавием "Из истории русского сознания"»[745].

15 марта: «Я не предполагал приготовить статью к Апрельской кн., рассчитываю на Майскую. Впрочем, чем более пишу, тем менее она мне кажется возможной для публичного прочтения и даже для печати. Не поможете ли Вы какнибудь смягчить»?[746]. Но разросшаяся статья поспела только к ноябрьской книжке.

---

[743] Соч., V, стр. 161, 181.

[744] П., IV, стр. 40–41.

[745] Там же, стр. 41.

[746] Там же.

«Рассуждение о красоте» – статья «Красота в природе», бывшая дебютом Соловьева в «Вопросах философии и психологии». Здесь мы открываем как бы первую главу «Эстетики» Соловьева. Мы видели, что продолжением «Критики отвлеченных начал», посвященной этике, гносеологии и метафизике, должна была быть Эстетика как венец всей системы. Занятия церковным вопросом на какое-то время отвлекли Соловьева в сторону. Теперь он вновь обращается к теории прекрасного и за несколько лет до смерти готовит к печати «Эстетику». Но этой книге не суждено было появиться. Мы можем судить об эстетических взглядах Соловьева по «Красоте в природе»[747], и «Общий смысл искусства»[748], и статьям о поэтах[749].

Эпиграфом к «Красоте в природе» поставлены слова Достоевского: «Красота спасет мир». Соловьев не соглашается ни с утилитарной теорией красоты, ни с принципом искусства для искусства. Цель красоты практическая: преображение и спасение мира. Здесь Соловьев развивает все те же знакомые нам идеи третьей части «La Russie».

Космический процесс понимается им как явное противоборство космического ума с первобытным хаосом, – мировою душою или природою[750]. Приводя цитаты из двух русских поэтов, особенно глубоко проникавших в жизнь природы – Тютчева и Фета, Соловьев последовательно изъясняет, как душа мира достигает просветления и самосознания в красоте неба и моря, в красоте растений, имеющих «небесно-земную сущность» и «грезящую душу», являясь «безмолвно преображенной и тихо приподнявшейся к небу землей»[751].

---

[747] См. соч. VI, 33.

[748] Там же, стр. 74.

[749] Соч., VI, VII, IX.

[750] Соч., VI, стр. 73.

[751] Там же, стр. 58, 59.

В животном мире противодействие хаоса зиждительному уму сказывается в произведении безобразных чудовищ, низших организмов, представляющих из себя одно собрание половых и пищеварительных органов, копошащееся безобразие[752]. «И наконец, наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшей видимой формой в прекрасном женском теле, этом высшем союзе животной и растительной красоты»[753].

В 1889 г. разразилась полемика Соловьева со Страховым, приведшая к полному разрыву между бывшими друзьями. В 1888 г. вышло второе издание первого выпуска «Национального Вопроса», со включением обширной статьи «Россия и Европа». Статья эта является гвоздем всей книги. Если первые главы «Национального Вопроса» написаны с поэтическим пафосом и касаются главным образом идеи соединения церквей, то «Россия и Европа», служа переходом ко второму тому, представляет из себя строго научный анализ и разрушительную критику исторических построений Данилевского. Соловьев так много поработал над разрушением идей Данилевского потому, что считал книгу «Россия и Европа» «специальным кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Россию и уготовить путь грядущему антихристу»[754].

Для наших дней теория Данилевского имеет особый интерес. Будучи в свое время русским применением идей Генриха Рюккерта «Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung», вдохновившая славянофилов и в том числе автора «Дневника писателя» и давшая славянофильству научное обоснование, теория эта воскресла в наши дни у Освальда Шпенглера и оказывает сильное влияние в Германии и России. Соловьев не оставил от построений

---

[752] Соч., VI, стр. 62.

[753] Там же, стр. 60.

[754] П., I, стр.· 59.

Рюккерта-Данилевского камня на камне. Данилевский противопоставляет идее европейского единства теорию замкнутых, отдельных культурно-исторических типов. Россия отрывается от Европы и представляется как часть изолированного греко-славянского типа. Почти не затрагивая исторического вопроса по существу, Соловьев доказывает, что исторический процесс состоит в передаче культур от одних народов к другим и видит в группировках Данилевского полный произвол. Здесь он является представителем исторических воззрений своего отца, высказанных Сергеем Михайловичем в работе «Наблюдение над исторической жизнью народов».

В «России и Европе» Соловьев не говорит о соединении Церквей. Но конечно, главной причиной его борьбы с «кораном» славянофильства было то, что при подобном понимании истории соединение Церквей является невозможным в самом принципе. Видимостью научного аппарата Данилевский укреплял романтические мечты русского национализма, и почвенник Достоевский был одною из жертв его философии истории. Националистическая романтика «Дневника писателя» создавалась под влиянием Данилевского, так же как проповедь «вселенского православия» в «Братьях Карамазовых» под влиянием Соловьева. Но при теории культурно-исторических типов для «вселенского православия» не оставалось места; сущность православия полагалась в его греко-российском особничестве, а с этим особничеством искусственно связывались идеи любви и свободы.

Единомышленник Данилевского Н. Н. Страхов выступил с защитой «корана». Началась длительная и постепенно обостряющаяся полемика. Сначала Соловьев надеялся сохранить дружеские отношения со Страховым и держал пари с братом Всеволодом, что дело не дойдет до личного разрыва. Но Всеволод Сергеевич выиграл пари.

Прочитав первые возражения «старого кота» Страхова, Соловьев в статье «О грехах и болезнях» «изругал его как последнего мерзавца», но с уверенностью, что это не изменит его «интимно-дружеских и даже нежных отношений», хотя всегда считал его «свиньей порядочной»[755].

Сдав в «Русскую Мысль» вторую статью против Страхова «Мнимая борьба с Западом»[756], 23 августа 1890 г. Соловьев пишет Страхову из Красного Рога: «В этом споре из-за России и Европы последнее слово должно остаться за мной – так написано на звездах. Не сердитесь, голубчик Николай Николаевич, и прочтите внимательно следующее объяснение»[757]. Далее следуют фразы о книге Данилевского, как «коране всех мерзавцев и глупцов». Но Страхов вовсе не желал, чтобы последнее слово осталось за Соловьевым, а слова о «мерзавцах» едва ли способствовали закреплению дружбы. Он отвечал Соловьеву статьей в «Новом Времени»[758]. За этим последовал в «Вестнике Европы» новый ответ Соловьева «Счастливые мысли г. Страхова», написанный в столь обидном тоне, что всякие личные отношения между двумя писателями порвались и не возобновились до смерти. А. А. Фет, сердечно расположенный к обоим, принужден был принимать меры, чтобы в его гостиной Соловьев и Страхов случайно не столкнулись.

30 июля 1893 г. Соловьев пишет брату Михаилу: «Примирение со Страховым видел только во сне. Когда увижу наяву, то подумаю, не наступил ли мой смертный час»[759]. Незадолго до смерти Страхова Соловьев писал В. В. Розанову: «Очень жаль Страхова и даже что-то жутко, не найдете ли Вы

---

[755] П., IV, стр. 118.
[756] «Русская Мысль», 1890 г. № 8. Соч., V, стр. 287–311.
[757] П., I, стр. 59.
[758] «Новое Время», 1890 г. № 5231.
[759] П., IV, стр. 127.

возможным внушить ему, – так как против Вас он ничего не имеет, – мысль о “христианской кончине живота”, для чего потребуется, между прочим, и примирение душевное со всеми ненавидимыми им, от них же первый есмь аз. Раньше этого непосредственно мое обращение к нему было бы нецелесообразно и даже опасно»[760]. Н. Н. Страхов скончался 24 января 1896 г. Соловьев написал некролог о своем врагодруге[761], а затем превратил некролог в статью, предназначавшуюся для апрельской книжки «Вестника Европы»[762], но в результате не появилось ни некролога, ни статьи. «Для большой статьи о покойнике у меня не скоро будет досуг,» пишет Соловьев Стасюлевичу 14 февраля 1896 г., «при том в такой статье неизбежно было бы говорить и об отрицательных сторонах его литературной деятельности и возвращаться к старой полемике, чего я решительно не желаю...»[763].

Тот ожесточенный характер, который приняла полемика Соловьева со Страховым, объяснялся глубокой противоположностью их натур и мировоззрений. Соловьев находит, что Страхов, головой всецело принадлежит «гнилому Западу»[764]. Почтенный автор «Борьбы с Западом» придерживается, по мнению Соловьева, «механического» мировоззрения, которое есть порождение западного умственного развития[765]. С другой стороны, Страхов «верит или притворяется, что верит мелким глупостям Декарта и Лейбница»[766]. Его миросозерцание допускает только «неподвижного и бездейственного Бога, который может быть предметом частью отвлеченной

---

[760] П., III, стр. 53.
[761] П., I, стр. 130.
[762] Там же, стр. 132.
[763] Там же, стр. 130.
[764] П., IV, стр. 41.
[765] Соч., V, стр. 142.
[766] П., I, стр. 56.

мысли, частью неопределенных чувствований, но с которым никогда не связано никаких практических императивов и никаких положительных целей»[767]. И последнее письмо Соловьева к Страхову от 23 августа 1890 г. кончается словами: «Вы смотрите на историю, как китаец-буддист, и для Вас не имеет никакого смысла мой еврейско-христианский вопрос: полезно или вредно данное умственное явление для богочеловеческого *дела* на земле в *данную историческую минуту*? А кстати: как объяснить по теории Данилевского, что наша с Вами общая чисто-русская (ибо поповская) национальная культура не мешает Вам быть китайцем, а мне – евреем»[768]? Страхов был для Соловьева синтезом западного механического мировоззрения с восточным пассивизмом.

Вслед за Страховым Соловьев напал на П. Е. Астафьева в статье «Самосознание или самодовольство?»[769] Антипатия его к Астафьеву была столь велика, что в «Альбоме признаний» Т. Л. Сухотиной (дочери Льва Толстого) на вопрос «В чем несчастье»?, Соловьев отвечал: «Сидеть рядом с г. Астафьевым», и на вопрос: «Самая тяжелая минута в Вашей жизни?» – «Встреча с г. Астафьевым»[770].

В 1891 г. Соловьев собрал свои публицистические статьи двух последних лет и напечатал второй выпуск «Национального вопроса», значительно более объемистый, нежели первый. В первом выпуске он полемизировал с основоположниками славянофильства И. С. Аксаковым и Данилевским. Во втором с их продолжателями Д. Ф. Самариным, Страховым, Ярошем, Астафьевым. В последние годы он добивает эпигонов славянофильства: Льва Тихомирова, Розанова, Щеглова и других «лжеправославных» патриотов

---

[767] П., I, стр. 57.
[768] Там же, стр. 60.
[769] «Вестник Европы», 1891 г. № 3; Соч., V, стр. 352.
[770] П., IV, стр. 238.

и представителей «брюшного патриотизма»[771]. «В 1884 г. на меня нападал Аксаков», пишет Соловьев, «потом, через несколько лет, пришлось иметь дело с г. Страховым, и вот теперь выступает им на смену в качестве “третьего могущества” г. Щеглов. Конечно, в известном отношении гораздо приятнее было спорить с И. С. Аксаковым, или даже уловлять коварство неуловимого Н. Н. Страхова, нежели отмахиваться от г. Щеглова. Но зато какое нравственно-эстетическое удовлетворение приходится испытывать при виде этой вполне достигнутой гармонии между идеей нашего назаднячества и ее личным воплощением!»[772]

Многих удивляет, что Соловьев тратил столько времени и сил на мелочную полемику с националистами и «стрелял из пушки по воробьям». В 1894 г. Соловьев сам дает этому объяснение: «Я за последнее время взял на свою долю добровольное “послушание”: вычищать тот печатный сор и мусор, которым наши православные патриоты стараются завалить в общественном сознании великий и насущный вопрос религиозной свободы»[773].

Возникает вопрос: отчего Соловьев, напав на «коран» славянофильства, обходит молчанием крупнейшего представителя религиозного национализма – Достоевского? Мы видели, как близок был Соловьев с Достоевским в юности, какое сильное влияние эти два писателя оказали друг на друга. Соловьев слишком ценил в Достоевском его одну сторону, его глубокое христианство, его вселенскую идею, чтобы причислить автора Карамазовых к своим врагам. Но и о Достоевском он уронил горькие слова. В статье «Русский национальный идеал»[774] Соловьев находит в воззрениях

[771] П., IV, стр. 40.
[772] Соч., VI, стр. 326.
[773] Там же, стр. 442.
[774] Соч., V, стр. 416.

Достоевского «несомненную двойственность». «Если мы согласны с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоит в том, что он может внутренно понимать все чужие элементы, любить их, перевоплощаться в них, если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества – то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против "жидов", поляков, французов, немцев, против всей Европы, против всех чужих исповеданий»[775]. Также в статье «Исторический сфинкс»: «Достоевский решительнее всех славянофилов указывает в своей Пушкинской речи на универсальный всечеловеческий характер русской идеи, он же при всякой конкретной постановке национального вопроса становился выразителем самого элементарного шовинизма»[776].

Далее мы коснемся подробно отношений Соловьева ко Льву Толстому. Пока же ограничимся замечанием, что отношения эти были более или менее всегда неприязненны. В 1890 г. Соловьев написал статью «Идолы и идеалы»[777], где обличал двух идолов современного общества – крепостничество и народопоклонство, находя их родственными между собой. Эта стрела не могла не задеть Толстого. 9 августа 1891 г. Соловьев пишет Гроту из Петербурга: «В конце августа буду в Москве непременно. Но к Толстому не поеду: наши отношения заочно обострились, вследствие моих "Идолов", а я особенно теперь недоволен бессмысленной проповедью опрощения, когда от этой простоты сами мужики с голоду мрут»[778].

---

[775] Соч., V, стр. 420.

[776] Соч., VI, стр. 414.

[777] «Вестник Европы», 1891 г. № 3 и № 6; Соч., V, стр. 366.

[778] П., I, стр. 71.

Ужасный голод 1891 г. весьма тревожил Соловьева. Он всячески старался ему помочь: писал статьи «Народная беда и общественная помощь»[779], «Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния»[780], делал благотворительные сборы. «Прошу Вас впредь до прекращения голода удерживать весь мой гонорар в пользу голодающих», пишет Соловьев 10 октября 1891 г. редактору «Северного Вестника» Л. Я. Гуревич[781].

Этот переход к практическим вопросам возбуждал во многих недоумение и иронию. Странно казалось, что Соловьев с высот метафизики спустился в низину хозяйственных интересов и пишет не о Софии, а о том, что в Тамбовской Губернии «жеребят продают по полтиннику (то есть могут менять жеребенка на меру лебеды)»[782]. Многих возмущал учительный тон Соловьева в делах, которыми он никогда раньше не занимался. Эти люди не понимали той сердечности Соловьева, которая не позволяла ему пребывать на высотах метафизических во время народного бедствия, которое в 1877 г. бросило его из Петербурга на Балканы... Без этого «жеребенка за полтинник» нравственный образ Соловьева был бы не полон.

Годы 1889–91 должны быть характеризованы как переходные и смутные. После могучего подъема творчества в середине 80-х годов, созидания «Теократии» и «La Russie», после этого планомерного и уверенного восхождения в гору, Соловьев как будто временно сбит с позиции, сброшен с достигнутой высоты. Не так легко было ему оторваться от возвышенной мечты – быть участником восстановления вселенской теократии, ее пророком и глашатаем, не так легко оставить

---

779 Соч., V, стр. 426.

780 Там же, стр. 466.

781 П., III, стр. 130.

782 Соч., V, стр. 426.

«неколебимые твердыни Сиона» для скромной философской плантации в Москве и опрятно-либерального «Вестника Европы». В эти годы он разбрасывается, его произведения не достигают силы расцвета 80-х годов и заката 90-х годов. Экстенсивность его работ мешает их интенсивности. Он разменивается на множество мелких статей, второй том «Теократии» забрасывается. Разбросанности внутренней соответствует и разбросанность во внешней жизни. Ему приходится искать себе заработков. «Становлюсь вроде литературного поденщика», пишет Соловьев М. П. Фет из Дедова 20 июля 1890 г.[783]

С 1891 г. Соловьев начинает работать в Энциклопедическом Словаре Брокгауза и Эфрона. «Буду жить преимущественно энциклопедией и словарем», пишет он брату Михаилу в Рим в начале 1892 г., «не очень выгодно, но кажется прочно»[784]. Поднимался вопрос о назначении Соловьева редактором словаря. 21 июля 1891 г. он пишет Гецу: «Вы писали мне о редакторстве в "Энциклопедическом Словаре". Если бы Ваше доброе расположение ко мне разделялось прочим человечеством, то я, конечно, не только редактировал бы "Энциклопедический словарь", но и управлял бы священною Римскою Империей. С. А. Венгеров сказал мне, что о главном моем редакторстве не может быть и речи, а редакция одного из отделов возможна, но ничего определенного еще нельзя сказать.»[785] В конце концов Соловьев был назначен редактором философского отдела, с 1891 г. начинается оживленная переписка с Арсеньевым К. К., главным редактором Словаря[786].

[783] П., III, стр. 122.
[784] П., IV, стр. 125.
[785] П., II, стр. 177.
[786] Там же, стр. 68–94.

Жизнь Соловьева все более принимает кочевой характер. В июне 1891 г. он собирается в Вологду (?)[787], в августе в Киев[788]. Краткое резюме своего существования он дает в письме к Стасюлевичу от 7 октября 1890 г.: «Я мало по малу превращаюсь в машину Ремингтона. Сверх того истекаю кровью, вижу видения и хлопочу о сорока тысячах чужих дел»[789]. Кроме потери крови, он начинает страдать рвотами. Муза Соловьева почти замолкла с 1887 г. Жизнь сердца, без которой невозможна лирическая поэзия, в нем замерла. В 1890 г. он пишет свое знаменитое «Ex Oriente lux», где в стихах излагает основную идею «Великого спора» и «Национального вопроса».

О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?[790]

«Безрадостной любви развязка роковая» в 1887 г. подрезала крылья его жизни. Но отношения Соловьева с С. П. Хитрово не были кончены. В 1890 г. мы опять находим Соловьева в Красном Роге[791] и в Пустыньке[792]. В этом же году написано стихотворение «Не по воле судьбы», являющееся заключительным аккордом многолетней любви, обетом верности любимой женщине перед лицом Божиим.

А когда пред тобою и мной
Смерть погасит все светочи жизни земной,
Пламень вечной души, как с Востока звезда,

---

787 П., IV, стр. 47.
788 Там же, стр. 48.
789 Там же, стр. 46.
790 Стих., стр. 96; Соч., XII, стр. 28.
791 П., I, стр. 59.
792 П., II, стр. 259.

Поведет нас туда, где немеркнущий свет,
И пред Богом ты будешь тогда,
Перед Богом любви – мой ответ[793].

В 1891 г. Соловьев пробует свои силы в политической сатире. Уже в 1887 г. он писал эпиграммы на князя Мещерского. Теперь он сочиняет на него политический памфлет в виде пьесы в стихах «Дворянский бунт» (или «Дворянский заем»)[794]. В письме к Стасюлевичу от 9 августа 1891 г. находится стихотворение «Привет министрам»:

Горемыкин веселеющий,
И Делянов молодеющий,
Победоносцев хорошеющий,
Муравьев жених-...[795]

Так от лиры Вергилия Соловьев перешел к богу Ювенала. Сатиру он считал одним из лучших проявлений русского национального гения. Особенно Соловьев ценил Гоголя в его сатирических произведениях, и письма его пестрят цитатами из «Ревизора» и других вещей Гоголя. Например по случаю смерти Гончарова Соловьев пишет Стасюлевичу: «Вот и предпоследнего корифея русской литературы не стало. Остался один Лев Толстой, да и тот полуумный. “Уж так у нас в городе устроено: если умный человек, так или запоем пьет или рожи такие корчит, что святых вон неси”[796]. Высоко ценил Соловьев и Щедрина: “О Салтыкове искренне пожалел и отслужил заупокойную обедню. Вот уж этого никем не заменишь.”, пишет он Стасюлевичу 11 мая 1889 г.[797]

---

[793] Стих., стр. 95; Соч., XII, стр. 26.
[794] В. Соловьев, Шуточные пьесы – Соч., XII, стр. 226; П., IV, стр. 50.
[795] П., IV, стр. 49; Соч., XII, стр. 136.
[796] Там же, стр. 54.
[797] Там же, стр. 44.

И от 27 июля того же года: – “Подписался на Салтыкова и читаю третий том – нахожу, что не устарело”[798].

К концу 1891 г. надо отнести кризис в отношении Соловьева к русской православной церкви. Мы видели, что в 1887 г. Соловьев был не так далек от мысли о принятии монашества. В июле 1891 г. он съездил на Валаам. “Убедил монахов в их ошибке, а о своем впечатлении расскажу при свидании”[799], пишет он Стасюлевичу 27 июля. Каково было это впечатление, мы узнаем из письма к брату Михаилу: “Я был на Валааме, видел квинт-эссенцию настоящего строгого монашества и... плюнул”[800].

Наконец, долго накипевший протест против одностороннего аскетизма нашел себе выражение в публичной лекции “Об упадке средневекового миросозерцания”, произнесенной в Московском Психологическом обществе 19 октября 1891 г.[801] Эта лекция является гранью между вторым и третьим периодами деятельности Соловьева. С 1892 до 96 г.г. Соловьев отходит в сторону от Церкви и ноты пророка-реформатора заглушают другие ноты в его голосе. Если лекция 1887 г. “Славянофильство и русская идея” вызвала глубокое недоумение и была встречена укоризненным молчанием Московской публики, то лекция 1891 г. была шумным скандалом. В 1887 г. Соловьев выступил перед избранной публикой, состоявшей из остатков старых славянофилов. Эта публика была единодушна в молчаливом осуждении. Теперь публика разделилась на две стороны: с одной стороны кружок “Московских Ведомостей” встретил лекцию бурным негодованием, с другой стороны, за период от 1887 до 1891 г.г. Соловьев

---

798 П., IV, стр. 44.

799 Там же, с р. 48.

800 Там же, стр. 122. Слово « плюнул» восстановлено по рукописи (по подлиннику письма).

801 Соч., VI, стр. 381.

приобрел себе много друзей в лагере либеральной интеллигенции. Рукоплесканиями этой стороны были заглушены протесты представителей государственного православия. Но затем последовала месть со стороны "Московских Ведомостей" и их союзников, и Соловьеву было временно запрещено чтение публичных лекций.

Под "средневековым миросозерцанием" Соловьев разумеет "двойственный полуязыческий строй понятий, который сложился и господствовал в средние века как на романо-германском Западе, так и на византийском Востоке". Представители этого миросозерцания сравниваются Соловьевым с бесами, которые "веруют и трепещут", но не имеют любви. Христос осудил средневековое миросозерцание, когда на желание Иоанна и Иакова свести огонь с небес, чтобы попалить неприявшее их самарийское селение, отвечал: "Не знаете, какого вы духа". От незаконного соединения идеи спасения с церковным догматизмом родилось "чудовищное учение о том, что единственный путь спасения есть вера в догматы". Псевдо-христианство, отрекшись от общества, отреклось и от материальной природы. "Христос выгнал из Марии Магдалины семь бесов и одушевил ее Своим Духом. Когда же мнимые христиане отлучили от духа Христова материальную природу, эту всемирную Магдалину, – в нее естественно вселились злые духи". Истинные христиане изгоняли бесов для исцеления одержимых, ложные христиане для изгнания бесов стали умерщвлять одержимых.

Дух Святой, дух Христа одушевляет социально-нравственный и умственный прогресс последних веков. Неверующие деятели нашего времени осуществляют истинное христианство, подобно тому сыну евангельской притчи, который сказал "не пойду" и пошел. Догматически вполне возможно допустить такое действие Духа Святого через неверующих, подобно тому как таинство может быть совершено неверующим

священником. Но деятели современного прогресса обидели ту природу, во имя которой действовали. "Если ложный спиритуализм видел в природе злое начало, то эти видят в ней одно мертвое вещество, бездушную машину. И вот, как бы обиженная этой двойной ложью, земная природа отказывается кормить человечество"[802] И верующим и не верующим пора признать и осуществить свою солидарность с матерью-землею, спасти ее от омертвения, чтобы и себя спасти от смерти».

Сестра Соловьева Мария Сергеевна передает в своих «Воспоминаниях», что в промежутке между лекцией и прениями в зале было большое волнение. Одни называли Соловьева «пророком», другие говорили, что он подделывается к либералам и что пора заткнуть ему рот.

Началась травля Соловьева в «Московских Ведомостях», и застрельщиком выступил Ю. Николаев Говоруха-Отрок, художественный критик, автор талантливой книжки о И. С. Тургеневе. Лекция Соловьева не могла быть пропущена цензурой, между тем ее тезисы передавались Николаевым в извращенном виде. Соловьев протестовал четырьмя письмами в редакцию «Московских Ведомостей»: от 22 октября, 26 окт., 30 окт. и 3-го ноября[803].

Но особенно был возмущен старый поклонник Соловьева К. Н. Леонтьев. В письме к Александрову (приват-доценту М. Университета на кафедре литературы и сотруднику «Московских Ведомостей»), Леонтьев называет Соловьева «сатаной», бьет тревогу и говорит, что необходимо поднять против него кого-нибудь из местных православных старцев. «К кому он пойдет теперь?», восклицает Леонтьев. «К иезуитам? Но они здесь не с ним, а с нами».

---

[802] Соч., VI, стр. 392–393.

[803] П., III, стр. 196–208.

В то же время Соловьеву пришлось испытать, в связи с его лекцией неожиданное огорчение от некоторых друзей, которым раньше он доверял вполне... Очевидно потрясенный всем пережитым, Соловьев свалился, он заболел дифтеритом. Дата его болезни не совсем ясна. О дифтерите мы узнаем из письма к брату Михаилу № 42[804]: «Во время дифтерита я причащался и очень этому рад». На что Михаил Сергеевич отвечал: «Я рад тому, что ты был рад». Письмо к Стасюлевичу от 8 ноября начинается словами: «Все дизенфицировано[805],» и к письму приложено стихотворение «Кумир Небукаднецара», помеченное 7 ноября. Здесь мы имеем terminus ante quem болезни, terminus post quem – 3 ноября, когда написано 4-е письмо в редакцию «Московских Ведомостей». Если предположить, что 4-ое письмо в редакцию написано уже в начале болезни, а «Кумир Небукаднецара» в самом начале выздоровления, то тяжелый период болезни падает на 4–6 ноября. Очевидно, дифтерит был в легкой форме.

«Кумир Небукаднецара» посвящено К. П. Победоносцеву. От лица библейского пророка Соловьев говорит:

В сей день безумства и позора
Я крепко к Господу воззвал,
И громче мерзостного хора
Мой голос в небе прозвучал[806].

С. Н. Трубецкой, получивший стихи, шутливо отвечал, что хотел адресовать ответ Соловьеву «прямо в пещь огненную»[807].

Из письма к Фету мы узнаем, что Соловьев после болезни «очистился и показался священникам»[808] и прожил неделю

---

[804] П., IV, стр. 124–125.
[805] Там же, стр. 54.
[806] Соч., XII, стр. 31.
[807] Письма М. С. Соловьева и С. Н. Трубецкого я цитирую по рукописи.
[808] Письма без даты. П., III, стр. 126.

в Славянском Базаре. Переезд из родительской квартиры в «Славянский Базар» вероятно был вызван какими-нибудь домашними осложнениями. Мы имеем мрачное письмо Соловьева к матери, без даты, но по-видимому относящееся к этим дням. «Вы видите, что мне здесь нет житья». Вполне оправившись, он уехал в Петербург, с еще более горьким чувством к Москве, чем в 1887 г., когда написан «Комплимент Москве»: «Город глупый, город грязный». Из Петербурга он пишет брату Михаилу в Рим: «Дифтерит пошел мне на пользу, меня в Петербурге ни разу не рвало... у меня в голове слагается капитальное сочинение, которое не даст мне ни копейки, но увенчает неувядаемой славой»[809].

Но скоро мы увидим Соловьева опять в Москве. На этот раз он будет «крепчайшими цепями прикован к московским берегам»[810]. В Москве его стерегло последнее романтическое увлечение, вызвавшее расцвет его совсем увядавшей поэзии. С этого расцвета мы и начнем последнюю часть нашего труда.



809 Письма, IV, стр. 125.
810 Там же, стр. 63.

Часть третья
Закат

Бессильно зло; мы вечны, с нами Бог.

Иммануэль

Глава 1
Поэтический расцвет. Смысл любви

Сказочным чем-то повеяло снова...
Ангел иль демон мне в сердце стучится?

В. Соловьев

9 августа 1891 г. Соловьев писал брату Михаилу: «Чувствую неожиданные и беспричинные приливы молодости, хотя седею все больше и больше. Но седина, как сказал какой-то поэт, есть снег, под которым греется посев для будущего мира»[811]. Эти приливы молодости окончились бурным и последним в жизни романтическим увлечением, которое «крепчайшими цепями приковало Соловьева к московским берегам»[812], на рубеже 1891 и 92 г.г. Следствием этого увлечения явился небывалый в жизни Соловьева расцвет поэзии. Только теперь Соловьев осознал себя поэтом. Мы видели, что в конце 80-х годов муза его совсем примолкла, он пишет по одному, по два стихотворения в год. (В 1888–89 г.г. не написано ни одного серьезного стихотворения). В 1892 г. поэтическое вдохновение Соловьева неиссякаемо. «Я одержим, как видите, стихоблудием», пишет он Фету, «за последнее время я сочинил 36 стихотворений»[813].

---

[811] П., IV, стр. 124. Какой-то поэт – Е. А. Баратынский: «Уж та зима главу мне сребрит, что греет сев для будущего мира». («На посев леса»).
[812] П., IV, стр. 163.
[813] Там же, стр. 228.

Стихи этого периода отмечены особой печатью. Самый стих Соловьева становится легким и воздушным, достигая Фетовской прозрачности и бесплотности. Как будто его сознательное и волевое Я расплавляется, и он весь во власти какой-то магии:

Сказочным чем-то повеяло снова...
Ангел, иль демон мне в сердце стучится?
Форму принять мое чувство боится...
О, как бессильно холодное слово![814]

Слов нездешних шепот странный,
Аромат японских роз –
Фантастичный и туманный
Отголосок вещих грез[815].

Именно в это время Соловьев становится вслед за автором «Вечерних огней» одним из первых пионеров символической поэзии в России. Сравнивая свою новую любовь с любовью своей весны, «мучительной и жгучей», Соловьев говорит, что эта новая любовь зовет его душу в «прозрачные, серебряные сны». Любовь-волшебница переносит его в сторону «неистощимой грезы», где кружится полный рой эльфов и задумчиво скользят бледные феи[816].

Предметом этой любви была Софья Михайловна Мартынова, с которой Соловьев познакомился в московском аристократическом кружке Соллогубов, Трубецких, Сухотиных. Близкие друзья называли Софью Михайловну классическим именем Сафо, и Соловьев писал множество акростихов на это имя, жалуясь на «беспощадный ферт», уводивший воображение поэта и к Фету, и к филину, и к фатальному, и к фону и т. д. В лице Софьи Михайловны было что-то японское.

---

[814] Стих. 233; Соч., XII, стр. 93.
[815] П., IV, стр. 158; Соч., XII, стр. 143.
[816] Там же; Соч., XII, стр. 142.

«О, греза милая счастливого японца!» обращается к ней Соловьев[817]. Вся жизнь кажется ему теперь «японской сказкой», и он опьянен ароматом японских роз[818].

Любовь Соловьева и на этот раз носила глубоко-мистический характер. Лучшее из стихотворений, вызванных личностью Мартыновой, «Зачем слова?» написано им в «телепатическом настроении»[819]. Как будто в лице Софьи Михайловны он последний раз увидел и «розовое сияние» вечной Софии и двойственную душу мира, «ниву Христову, которую Сатана засевает своими плевелами». Но сравнительно с длительной, «мучительной и жгучей» любовью его весны и, скажем смело, всей жизни, любовь эта носила романтический, фантастический и иногда не вполне серьезный характер. Фантастическое переплетается здесь с шуточным, как у немецких романтиков. В то же время огонь страсти жгуч, как никогда раньше. «Страсть моя дышет как пожаром»[820] признается Соловьев и умоляет любимую женщину «потушить его огненный пламень». Его возлюбленная кажется ему иногда «холодною, злою русалкой», которую он покинуть не в силах, потому что «в эту черную ночь замолкнут на век все безумные песни и сказки»[821]. Последнее стихотворение в рукописи носит характерное название «Слова к цыганскому романсу». В шутливом письме к брату Михаилу он жалуется на то, что «претерпевает сердечные огорчения и тоску немалую»[822] и что ему приходится «иметь дело с характером, по сравнению с которым Софья Петровна сама простота и легкость».

---

[817] Стих., 315; Соч., XII, стр. 153.
[818] П., IV, стр. 158; Соч., XII, стр. 143.
[819] Там же, стр. 152; Соч., XII, стр. 19.
[820] Стих., 112; Соч., XII, стр. 18.
[821] Стих., 111; Соч., XII, стр. 18.
[822] П., IV, стр. 126.

Трудно узнать величественную фигуру друга Загребских каноников в том салонном поэте, каким является в это время Соловьев. Стихи «Неопалимая купина», написанные им 4 сент. 1891 г., звучат очень автобиографично. Переживая себя Моисеем, «рабом греха», бежавшим в пустыню Мидиама, он говорит, что живет «в сонной лени и трудах бесславных», склоняя праздную главу на колени мидианки[823]. И опять уже прямое сравнение с Моисеем в ненапечатанных при жизни стихах 1892 года:

Я был велик. Толпа земная
Кишела где-то там в пыли,
Один я наверху Синая
Был с Богом неба и земли.

И где же горные вершины?
Где лучезарный свет и гром?
Лежу я здесь на дне долины
В томленьи скорбном и немом.

О как любовь все изменила.
Я жду во мраке недвижим,
Чтоб чья-то ножка раздавила
Меня с величием моим[824].

Напрасно [он] думал, что «поздняя любовь несет одни цветы». «У радужной мечты вырваны крылья»[825], творец Теократии чувствует себя «лежащим на дне долины», упавшим с высот Синая.

---

[823] Стих., 100; Соч., XII, стр. 30; Стих., 100. В письме к брату Михаилу С. говорит о « Неопалимой купине»: «Вот тебе стихотворение, которое никому кроме меня не нравится» (П., IV, стр. 124).
[824] П., IV, стр. 159.
[825] П., IV, стр. 159; Соч., XII, стр. 143.

Сближение с Софьей Михайловной надо отнести к концу 1891 г. По случаю зимнего солнцеповорота он приветствует Софью Михайловну «скромным пророчеством» о скором наступлении весны, называя ее «дриадой»[826]. На Рождество он встречал елку у Мартыновых и получил в подарок игрушечную обезьянку. Он очень привязался к детям Софьи Михайловны. Любовь его достигла зенита к весне 1892 г., 19 мая Соловьев, «не устояв против своей номадской натуры», очутился вдруг в Харькове; совершенно неожиданным образом приехав в Харьков утром, он в тот же вечер отправился в Курскую губернию, где провел несколько дней у близившегося к смерти А. А. Фета. В первых числах июня мы находим его в деревне Морщихе, около станции Сходня, Николаевской железной дороги.

Невдалеке от станции Сходня находилось имение Мартыновых Знаменское. Чтобы жить вблизости любимой женщины, Соловьев нанял дачу в Морщихе «у крестьянина Сысоя»[827], откуда пешком совершал прогулки в Знаменское. Соловьев приехал в Морщиху 2 июня и за несколько часов до отъезда писал Стасюлевичу из Москвы: «Дача моя (4 комнаты) за все лето стоит 80 рублей, чем я весьма горжусь. Буду жить там совершенно один. Стол свой я упростил весьма; ем раз в день гречневую кашу с подсолнечным маслом и зеленые бобы без всякого масла, запивая это рижским пивом по 12 копеек бутылка. Думаю, что такой режим столь же полезен для здоровья, как и для кармана.»[828]

В первую же ночь Соловьеву пришлось убедиться, что изба Сысоя далеко не похожа на дворцы Красного Рога и Пустыньки. В ночь на третье июня сочинил он два стихотворения: одно «короткое и печальное» – «Ветер с Западной

---

826 Стих., 105; Соч., XII, стр. 20.
827 П., IV, стр. 58; Стих., 264; Соч., XII, стр. 122.
828 П., IV, стр. 57.

стороны», где он слышит «вопли из края мертвецов», откуда не вернулось его сердце[829], другое «длинное и веселое» – «Торжество скипидара».

Из последнего стихотворения мы узнаем, что Соловьеву в первую же ночь пришлось при помощи скипидара вести борьбу с «фаворитами Льва Толстого – красными клопами и прусаками». Крестьянская нужда в Морщихе конечно привлекла внимание Соловьева, и он с первого же дня озабочен покупкой за 36 рублей лошади разорившемуся крестьянину Алексею Харитонову[830]. 10 июня Соловьев пишет Софье Михайловне большое письмо, с которым я ознакомился в рукописи. Начав с того, что при последнем свидании от Софьи Михайловны «исходило какое-то розовое сияние», Соловьев пишет:

«Весь вечер с седьмого до одиннадцатого часа я провел в новой для меня, необыкновенно живописной местности (за моей деревней на берегах речки и там, говоря высоким слогом, усладительное созерцание природы растворял горечью несчастной любви, а на сию последнюю изливал утешение религии». Вслед за стихами: «Там, где семьей столпились ивы»[831], следует: «Все это я действительно произвел, как описано, высоко над оврагом, под шум ручья, пение запоздалого, совершенно настоящего соловья и гул железной дороги. Увлекшись поэзией, я затем сбился с пути и блуждал до полночи по разным местам, пока наконец сильный дождь не промочил меня до костей».

Далее Соловьев в полушутливом тоне обращается к Софье Михайловне с увещанием, как бы от лица о. Иоанна Кронштатского. «О, как тщательно диавол и мир засевают своими плевелами ниву Христову, которая есть София

[829] П., IV, стр. 155; Стих., 111; Соч., XII, стр. 34.
[830] П., IV, стр. 155.
[831] Стих., 114; Соч., XII, стр. 17.

Михайловна. Вместо слова Божия усердно сеется в нее слово мирское, слово суеты. Вместо храмов Божьих мир изобрел для нее свои храмы суеты: театры, цирки, собрания, Мавритании; вместо святых икон, которые своими сухими и изможденными чертами напоминали бы ей ее истинного друга, мир дает ей живописные и фотографические портреты театральных лиц, иллюстрации и разные другие виды, вместо Бога и святых (особенно мучеников любви), мир предлагает ее почитанию своих знаменитостей: актеров, фокусников, певцов, живописцев, путешественников по Африке. Бедная София Михайловна! Совсем отдалили ее от истинного блага!».

Здесь же Соловьев дает краткое объяснение того, что такое София. «Это мы с Богом, как Христос есть Бог с нами. Понимаете разницу? Бог с нами, значит он активен, а мы пассивны, мы с Богом – наоборот, он тут пассивен, он – тело, материя, а мы – воля, дух». Кончается письмо тревожными словами: «Какая буря и что за странное лето! Нет, близко светопреставление. Кто Вас кроме меня к нему приготовит?»

Жуткие ноты звучат в стихах Соловьева этого лета:

Сумрачно было в лесу у тебя,
Август в исходе стоял.
Филин вдали прокричал как дитя,
Он мою смерть возвещал.

Скоро жить в избе Сысоя оказалось невозможным. «Морщиху свою я принужден был оставить», пишет Соловьев Цертелеву, «по многим причинам, как например:

1) вследствие близости хозяйской семьи ни спать, ни заниматься было невозможно; 2) у хозяйки оказался третичный сифилис; 3) кухарка, рекомендованная мне Катериной Ивановной, разрешилась от бремени незаконнорожденным младенцем, которому я и предоставил свою дачу. А сам

пользуюсь гостеприимством А. Т. Петровского, покуда нашу квартиру переделывают (неведомо зачем)»[832].

А. Т. Петровский, приятель Соловьева, был медик по профессии и служил в городской Думе. Он отличался широким образованием и редким радушием. Подобно Соловьеву он был охотник до смешного и фантастичного и Особенно ценил Гофмана. Соловьев хорошо чувствовал себя в его гостеприимной квартире. Петровский снял с него несколько фотографических портретов, один из которых приложен к 7 изданию стихотворений.

Соловьев оставил Морщиху, но свидания с Софьей Михайловной продолжались. В августе «одиннадцать дней были озарены лучами ее реального присутствия»[833]. Но встречи происходили в Москве на вокзалах и железных дорогах. В Знаменском Соловьев был в августе 3 раза[834]. С увяданием земли увядала и любовь. Соловьев отмечает в своей возлюбленной «утрату радужного сияния или признаков божественной Софии»[835].

Майская роза давно уж отпета,
Август... и август исчез.
Точно как лысина старого Фета
Роща твоя так печально раздета,
Елью одною красуется лес...[836]

---

[832] П., IV, стр. 164; Катерина Ивановна Боратынская, жена московского вице-губернатора Льва Андреевича Боратынского.
[833] Там же, стр. 154.
[834] Там же.
[835] Там же, стр. 150.
[836] Там же, стр. 152; Соч., XII, стр. 142.

Летний сезон кончался. Вероятно, во время последней поездки в Знаменское Соловьев сочинил акростих:

Сходня, старая дорога,
А вдали как будто ново...
Фон осенний... как немного
Остается от былого![837]

Здесь нет «смертной муки часа», который переживал Соловьев в 1887 г. «Аромат японских роз» рассеивался, замолкали «безумные песни и сказки», но Вечность приближалась к Соловьеву, ее родные голоса наполняли его душу тихой грустью и светлой радостью. Он все более чувствовал, как «недалека воздушная дорога». Поздравляя Софью Михайловну и ее дочерей Надю и Верочку со днем именин 17 сентября, он посылает лучшие стихи «Мартыновского цикла»: «Зачем слова?»

12 сентября 1892 г. Соловьев извещает В. Л. Величко: «С конца мая я жил в Москве и ее окрестностях безвыездно. Имел дачу на Сходне, и пользовался ею мало вследствие разных трагикомических осложнений, которыми посмешу Вас при свидании. Теперь окончательно утвердился в Москве»[838]. С концом 1892 г. роман Соловьева и его последний «московский период» ликвидируются. 31 марта 1893 г. он пишет Величко: «В Москве держала меня вовсе не дриада, а просто житейское колесо. Дриада же есть миф»[839]. Соловьев сохранил дружеские отношения к Софье Михайловне и летом 1893 г. опять собирался побывать в Знаменском[840].

[837] Соч., XII, стр. 94.
[838] П., I, стр. 198.
[839] Там же, стр. 198.
[840] П., IV, стр. 158. Письмо без даты, но слова «я это лето провел в Петербурге и холере» указывают на лето 1894 г.

«Страдаю избытком спешных работ и недостатком времени,» писал Соловьев Цертелеву летом 1892 г.[841] Какие же это были работы? Больше всего времени по-видимому отнимали статьи для словаря Брокгауза, где в то время печатались слова на буквы В – Г. Соловьеву приходилось писать о Валентине, гностиках, Гермесе Трисмегисте и т. д. В майской книжке «Русской Мысли» он напечатал свой единственный рассказ «На заре туманной юности». Когда написан этот рассказ, мы в точности не знаем, возможно, что именно в 1892 г., так как содержание рассказа подходит к этому «эротическому периоду» творчества Соловьева. Рассказ написан в автобиографическом стиле. Соловьев вспоминает о своем юношеском романе с кузиной Катей, которая в рассказе названа Ольгой, и передает эпизод, случившийся с ним в вагоне, по дороге в Харьков, куда молодой философ направлялся, чтобы склонять свою кузину на путь «самоотрицания воли». В вагоне Соловьев знакомится с молоденькой дамой Julie, происходит мимолетное увлечение. На площадке между вагонами герой падает в обморок, он был бы раздавлен поездом, если бы Julie не схватила его за плечи. Когда он пришел в себя, он видел только «яркий солнечный свет», «полосу синего неба» и «образ прекрасной женщины». «Внутри меня совершилось что-то чудесное. Как будто все мое существо со всеми мыслями, чувствами и стремлениями расплавилось и слилось в одно бесконечное, сладкое, светлое и бесстрастное ощущение, и в этом ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался один чудный образ, и я чувствовал и знал, что в этом одном было все. Я любил новою, всепоглощающею и бесконечною любовью, и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни»[842].

---

[841] П., IV, стр. 164.
[842] Соч., XII, стр. 299.

К 1892 г. относится переписка Соловьева с Любовью Яковлевной Гуревич, редактором «Северного Вестника». В этом журнале сосредоточились тогда первые русские модернисты и ницшеанцы: Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, А. Л. Волынский, Н. М. Минский. Впоследствии Соловьев резко разошелся с этим кружком, и Волынский преследовал его злобной полемикой. В том же году Соловьев ведет дружескую переписку с В. В. Розановым[843].

Опыт любви, пережитый Соловьевым в 1892 г., дав столько прекрасных стихов, не мог не отразиться и на его философском творчестве. К концу 1892 г. он печатает в «Вопросах философии и психологии» свое сочинение «Смысл любви»[844], где, отчасти повторяя Платона, излагает свой взгляд на значение и цель половой любви. Сначала Соловьев опровергает воззрение на половую любовь, как только на средство размножения: «Любовь Ромео и Джульеты привела их не к деторождению, а к могиле, идеальные супружеские четы – Филемон и Бавкида, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна – бездетны. Если не правы материалисты, видящие цель половой любви в размножении, то не правы и отвлеченные спиритуалисты и поклонники рыцарской любви, успокаивающиеся на простом отождествлении любовного идеала с данным лицом, закрывая глаза на их явное несоответствие». «Половая любовь есть тип и идеал всякой другой любви»[845]. Только в эротической любви человек любит другого всецело, в его духовном и материальном существе, только в этой любви снимается противоположность духовного и материального, и материя становится средой для воплощения духа. Силой нравственного подвига духовная любовь

---

[843] П., III, стр. 43–54.

[844] Соч., VII, стр. 1–60; «Вопросы философии и психологии», 1892 г., №№ 14 и 15; 1893 г. – № 17; 1894 г. – № 21.

[845] Соч., VII, стр. 16.

преображает природу и ведет ее к бессмертию. «Сила духовно телесного творчества в человеке есть только превращение или *обращение внутрь* той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов»[846].

«Смысл любви» нельзя причислить к лучшим произведениям Соловьева. Те же мысли о любви выражены им много сильнее например в «Жизненной драме Платона». Сам Соловьев очевидно был не очень доволен своим трудом. Друзья его, например, братья Трубецкие, были возмущены, находя дух его статей нездоровым и видя в его теории принижение религиозного значения семьи. В 1893 г. Соловьев пишет Гроту: «Начало статьи – плохо. Дальше надеюсь – лучше»[847]. И в октябре того же года из Франции: «По отъезде Трубецких, 17 октября, я немедленно и добросовестно сел за конец "Любви" и к воскресенью 31 октября написал около 40 страниц, но когда я их прочел – о боги! – как сказал бы покойный Афанасий Афанасьевич – какая это вышла размазня, какая каша поганая, какая мерзостыня! А ведь я хотел написать как можно лучше»[848].

К концу 1892 г. или к январю 1893 г. следует отнести статью «Свобода воли и причинность», которую Соловьев предназначал для «Вестника Европы». Напечатана эта статья после смерти Соловьева в 1921 г. в философском ежегоднике «Мысль и слово», 2, 1, стр. 169–185. Статья написана по поводу книги Л. М. Лопатина «Положительные задачи философии» ч. 2: «Закон причинной связи как основа умозрительного знания действительности», М. 1891 г. В письме к Стасюлевичу № 31 (37)[849], рассказав о своей старой дружбе с Лопатиным

---

[846] Соч., VII, стр. 60.
[847] П., I, стр. 73.
[848] Там же, стр. 80.
[849] П., IV, стр. 60.

и об отроческих похождениях с ним в Покровском-Глебове-Стрешневе, за которые оба философа получили от дачников прозвание «братьев разбойников», Соловьев продолжает: «Автор трактата о свободе воли», один из бывших братьев разбойников, а ныне профессор философии в Московском Университете, человек действительно мыслящий... даровитый... Лопатин огорчен невниманием печати к его труду, и я ради старой дружбы решил его в этом по возможности утешить. Но очевидно Стасюлевич нашел статью не подходящей для «Вестника Европы» и вернул ее обратно. 26 октября (7-го ноября) – 93 г. Соловьев пишет Стасюлевичу: «Уже из письма, сопровождавшего статью, Вы могли заметить, что я сам в последнюю минуту усомнился в ее пригодности, а потому, если не встретите с моей стороны ни возражений, ни выражений неудовольствия, то припишите это не столько моей скромности, сколько искреннему одобрению Вашего решения»[850]. Не появилась статья и в «Вопросах философии и психологии». Может быть Соловьев боялся, чтобы его статья вместо утешения не принесла его старому другу огорчения.

Спор Соловьева с Лопатиным о свободе воли начался на заседании Московского психологического общества в апреле 1889 г., и дополнения 1 и 2, которыми заканчивается отдел книги Лопатина «О свободе воли,» касаются как раз возражений Соловьева. В своей статье «Свобода воли и причинность» Соловьев берет в качестве одного из критикуемых положений фразу из второго дополнения.

Соловьев востает против крайнего индетерминизма Лопатина и отстаивает понятие *предопределения.* П. С. Попов находит у Соловьева «детерминическое толкование душевной жизни» и «прямо – Спинозовский взгляд на отношение

---

[850] П., I, стр. 111.

человека к Богу»[851]. Соловьев возражает против утверждения Лопатина, что «мы безотчетно смотрим на себя как на источник творческих сил». Творчество великих философов и художников *предопределено* объективными, ни от чьей воли независящими свойствами истины и красоты; свобода есть следствие познанной истины, а не предположение ее: «познайте истину, и истина сделает вас свободными»[852]. Спор Соловьева с Лопатиным имел продолжение в последние годы жизни Соловьева, как мы увидим далее.

В 1893 г. П. Н. Милюков затронул Соловьева в своей лекции «Славянофильство и его вырождение» (Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев). Соловьев отвечал статьей «Замечания на лекцию П. Н. Милюкова», где, отметив некоторые неточности Милюкова и осторожно указав, что его основная мысль была раньше высказана самим автором «Национального вопроса», соглашается с П. Н., что «славянофильство конкретное, слитное – умерло и не воскреснет. Умерла ли также выделившаяся из него универсально-религиозная идея (т. е. идея самого Соловьева), этот вопрос, произвольно решенный П. Н. Милюковым, еще подлежит высшей инстанции»[853].

В результате своего романтического увлечения 1892 г. Соловьев чувствовал себя нервно-разбитым. В письме к Гроту он говорит даже о своем намерении «обратиться к невропатологу»[854]. Но до этого не дошло. «Я начинаю чувствовать себя лучше, и думаю, что нервно преувеличил мою невропатию»[855]. Соловьев ощущал необходимость «освежиться заграничным морским плаванием», и в последних числах июля 1893 г. он сел в Петербурге на пароход, отплывавший на Або и в Швецию.

---

[851] «Мысль и слово», 185.

[852] «Мысль и слово», 171.

[853] Соч., VI, стр. 428.

[854] П., I, стр. 72.

[855] П., I, стр. 76.

Глава 2
Путешествие в Швецию, Шотландию и Францию

В одинокой душе тот же вольный простор,
Что вокруг предо мной и за мною.

В. Соловьев

Первое письмо Соловьева к брату Михаилу из Швеции помечено 30 июля – 11 августа. «Переезд сюда был великолепен. Финляндия гораздо красивее Италии. Особенно въезд в Або (читай Обо). Я думаю даже, что это название французское и писалось первоначально: Oh, beau! Имею, впрочем, и более ученую этимологию. “Об” по-еврейски значит колдовство, магия. Этим словом ссудили евреев (без процентов) древние халдеи, которые, как тебе известно, были родные братья финнов; и те и другие славились колдовством, а потому и немудрено, что древняя финская столица получила свое название от магии, что вполне подтверждается магическим впечатлением, которое она производит. Один из моих спутников, офранцуженный швед, предложил более прозаическую этимологию: Abo – est ainsi appelée parce que c’est au bout de la Finlande... А настоящая этимология еще прозаичнее; Або есть название шведское и значит что-то в роде берега, а по-фински этот город называется Рички, что значит торг или рынок. Возвращаюсь к поэзии: я первую ночь сидел на палубе до восхода солнечного, в честь которого написал стихи, а вторую ночь даже спал на палубе под вечными звездами, в честь чего получил изрядную простуду, которая, надеюсь, не будет вечною. А вот стихи:

Посмотри: побледнел серп луны,
Побледнела звезда Афродиты,
Новый отблеск на гребне волны...
Солнца, солнца со мной подожди ты!

Посмотри, как потоками кровь
Заливает всю темную силу!
Старый бой разгорается вновь...
Солнце, солнце опять победило.

Не знаю, каковы стихи, но за истинность происшествия ручаюсь»[856].

Через два дня, 1/13 августа: «Я писал Тебе в самом радужном настроении, которое с тех пор омрачилось по двум причинам. Во-первых, мой ночлег не прошел даром. Я сильно простудился и вчера не выходил. А во-вторых, электричество. Хочешь позвонить служителю, и вдруг вместо того среди бела дня комната освещается ослепительным белым светом, и наоборот, – хочешь ночью собственноручно добыть света, а вместо того в темную комнату прибегают несколько служителей и сталкиваются лбами»[857]. Далее Соловьев юмористически рассказывает, как он, с трудом объяснившись на шведском языке с горничной Тильдой (не совещаясь с немецко-шведским словарем) добился радикального исчезновения электричества из комнаты.

6-го августа (старого стиля) написано стихотворение «По дороге в Упсалу»[858]. Соловьеву близка эта бедная страна, где только сосны и камни, где «в вечном споре с природой растет дух человека и бросает свой вызов небесам с бушующего моря» и где «в блеске северных сияний к царству духов виден вход». В тот же день написано стихотворение в 8 стихов «На палубе Фритиофа»[859].

В Шотландии, в Инверснаде на Лох-Ломонде, муза Вальтера Скотта вдохновила Соловьева. Первая часть баллады «Лунная ночь в Шотландии» написана взволнованными

---

[856] П., IV, стр. 126–127; Соч., XII, стр. 35.
[857] П., IV, стр. 128.
[858] Стих., 119, 321; Соч., XII, стр. 36.
[859] Там же, стр. 120, 321; Соч., XII, стр. 36.

разностопными анапестами. Лунный луч, пробравшийся в окно поэта, выманивает его на простор.

Выше, выше, туда, где стоит
Одинокая ель над скалой,
Где ручей меж камней невидимкой бежит,
Там, где коблин живет под землей[860].

В лунном холоде, «проникающим до самой души», поэт чувствует себя «средь незримой толпы мертвецов». Он слышит вой рога, гром барабана и визг флейт. Оживают ели и скалы, мшистый гранит в тайном трепете.

Вторая часть баллады «Песнь горцев» – почти буквальный перевод из Вальтера Скотта» Lady of the lake». Написана она дактилями, которые перебиваются амфибрахиями.

Гордо наш пиброх звучал в Глен-Фруине,
И баннохар стоном ему отвечал:
Глэн-Люсс и Росс-Даху дымятся в долине,
Пустыней весь берег Лох-Ломонда стал.

Приветственный клич войны передан на Гаэльском наречии:

Родериг Вих-Альнин-Дху, ио! Иэрой!

«Не смущайтесь некоторыми неизреченными глаголами», пишет Соловьев Стасюлевичу 7/19 сентября из Динара, при посылке стихотворения, они также дики для английского читателя Вальтера Скотта, как и для Ваших читателей «Вестника Европы». «Я утверждаю даже, что гаэльский язык ближе к русскому, чем к английскому»[861].

---

[860] Стих., стр. 121; Соч., XII, стр. 37. «*Коблин* живет под землей» – первоначальный вариант вм. «*гномы* живут под землей».
[861] П., IV, стр. 63.

Вскоре Соловьев приехал во Францию. В Булони он встретился со Стасюлевичем[862]. Стасюлевич проехал в Берлин, а Соловьев 29 августа (10 сентября) прибыл в Динар, откуда извещает Любовь Исаковну Стасюлевич: «Третьего дня вечером благополучно доехал до Динара и вчера же весь день шатался со своим хозяином по окрестностям. Ветер здесь теперь еще хуже булонского, но я все-таки начинаю сегодня купаться»[863]. В Динаре Соловьев предполагал пробыть до 3/15 октября, «может быть, несколько позже»[864]. В Динаре ему полюбилось, и он все откладывал свой отъезд. «17-го мы покидаем Динар», пишет Соловьев Стасюлевичу 9-го октября. 27-го октября: «Я уезжаю отсюда только 7-го ноября»[865].

В Динаре Соловьев остановился в Hôtel des Bains. «Я живу еще среди зелени, на берегу океана», пишет он матери[866]. «Я им (Динаром) очень доволен со стороны климата, красивых видов и спокойной жизни». Приятность жизни в Динаре увеличивалась тем, что здесь Соловьев нашел своего друга С. Н. Трубецкого. «С чего ты взял, что мы с Трубецким жуируем?» пишет он Гроту 16/28 октября, «мы даже осатанели над книгами, а пить – пьем только яблочный квас, он так даже и молоко»[867]. И в письме к матери: «Скоро два месяца, как из крепких напитков пью только сидр (яблочный квас), а если случайно выпью рюмку коньяку, то заболеваю головой как Миша»[868]. В Динаре Соловьев закончил «Смысл любви»[869].

---

862 П., I., стр. 116.
863 П., IV., стр. 62.
864 Там же, стр. 63.
865 П., I, стр. 114.
866 П., II, стр. 65.
867 П., I, стр. 79.
868 П., II, стр. 65.
869 П., I, стр. 79–80.

В портфеле у него была рукопись «Магомета», которого он предполагал напечатать в «Вестнике Европы». «Вследствие цензурных препятствий для дешевого издания я отдал своего “Магомета” Стасюлевичу, а Павленкова намерен вознаградить Жанною Д’Арк или Петром Великим»[870], пишет он Гроту в феврале-марте (письмо без даты) 1893 г. из Петербурга. 9 октября 1893 г.: «Для зимних книжек “Вестника Европы” имею в виду нечто более близкое, чем “Магомет”, который более соответствует летнему сезону; а от лежания он не испортится – совсем напротив»[871]. В конце концов «Магомет» появился в серии биографий Павленкова в 1896 г.

Кроме того, Соловьев в Динаре работал над статьей «Два миросозерцания» – о веротерпимости, явившейся продолжением «Исторического сфинкса» (последняя статья напечатана в «Вестнике Европы», № 6, 1893 года). Статьи Соловьева с таким заглавием в печати не появлялось.

Несмотря на здоровую жизнь в Динаре, Соловьев чувствовал себя физически плохо. «Моя физика тоже под гору пошла», пишет он Гроту от 16/28 октября[872].

Скоро, скоро, друг мой милый,
Буду выпущен в тираж...[873]

В письме к матери. «Здоровье мое так себе, но чувствую старость и волосы ужасно падают... Рвот у меня почти нет, но страдаю от девичьей немочи»[874].

---

[870] П., I, стр. 76.
[871] Там же, стр. 110.
[872] П., I, стр. 79.
[873] П., I, стр. 80.
[874] П., II, стр. 65.

К Стасюлевичу: «Зеркало и гребень дают зловещие показания: –

Цвет лица геморроидный,
Волос падает седой...[875]

7/19 сентября Соловьев намечает свой дальнейший маршрут так: Лондон, Париж, Берлин и Vaterland[876]. 9 октября, в письме к Стасюлевичу маршрут изменяется: «Отсюда я еду прямо, прямо на Восток: Шартр, Париж, Берлин, Петербург... А Лондон, как видите, благоразумно отложил до следующей заграничной поездки. Все равно не успел бы как следует пустить корни в Британском музее и только раздразнил бы свои книжные аппетиты. А все самое нужное можно найти и в Берлине, где у меня уже есть несколько заочных знакомых в университете. К тому же я знаю, что такое Лондон зимой с продувными комнатами. А ведь в Берлине и печки есть, да и жизнь вдвое дешевле»[877].

Но в Берлин Соловьев не попал. 3/15 января он пишет Гроту уже из Петербурга: «Жалею, что эти парижские задержки помешали мне остановиться в Берлине. Впрочем, надеюсь весной еще поехать в Швецию и Германию»[878].

7 ноября Соловьев покинул Динар, а за неделю, [до этого] 1 ноября написано им трогательное стихотворение «Прощание с морем».

Снова и снова иду я с тоскою влюбленной
Жадно впиваться в твою бесконечность очами,
Нужно расстаться и с этой подругою светлозеленой.
Вместе, о море, мы ропщем, но влаги соленой
Я не умножу слезами.

---

[875] П., I, стр. 112.
[876] П., IV, стр. 63.
[877] П., I, стр. 110.
[878] Там же, стр. 83.

В путь одинокий и зимний с собой заберу я
Это движенье живое, и голос и краски;
В ночи бессонные, дальней красою чаруя,
Ты мне напомнишь свои незабвенные ласки[879].

Уже в конце месяца Соловьев оказывается в Париже, откуда и пишет 25 ноября М. М. Стасюлевичу:

«...Здесь в Париже я имею кое-какие намерения, о которых не пишу заранее по суеверию – чтобы не сглазить. Вчера был на лекции Брюнетьера в Сорбонне о Боссюэте. На днях отправляюсь в парламент. Познакомился с депутатом нового рода, – аббатом-социалистом Лемиром[880].

В первых числах декабря написано стихотворение «С Новым годом», открывающее новый период в отношении Соловьева к С. П. Хитрово[881]. Соловьев не забывал своего «бедного друга» и в эпоху 1892 г., когда его душа была поглощена другой любовью. В самый разгар увлечения С. М. Мартыновой, 29 февраля 1892 г., он пишет одно из лучших своих стихотворений, вдохновленное любовью его весны.

Мчи меня, память, крылом не стареющим
В милую сердцу страну.
Вижу ее на пожарище тлеющем
В сумраке зимнем одну.

Горькой тоскою душа разрывается,
Жизни там две сожжены,
Новое что-то вдали начинается
Вместо погибшей весны.

Далее память! Крылом тихо веющим
Образ навей мне иной...
Вижу ее на лугу зеленеющем
Светлою летней порой.

---

879 Стих. стр. 57; Соч., XII, стр. 39.
880 П., I, стр. 116.
881 Стих. стр. 126 и 322; Соч., XII, стр. 34.

Солнце играет над дикою Тосною,
Берег отвесный высок...
Вижу знакомые старые сосны я,
Белый сыпучий песок...

Память, довольно! Тень эту скорбящую
Было мне время отпеть!
Срок миновал, и царевною спящую
Витязь не мог овладеть[882].

Отношения Соловьева с Софьей Петровной замирали в начале 90-х годов. В 1892 г. Соловьев получил известие о смерти графини С. А. Толстой, игравшей такую большую роль в его юности. 2 июня 1892 г. Соловьев писал Стасюлевичу: «Покойная графиня Толстая желала быть погребенной в Красном Рогу, в приготовленном для нее месте рядом с Алексеем Константиновичем. Перевозка гроба из Лиссабона даже морем стоит не менее 1500 рублей. Племянница покойной С. П. Хитрово писала Вам, прося, если возможно, авансировать ей эту сумму в счет будущей продажи сочинений Ал. Толстого, право на которые (вполне или отчасти – не знаю) перешло к ней»[883].

Стихотворение «С Новым годом» несомненно обращено к Софье Петровне, которую Соловьев называет «старым бедным другом».

Власть ли роковая или немощь наша
В злую страсть одела светлую любовь,
Будем благодарны, миновала чаша,
Страсть перегорела, мы свободны вновь.

Светлая любовь была искажена роковой страстью. Соловьев уже не переживал страсть, как «верную поруку силы бытия».

---

[882] Стих. стр. 107, 316; Соч., XII, стр. 33. Последнюю строфу мы приводим в варианте, представляющем 1-ю редакцию.
[883] П., IV, стр. 57.

На развалинах сгоревшей любви возникает тихая дружба. Скоро мы опять увидим Соловьева в Пустыньке.

Соловьев предполагал вернуться в Петербург 15 декабря старого стиля[884], но вероятно несколько запоздал. 6/18 декабря он пишет Стасюлевичу из Парижа, ничего не упоминая об отъезде. Вернулся Соловьев, как и в 1888 г., прямо в Петербург, не заезжая в Москву. В вагоне он встретил своего друга князя Д. Н. Цертелева, ехавшего «из Лиссабона в Тамбов через Алжир и Петербург»[885].

На этот раз ничто не угрожало Соловьеву в России. Перед отъездом заграницу, на свадьбе А. Д. Оболенского он встретил К. П. Победоносцева, который «приветствовал его как старого приятеля»[886]. Крылья Соловьева были обрезаны, он был утомлен бесплодной борьбой и уходил в пустыню индивидуализма. Оставив пока церковно-политические проекты, он отдается лирике и нравственной философии. Его либерально-полемические статьи звучат как замирающие раскаты уходящей грозы.

Морское путешествие смыло с души Соловьева последние остатки «эротического ила». Простившись со своими церковно-политическими проектами, он прощается и с надеждами на личное счастье.

Высшую силу в себе сознавая,
Что ж тосковать о ребяческих снах?
Жизнь – только подвиг...[887]

Мы подходим к неопределенному, переходному периоду «Оправдания добра». Далее следует новое, неоконченное построение «Теоретической философии», гениальные прозрения «Трех разговоров» и смерть...

---

[884] П., I, стр. 117.
[885] Там же, стр. 119.
[886] П., IV, стр. 127.
[887] Стих. стр. 118; Соч., XII, стр. 35.

Глава 3
Начало нравственной философии.
Сайма

> Вся ты в лучах, как полярное пламя,
> Темного хаоса светлая дочь.
>
> *В. Соловьев*

В 1894 г. Соловьев приступает к новому капитальному труду – «Оправдание добра». Работа эта заняла у него около трех лет. Хотя весной 1895 г. Соловьев писал брату Михаилу: «Моя “Этика” подходит к концу»[888], но некоторые главы написаны уже в 1897 г. и вошли во второе издание «Оправдания добра», напр. глава 7-я «Единство нравственных основ», напечатанная впервые в «Книжках недели» 1898 г., № 2. Прежде чем приступить к изложению этого сочинения, отдадим себе отчет в том, в каком обществе вращался Соловьев в последний период своей жизни, кто были его близкие друзья в ту пору. Кроме Стасюлевича и кружка «Вестника Европы», Соловьев тесно сближается с некоторыми представителями петербургской аристократии и бюрократии. Князь Алексей Дмитриевич Оболенский, будущий обер-прокурор Св. Синода, становится одним из его преданных друзей. Оболенский разделял все взгляды Соловьева и принимал его без критики, сочувствуя и его идее соединения Церквей, которая была для большинства русских друзей Соловьева камнем преткновения.

В 1893 г. Соловьев писал Гроту из Петербурга: «Видаюсь я здесь больше с иностранцами, а также с моим министром финансов Саломоном»[889]. Этого Саломона в 1897 г. Соловьев

---

[888] П., IV, стр. 132.
[889] П., I, стр. 76.

называет в стихах «старым другом»[890]. Насколько Соловьев придавал значение своей дружбе с «министром финансов», можно видеть из стихов:

Заключены в темнице мира темной
И дань платя царящей суете,
Свободны мы в божнице сокровенной
Не изменять возвышенной мечте.

В Москве ближайшим другом Соловьева становится князь Сергей Николаевич Трубецкой. Миросозерцание Трубецкого образовалось под сильным влиянием Соловьева, и последний с гордостью видел в нем своего ученика. Подобно Соловьеву, Трубецкой соединял в своей философии христианство с платонизмом и считал идею логоса центральной идеей христианства. Как и Соловьев, Трубецкой был убежденным западником и либералом. Но далее начинается существенное расхождение. Трубецкой был более рационалистом, чем Соловьев, и относился подозрительно к мистицизму. В Берлине Трубецкой подпал под сильное влияние Гарнака и протестантской исторической науки. Мистицизму и католицизму Соловьева он противопоставлял исторический критицизм. Достаточно сравнить философию библейской истории у Соловьева с учением о логосе Трубецкого, чтобы увидеть все расстояние между философами. У Соловьева вся Библия – мистическая символика и католическая ортодоксия, он относился с презрительным отрицанием к проблеме протестантской критики; Трубецкой, стараясь сохранить православные традиции, весь во власти теорий Вельгаузена и других. Но Соловьев в 90-х годах иной, чем в 80-х. В нем либерализм и протестантизм борятся с церковным догматизмом. И все же Соловьев не уступает Трубецкому, и между ними

---

[890] Стих., стр. 154, 352; Соч., XII, стр. 67.

происходят ожесточенные споры. Трубецкой обвинял Соловьева в историческом дилетантизме, склонял его ко Второисаии и прочим изобретениям немецкой критики, Соловьев настаивал на целости и боговдохновенности всей Библии. Помню, как Трубецкой рассказывал мне: «Гарнак, прочитав "Историю Теократии", говорил: "Удивительно, как даже в наиболее образованных русских живы некоторые традиции и предрассудки". По тону Сергея Николаевича ясно было, что его симпатия здесь не на стороне автора Теократии...

Близок был Соловьев также со вторым братом Трубецким Евгением Николаевичем, но встречались они реже, так как Е. Трубецкой жил в то время в Киеве. Все различие миросозерцаний Соловьева и Е. Трубецкого выразилось в книге последнего о Соловьеве. Это двухтомное сочинение – как бы борьба с двумя основными идеями Соловьева: идеями Софии и Рима. Трубецкой был умеренный либерал, протестантизированный православный. Соловьев совмещал в себе две крайности: строгий католический догматизм и почти революционный пафос "пророка". Трубецкой был типичный, устойчивый представитель либерального православия. Соловьев метался между станами "безбожников" и Ватикана и, утверждая непогрешимость римского первосвященника, писал статьи в защиту Чернышевского[891]. Не последнюю роль в жизни Соловьева играл ныне забытый поэт Василий Львович Величко. Хотя он был из стана правых, но уживался с Соловьевым, относился к нему с благоговением и ни в чем ему не противоречил. Соловьев из дружеского расположения переоценивал небольшой талант Величко и, называя свои собственные стихотворения "бусами", упоминает рядом с "алмазами Пушкина и жемчугом Тютчева" о "кораллах,

[891] П., I, стр. 271 (изд. СПБ 1908); Соч., XII, стр. 337.

яшме и малахитах Величко"[892]. По "невозмутимости духа rebus in arduis, по постоянству и успешности трудов" он сравнивает Василия Львовича с его патроном св. Василием Великим»[893].

В отношении к известным писателям нельзя не отметить, что в 1894 г. Соловьев оказывается решительно in statu belli с Василием Васильевичем Розановым и пробует сблизиться с Львом Толстым. В этих двух фактах сказалось острое «полевение» Соловьева в половине 90-х годов. Соловьев весьма сочувственно отнесся в свое время к брошюре Розанова «Место христианства в истории». В 1893 г. Соловьев пишет Розанову в весьма дружественном тоне (Письмо № 4, П., III, стр. 47). Письмо № 4 не имеет даты, надо предположить, что оно написано до 1894 года, так как статья 94 г. «Порфирий Головлев о свободе и вере»[894] является terminus ante quem добрых отношений между Соловьевым и Розановым. В письме № 7 Соловьев пишет Розанову: «Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры в словах Вашей надписи относительно signum Царствия Божия. Кто одинаково знает по опыту и одинаково понимает и оценивает эти знаки, залоги или предварения Царства Божия, те, конечно, братья по духу и ничто не возможет разделить их»[895]. Но в № 1 «Русского Вестника» 1894 г. Розанов в статье «Свобода и вера» выступил с отрицанием веротерпимости и опровергал статью Соловьева «Исторический сфинкс». На это последовал ответ более чем жестокий. Соловьев во 2-ом номере «Вестника Европы» 1894 г., в статье «Порфирий Головлев о свободе и вере», сравнивает Розанова с Щедринским Иудушкой, называет его статью «елейно-бесстыдным

[892] П., I, стр. 226.
[893] Там же, стр. 215.
[894] Соч., VI, стр. 429.
[895] П., III, стр. 50.

пустословием». «Отвлеченным пустословием Иудушка прикрывает всегда какую-нибудь совершенно конкретную гадость»[896]. Тот «закон жизни», для которого Иудушка требует полной свободы и во имя которого он желал бы ограничить все остальное, есть просто *закон жизни животной*, – и больше ничего[897]. В ответ на беспощадно-насмешливую статью Соловьева Розанов в № 4 «Русского Вестника» разразился дикой и неприличной бранью. Он назвал Соловьева «танцором из кордебалета», «тапером на разбитых клавишах», «слепцом, ушедшим в букву страницы», «блудницей, бесстыдно потрясающей богословием», «татем, прокравшимся в церковь», «палкой, бросаемой из рук в руки»[898]. Соловьев на эту ругань отвечал с добродушной иронией в статье «Конец спора» (о справедливости) в № 7 «Вестника Европы». Он нашел, что определения Розанова «во-первых слишком широки, а во-вторых плохо согласимы между собой. Способна ли палка обкрадывать церковь и так далее»[899]. Однако отношения не были порваны, и в 1895 г. Соловьев пишет Розанову весьма дружески: «Кроме желания продолжать “знакомство”, имею еще маленькое дело»[900]. За год до смерти, в статье «Особое чествование Пушкина», Соловьев опять нещадно вышучивает Розанова за его «оргиазм и пифизм». После смерти Соловьева Розанов не уставал ему мстить, всячески принижая его значение и умаляя его личность. Он усматривал в Соловьеве черты «антихриста», говорил, что лучшее в нем была та «грусть», которую он скрывал, неся перед собой свою гордость. За несколько месяцев до своей смерти Розанов говорил мне: «Зачем мы ссорились с Владимиром Соловьевым? Ведь оба мы были пророки...».

---

[896] Соч., VI, стр. 431.
[897] Там же, стр. 480.
[898] Там же.
[899] Там же.
[900] П., III, стр. 51.

К 1894 г. относится попытка сближения Соловьева с Львом Толстым. В 80-х годах Соловьев относился к Толстому враждебно. В 1882 г. он пишет Аксакову: «Л. Толстому я не мог ничего отдать, так как уже давно с ним не виделся, и он для меня "яко язычник и мытарь"[901]. В письме к Страхову Соловьев указывает на "глубокую непрямоту и неискренность" в Толстом[902]. И далее в письме № 19: "На днях прочел Толстого "В чем моя вера?". Ревет ли зверь в лесу глухом?"[903]. 27 ноября 1887 года Соловьев сообщает А. Ф. Аксаковой: Avant-hier j'ai eu encore une visite remarquable – celle de L. Tolstoy, qui m'a apporté ses excuses pour certaines actions étranges. Il faudra aller chez lui et être sur ses gardes».

Соловьев не любил Толстого не только как мыслителя, но и как художника. Натурализм «Войны и мира» ничего не говорил поклоннику Гофмана. «В этом романе действующие лица говорят, как люди нашего времени, нет духа эпохи», говорил Соловьев о «Войне и мире». В 1888 г. Соловьев пишет Фету из Вирофлэ: «А что поделывает его (Страхова) идол? Через француза Вогюэ слышал я, что он пишет роман о *вреде любви*. Как жаль, что я не имею литературного таланта. Недавно меня обсчитала содержательница отеля. Вот бы прекрасный случай написать поэму о вреде гостиниц»[904]. 20 сентября 1891 г. Соловьев пишет Стасюлевичу по поводу смерти Гончарова: «Вот и предпоследнего корифея русской литературы не стало. Остался один Лев Толстой, да и тот полуумный. Уж так у нас в городе устроено: если умный человек, так или пьет запоем, или рожи такие корчит, что святых вон неси»[905]. В 1892 году, в шуточном стихотворении

[901] П., IV, стр. 15.
[902] П., I, стр. 18.
[903] Там же, стр. 21.
[904] П., III, стр. 118.
[905] П., IV, стр. 54.

«Торжество скипидара» Соловьев, обращаясь к скипидару, восклицает: «Я роман Толстого лучший за тебя отдам!»[906]. Но к 1894 году у Соловьева с Толстым оказывается много общего. Оба они ведут борьбу с национализмом во имя вселенского христианского идеала, оба они настроены враждебно к русской государственной церкви. 5 июля 1894 года Соловьев пишет Льву Николаевичу о своем намерении «составить систематическую хрестоматию из его религиозно-нравственных сочинений и озаглавить хрестоматию «Критика лжехристианства, из сочинений Льва Толстого»[907]. Сходились Соловьев с Толстым и в резко отрицательном отношении к заключению франко-русского союза, который Соловьев в письме к Льву Николаевичу называет «франко-русским обманом»[908]. В то же время, весной 1894 г., Соловьев пишет Тавернье в Париж: «Надеюсь в скорости выслать Вам рукопись, сильно исправленную, моего доклада под названием: «Несколько мыслей о нашем будущем по поводу франко-русской дружбы»[909].

В длинном втором письме к Толстому, написанном от 28 июля до 2-го августа 1894 г., Соловьев говорит об их разногласии. «Все наше разногласие может быть сосредоточено в одном конкретном пункте – воскресении Христа. Я думаю, что в Вашем собственном миросозерцании (если я только верно понимаю Ваши последние сочинения) нет ничего такого, что мешало бы признать истину воскресения, а есть даже нечто такое, что заставляет признать ее»[910]. Соловьев еще надеется убедить Толстого в истинности воскресения Христа. Он ошибся. Вскоре он резко расходится с Толстым

---

906 Стих., 265; Соч., XII, стр. 125.
907 П., III, стр. 37.
908 Там же.
909 П., IV, стр. 196 (218).
910 П., III, стр. 38.

и в последнем своем сочинении «Три разговора» видит в великом писателе земли русской поддельного, фальшивого христианина, дух антихриста. Отношение Толстого к Соловьеву всегда было холодное.

Лето 1894 г. Соловьев проводил в Петербурге. Он был дважды серьезно болен: «один раз истекал кровью», так что напугал доктора[911], другой раз заболел холерой, «лежу на постели зелено-лиловый»[912]. «Я это лето проводил довольно скверно в Петербурге и в холере», сообщает он Софье Михайловне Мартыновой[913]. Во время «холерных судорог» сочинено им стихотворение «Метемпсихоза», где он шутливо изображает, как он умирает, сгнивает в земле, переходит «в цветок и в виде меда попадает в рот прекрасной деве»[914].

Между тем новый труд «Оправдание добра» зрел в уме Соловьева. Он искал уединения для работы. «Поселюсь навсегда среди скал и лесов Финляндии – для занятий, для экономии и для здоровья», пишет он С. М. Мартыновой. И брату Михаилу: «В Финляндию я еду сегодня только смотреть, а окончательно переселяюсь в среду или в четверг. Весь пансион будет мне стоить не более 50-ти рублей в месяц (а в Петербурге одна комната 90 рублей) и затем нуль извозчиков. Умнее я ничего бы не придумал»[915]. Страна, ранее воспетая Баратынским, была свидетельницей пышного расцвета поэзии и философии Соловьева.

Соловьев уехал в Финляндию в сентябре. 30 сентября он пишет Стасюлевичу: «Здесь я, несмотря на некоторые неудобства, устроюсь, по-видимому, прочно. Печальный пасынок природы, которому я заплатил вперед за месяц, наивно

---

[911] П., III, стр. 37.

[912] Стих., стр. 268; Соч., XII, стр. 111.

[913] П., IV, стр. 158.

[914] Стих., стр. 268; Соч., XII, стр. 111.

[915] П., IV, стр. 130.

объявил мне, что не желает ни за что меня упускать и готов для меня на все. Погода мягкая, серая, без дождя, гуляю без пальто и калош, по 2 и 2,5 часов не садясь, не пью ничего хмельного, ем раз в день, хорошо сплю и превосходно себя чувствую. Газет не читаю»[916]. 1 октября Гроту: «Живу я на озере Сайме, около деревни (хутора) Тиуринньями, в местности, называемой Кайсаранта, т. е. Царский берег. А писать и телеграфировать нужно так: Иматра, Рауха, пансион Альма, В.С.С.[917].

Первые дни были "поглощены поэзией и природой"[918].

"На берегу пустынных" вод
Мне муза финская явилась;
Я только вежлив был – и вот
Она уж тройкой разродилась.

Так начинал я послание дней десять тому назад, но с тех пор эта чухонка подарила мне еще около десятка младенцев»[919], пишет Соловьев Величко 13–25 октября.

В душе Соловьева настала глубокая созерцательная тишина. Всего лучше выражено его настроение в стихотворном послании к Гроту в октябре:·

Ничто страстей не возбуждает,
И тихий рой невинных снов
Прозрачный сумрак навевает...
Пишу. Глядят в окошко ели,

---

[916] П., IV, стр. 66.
[917] П., I, стр. 94.
[918] Там же, стр. 207.
[919] Там же, стр. 206.

Морозец серебрит пути...
Стихи однако надоели,
Пора и к прозе перейти[920].

На Сайме пишутся главы «Оправдания добра». Еще этого названия не было в голове Соловьева. 30 сентября он писал Стасюлевичу: «Я печатаю у Вас книгу "Основания нравственной философии"»[921]. Отдельные главы «Оправдания добра» Соловьев печатал в «Вестнике Европы», в «Вопросах философии и психологии», в «Книжках недели» и даже в литературных приложениях к «Ниве». Одновременно с циклом стихов к Сайме вероятно написана вторая глава «Аскетическое начало в нравственности», напечатанная в «Вопросах философии и психологии»[922]. Московские друзья философа были несогласны с Соловьевым и прислали ему свои возражения. Соловьев отнесся к их критике внимательно и 22 ноября отвечал соборным посланием на имя Николая Яковлевича (Грота), Дракона Михайловича (Лопатина) и Сергея Николаевича (Трубецкого): «Благодарю Вас за внимательное отношение к моей статье. Безусловно согласен с вашим заключением, что без переделок ее печатать не годилось»[923].

И в прозе, и в стихах Соловьева этого периода выражается глубокое аскетическое бесстрастие.

Страсти волну с ее пеной кипучей
Тщетным желаньем, дитя, не лови,
Вверх погляди на недвижно-могучий
С небом сходящийся берег любви[924].

Вечная влюбленность Соловьева уже не ищет живого женского образа.

---

920 П., I, стр. 94.
921 П., IV, стр. 66.
922 1895 г., № 26.
923 П., III, стр. 211.
924 Стих., стр. 138; Соч., XII, стр. 45.

Я в озеро влюбился[925].

А в шутливом письме к Стасюлевичу он говорит о «нимфе озера Сайма»[926].

Сайму Соловьев называл своей последней любовью. Он пишет к ней влюбленные стихи как к живому существу –

Тебя полюбил я, красавица нежная[927].

Эти стихи вызвали сплетни об увлечении Соловьева на старости лет какой-то финской Эдой. В предисловии к третьему изданию стихов он принужден оправдываться. «Одно северное озеро, не безызвестное в географии и полюбившееся мне en tout bien tout honneur, оказалось в глазах неофициального Катона легкомысленною особой женского пола, и я подвергся внушительному порицанию за то, что на склоне лет увлекаюсь юношескими чувствами и распространяюсь о них в печати»[928].

Соловьев любит свою Сайму и в бурю, когда она плещет волной беспокойною и, не вспоминая о первобытных веках своей царственной свободы, бьется и волнуется. Созерцание дикой невольницы Саймы, бьющейся в гранитных оковах, наводит Соловьева на мысль о судьбе финского народа и, скитаясь по лесам Финляндии, он слагает молитву Богу правды, «чтобы насилия прилив о камни финские разбился»[929]. Еще прекраснее его возлюбленная, когда она спит, «закутавшись шубой пушистой», в прозрачной, белой тишине.

Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь,

---

925 П., I, стр. 85.

926 Там же, стр. 121.

927 Стих., стр. 132; Соч., XII, стр. 42.

928 Там же, XII; Соч., XII, стр. 3.

929 Стих., стр. 238; Соч., XII, стр. 41.

Вся ты в лучах, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь[930].

В тишине снежной Финляндии у Соловьева растет пророческое ясновидение, зреет предчувствие мировой катастрофы.

Одиноко идет он к загадочной цели, средь снежной пустыни сыпучей, и тишина вслух говорит ему: нежданное сбудется вскоре. Лазурное око, светившее ему сквозь мрачнонависшие тучи, тонуло (?) в тумане. Пустыня без цели и путь без стремления.

И голос все тот же звучит в тишине без укора:
Конец уже близок, нежданное сбудется скоро[931].

С начала 90-х годов Соловьев начинает задумываться о желтой опасности панмонголизма. Он изучает историю и культуру Японии и Китая, живо следит за дальневосточной политикой, вращается в сфере петербургских дипломатов. «Напишите, подтвердилось ли известие о заключении союза между Японией и Китаем; это очень важно», пишет Соловьев к Величко 25 апреля 1895 г. с Иматры[932]. Этой же зимой написано стихотворение «Панмонголизм», где предсказывается разрушение русской империи монголами, как Божия кара за отреченье третьего Рима от Мессии, подобное отречению второго Рима – Византии.

О Русь! Забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен[933].

---

930 Стих., стр. 133; Соч., XII, стр. 44.
931 Там же, стр. 139; Соч., XII, стр. 46.
932 П., I, стр. 227.
933 Стих., стр. 240; Соч., XII, стр. 96.

Рождество 1894 г. Соловьев встретил на Иматре в глубоком религиозном настроении. В рождественские дни написаны им два стихотворения: «Имману-Эль»[934] и «Ночь на Рождество»[935]. Он чувствует, как то слово, которое давно было рождено под яслями, вновь родилось в его душе, что Бог с нами, здесь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог. И ему уже не жаль несбывшихся теократических надежд. Приходится признать, что

Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

«Пусть все поругано веками преступлений», источник истины не заглушен в глубинах мирового сознания, укор совести сильнее всех сомнений, отвергнутый тьмой свет светит там, где грань добра и зла.

Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.

Соловьев не жил безвыездно в своей снежной Фиваиде. Время от времени он наезжал в Петербург. 13–25 декабря он извещает Величко: «Вслед за этим письмом поеду в Петербург. Не обижайтесь, если не прямо к Вам. Я не уверен, устроилась ли у Вас спальня, и так как знаю, что из доброты ко мне Вы готовы лишить себя самого необходимого удобства, то должен быть осторожен, чтобы не допустить Вас до этого. Но если у Вас все в порядке, то поселюсь дня на четыре – кончать Канта, как два года тому назад – Гегеля»[936]. Здесь подразумеваются статьи о Гегеле и Канте для энциклопедического словаря.

---

[934] Стих., стр. 135; Соч., XII, стр. 33.
[935] Стих., стр. 136; Соч., XII, стр. 43.
[936] П., I, стр. 207.

Однажды Величко сопровождал своего друга на Иматру.

«Помню, как мы с ним однажды ехали из Иматры лесом в Рауху, где он жил зимой 1895 года», вспоминает Величко. «Сквозь ветви пышных сосен и елей ярко сияла луна. Синеватый снег сверкал миллионами алмазов, спорхнувшие стаи синичек и снигирей о чем-то защебетали словно весною... Мы онемели оба как в опьянении, и я невольно воскликнул: "Видишь ли ты Бога?". Владимир Соловьев точно в полусне, точно перед ним в действительности проходило близкое душе видение, отвечал: "Вижу богиню, мировую душу, тоскующую о едином Боге". Всю дорогу затем мы промолчали»[937].

Этой же зимой написаны статьи о поэзии Тютчева и Алексея Толстого. Первая из них принадлежит к лучшим произведениям Соловьева: он как бы открыл впервые все значение Тютчева. В Тютчеве для Соловьева валено и дорого то, что он не только *чувствовал*, а и *мыслил* как поэт, был *убежден* в объективной истине поэтического воззрения на природу. Он не считал природу умершей с концом мифологического мировоззрения древних греков, как Шиллер, но знал, что в природе есть душа, свобода, любовь и язык[938]. «Сам Гёте не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, *темный корень* мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту таинственную основу всякой жизни, основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества»[939].

«Главное проявление душевной жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь, и тут опять наш поэт сильнее и яснее других отмечает ту самую демоническую и хаотическую основу, к которой он был чуток в явлениях внешней природы. Этому вовсе не противоречит прозаичный,

---

[937] Величко, Op. cit. 54.

[938] Соч., VII, стр. 120.

[939] Там же, стр. 125.

одухотворенный характер Тютчевской поэзии. Напротив, чем свежее и духовнее поэтическое создание, тем глубже и полнее, значит, было прочувствовано и пережито то темное, недуховное, что требует просветления и одухотворения»[940]. Единственный исход из «злой жизни» с ее коренным раздвоением и противоречием, – примкнуть к «Вождю на пути совершенства», заменить роковое и убийственное наследие древнего хаоса духовным и животворным наследием нового человека, или Сына человеческого.

Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть[941]...

Переходя далее к славянофильским идеям Тютчева, к его вере в русскую теократическую монархию от Нила до Ганга с Царьградом как столицей, Соловьев осторожно вступает в спор с великим поэтом. «Допустим, становясь на точку зрения Тютчева, что Россия – душа человечества. Но, как в душе природного мира, и в душе отдельного человека светлое духовное начало имеет против себя темную хаотическую основу, которая еще не побеждена, еще не подчинилась высшим силам – которая еще борется за преобладание и влечет к смерти и гибели, точно также, конечно, и в этой собирательной душе человечества, то есть в России. Ее жизнь еще не определилась окончательно, она еще двоится, увлекаемая в разные стороны противоборствующими силами. Воплотился ли уже в ней свет истины Христовой, спаяла ли она единство всех своих частей любовью? Сам поэт признает, что она еще не покрыта ризою Христа»[942].

---

[940] Соч., VII, стр. 129.
[941] Там же, стр. 131.
[942] Там же, стр. 134.

В отличие от Тютчева, поэта исключительно созерцательной мысли, Соловьев определяет А. Толстого, как поэта *мысли воинствующей*, поэта-борца, державшего стяг во имя красоты[943]. Толстой славил, в прозе и стихах, своей идеал истиннорусской, европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар азиатского деспотизма. Начало истинного национального строя он находил в Киевской эпохе нашей истории, осуществление противоположного принципа он видел в периоде Московского государства, к которому относился с яростной враждой. «Моя ненависть к московскому периоду», – пишет он в одном письме, – «есть моя идиосинкразия... Моя ненависть к деспотизму – это я сам»[944]. Последние главы, посвященные критике византийско-монгольских традиций, являются переходом к статье «Византизм и Россия», написанной к концу 1895 г. Соловьев находит, что в России, как и в ее учительнице Византии, слабо развито *сознание безусловного человеческого достоинства*, принцип самостоятельной и самодеятельной личности[945].

С января 1895 г. Соловьев чувствует «настойчивый и властный призыв родных теней». Его уединение наполняется душами умерших друзей:

Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой...[946]

Летом 1892 г. в Морщихе Соловьеву слышались вопли из края мертвецов, сердце дрожало, лились слезы... Теперь от приближения умерших он чувствует «горькую радость и сладкую тоску»[947].

---

943 Соч., VII, стр. 135.
944 Там же, стр. 151.
945 Там же, стр. 158.
946 Стих., стр. 137; Соч., XII, стр. 44.
947 Стих., стр., 141; Соч., XII, стр. 44.

Еще незримая уже звучит и веет
Дыханьем Вечности грядущая весна.

Что пророчит этот призыв родных теней? расцвет ли новых сил, или смерть? Так спрашивал Соловьев. Действительно этот призыв пророчил и то и другое: торжественный расцвет новых сил перед смертью. Но посещали Соловьева и минуты горькой тоски по невозвратном мгновении.

Того мгновенья жаль, что сгибло навсегда,
Его не воскресить...[948]

Из глаз его текли потоки слез и ему казалось, что за мигом вечности медленно плетутся тяжелые года. Земная действительность все более давила его своим кошмаром...

В Раухе Соловьеву приходилось много страдать от холода. В октябре 1894 г. письмо к Стасюлевичу кончается восклицанием: «Страшный мороз с ветром. Ой, Ой, Ой!»[949]. 24-го января 1895 г. – в письме к Гроту: «Я здесь пока благоденствовал, и морозы без ветра мне нисколько не вредили, но прошлою ночью, когда было 30°, при таком сильном ветре, что стекла в окнах гудели, я, кажется, основательно застудил свой геморрой в первобытном здешнем заведении. Надеюсь излечиться горячею ванной»[950].

К Пасхе 1895 г. мы находим Соловьева в Раухе. Он приветствует словами «Христос воскресе» Величко, Стасюлевича и брата Михаила. «Я благополучно приехал, но не совсем благополучно водворился в Раухе», сообщает Соловьев Величко, «она полна гостей, комната моя оказалась занятою, и мне дали другую внизу, с ходящими над моей головой индивидуями обоего пола и разного возраста. Зима здесь

[948] Стих., стр. 140; Соч., XII, стр. 46.
[949] П., IV, стр. 68.
[950] П., I, стр. 91.

в полной силе, и это начинает быть скучным. Некоторая компенсация всего этого – соседство семьи Ауэр, – воспоминания о Неаполе и Сорренто, где я 19 лет тому назад слегка увлекался мадам Ауэр, – теперь она наполовину оглохла и с нею три взрослых дочери[951]».

Но в пасхальном письме к Стасюлевичу уже говорится о наступлении весны. «Сегодня неожиданно наступила здесь весна, хотя все еще бело кругом[952]». «Сегодня озеро, наконец, вскрылось и сейчас же без всяких приготовлений отразило в себе великолепную зарю[953]» И в письме к брату Михаилу: «Я сижу, окруженный тающим снегом. Картина еще зимняя, но способов передвижения никаких. "Беру воздух" на балконе. Впрочем еще третьего дня я гулял по снежным равнинам озера Саймы с мадам Ауэр, за которою 19-ть лет тому назад ухаживал на Везувии: какой символизм! Теперь у нее 19-летняя дочь Зоя, напоминающая мне Катю Владимировну лет двадцать тому назад. Я ей говорю (мысленно):

> Ich bin nun zwei-und-vierzig Jahre alt
> Und du bist neunzehnjährig kaum. –
> O Зоя! Wenn ich dich erblicke,
> Erwacht in mir der alte Traum.

Но более я беседую с матерью, которая еще не уходит под портик сок гранаты выжимать[954]». Под символизмом Соловьев очевидно разумеет контраст Везувия и снежных равнин Саймы в соответствии с изменением душевного состояния самого Соловьева за 19 лет.

---

[951] П., I, стр. 222.
[952] П., IV, стр. 69.
[953] П., I, стр. 127.
[954] П., IV, стр. 132. – Здесь намек на стихи Кузьмы Пруткова: Под портик уходит мать / Сок гранаты выжимать. / Зоя, нам никто не внемлет, / Зоя, дай тебя обнять.

С весною Соловьев чувствовал себя «воскресшим». В апреле написано им стихотворение «Воскресшему», открывающее последний отдел стихотворений в 3 издании. Соловьев был не очень доволен этим стихотворением, переделывал его и в конце концов отзывается о нем в письме к Стасюлевичу так: «Все стихотворение так себе, с грехом пополам, и если название "Воскресшему" покажется Вам слишком громким, то выкиньте его и замените звездочками»[955]. Чтобы доказать объективное отношение к своему стихотворению, Соловьев написал на него «самопародию».

Нескладных виршей полк за полком
Нам шлет Владимир Соловьев
И зашибает тихомолком
Он гонорар набором слов[956].

Характерна последняя строфа стихотворения «Воскресшему»:

Души созревшего расцвета
Не сдержит снег седых кудрей,
Лишь эту смесь зимы и лета
Осветит взор твоих очей[957].

Чьих очей? Конечно, не мадам Ауэр... Соловьев возвращается к переживаниям 1875 г., и скоро его опять потянет в Египет. Иногда весна Финляндии пробуждала в душе поэта грустные чувства:

Наконец она стряхнула,
Обветшалый свой убор,
Улыбнулась и вздохнула
И открыла ясный взор.

---

[955] П., I, стр. 128.
[956] П., IV, стр. 70; I, стр. 225; Стих., стр. 330; Соч., XII, стр. 124.
[957] Стих., стр. 143; Соч., XII, стр. 61.

Неба пламенные розы
Отражаются в волне,
И разносит дух березы
Лес в прозрачном полусне.

Отчего же день расцвета
Для меня печали день?
Отчего на праздник света
Я несу ночную тень?

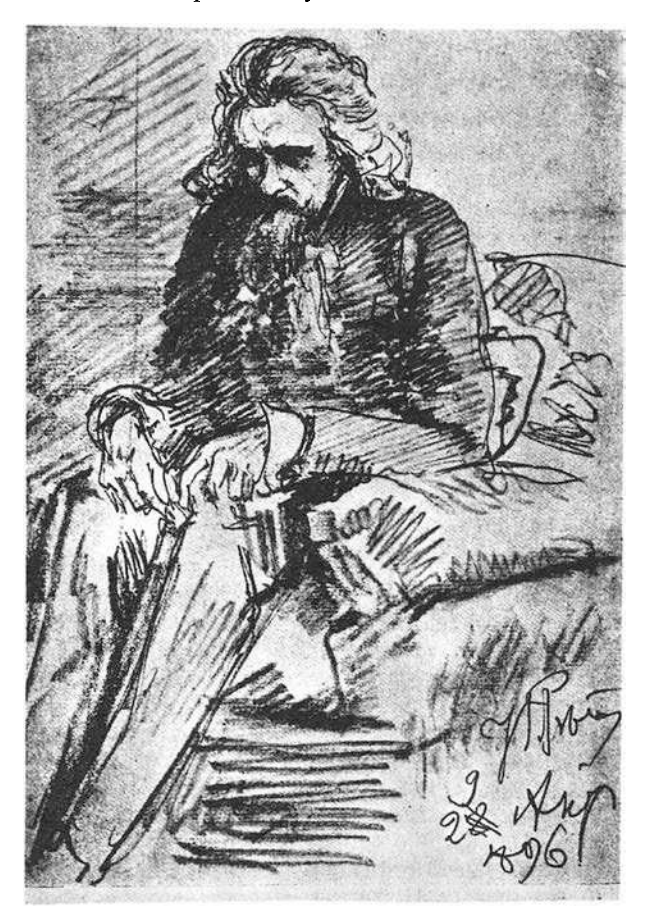
С пробудившейся землею
Разлучен, в немой стране
Кто-то с тяжкою тоскою
Шепчет: вспомни обо мне![958]

Вероятно, этот «кто-то», разлученный с пробудившейся землею, был никто иной, как поэт весны, гостеприимный хозяин Воробьевки А. А. Фет.

В мае Соловьев приехал в Москву[959], оттуда направился в Петербург и остановился в казармах у полковника В. Д. Кузьмина-Караваева. Но в казармах начался ремонт, и Соловьев извещает Стасюлевича о своем намерении приехать дней на 10 в Финляндию. «Я думаю, что в моем предстоящем некрологе, а также в посвященной мне книжке биографической библиотеки Павленкова, будет, между прочим, сказано: “лучшие зрелые годы этого замечательного человека протекли под гостеприимною сенью казарм кадрового батальона лейб-гвардии резервного пехотного полка, а также в прохладном и тихом приюте вагонов царскосельской железной дороги”»[960].

[958] Стих., стр. 142; Соч., XII, стр. 47.
[959] П., IV, стр. 132.
[960] Там же, стр. 71.

Муза Соловьева примолкла. После весны 1895 г. он написал только одно стихотворение в 8 стихов: «Эти грозные силы, что в полдень гремели», помеченное Царским селом[961]. Дата следующего стихотворения – уже 1896 г.



Вл. С. Соловьев в минуту мрачного раздумья (Рисунок И. Е. Репина)

[961] Стих., стр. 144; Соч., XII, стр. 61.

Глава 4
Оправдание добра. Византизм и Россия. Тайное присоединение к католической Церкви

Явился в мире свет, и свет отвергнут тьмою
Но светит он во тьме, где грань добра и зла.

В. Соловьев

В 1884 г. Соловьев писал Кирееву: «Вы мне советуете писать книгу *об этике.* Но я ведь этику не отделяю от религии, а религию не отделяю от положительного откровения, а положительное откровение не отделяю от Церкви. О то заковыка! И если мне нельзя свободно писать о церковной заковыке, то я не могу писать и об этике»[962].

Но с 1884 г. взгляды Соловьева несколько изменились. Во введении к «Оправданию добра» он говорит: «По существу своему нравственная философия находится в тесной связи с религией, а по способу познания – с теоретической философией. Мы не можем заранее объяснить, в чем состоит эта связь, но мы уже теперь можем и должны сказать, в чем она *не состоит.* Ее не следует представлять как одностороннюю зависимость этики от положительной религии, или же от умозрительной философии – такую зависимость, которая отнимала бы у нравственной области собственное содержание и самостоятельное значение. Взгляд, всецело подчиняющий нравственность и нравственную философию теоретическим принципам положительно-религиозного или философского характера, весьма распространен в той или другой форме. Несостоятельность его тем более для меня ясна, что я сам некогда, если не разделял его вполне, то был к нему очень близок»[963].

---

[962] П., II, стр. 118.
[963] Соч., VIII, стр. 26.

Дать сколько-нибудь полное изложение «Оправдания добра» нам не позволяют рамки нашей работы. Отметим только главные пункты.

Первичными данными нравственности Соловьев считает три чувства: стыда (полового), жалости или альтруизма и благоговения или страха Божия. Вступая в спор с Платоном, стыдившимся своей телесности, находившим постыдным акт питания, Соловьев утверждает, что в телесности самой по себе нет ничего постыдного. Постыдно порабощение духа силами низшей, животной природы. Не акт питания, а половой акт возбуждает чувство стыда, и против него свидетельствует совесть. «В момент грехопадения в глубине человеческой души раздается высший голос, спрашивающий – где ты? Где твое нравственное достоинство? Человек, владыка природы и образ Божий, существуешь ли ты еще? – И тут же дается ответ: Я услышал Божественный голос, я убоялся возбуждения и обнаружения своей низшей природы: *Я стыжусь, следовательно существую,* не физически только существую, но и нравственно, я стыжусь своей животности, следовательно, я еще существую как человек»[964].

Цель человека – одухотворение своей телесности и победа над смертью и тлением. Путей аскетизма два: брак, как ограничение чувственной жизни и подчинение ее нравственному чувству и закону, и монашество, как полное отречение и образ жития ангельского. Есть третий и высший путь, богочеловеческий. Об этом пути полнее и яснее Соловьев говорит в статье «Жизненная драма Платона», которой мы коснемся в главе 6-й. Если есть аскетизм ангельский, то есть и аскетизм сатанинский, во образ самого дьявола, который не ест и не пьет и пребывает в безбрачии.

---

[964] Соч., VIII, стр. 54.

Аскетизм и экономизм – две с виду чуждые друг другу, но по существу однородные идеи нашей эпохи. Человек должен сознать свою обязанность по отношению к материальной природе, способствовать ее одухотворению и нетлению.

По поводу жалости или альтруизма Соловьев приводит цитату из св. Исаака Сирина о «сердце милующем» и «возгорении сердца у человека о всем творении»[965], которую он уже приводил в «Критике отвлеченных начал».

Отдельные главы посвящены вопросам права, экономическому, национальному и т. д. В вопросах права и государства Соловьев находится в скрытой полемике со Львом Толстым. Он стоит на точке зрения гуманной, христианской государственности. Теорию юридического возмездия он признает нелепой и считает целью наказания исправление преступника, а не отомщение. Соловьев является апологетом государственно-правового начала. Право есть организованная жалость и справедливость. Оно спасает общество и от «жгучего ада анархии» и от «ледяного ада деспотизма». Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад[966]. Война есть зло, но неизбежное при несовершенном состоянии общества. Отказ от военной службы приводит к злу большему, чем война. Войну можно сравнить с болезнью, которая есть борьба организма с микробами.

Экономическая реформа должна быть произведена на трех основаниях: 1) Вещественное богатство не должно признаваться самостоятельною целью хозяйственной деятельности человека; 2) Производство не должно совершаться за счет человеческого достоинства производителей, и ни один

---

[965] Соч., VIII, стр. 95.

[966] Там же, стр. 413.

из них не должен становиться только орудием производства. 3) Должны быть признаны обязанности человека к земле[967].

Повторяя и дополняя свои мысли по национальному вопросу, Соловьев противопоставляет национальному идеалу идеал единой, христианской Европы, единство которой в настоящее время скреплено международным рынком. За кругом европейско-христианской цивилизации находится только монгольская раса, но европейское просвещение делает большие успехи в Японии. Возможно близкое столкновение между христианской Европой и монголами, но это столкновение еще может быть предотвращено, если Европа станет воистину христианской и на деле докажет свою верность законам Евангелия.

Кончается книга повторением старой схемы: первосвятитель Церкви как носитель авторитета, вершина благочестия; государь, как носитель власти, вершина милости и правды, и пророк – носитель духа свободы, вершина стыда и совести. Пророческое служение было в Ветхом Завете, оно по праву было упразднено христианством и большей частью выступало на исторической сцене в извращенной форме. Но оно должно быть восстановлено[968]. Мы согласимся с Е. Трубецким, назвавшим эти страницы «вымученными». Соловьев пишет о царе и первосвященнике без того пафоса, которым дышат страницы Теократии и La Russie. Чувствуется, что здесь осталась одна схема. Соловьев конкретно видит только третье лицо Теократии – пророка, христианского государя он не знает. Со вступлением на престол Николая II русские теократические иллюзии были более невозможны. Далее мы увидим, что перед самой смертью Соловьев хотел уверовать в Вильгельма II, как теократического государя и «наследника

---

[967] Соч., VIII, стр. 373–381 (см. оглавл. XXI).
[968] Там же, стр. 509.

меченосной рати». Что касается первого лица теократии, – первосвятителя (характерна замена термина «первосвященник» термином «первосвятитель«), то отношение Соловьева к единственному конкретному первосвятителю вселенской Церкви – папе римскому, в то время было неопределенно. Выяснялся один несомненный факт: разрыв Соловьева с греко-российскою церковью, которую он в письме к Величко называет «греко-российской синагогой». В апреле 1895 г. Соловьев пишет Величко: «Во-первых, для меня ясно, что вопрос о православии и его истине, преимущественно перед протестантством, не имеет прямого отношения к делу. Поясню это притчей:

– В некоем городе было две школы. Одна из них отличалась превосходною программою учебною и воспитательною, – программа эта не оставляла ничего желать в смысле правильности и полноты, так что, судя по одной программе, всякий должен был сказать: какая это, право, чудная школа! Однако, при всем том, начальство и учителя этой образцовой школы частью ничего не делали для обучения и воспитания юношества, частью же предавались содомскому греху и растлевали вверенных им питомцев. Вторая школа имела программу, хотя в основе правильную, но весьма неполную и скудную; однако, учителя в ней, вообще говоря, добросовестно исполняли свои обязанности и от содомии и других неправильностей воздерживались. Резон ли взять младенца этой второй школы и поместить в первую ради великолепия ее программы?

Далее, пока Ваша принадлежность к греко-российской синагоге есть только внешний факт, происшедший не по Вашей воле, Вы ни за что не отвечаете; но когда Вы, по собственной воле, сознательно, намеренно и без всякого принуждения присоединяете к названному учреждению малолетнее и потому безответственное существо, то Вы

торжественно заявляете свою солидарность с этим учреждением, и все его грехи переходят на Вас: тогда уже Вы *лично* виноваты и в сожжении протопопа Аввакума, и в избиении крожских крестьян, и в запрещении молитвенных собраний штундистов и в тысячах других фактов того же вкуса.

Наконец, Ваше *личное* положение изменилось бы еще с иной стороны. Теперь, например, я прожил у вас несколько недель великого поста, и мы с Вами правил поста не соблюдали и в церковь не ходили и ничего в этом дурного не было, так как все это не *для нас* писано, и всякий это понимает, но, когда Вы торжественно себя заявите *ревнителем* господствующей Церкви, то уже нельзя будет сказать, что ее правила и уставы не для Вас писаны...[969] Соловьев определенно заявляет, что «правила и уставы православной Церкви не для него писаны». Прибавим, что в настроении, которым проникнуто цитируемое письмо к Величко, невозможно присоединение не только к «греко-российской синагоге», но и к римской Церкви. Если присоединиться к православной Церкви – значит взять на себя сожжение Аввакума, то сколько костров приходится брать на свою совесть при соединении с римской Церковью? И самое понятие о Церкви, как программе, которую можно принять или отвергнуть в зависимости от успешности ее выполнения – самое это понятие глубоко антикатолично. Если католические взгляды сделали невозможным пребывание Соловьева в православной Церкви, то его протестантские взгляды становились стеной между ним и Римом.

Слова Соловьева о том, что «церковные правила не для него писаны», заставляют нас коснуться одного маловыясненного факта. Соловьев уже несколько лет не исповедывался и не причащался у православных священников, после того,

---

[969] П., I, стр. 223–224.

как протоиерей церкви Св. Троицы в Зубове, Орлов, отказался дать ему отпущение грехов, если он не отречется от своих католических взглядов. В котором году произошел этот эпизод? Католический священник Н. А. Толстой говорил мне, что эта исповедь у протоиерея Орлова была или во время или после тяжелой болезни и когда Соловьев был расстроен травлей «Московских Ведомостей». Это как будто указывает на дифтерию в ноябре 1891 г., когда «Московские Ведомости» действительно травили Соловьева за его лекцию «Об упадке средневекового мировоззрения». Но в письме к брату Михаилу мы читаем: «Во время дифтерита я причащался и очень этому рад»[970]. Что Соловьев написал брату неправду, нет основания предполагать. Следующая тяжелая болезнь – холера, летом 1894 г., в Петербурге. Но исповедь у Орлова, настоятеля приходской церкви Соловьева в Зубове, могла быть только в Москве. По-видимому, указания Н. А. Толстого не совсем точны, хотя самый факт отказа со стороны прот. Орлова дать причастие автору «La Russie» – бесспорен. Мы думаем, что этот факт оказал большое влияние на психологию Соловьева и окончательно поставил его в status belli по отношению к греко-российской церкви. В этом отношении характерно стихотворение «Признание», в письме к Стасюлевичу от 30 сентября 1894 года:

Я был ревнитель правоверия,
И съела бы меня свинья,
Но на границе лицемерия
Поворотил оглобли я.
Душевный опыт и история,
Коль не закроешь ты очей,
Тебя научат, что теория

[970] П., IV, стр. 125.

Не так важна как жизнь людей,
Что правоверие с безверием
Вспоило то же молоко,
И что с холодным лицемерием
Вещать анафемы легко.
Стал либерал такого сорта я,
Таким широким стал мой взгляд,
Что снять ответственность и с чорта я,
Ей Богу, был бы очень рад...[971]

В то же время Соловьев произносит свой окончательный приговор над Византизмом в статье «Византизм и Россия», написанной в 1895 г. и напечатанной в «Вестнике Европы» 1896 г. в №№ 1–4[972].

Соловьев давно подготовлял для «Вестника Европы» «византийский этюд». В 1891 г. он писал Стасюлевичу: «...готовлю для "Вестника Европы" очерк об императорском культе в древнем Риме. Это будет в роде вступления в дальнейший византийский этюд»[973]. В том же году он пишет Фету: «А я все сижу над пустынею византийского богословия или многословия, которое наглядно доказывает, что и сухое может быть водянистым»[974].

Статья «Византизм и Россия» является развитием строфы стихотворения «Панмонголизм»:

Когда в растленной Византии
Остыл божественный алтарь,
И отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь...[975]

Причиной гибели Византии был не ложный предмет веры, ибо то, во что верили византийцы, было истинно, а ложный

[971] П., IV, стр. 67.
[972] Соч., VII, стр. 285.
[973] П., IV, стр. 59.
[974] П., IV, стр. 229.
[975] Стих., стр. 239; Соч., XII, стр. 95.

характер их веры. Истинная идея христианства была только предметом их умственного признания и обрядового почитания, а не движущим началом жизни[976]. В Византии было всеобщее равнодушие к историческому движению добра[977].

Турецкое правительство оказалось истиннее и крепче, оно не сочиняло сомнительных догматов и зловредных речей, а также не защищало православие посредством повального избиения еретиков и торжественного сожжения ересиархов на кострах[978]. После последнего вселенского собора на Востоке, т. е. с 8 века, высшей церковной властью являются «вселенские патриархи» в Царьграде, но это только пышное название, ибо они находятся вполне в руках светской власти, которая по собственному усмотрению возводит и низвергает их, так что в действительности верховное управление в византийской Церкви принадлежит всецело и безраздельно императорам, которым, кроме царских, воздаются и архиерейские почести[979]. Разбирая мелочную полемику Михаила Керуллария и других византийцев против латинской Церкви, Соловьев язвительно замечает: «Можно только пожалеть, что преимущество жизненности и соли остались в квасном хлебе, а не сделались отличительными свойствами византийского ума[980].

Россия – славяно-финская народность, оплодотворенная германцами. Она показала свое духовное превосходство над Византией в лице св. князя Владимира, находившего несогласным с духом христианства казнить смертью даже явных разбойников. Но в Московской Руси воцарился вавилонско-византийский деспотизм[981]. Соловьев приводит легенду,

---

[976] Соч., VII, стр. 286.
[977] Там же, стр. 288.
[978] Там же, стр. 289.
[979] Там же, стр. 303.
[980] Там же, стр. 318.
[981] Там же, стр. 303.

записанную в Самарском крае. «Царь Иван Васильевич кликал клич: кто мне достанет из *Вавилонского царства* корону, скипетр, рук державу и книжку про них? Борма-ярыжка исполнил царские пожелания и в награду просил только одного: «Дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках» – не лишенное знаменательности заключение для этого обратного процесса народного сознания в сторону диких языческих идеалов[982].

Местный клерикализм в России стал невозможен. Русский патриарх был представитель не вселенского христианства, а византийского благочестия. Соловьев оправдывает синодальную реформу Петра I-го. «Церковное управление уже на деле превратилось в отрасль государственную прежде, чем было объявлено в этом качестве официально. Это была одна из наиболее естественных, правдивых, а потому и прочных реформ Петра Великого»[983]. Русские иерархи доказали свое моральное бессилие, когда в трагическую минуту жизни великого царя, когда он обратился к ним за советом по делу царевича Алексея, могли ответить только: «Сердце царево в руке Божией».

Итак, в короне византийско-русского императора Соловьев видит теперь древнее наследие Вавилона, «венец Навуходоносоров». В шуточном стихотворении «Эфиопы и бревно», написанном в Раухе в октябре 1894 г., под бревном, упавшим с неба, по-видимому, надо разуметь русское самодержавие:

Бревно меж тем лежит. Вот в трепете великом
Ничком к нему ползут!
Бревно лежит бревном. И вот, в восторге диком,
Уж гимн ему поют!

982 Соч., VII, стр. 298.
983 Там же, стр. 325.

«Могучий кроткий бог! Возлюбленный, желанный!»
Жрецы уж тут как тут:
Уж льют на край бревна елей благоуханный,
Коровьим калом трут.

Бревну воздвигают пышный храм, устанавливают строгий чин богослужения.

Бревну такая жизнь, что помирать не надо,
Живет до сей поры[984].

Второй член теократии – царь – превратился в фикцию. Но первый член – первосвященник – был в Риме. Каково же отношение Соловьева к Риму в эти годы? В обществе распространен взгляд, что Соловьев в 90-х годах отказался от своих католических идей и от книги «La Russie». Действительно, например в письме к писателю-народнику Льву Павловичу Никифорову Соловьев говорит: «О французских своих книгах не могу Вам ничего сообщить. Их судьба меня мало интересует. Хотя в них нет ничего противного объективной истине, но то субъективное настроение, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты. В январе 1894 г. Соловьев писал Гроту, что можно будет издать "l'Eglise universelle" новым, переработанным изданием» (П., I, стр. 83).

Недавно напечатанные письма к Тавернье бросают свет на занимающий нас вопрос. Из них вполне ясно, что Соловьев никогда не оставлял мысли о соединении церквей и всегда считал папство «центром христианского единства, законным и традиционным, вокруг которого должны объединиться все истинно-верующие»[985]. Насколько Соловьев не отказывался от мысли о соединении с Римом, видно из письма к Тавернье 6 апреля 1894 года: «Дело идет о важном движении между

---

[984] Стих., стр. 274; П., I, стр. 206.
[985] П., IV, стр. 199 (перевод-221).

русскими диссидентами (которых считают протестантами) и рационалистами, но которые в действительности не таковы (к католичеству – vers la catholicité) (я еще не говорю католицизму – catholicisme). Они, между прочим, стоят за законную иерархию, т. е. обладающую апостольской преемственностью.

Так как нет никакой практической возможности получить желаемое из восточного источника, следовательно...

Второе предположение – единственное остающееся – было бы тем более желательно, что оно к преимуществу законности присоединило бы правильность. Вы понимаете, какое личное впечатление производят на меня эти новые горизонты, открывшиеся так неожиданно.

Я увидел, что я приготовил себе за последние двенадцать лет (не думая об этом и не предвидя) роль практическую и неизбежную, что я не ошибся и что я работал не напрасно даже с точки зрения чисто-практической. Дело уже идет не о том только, чтобы "бросать семена добрые", но подготовить и привести в исполнение исторический акт совершенно определенного характера и неисчислимой важности»[986].

В сочинениях Соловьева середины 90-х годов трудно узнать автора-католика. Особенно следует это сказать об «Оправдании добра», где Соловьев высоко оценивает реформацию. Несомненно затем, что полемика Соловьева с православием во имя принципа «веротерпимости» трудно соединима с определенным конфессионализмом. Тем более надо сказать это об идее восстановления пророческого служения, по праву в свое время упраздненного христианством, и «религии духа, которая шире всех исповеданий», как обмолвился Соловьев в письме к Розанову от 92 г.[987]

---

[986] П., IV, стр. 195 (218).
[987] П., III, стр. 44.

Вообще «Оправдание добра», при всем аскетизме морали, лишено того церковного духа, который дышит в сочинениях Соловьева 80-х годов. Но мы не можем по «Оправданию добра» судить о внутренней жизни Соловьева в 90-х годах. В этом сочинении все закончено, закруглено, схематизировано, оно исполнено глубокого оптимизма и спокойствия. Между тем, Соловьев скоро принужден был испытать всю тяжесть своего положения в оторванности от Церкви. Его начинают преследовать мрачные видения, он часто видел дьявола... «Он неоднократно говорил мне», передает Величко, «что видит во сне арлекина, выскакивающего из самых разнообразных и непредвиденных мест. Идея арлекинады и всяких вообще превращений преследовала его как кошмар и причиняла ему серьезную нравственную боль».

В начале 1896 г. Соловьев решился на тайное присоединение к католической церкви. В то время в Москве жил русский католический священник восточного обряда, Николай Алексеевич Толстой, родственник поэта А. Толстого, знакомый Соловьеву по салону С. П. Хитрово. Окончив Московскую Духовную Академию в сане православного священника, Н. А. Толстой, не без влияния идей В. Соловьева, принял католичество греческого обряда. Соловьев нашел в нем католика, близкого по духу, которому глубокая убежденность в истине католицизма не мешала всем сердцем любить и понимать православную церковь. Толстой имел часовню у себя на квартире в одном из переулков Остоженки. 19 февраля 1896 г., в день памяти Св. Льва Великого, особенно чтимого им римского папы, Соловьев принял причастие из рук о. Толстого. Перед обедней он прочитал Тридентский символ веры. За обедней присутствовал Дмитрий Сергеевич Новский, молодой человек, тайно приявший католичество и получивший в Галиции сан иподиакона. Новский окончил два факультета: математический и филологический

по классическому отделению, мечтал посвятить себя древней философии, но С. Н. Трубецкой отнесся к нему холодно и не оставил при университете. Новский окончил жизнь учителем латинского языка в Ярославле.

О присоединении Соловьева к католической церкви Толстой напечатал сам в «Московских Ведомостях» 21 августа 1910 г. Мне лично этот факт был всегда известен, я слышал о нем и от моего отца, и от Новского. Вскоре после причащения Соловьева Толстому пришлось в переодетом виде, в брюках Новского и в шубе Соловьева убегать за границу. Помню, как Владимир Соловьев, придя к нам, рассказывал за обедом: «Сейчас я, надев на отца Толстого мою шубу, отвез его на Николаевский вокзал». В Петербурге Толстой получил заграничный паспорт через иностранных послов и морем отплыл в Рим. Для всякого католика причащение Соловьева у католического священника и прочтение им Тридентского символа веры есть присоединение к римской церкви. Но как смотрел сам Соловьев на это событие своей жизни? Обратимся к фактам. После причащения у Толстого Соловьев ни разу не приступал к таинству до самой смерти, когда, во время болезни в Узком, позвал православного приходского священника. Новский рассказал мне, что на вопрос, почему Соловьев не обратился к одному из польских или французских священников, тот отвечал: «Вы – молодой человек, Вам легко оторваться от родных традиций. А я подожду, пока приедет в Москву какой-нибудь русский католический священник». Н. Толстой находился в изгнании и жил в Риме и во Франции. Второй русский католический священник о. Алексей Зерчанинов томился в крепости. Других в то время не было. Дело было опасное и требовало большой осторожности. Через год с небольшим после 18-го февраля 1896 г., 14 мая 1897 года, Соловьев обратился в редакцию «Нового Времени» с письмом, где говорит: «1) Никакой

внешней официальной унии с Римом (в смысле А. А. Киреева) я никогда не предлагал, во-первых потому, что считаю ее невозможной, во-вторых, потому, что нахожу ее нежелательной, и, в третьих, потому, что никаких полномочий для переговоров с ней никогда не имел от предержащих властей той или другой стороны.

2) Принадлежащее всякому христианину полномочие, о котором говорит ап. Иоанн Богослов ("имеете помазание от святого и ведаете все"), побуждает меня судить о междуцерковных отношениях лишь в том смысле: согласны ли они с духом Христовым? Как явно чуждые этому духу они не могут быть признаны нормальными.

3) Целое тысячелетие таких антихристианских отношений неизбежно породило кучу всяких недоразумений и предвзятых мыслей, и первый практический шаг к тому, чтобы поставить церковное дело на истинно-христианскую почву, есть открытое, всестороннее и безбоязненное обсуждение всех религиозных и церковных вопросов, а для этого необходима у нас прежде всего полная свобода богословского и церковно-исторического исследования, без чего невозможно правильное внутреннее движение религиозной мысли и чувства. Без такого движения духовная жизнь общества слабеет, а при духовном сне, что может дать наружное, формальное соединение церквей, кроме лишнего кошмара? В этом деле, как и во всяком другом, внешний результат не зависит от нас, но он и не имел бы важности сам по себе. А то, что важно и чем решается дело, то в нашей власти: неутомимое искание правды с искренним желанием мира»[988]. Некоторые, например С. Н. Булгаков, предполагают, что Соловьев хотел практиковать intercommunion, то есть причащаться вперемежку у православных и католических священников.

[988] П., III, стр. 183.

Это предположение невероятно. Да и практически едва ли Соловьев нашел бы в то время православного священника, который дал бы ему отпущение грехов после принятия им Тридентского символа веры. А отказаться от этого исповедания Соловьев не мог, что уже раз доказал, когда не был допущен к причащению прот. Орловым. Остается признать, что мысли Соловьева по церковному вопросу в то время были смутны. Католический священник Иоанн Дейбнер передавал мне, что когда он задал Соловьеву вопрос: «Признаете ли Вы непогрешимость римского первосвященника?», Соловьев задумался и затем ответил: «когда войско идет в бой, оно должно быть уверено в непогрешимости своего вождя».

Соловьев скрывал от своих русских друзей факт своего причащения у о. Толстого. Мы имеем письмо к Стасюлевичу от 14 февраля 1896 г., то есть за четыре дня до 18-го. В этом письме нельзя найти следов тех глубоких переживаний, которые должен был Соловьев испытывать перед столь важным шагом, на который он не решился в 1886 г. у епископа Штроссмайера. Мы узнаем из этого письма, что Соловьев «приехав в Москву, заболел инфлуэнцией и теперь не совсем поправился, хотя стал выезжать». Одна фраза о «канкане с участием экзарха болгарского»[989] свидетельствует о раздражении Соловьева против восточной церкви.

Больший свет на религиозное настроение Соловьева этого времени проливает письмо к Тавернье, помеченное май-июнь 1896 г. «Об англо-романском движении я уже знал кое-что из «La Quinzaine», которое мне иногда присылают. Я нахожу это движение не только чрезвычайно желательным в самом себе, но еще весьма своевременным в момент, когда некоторая часть Right Reverends начинает делать глазки в сторону Северо-Востока; эти платонически прелюбодейные

[989] П., I, стр. 131.

заигрывания не могут иметь другого результата, как только надоесть добрым и поощрить злых; благодаря англоромансkому движению такого результата не получится.

Вы знаете, что по моему мнению, пока христианские народы Востока находятся в том состоянии, в котором они есть, всякий внешний успех их был бы несчастием для дела христианства всемирного и, следовательно, для истинных интересов всякой христианской страны, в том числе для России и Франции. И наоборот, при настоящем положении вещей все, что является успехом для западных христиан в смысле их объединения, будет счастьем для всех.

Что касается Вашей просьбы сообщить Вам данные для статьи, касающиеся моей скромной особы, я должен по причинам, о которых Вы, может быть, догадаетесь, ограничиться кратким изложением моих религиозных взглядов. Если нижеследующие заметки не нужны для означенной статьи, все же примите их как дружественное изъявление. Для начала начинаю с конца. Respice finem. На этот счет есть только три истины, засвидетельствованные словом Божиим.

1) Евангелие будет проповедано по всей земле, то есть Истина будет предложена всему человеческому роду или всем народам.

2) Сын человеческий найдет мало веры на земле, т. е. истинно-верующие составят под конец только незначительное по численности меньшинство, большая же часть человечества последует за антихристом.

3) Тем не менее после краткой и ожесточенной борьбы поборники зла будут побеждены, и меньшинство истинноверующих одержит окончательную победу.

Из этих трех истин, столь же простых, как и неоспоримых для каждого верующего, я вывожу весь план христианской политики.

И прежде всего, проповедывание евангелия по всей земле по причине того эсхатологического значения его, которое вызвало особое упоминание о нем Самого Спасителя, не может быть ограничено таким внешним действием, как распространение Библии или молитвенников и проповедей для негров и папуасов. Это только средства для настоящей цели, которая состоит в том, чтобы поставить человечество перед дилеммой: принять или отвергнуть истину, познав ее, то есть истину, правильно изложенную и хорошо понятую. Потому что очевидно, что факт истины, принятой или отвергнутой по недоразумению, не может решать судьбу разумного существа. Дело идет, следовательно, о том, чтоб устранить не только материальное неведение прошлого откровения, но также формальное неведение вечных истин, то есть устранить все духовные заблуждения, которые в настоящее время мешают людям правильно понимать открытую нам истину. Надо, чтобы вопрос быть или не быть истинно-верующим не зависел бы от второстепенных обстоятельств и случайных условий, но чтобы он был сведен к такой окончательной, безусловной форме выражения, чтоб он мог быть разрешен чистым и волевым актом или определенным решением каждого самого за себя, абсолютно моральным или абсолютно имморальным.

Теперь Вы согласитесь, без сомнения, что христианское учение в настоящее время не достигло желаемого состояния и что оно еще может быть отвергнуто верующими из-за настоящих теоретических недоразумений. Дело, значит, идет:

1) Об общем установлении христианской философии, без чего проповедывание евангелия не может быть осуществлено.

2) Если несомненно, что истина будет окончательно принята только более или менее гонимым меньшинством,

надо раз навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии, как прямой и немедленной цели христианской политики. Цель ее – справедливость, слава же есть следствие, которое придет само собой.

Наконец уверенность в окончательной победе для меньшинства истинно-верующих не должна вести нас к пассивному ожиданию. Эта победа не может быть простым и чистым чудом, абсолютным актом божественного всемогущества Иисуса Христа, ибо в таком случае вся история христианства была бы излишня. Очевидно, что Иисус Христос, чтобы восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве, и так как истинно верующие и есть и будут только меньшинством, они должны тем более удовлетворять условиям своей качественной и внутренней силы; первое их этих условий, это единство нравственное и религиозное, которое не может быть установлено произвольно, но должно иметь законную традиционную основу; это – обязанность, налагаемая благочестием. И так как в христианском мире есть только один центр единства законного и традиционного, – следовательно, все истинно-верующие должны объединиться вокруг него, что тем легче сделать, что он не обладает более внешней принудительной властью, так что каждый может примкнуть к нему в той мере, какую указывает ему совесть. Я знаю, что есть священники и монахи, которые думают иначе и требуют подчинения церковной власти без ограничения, как Богу. Это заблуждение, которое придется назвать ересью, когда оно будет ясно формулировано. Надо быть готовым к тому, что девяносто девять священников и монахов из ста объявят себя за антихриста. Это их полное право и их дело.

О волке речь, а он навстречь (Quand on parle du loup, on en voit la queue). Мне пришлось прервать это письмо, чтобы получить другое от одного галицийского монаха, который

хочет во что бы то ни стало навязать мне догмат... смертной казни. По-видимому, это самый важный пункт его «христианского учения»[990].

В этом письме уже дана идея «Повести об антихристе», которую Соловьев называл выражением «своего окончательного взгляда на церковный вопрос». Кажется, теперь мы располагаем достаточным материалом для установления церковной позиции Соловьева в конце жизни.

Соловьев никогда не отрекался от основной идеи своей книги «La Russie» и признавал римского первосвященника единственным главой христианской церкви. В чем же состояло изменение его настроений и чаяний с 1888 г.? Это выражено в словах письма к Тавернье: «Надо раз навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии». Если перелом Соловьева от 70-х годов к 80-м кристаллизовался во фразе: «Прежде послушание, чем понимание», то перелом от 80-х годов к 90-м кристаллизовался во фразе: «прежде справедливость, а потом могущество, величие и слава». Вторая формула не отметает первой, а восполняет ее. Здесь теократическая слава и величие не отрицаются в принципе, а отодвигаются вдаль, являясь средством справедливости. И один неизвестный католик оставил на могиле Соловьева икону Остробрамской Богоматери с латинской надписью: «in memoria aetema erit *iustus*». Justus – не «праведный» славянского перевода («в память вечную будет праведный»), а именно «справедливый». Против идеи «справедливости» конечно не мог возражать ни один католик. Но взгляды Соловьева на средневековый идеал, его проповедь полной веротерпимости и отрицание смертной казни, вероятно, встречали оппозицию со стороны многих католиков. Кратко говоря, Соловьев не мирился со средневековыми и «испанскими» началами католицизма, хотя высоко чтил

---

990 П., IV, стр. 196–199 (219–222).

св. Игнатия Лойолу и особенно св. Франциска Ксаверия. В «Оправдании добра» он отмечает, что инквизиция и на Западе, и на Востоке была изобретена испанцами: на Западе – св. Домиником, на Востоке – императором Феодосием[991]. Считая папу непогрешимым главой христианской церкви, Соловьев полагал, что принцип подчинения церковной власти без ограничения, как Богу, есть еретический и антихристов. А так как он был готов к тому, что из 100 священников 99 объявят себя за антихриста, то понятна та осторожность, которую он соблюдал.

С загребскими католиками, епископом Штроссмайером, каноником Рачким и другими у Соловьева по-видимому не было разногласий. Он не забывал своих друзей, поздравлял Штроссмайера с Пасхой телеграммой «Христос Воскрес», на что епископ отвечал «Воистину Воскресе». Секретарь Штроссмайера Милько Цепелич передает, что на Рождество 1896 г. Соловьев, «уже сильно больной», приветствовал Штроссмайера телеграммой:

Царское Село. 25.12.1896 г.

Monseigneur Strossmayer,

Félicitations, souhaits, prières. Souvenir de cœur, travaux, maladies, espoir en Dieu.

Vladimir Soloviev

Епископ тотчас ответил:

Merci pour les félicitations. Votre vie et santé précieuses pour l'église et la nation. Vivez donc, nous prions tous pour vous. Moi je vous bénis de tout mon cœur et souhaite que votre santé soit bientôt parfaitement rétablie.

Strossmayer évêque[992]

---

[991] Соч., VIII, стр. 322–323.
[992] П., I, стр. 193.

Глава 5
Право и нравственность. Полемика с Чичериным. Второе путешествие в Египет. Три свидания

Не Изида трехвенечная
Ту весну им приведет
А нетронутая, вечная,
Дева радужных ворот

Нильская дельта

В 1896 году у Соловьева были семейные огорчения: произошла окончательная ссора с братом Всеволодом, с которым он примирился в 1893 году перед отъездом в Швецию[993]. Всеволод Соловьев напечатал в «Русском Вестнике» «Записки» отца, Сергея Михайловича, в искаженном виде. С одной стороны было пропущено все имеющее отношение к детству историка и его духовному происхождению, с другой стороны, выпущены все *либеральные* места. Братья Владимир и Михаил оскорбились таким искажением образа их отца, бывшего одним из крупных представителей *либерализма* в царствование Николая Первого, и протестовали в «Вестнике Европы» и «Новом Времени». Но обнародование «Записок» в полном виде, с резкой критикой митрополита Филарета и императора Николая Первого, было невозможно по цензурным условиям. Чтобы как-нибудь поправить дело, Владимир Соловьев напечатал в «Вестнике Европы» статью: «Сергей Михайлович Соловьев. Несколько данных для его характеристики»[994], приведя целые страницы из тех частей «Записок», которые были опущены в «Русском Вестнике». Братья Владимир и Михаил долго думали о напечатании полного текста

[993] П., II, стр. 193.
[994] Вестник Европы, 1896 г. № 6; Соч., VII, стр. 354.

«Записок», приготовленная к печати рукопись уже лежала в редакции «Вестника Европы», но появились «Записки» только по ослаблении цензурных условий в 1905 году. В 1896 году умер муж Софьи Петровны, Михаил Александрович Хитрово. «Я искренне пожалел о внезапной смерти Хитрово, с которым в этот последний его приезд встречались, как старые приятели», пишет Соловьев Стасюлевичу 26-го июля. «Он очень изменился к лучшему под конец жизни, и деятельность его в Японии была безукоризненна. Я написал некролог для «Вестника Европы»[995].

Мы видели, что Соловьев много лет думал о разводе Софьи Петровны с мужем и о вступлении с ней в брак (главным образом 83–87 г.г.). Теперь, когда Михаила Александровича не стало, Соловьев сделал подруге своей жизни формальное предложение. Ответ Софьи Петровны был отрицательный, вероятно к большому облегчению Соловьева, сделавшего этот шаг из чувства долга и для доказательства своей верности. Софья Петровна в то время готовилась быть бабушкой, а Соловьев мог влюбляться только в озера.

Летом 1896 года возобновляется житье в Финляндии. 17-го июня написано стихотворение «Июньская ночь на Сайме»[996]. В стихах есть что-то тревожное. «Ты» этих стихов не светлая София, а двойственная и темная душа мира. В ее взоре «сквозь розы небес поэт улавливает что-то “сдержанно-бурное”. Заветная святыня, царящая над его судьбой», померкла, он не пленяется солнечной силою. Очи его возлюбленной потемнели. И хотя открыты «просветы лазури», ее взор двоится: улыбается и темнеет грозой. Вообще Соловьев все более тяготится весной и летом, «солнечная сила его не пленяет», но «в утро осеннее, бледное», «в зимний

[995] П., I, стр. 136.

[996] Стих., стр. 145–146; Соч., XII, стр. 62.

закат ледяной» он верит, что «прозвучит победное слово». Еще в 1886 году Соловьев писал:

И роскошно блестящей и шумной весны
Примиренному сердцу не жаль.[997]

И в августе 1897 года:

Я озарен осеннею улыбкой,
Она милей, чем яркий смех небес...
Владычица земли, небес и моря!
Ты мне слышна сквозь этот мрачный стон.[998]

Осенью 1896 года мы находим Соловьева в Финляндии. 12 ноября он пишет Гроту из Выборга[999]. 25-го декабря из Выборга же поздравляет Стасюлевича с Новым годом: «Хладные финские скалы горячо приветствуют Любовь Исаковну и Вас наилучшими пожеланиями на Новый год»[1000].

С 1897-го года Соловьев возвращается в Пустыньку, с которою был разлучен около десяти лет. 3-го июня 1897 года он пишет Величко в Тифлис: «Пишу Тебе из Пустыньки, где нанимаю дачу у Рюрика. Старший брат его, моряк, женится на своей троюродной сестре, княжне Г. У сестры их, Веты, родился сын, Михаил Юрьевич, новое и, надеюсь, исправленное издание Лермонтова»[1001]. Между тем, физическое разрушение Соловьева шло быстрым шагом. В июне 1895 года он сообщает Величко: «Привезенный моими приятелями доктор, кроме многого другого, нашел увеличение печени и раздражение внутренней оболочки сердца и предписал, между прочим, воздержание от вина и ликера (по версии

---

[997] Стих., стр. 91; Соч., XII, стр. 24.
[998] Стих, стр. 155; Соч., XII, стр. 67.
[999] П., III, стр. 213.
[1000] П., IV, стр. 72.
[1001] П., I, стр. 232.

типографского корректора), куда он включал также пиво и даже кофе. Я следую с успехом этому предписанию. Чтобы ты не беспокоился прибавляю, что этот самый доктор, хотя нашел у меня артериосклероз второстепенных сосудов, но вместе с тем "констатировал", что аорта эластична, как у 17-летнего, на основании чего предрек мне долгую жизнь»[1002].

Рвоты его усиливались. В 1895 году он пишет Э. Л. Радлову: «Я нездоров, меня рвет не только утром, но и по вечерам. В этом состоянии я написал «Любовь» и «Люллий»[1003].

20-го октября 1897 г. Стасюлевичу:

Неделю целую в недуге я морском
Страдал усиленно, – и скучно, и обидно
Стоять весь день над тазом, иль горшком[1004].

Мучили его и невриты. В письме к Гроту от 12-го ноября 1896 г. он называет себя «Неврон финляндский, страждущий невритом». И утешает себя таким рассуждением: «Порядочные люди, особливо ежели они придворные или же дамские ферлакуры, прямо наживают нефриты, и кому, как мне, доктора говорят только о неврите (о, не врите!) тот должен благодарить Бога и больше ничего»[1005].

Но все эти немощи не мешали Соловьеву быть бодрым, и он не преувеличивал, когда писал Стасюлевичу в шуточных стихах:

Но про болезни слишком уже много!
Помимо них я полон юных сил.

1002 Там же, стр. 228. «Вина и ликера» – намек на библейское выражение «вина и сикера».
1003 П., I, стр. 258.
1004 Там же, стр. 142.
1005 П., III, стр. 213.

Дел и проектов столько, что у Бога
Еще лет сто в аванс бы попросил[1006].

В 97–98 г.г. Соловьев не предвидел близкой смерти, и его замыслы действительно требовали нескольких десятилетий. Он надеялся еще много создать и быть участником больших исторических событий.

Не тронуты в душе все лучшие надежды,
И не иссякло в ней русло творящих сил![1007]

восклицает он 29 июня 1898 года.

О своих творческих замыслах Соловьев сообщает Тавернье в январе 1898 г.: «Я напечатал первую главу моей метафизики в журнале и надеюсь окончить книгу в 15 месяцев. Кроме того, я очень занят Платоном, которого задумал перевести целиком. Покончив с метафизикой, Платоном, эстетикой (наполовину доконченной), книжкой о русской поэзии (окончена на 3/4) и историей философии (для которой я использую мои статьи в энциклопедии), я сосредоточусь всецело на Библии, которая от Бытия до Апокалипсиса является чудесной рамкой для всего, что может впредь меня интересовать. Я еще не знаю, примет ли мой окончательный труд форму нового перевода с длинными комментариями или это будет система исторической философии, основанной на фактах и духе Библии. Вот что я рассчитываю сделать с Божьей помощью в будущем; с Вами, мой превосходный друг, моя откровенность безгранична, и я скажу Вам, что убежден, что выход в свет моего библейского труда должен предшествовать соединению церквей сначала между собой, а потом с синагогой, и пришествию антихриста. Итак, несмотря

[1006] П., I, стр. 142.
[1007] Стих., стр. 168; Соч., XII, стр. 75.

на приближающуюся старость (в будущую пятницу мне будет 45 лет) и всякого рода затруднения и немощи, я совершенно спокоен духом, тем более, что в случае моего заблуждения оно коснется только моей личной роли, ничего не меняя в моих религиозных чувствах»[1008].

Метафизики, Платона и антихриста мы коснемся в последних главах, а пока посвятим несколько строк книге о русской поэзии. Этой книги к 1898 г. было готово уже 3/4. Соловьев думал назвать ее «Серебряный век русской лирики». Сюда должны были войти предшествующие статьи о поэзии Фета и Полонского (90 г. Соч., VI, 239), о поэзии Тютчева (95 г. Соч., VII, 117), о поэзии А. Толстого (95–96 г.г. Соч., VII, 135), еще о поэзии Полонского (96 г. VII, 330), о поэзии Случевского. В последние годы Соловьев занимался двумя поэтами «золотого века» – Пушкиным и Лермонтовым.

Серебряный век русской поэзии оказал большое влияние на мировоззрение Соловьева. Во-первых, серебряный век поэзии в России был веком чистой лирической поэзии, освобожденной от примесей эпоса и драмы, а Соловьев ценил именно чистую лирику. Во-вторых, в главных своих представителях (Тютчев, Фет, А. Толстой) русская лирика вся проникнута духом натур-философии Шеллинга и Гёте. Эта поэзия служила для Соловьева прекрасной иллюстрацией его собственных натур-философских идей. Он мог чувствовать себя наследником и истолкователем великого прошлого русской поэзии. Родиной русской поэзии Соловьев считает «Сельское кладбище». Элегия Грэя «Сельское кладбище», переведенная Жуковским, «может считаться началом истинно-человеческой поэзии в России после уставного риторического творчества Державинской эпохи»[1009]. Не на берегах Невы

1008 П., IV, стр. 204 (227).

1009 Стих., стр. 156; Соч., XII, стр. 68.

и не у стен Кремля явилась на свет «волшебница» русская поэзия, а на закате осеннего дня, среди берез и сосен сельского кладбища. И если из-за моря, с туманных островов неслись к ее укромной колыбели строгие песни, то здесь они звучали по-новому нежно и грустно. Радуга мечты, жар юности, пленявшие потом в русской поэзии, не так дороги Соловьеву, как та грусть, которую ей навеял Бог осенней порой на старом кладбище.

Книга о русской лирике была посвящена А. А. Фету:

И я хочу, средь царства заблуждений,
Войти с лучом в горнило вещих снов,
Чтоб отблеском бессмертных озарений
Вновь увенчать умолкнувших певцов.
Отшедший друг! Твое благословенье
На этот путь заранее со мной...[1010]

Замогильный голос Фета мучительно преследовал Соловьева. Весной 1895 г. в лесах Финляндии кто-то, разлученный с землей, шептал ему «Вспомни обо мне». 16 января 1897 г., в день своего рождения, Соловьев пишет стихи «Памяти А. А. Фета»:

Он был старик, давно больной и хилый;
Дивились все – как долго мог он жить...
Но почему же с этою могилой
Меня не может время помирить?
...Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы,
И скорбный тон с дрожащею мольбой...[1011]

Соловьев грустно оплакивал умирание последних корифеев русской поэзии, «душу заключавших в звонкие кристаллы»[1012]:

[1010] Стих., стр. 153; Соч., XII, стр. 66.
[1011] Там же, стр. 148; Соч., XII, стр. 63.
[1012] Там же, стр. 150; Соч., XII, стр. 64.

Майкова, Полонского. Из остающихся поэтов он ценил Случевского за «ясную прохладу»[1013] его мысли и тонкий импрессионизм.

Безумье вечное поэта
Как свежий ключ среди руин...
Звучит загробный голос Фета
И жив Случевский Константин[1014].

Прочтя сборник К. Д. Бальмонта «Тишина», Соловьев очень его одобрил. Поэзия Бальмонта того времени, бестелесная, воздушная, снежно-белая, была сродни самому Соловьеву. И на Бальмонта Соловьев произвел неизгладимое впечатление. В своем сборнике «Только любовь» он дал прекрасную характеристику Соловьева как поэта:

Недалека воздушная дорога,
Как нам сказал единый из певцов,
Отшельник скромный, обожатель Бога,
Монах-поэт Владимир Соловьев.

Ты подарил мне свой привет когда-то,
Поэт-отшельник с кроткою душой,
И ты ушел отсюда без возврата,
Но край земли для неба не чужой.

Ты шествуешь теперь в долинах Бога,
О дух, приявший светлую печать...
Но так близка воздушная дорога!
Вот вижу взор твой, ты со мной опять.

Будучи сам до известной степени родоначальником русского символизма, Соловьев отнесся непримиримо к первым сборникам «русских символистов» и начинающему Валерию Брюсову. Его статьи о русских символистах, напечатанные

[1013] Стих., стр. 158; Соч., XII, стр. 69.
[1014] Там же, стр. 335; Соч., XII, стр. 160.

в «Вестнике Европы» в 1895 г., за подписью Вл. С.[1015], написаны в шуточном тоне и кончаются пародиями на символистов, доставившими Соловьеву в свое время большую популярность в русской публике[1016].

К Брюсову Соловьев отнесся беспощадно и предупреждал его, что «потворство низменным страстям, хотя бы и под личиной символизма, не приведет к добру»[1017]. «Общее суждение о г. Валерие Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны»[1018]. На этот раз Соловьев ошибся, но трудно было в авторе нелепых стихов угадать одного из крупнейших поэтов XX-го века, хотя несомненно «потворствующего низменным страстям». Но В. Брюсов отнесся к критике Соловьева с редким благородством. По смерти великого философа он написал прекрасную статью о его поэзии, где скромно признает за покойным «право судить», и сожалел о том, что умолкли эти «столь нужные нам поучения»[1019]. Вместе с русскими символистами Соловьев презрительно отзывается и о символистах французских, Малларме и Метерлинке, вылавливая из последнего «собак секретного желания», пародией на которые являются у самого Соловьева «ослы терпенья и слоны раздумья».

[1015] В. Е. № 1 и 10; Соч., VII, стр. 159.

[1016] Стих., стр. 287–289; Соч., XII, стр. 86–87.

[1017] Соч., VII, стр. 164.

[1018] Соч., VII, стр. 161.

[1019] Валерий Брюсов: «Далекие и близкие».

Несмотря на общую повышенность настроения, сознание, что «нетронуты в душе все лучшие надежды», Соловьев в эти годы переживал иногда минуты тяжелого раздумья и сомненья. Одна из таких минут зафиксирована в стихотворении:

Нет, силой не поднять тяжелого покрова
        Седых небес...
Все та же в даль тропинка вьется снова,
        Все тот же лес.

И в глубине вопрос – вопрос единый
        Поставил Бог.
О, если б ты хоть песней лебединой
        Ответить мог!

Весь мир стоит застывшею мечтою,
        Как в первый день.
Душа одна и видит пред собою
        Свою же тень[1020].

В обществе Соловьев или бывал очень оживлен и остроумен, или подавлял всех мрачным молчанием. В периоды напряженного творчества он не произносил ни слова во время обеда. Часто бывали у него видения черта, и он просто рассказывал о них, иногда впадая в шутливый тон. Помню один его рассказ: «Вчера я лежу в постели. Горит свеча. Кто-то, кого я не вижу, гладит меня по руке и нашептывает мне весьма дурные вещи. Я вскакиваю с постели, начинаю его крестить и крестом выгонять за дверь». С простотой монаха он говорил: «Надо читать перед сном псалом 90-й, чтобы избавиться от навождений». В 96–97 г.г. в Финляндии очевидно у Соловьева были демонические явления. И финское море, подобно лицу

[1020] Стих., стр. 152; Соч., XII, стр. 66.

возлюбленной женщины, могло утрачивать сияние божественной Софии. В полушутливых стихах Соловьев сообщает:

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я, – они уж там[1021].

Соловьев начинал новые блестящие постройки, требовавшие многих лет труда, но из глубины души поднималось предчувствие близкого конца – своего, и всей природы, и мировой истории. Он болезненно сознавал умирание природы в тисках механической цивилизации. Проезжая на поезде летним утром и «добыв себе с бою воздух и окошко», он слышит, как паровоз «мчится и грохочет мертвыми громами», чувствует роковую двойственность «двигателя бездумного и недвижимой жизни природы, замершей в беззвучной ласке»[1022]. Светлые логические схемы «Оправдания добра» подмываются волнами мистических предчувствий. Побывав у брата Михаила в Дедове Звенигородского уезда летом 1897 г., он с тревогой замечает, что не осталось и следа от прежних болот и характер лета в средней России – «чисто Туркестанский». (Лето 1897 г. кончилось множеством лесных пожаров). Ужасает его и духовное состояние крестьянства в этом высыхающем крае. С болью он восклицает: «Неужели между скотоподобием и адским изуверством нет третьего, истинно-человеческого пути для русского мужика? Неужели Россия обречена на нравственную засуху,

[1021] Стих., стр. 163; Соч., XII, стр. 71.
[1022] Стих., стр. 147; Соч., XII, стр. 63.

как и на физическую?»[1023]. Тем же летом 1897 г. Соловьев пишет Величко из Пустыньки: «Ничего крупного, но:

Есть бестолковица,
Сон уж не тот,
Что-то готовится,
Кто-то идет.

Ты догадываешься, что под "кто-то" я разумею самого антихриста. Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть неуловимым дуновением, – как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит море. Mais, c'est une mer à boire»[1024].

В Москве Соловьев чувствовал себя последние годы плохо, и все более становился петербуржцем. Нравственная тяжесть родного города сливалась для него с климатом Москвы. Он томился вдали от моря, его тянуло на Запад, к Атлантическому океану. В 1889 г. Соловьев писал Стасюлевичу: «Московский воздух мне вреден: слишком мало сырости и много миазмов»[1025]. В 1897 г.:

Не болен я и не печален,
Хоть вреден мне климат Москвы,
Он черезчур континентален,
Здесь нет Галерной и Невы[1026].

Идиллия с московской философской плантацией начинала портиться. Возникли существенные расхождения с Л. М. Лопатиным, которых мы коснемся в следующей главе при разборе «Теоретической философии». 5 октября 1897 г. Соловьев пишет Стасюлевичу: «В Москве я застал некоторый разгром.

[1023] Соч., VII, стр. 387.
[1024] П., I, стр. 232.
[1025] П., IV, стр. 42.
[1026] П., I, стр. 140; Соч., XII, стр. 132.

Философский журнал оказался дитей с семью няньками, но без одного глаза. Несмотря на вполне достаточную и постоянно увеличивающуюся подписку, он вследствие нелепейшего хозяйничанья очутился в безысходном долгу у типографии. Ближайшим результатом для меня – отказ от гонорара и обещание хлопотать у московских меценатов о субсидии. Говоря без лицемерия, ни то ни другое не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Еще хуже – обострившаяся вражда и соперничество двух катедер-философов, которые постоянно приходят жаловаться друг на друга...»[1027] Одно время Соловьев, раздраженный рецензией секретаря «Вопросов философии и психологии» Ю. Айхенвальда, подумывал о выходе из сотрудников журнала и возвратил в редакцию взятый им аванс[1028], но дело уладилось. «Оправдание добра» подверглось ожесточенным нападениям критики. «Эта книга», пишет Соловьев Тавернье, «навлекла на меня в русской прессе величайшую ругань и величайшие похвалы, какие я когда-либо слышал. Чтобы быть справедливым, я должен сказать, что похвалы исходили от писателей – специалистов по философии, что нельзя сказать о других»[1029].

Из специалистов по философии особенно поддержал Соловьева Э. Л. Радлов. Но другой специалист Борис Николаевич Чичерин разнес «Оправдание добра» и вышедшее в 1897 г. сочинение «Право и нравственность» – являющееся как бы дополнением к нравственной философии.

«Вступая одиноким и плохо вооруженным волонтером в огромный и грозный стан юридической науки», Соловьев «укрылся под защиту заслуженного вождя регулярных сил» – В. Д. Спасовича, «в надежде на его справедливость

[1027] П., I, стр. 141.

[1028] Там же, стр. 101.

[1029] П., IV, стр. 200 (223).

и великодушие»[1030]. «Право и нравственность» посвящено Спасовичу. В этом сочинении Соловьев идет против двух крайних взглядов на взаимоотношение права и нравственности. «Как безусловный отрицатель всех юридических элементов жизни высказывается знаменитейший русский писатель, граф Л. Н. Толстой, а неизменным защитником права, как абсолютного, себе довлеющего начала, остается самый многосторонне образованный и систематичный ум между современными русскими, а может быть и европейскими учеными, Б. Н. Чичерин»[1031]. Гвоздем сочинения является глава 4-я «О смертной казни». Соловьев прежде всего опровергает религиозные аргументы за смертную казнь. В Библии по этому вопросу различаются три момента: 1) После первого убийства (Авеля) *провозглашение нормы*: преступник, даже братоубийца, не подлежит казни человеческой. 2) После потопа *приспособление нормы* к «жестокосердию людей». 3) Возвращение к норме у пророков и в евангелии: «Мне отмщение и я воздам». «Милости хочу, а не жертвы». «Те, кто, подобно Жозефу де Местр, сближают понятие смертной казни с понятием искупительной жертвы, забывают, что искупительная жертва за всех уже принесена Христом, что она всякие другие кровавые жертвы упразднила и сама продолжается лишь в бескровной евхаристии – забвение изумительное со стороны лиц, исповедующих христианскую веру. Поистине, допускать еще какие-нибудь искупительные жертвы – значит отрицать то, что сделано Христом, значит – изменять христианству»[1032].

Далее Соловьев, ссылаясь на труды специалистов по криминалистике, доказывает бесполезность смертной казни для защиты общества. Будучи нечестивой и бесчеловечной, смертная казнь имеет и *постыдный* характер, которого

1030 Соч., VIII, стр. 519.

1031 Там же, стр. 521.

1032 Там же, стр. 578.

нет в войне, дуэли и открытом убийстве, что видно из справедливого презрения общества к палачу[1033]. Единственное нормальное наказание – лишение свободы на более или менее продолжительный срок. Тюрьмы должны быть в корне реформированы. Из учреждений карательных они должны быть преобразованы в учреждения исправительные. Во главе пенитенциарных учреждений должны стоять люди, способные к такому трудному и высокому назначению: избранные юристы, психиатры, моралисты и люди с истинным религиозным призванием[1034]. Соловьев надеется, что скоро на современные тюрьмы и каторги будут смотреть так же, как теперь все смотрят на старинные психиатрические заведения с железными клетками и цепями для больных[1035].

Соловьев не был специалистом в юридических науках. Чичерин нашел, что в суждениях по уголовному вопросу у него обнаруживается особая, всякую меру превосходящая самоуверенность и укорял его за недостаток смирения. На это Соловьев отвечал: «Когда я чувствую за собой широкие плечи профессора Таганцева, то я преисполняюсь безмерной отваги и не боюсь даже самого г. Чичерина, который значит напрасно утверждает, что я имею смирение только перед Богом; кроме всего я испытываю это чувство также пред человеческой наукой и ее настоящими представителями»[1036] Статья Б. Н. Чичерина «О началах этики»[1037], где он напал на «Оправдание добра», зажгла в Соловьеве полемический пыл, остывший со времени полемики со Страховым.

Ну, насолил же мне Чичерин,
Самодовольный дворянин...

[1033] Соч., VIII, стр. 585.
[1034] Там же, стр. 623.
[1035] Там же, стр. 622.
[1036] Там же, стр. 711.
[1037] ВФП, 1897 г.

Вчера прикончил я злодея
Украл он месяц трудовой.
За это бьют![1038]

пишет Соловьев Стасюлевичу 5 октября 1897 г. Дворянское самодовольство Чичерина особенно раздражало Соловьева. Эта черта была отмечена в Чичерине еще поэтом Алмазовым:

«Да, наш век ужасно скверен,
Нет людей, лишь я один!»
Возгласил Борис Чичерин,
Либерал и дворянин.

Ответ Соловьева Чичерину – «Мнимая критика»[1039] – беспощаден. Несвободен он и от личных нападений, о которых Соловьев потом пожалел. «Уже не в первый раз Б. Н. Чичерин делает мне честь своим серьезным вниманием к моим произведениям», пишет Соловьев. «Вскоре после появления моей докторской диссертации: "Критика отвлеченных начал" – он издал обширный разбор ее в виде целой книги (Б. Чичерин, "Мистицизм в науке", Москва 1881 г.), при чем любезно предлагал мне обсудить сообща спорные философские вопросы»[1040]. Тогда Соловьев ничего не ответил на разбор Чичерина. Теперь он выступает против Чичерина и обвиняет его в искажении основных мыслей «Оправдания добра». Насколько Чичерин не понял Соловьева, видно из того, что он назвал борца за веротерпимость последователем Торквемады. Назвав Чичерина самым образованным и многознающим из всех русских, а может быть и европейских ученых настоящего времени, Соловьев обвиняет его за догматизм.

1038 П., I, стр. 140.
1039 Соч., VIII, стр. 669.
1040 Там же, стр. 671.

«Для г. Чичерина нет переливов мышления, нет живого движения идей, он отбрасывает все, что не совпадает с его замороженными схемами и также верит в непогрешимость своей системы, как халиф Омар – в непогрешимость корана. Он может удовольствоваться только кругом безусловных приверженцев, неуклюжих последователей, для которых αυτὸς ἔφα (сам сказал) было бы решающим аргументом»[1041].

Возражение Чичерину отняло у Соловьева трудовой месяц (сентябрь 1897 г.). Оно занимает 46 страниц. После острых шуток Соловьев кончает горьким упреком. «Был как будто в духовном развитии Б. Н. Чичерина момент... когда сущность и смысл жизни открылись ему помимо отвлеченных формул школьной доктрины, и когда он сам как будто приобщился к тому, что теперь называет мистикой, то есть чепухой. Своею книгой ("Наука и религия") г. Чичерин разделался с этим моментом своей духовной жизни. Он засадил и религиозную истину в определенный угол своего умственного здания и, разрезав ее на части, разместил их по нескольким смежным клеткам в этом углу. Все пришло в порядок. Миросозерцание г. Чичерина осталось по-прежнему без действительного и живого центра, но сам он нашел, что "все добро зело", и успокоился. Неужели навсегда?... Я глубоко тронут искреннею скорбью Б. Н. Чичерина, будто я потерян для русской науки. Но есть во времени и в вечности вещи гораздо более важные, чем "русская наука", и я твердо надеюсь, что мой критик для них не потерян»[1042].

Чичерин отвечал Соловьеву в «Вопросах философии и психологии» статьей «Несколько слов по поводу ответа г. Соловьева». Соловьев ограничился четырьмя страницами «Необходимые замечания на несколько слов Б. Н. Чичерина».

[1041] Соч., VIII, стр. 673.

[1042] Там же, стр. 716.

Этот второй ответ написан в умеренном тоне. Кончается легким извинением. «Уважаемое имя Б. Н. Чичерина и характер близкого мне журнала, где напечатана его критика, создали редкий для меня случай необходимой обороны. Хотя по существу цель полемики есть выяснение истины, но как особый род литературы (очень невысокий, согласен) она имеет свои особые требования, формально отличные от требований объективного исследования. Тут очень легко впасть в излишество, и если это со мною случилось, то от души прошу извинения у тех, кто мог этим огорчиться, и обещаю без новых уважительных причин не перепечатывать этой полемики»[1043].

Со времени путешествия во Францию в 1893 г. Соловьева усиленно тянуло на Запад. В 1896 году он пишет Тавернье: «Я страдаю космополитической ностальгией. Патриотизм не мешает мне быть стесненным границами. Вот почему я так люблю море, у которого их нет»[1044]. И 14 мая-9 июня 1897 г. – ему же: «Когда я приеду во Францию? Это очень странно, но я, по-видимому, никак не могу нарушить закон пятилетия: 1888, 1893, 1898. Раньше этого рокового срока нет никакой вероятности путешествия за границу (ибо решительно нет ни времени, ни денег).

Что касается 1898 г., это верно, насколько могут быть верны дела человеческие. Я страшно жажду Океана и Запада, первого – физически и наследственно, второго – морально и индивидуально, и уверяю Вас, что главная побудительная причина – поцеловать кого-то, живущего в Belle-chasse «64»[1045]. В январе 1898 г. Соловьев обещал Тавернье встречу с ним в Париже в декабре. Заметим, что письма к Тавернье отличаются исключительной сердечностью и откровенностью.

[1043] Соч., VIII, стр. 720.

[1044] П., IV, стр. 196; перевод стр. 219.

[1045] Там же, стр. 201 (224).

Он называет своего французского друга «любимейшим и превосходнейшим из всех Евгениев»[1046], «половиной души своей»[1047], «возлюбленным братом души своей»[1048]. «С Вами, мой превосходный друг, откровенность моя безгранична»[1049]. Соловьев откровеннее с Тавернье даже, чем с братом Михаилом.

Так изменилось настроение Соловьева с 1876 г., когда он, возвращаясь в Россию, полный славянофильских иллюзий, писал: «В Западный нужник больше не поеду»[1050]. Теперь с каждым годом он более и более задыхался в русском климате и русской среде. Но поездка в Париж в 1898 г. не состоялась. Совершенно неожиданно в марте 1898 г. Соловьев направляется в Египет, а оттуда собирается в Палестину. По-видимому решение ехать в Египет было принято быстро, как в 1875 г., когда в душе Соловьева раздался голос: «В Египте будь».

Часто закат жизни человека повторяет ее расцвет. Так мы видим и у Соловьева. С 1897 года до конца жизни он опять в Пустыньке, среди семьи Хитрово, он вновь работает над гносеологией и метафизикой, он возвращается к занятиям Платоном, естественно, что его потянуло взглянуть еще раз на ту землю, где ему явилась его «подруга вечная», увидеть «золотые, изумрудные, черноземные поля» Египта и «голубой, золотистый Нил».

Накануне Нового 1891 года в душе Соловьева всплывали воспоминания о ночах на крыше фотографа Дезирэ под египетскими звездами в 1876 г. В этот день сочинено им стихотворение «Другу молодости» Д. Н. Цертелеву, дружбе с которым исполнилось 25 лет[1051].

1046 П., IV, стр. 196 (219).
1047 Там же, стр. 200 (223).
1048 Там же, стр. 201 (224).
1049 Там же, стр. 204 (227).
1050 П., II, стр. 28.
1051 П., II, стр. 269.

Помнишь ли, бывало,
Ночи те далеко, –
Тишиной встречала
Нас заря с Востока.
Из намеков кратких,
Жизни глубь вскрывая,
Подымалась молча
Тайна роковая[1052].

Соловьев выехал в Египет в сопровождении своего друга Э. Л. Радлова, в марте 1898 г. Поехали они не через Италию, а через Константинополь, Пирей и Архипелаг. Пароход при выходе из Пирейской гавани натолкнулся на берег и его пришлось стаскивать[1053], эта процедура длилась 12 часов. Во время морского путешествия сочинены стихотворения «Песня моря», «Мимо Троады», «В Архипелаге ночью» и «Das Ewig-Weibliche», а по приезде в Египет «Нильская дельта». Тени двух поэтов возникли перед Соловьевым среди островов Архипелага: Гомера и Фета. Проезжая мимо Троады, он сочинил грустное четверостишие:

Что-то здесь осиротело,
Чей-то светоч отсиял,
Чья-то радость отлетела,
Кто-то пел – и замолчал[1054].

«Песня моря» принадлежит к лучшим стихотворениям Соловьева. В ней слышится музыка «теплого и южного моря», «созвучные рыдания пучины». Все та же тень А. Фета, преследовавшая Соловьева по берегам холодного, северного моря, стоит над его мечтой и здесь. Она просит чужих

[1052] Стих., стр. 151; Соч., XII, стр. 65.
[1053] П., I, стр. 144.
[1054] Стих., CX, Соч., XII, стр. 70.

слез, чьей-нибудь бескорыстной кручины над безумно отвергнутыми грезами. Сердце Соловьева томится от боли и не может забыть чужого крушенья.

Брызги жизни сливались в алмазные грезы,
А теперь лишь блеснет лучезарная сеть, –
Жемчуг песен твоих расплывается в слезы,
Чтобы вместе с пучиной роптать и скорбеть[1055].

В архипелаге Соловьева преследовали демонические видения. Те черти морские, которые «недавно ловили его в финском поморье», преследуют его и здесь, между Амафунтом и Пафосом.

Видел я в морском тумане
Всю игру враждебных чар,
Мне на деле, не в обмане
Гибель нес зловещий пар.

Въявь слагались и вставали
Сонмы адские духов,
И пронзительно звучали
Сочетанья злобных слов[1056]

Соловьев пробует обратиться к морским демонам с увещевательным словом, и в шутливой форме заклинает их пророчеством о приходе на землю вечной женственности.

Здесь, где стояли Амафунт и Пафос, некогда родилась Афродита. «Розы над белой пеной», «пурпурный отблеск в лазурных волнах» – образ прекрасного тела богини – был первым нежданным горем для морских демонов, он привел их в смятенье, трепет и страх. Но коварные демоны

[1055] Стих., стр. 164; Соч., XII, стр. 72.
[1056] Там же, стр. 71.

нашли себе доступ к этой красоте и сеяли в прекрасный образ адское семя растления и смерти.

Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод[1057].

Величко передает, что в первый день Пасхи Соловьев, войдя в каюту, увидел у себя на постели демона в виде мохнатого зверя. Соловьев обратился к нему уже не в шуточном тоне: «А ты знаешь, что Христос воскрес?». На это демон закричал: «Воскрес-то он воскрес, а тебя я все-таки доканаю» и кинулся на Соловьева. Философа нашли распростертым на полу без чувств. За достоверность этого рассказа нельзя ручаться. Спутник Соловьева Э. Л. Радлов, находившийся в каюте, говорил мне, что не слыхал ничего подобного. Но Соловьев мог и скрыть этот эпизод от своего несколько скептического друга...

14/26 апреля Соловьев писал Стасюлевичу из Каира: «В Египте мы нашли благодать: озимые поля, готовые к жатве (как у нас в конце июля) а яровые – великолепно зеленеющие. Перед нами начинался было зной палящий, но мы принесли северный ветер и приятную прохладу. Благодаря англичанам, Египет подобен вертограду благоустроенному. Даже поезда ходят по расписанию, а не по произволению, как было в мой первый приезд 22 года тому назад!!! Проведя полтора часа в великолепной ванне и три часа в еще более великолепном музее египетских древностей, я чувствую себя помолодевшим и игривым Мельхиседеком. Китайский гонг, потрясаемый чернокожим эфиопом, призывает к lunch'у.

[1057] Стих., стр. 164; Соч., XII, стр. 72.

Буду ухаживать за двумя столовыми соседками: Миссис – Иппи и Мисс – Ури. До свидания в начале мая»[1058].

При виде черноземных нив Египта, золотых озимых полей и изумрудных яровых, Соловьев вдохновился на одно из лучших своих стихотворений «Нильская дельта». В Египте его охватывает вера в воскресение мертвых, воскресение для всего, что заклято древней смертью и ждет для себя весны не от ветхой Изиды, а «нетронутой вечной Девы Радужных Ворот»[1059].

На поездку в Палестину денег не оставалось. «Соображения столько же политические, сколько и экономические... побудили меня отказаться от поездки в Палестину, которая есть царство иерократии, коей настоящий принцип есть не только protopoporum, poporum, diaconorum, diatchkorum ponomariorumque, но также и laikorum – oblupatio et obdiratio...» – пишет Соловьев Стасюлевичу в цитированном выше письме[1060]. Э. Л. Радлов говорил мне, что расточительность Соловьева во время путешествия поражала его. Соловьев имел обыкновение давать на чай лакею после обеда золотой пятирублевик. Соловьев вернулся в Россию бодрый и освеженный. Он привез с собой несколько египетских жуков и маленьких мумий, которых раздал родным и знакомым. Брату Михаилу он привез еще большую коричневую свечу из одного греческого монастыря, кажется в Смирне.

Лето 1898 г. Соловьев проводит в Пустыньке. 29 июля он пришел на то место, где 12 лет назад, в мае 1886 г., он склонил чело к «владычице земле». Он радостно подводит итог этому двенадцатилетию и воссылает хвалу Превечному, который

1058 П., I, стр. 145.

1059 Стих., стр. 165; Соч., XII, стр. 73.

1060 П., I, стр. 145.

сорок лет хранил целыми одежды Израиля в пустыне. С бывалым умиленьем и нежностью любви опять склоняется он к земле-владычице на том же месте в парке Пустыньки. Правда, был другой день, безоблачный и яркий, когда между деревьями запущенного парка всюду мелькали призраки загадочных огней... Эти *призраки* ушли, но *вера* осталась неизменной. В душе нетронуты все лучшие надежды и неиссякло русло творящих сил[1061].

Путешествие в Египет освежило в уме Соловьева воспоминания о трех свиданиях с его «вечною подругой». Поздней осенью, 26 сентября, осенний вечер и глухой лес Пустыньки внушили ему «воспроизвести в шутливых стихах *самое значительное из того, что случилось с ним в жизни*». «Два дня воспоминания и созвучия неудержимо поднимались в моем сознании, и на третий день была готова эта маленькая автобиография, которая понравилась некоторым поэтам и некоторым дамам»[1062]. Но далеко не всем дамам. С. П. Хитрово нашла поэму настолько плохой, что не советовала ее печатать, и Соловьев отделался шуткой: «Non, ça me donnera cent roubles». Еще одна дама говорила, что поэма производит на нее впечатление, как будто лебедь затанцевал мазурку. Но сам Соловьев находил «Три свидания» самым лучшим и значительным из написанного им в стихах.

Со времени написания «Трех свиданий» Соловьев чувствует новые приближения к себе «лучезарной подруги». В 80-х годах он редко слышал ее «гаснущий призыв»[1063], еле слышался далекий голос тени: «не верь мгновенному, люби

[1061] Стих., стр. 168; Соч., XII, стр. 75.
[1062] Там же, стр. 179; Соч., XII, стр. 86.
[1063] Там же, стр. 79; Соч., XII, стр. 11.

и не забудь»[1064]. Он улавливал отблеск ее вечного сияния в лице любимой женщины, но этот отблеск потухал, светлым ее зеркалом была наконец красавица Сайма. Теперь Соловьеву уже не нужно никакого внешнего образа для ее созерцания. Довольно забыться среди дня или проснуться в полночь и заглянуть в собственную душу. Там только свет да вода, не видно ни скал, ни подводного змея и в прозрачном тумане блещут ее лучезарные очи.

21 ноября 1898 г. в Москве написано самое сильное стихотворение Соловьева из цикла Софии. Оно производит впечатление светлой магии.

Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи –
Кто-то здесь... Мы вдвоем, –
Прямо в душу глядят лучезарные очи
Темной ночью и днем.

Тает лед, расплываются хмурые тучи,
Расцветают цветы...
И в прозрачной тиши неподвижных созвучий
Отражаешься ты.

Исчезает в душе старый грех первородный:
Сквозь зеркальную гладь.
Видишь, нет и травы, змей не виден подводный,
Да и скал не видать.

Только свет да вода. И в прозрачном тумане
Блещут очи одни,
И слилися давно, как роса в океане,
Все житейские дни[1065].

[1064] Стих., стр. 87; Соч., XII, стр. 23.
[1065] Стих., стр. 119; Соч., XII, стр. 77.

Глава 6
Начало теоретической философии. Платон и Пушкин. Путешествие в Канн

И над тесниной торжествуя,
Как муж, на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Пушкин

В последние годы Соловьев занялся пересмотром и исправлением своей гносеологической и метафизической системы и думал о переработке «Критики отвлеченных начал». Он успел написать только три первые главы «Теоретической философии», но эти главы свидетельствуют о высоком подъеме философского творчества. В своей гносеологии Соловьев решительно отталкивается от Декарта и отрицает субстанциональность души. «Самодостоверность наличного сознания как внутреннего факта не ручается за достоверность сознаваемых предметов, как внешних реальностей, но нельзя *ли* из этого сознания прямо заключить о подлинной реальности *сознающего субъекта,* как особого самостоятельного существа или мыслящей субстанции? Декарт считал такое заключение возможным и необходимым, в этом за ним доселе следуют многие. И мне пришлось пройти через эту точку зрения, в которой я вижу теперь весьма существенное недоразумение...[1066] Возвратившись в последнее время к пересмотру основных понятий теоретической философии, я увидел, что такая точка зрения далеко не обладает тою самоочевидною достоверностью, с какою она мне представлялась»[1067]. Резкий отзыв о Декарте мы находим уже в 1888 г. в письме к Страхову: «Вы верите даже (или притворяетесь, что верите) жалким

[1066] Соч., IX, стр. 107.
[1067] Там же, стр. 126.

глупостям Декарта и Лейбница»[1068]. Выше ставит Соловьев послекантовскую философию. «Великое достоинство гегельянства в том, что и бессмысленная “субстанция” догматизма и двусмысленный “субъект” критицизма превращены здесь в верстовые столбы диалектической дороги. Картезианская “душа” перешла в кантианский “ум”, а этот растворился в самом процессе мышления, не становясь однако и у Гегеля разумом истины»[1069].

Субстанций нет! Прогнал их Гегель в шею;
Но и без них мы славно заживем![1070]

Окончательно оттолкнувшись от картезианского догматизма, Соловьев относится с большим сочувствием, чем в юности, к позитивизму и английской эмпирической психологии. «Я не сторонник этой психологии как системы, но я вижу, что она начинается с того, с чего следует начинать – с бесспорных данных сознания, а между ними нет ни “мыслящей субстанции”, ни безусловного самополагающегося или самоначинающегося деяния. Наличные состояния сознания как такие – вот что действительно самоочевидно и что дает настоящее начало умозрительной философии»[1071].

7 марта 1898 г., на публичном заседании Петербургского философского общества по случаю столетней годовщины рождения Конта, Соловьев произнес речь «Идея человечества у Августа Конта»[1072]. Здесь Соловьев излагает и подтверждает теорию Конта, согласно которой действительно реальное бытие принадлежит не отдельным лицам, а человечеству, как идее в Платоновском смысле. «С гениальной смелостью он

[1068] П., I, стр. 56.
[1069] Соч., IX, стр. 163.
[1070] П., III, стр. 213.
[1071] Соч., IX, стр. 384.
[1072] Там же, стр. 172.

(Конт)... утверждает, что единичный человек сам по себе или в отдельности взятый есть лишь абстракция, что такого человека в действительности не бывает и быть не может. И, конечно, Конт прав»[1073]. Линия реальнее и конкретнее геометрической точки, поверхность реальнее линии, геометрическое тело – поверхности. Целое – первее своих частей и предполагается ими. Части без целого – лишь абстракции.

Итак, индивидуальное «я» не есть субстанция. Как говорит Е. Трубецкой: «Для Соловьева в последний период его творчества Бог является единственной субстанцией в подлинном значении этого слова. Личная душа есть только *ипостась* или *подставка* Божества»[1074]. Так думал Соловьев и в юности, когда сознавал себя как ὑποπόδιον божественной Софии, подножие ног ее. Личные сознания растворяются в Боге, и сам Бог не есть личность. В полемике с профессором А. И. Введенским, защищая Спинозу от обвинения в атеизме, Соловьев заостряет идею божества как всеобщую. Божество не безлично, но и не личность, не лицо. Оно сверхлично и имеет три лица[1075]. Имея три лица, оно не может само быть лицом, предикат личности приложим не к первому, а только ко второму субъекту божественного бытия – Логосу – Сыну. Божество есть существо индивидуальное, но и всеобъемлющее. А. Никольский находит, что Соловьев в «Понятии о Боге» стоит на более пантеистической точке зрения, чем в «Чтениях о Богочеловечестве». Наоборот, Е. Трубецкой утверждает, что Соловьев в последних статьях окончательно освобождается от того пантеизма, который был в «Чтениях о Богочеловечестве». Мы согласны с Э. Л. Радловым, отрицающим существенное изменение взглядов Соловьева в данном вопросе. «То направление мистицизма, к которому

[1073] Соч., IX, стр. 178–179.

[1074] Е. Трубецкой, II, стр. 247.

[1075] Соч., IX, стр. 21.

принадлежал Соловьев (неоплатонизм, шеллингианство)», говорит Радлов, «представляет сочетание пантеистических идей с теизмом, оно признает истинность формулы: все есть Бог, и отрицает лишь формулу: Бог есть все»[1076]. Добавим, что подобное понимание Божества находится в согласии с богословием отцов восточной Церкви, на что указывал Соловьев еще в своей юношеской «Софии».

Новая гносеология Соловьева, направляемая против Декарта, не могла не затронуть представителя картезианской философии Л. М. Лопатина. Полемика между друзьями-философами, начавшаяся еще в 1889 году, готова была снова вспыхнуть. Лопатин возражал Соловьеву на первую главу его теоретической философии статьей «Вопрос о реальном единстве сознания»[1077] и упрекал Соловьева в «феноменизме». Еще в 1896 г. по поводу реферата Лопатина «Понятие о душе по данным внутреннего опыта» Соловьев писал Гроту:

И с каждым годом, надбавляя ходу,
Река времен несется все быстрей,
И, чуя издали и море, и свободу
Я говорю спокойно: панта рэй!
Но мне грозит Левон неустрашимый, –
Субстанций динамических мешок
Свезти к реке и массою незримой
Вдруг запрудить весь Гераклитов ток.
Левон, Левон! Оставь свою затею,
И не шути с водою и огнем...
Субстанций нет! Прогнал их Гегель в шею,
Но и без них мы славно заживем![1078]

Теперь, в 1899 г., после статьи Лопатина «Вопрос о реальном единстве сознания», Соловьев пишет А. Д. Оболенскому:

[1076] Соч., X, стр. XXXIII.
[1077] ВФП, Кн. 50. 1899 г.
[1078] П., III, стр. 213; Соч., XII, стр. 121.

«Сею ночью, отходя ко сну, но уже весьма отягченный оным, я сочинил письмо моему другу Лопатину, довольно нелепо ополчившемуся на меня из-за какого-то “феноменизма”:

Ты взвел немало небылицы
На друга старого, но ах! –
Такие ветхие мы лица
И близок так могилы прах,
Что вновь воинственное пламя
Души моей уж не зажжет,
И полемическое знамя
Увы! висит и не встает.
Я слишком стар для игр Арея,
Как и для Вакха я ослаб, –
Заснуть бы мне теперь скорее...
Ах! Мне заснуть теперь пора б.
“Феноменизма” я не знаю,
Но если он поможет спать,
Его с восторгом призываю:
Грядем, возлюбленный, в кровать!»[1079].

Статья Лопатина осталась без ответа. Но полемическое знамя Соловьева скоро высоко поднялось: в это время он кончал «Три разговора»...

Конец жизни Соловьева совпадает с началом. Мы видим, что в 1875 г., перед поездкой в Египет, Соловьев особенно усердно занимался Платоном и был его вдохновенным истолкователем на курсах Герье. В 1897 г. К. Солдатенков предложил Соловьеву издать полный перевод диалогов Платона. Соловьев принял предложение и разделил работу с братом Михаилом, которым переведена половина сократических диалогов. Перевод посвящен А. А. Фету. В предисловии к переводу Соловьев говорит: «В начале этого труда я ставлю имя Афанасия Афанасиевича Фета, как его первого внушителя.

[1079] П., II, стр. 192; Соч., XII, стр. 113.

Еще семнадцать лет тому назад, сам погруженный в перевод латинских стихотворцев, он стал уверять меня, что мой патриотический долг – “дать русской литературе Платона”. Я с ним не соглашался. Его доводы были для меня более лестны, чем убедительны. К тому же все мои помышления и замыслы были в то время обращены совсем в другую сторону...

Лишь после смерти Фета пришла пора, когда его внушение должно было подействовать. С нарастанием жизненного опыта, безо всякой перемены в существе своих убеждений, я все более и более сомневался в полезности и исполнимости тех внешних замыслов, которым были отданы мои так называемые “лучшие годы”. Разочароваться в этом значило вернуться к философским занятиям, которые за это время отодвинулись было на задний план. Нравственная философия, с которой я начал эти возобновленные занятия, неизбежно приводила меня к основным теоретическими вопросам знания и бытия. И вот в 1877 г., через пятнадцать лет после того разговора о Платоне, я стал ощущать неодолимое влечение окунуться снова и глубже прежнего в этот вечно-свежий поток юной, впервые себя опознавшей философской мысли»[1080].

В первой главе «Теоретической философии» мы находим автобиографическое признание. «Сегодня, после раннего обеда, я лежал на диване с закрытыми глазами и думал о том, можно ли признать подлинным Платонов «Алкивиад Второй»[1081].

Но опыт жизни не мог пройти даром. Соловьев далек от принятия Платона, как абсолютной истины. В статье «Жизненная драма Платона», написанной в начале 1898 г.,

---

[1080] Творения Платона, Т. I, V; Соч., XII, стр. 360.

[1081] Соч., IX, стр. 100–101.

он произносит над Платоном строгий суд. Статья эта остро автобиографична. Сознавая свою конгениальность, свою глубокую связь с отцом греческого идеализма, Соловьев произносит суд и над своими прошлыми заблуждениями. В идеализме Платона он видит автобиографическую подкладку. Смерть Сократа, его учителя, праведника, осужденного на смерть родным городом, была глубокой трагедией для молодого Платона. Он заболел от нравственного потрясения и затем удалился в Мегару, где сложилась его идеалистическая философия. Мир, где убит праведник Сократ, не может быть истинным миром, это мир пустых теней, действительное бытие принадлежит только миру умопостигаемому. Но наступает второй, *эротический* период творчества Платона. После пережитого опыта любви он уже не может смотреть на чувственный мир только как на пустую тень. Любовное чувство свидетельствует о реальности любимого существа. Чувственно мир не может восприниматься как противоположность божественному. Эрос – построитель моста – pontifex – между миром идей и миром чувственным. Отсюда повышенное, жизнерадостное настроение эротических диалогов Платона «Федр» и «Пиршество». Платон был прав в своем понимании Эроса, как посредника между миром духовным и плотским, умопостигаемым и эмпирическим, но далее он «как будто сбивается с пути и начинает блуждать по неясным и безысходным тропинкам»[1082]. Он потерпел эротическое крушение, подобно герою трагедии Гамлету, возлюбленная которого Офелия утонула. Если Платон утверждал, что назначение Эроса «рождать в красоте», то есть в ощутительной реализации идеала, то он оставил его рождать только в умозрении[1083]. Но, пережив трагедию любви, Платон сам не мог вернуться к прежнему отрешенному идеализму и аскетизму.

[1082] Соч., IX, стр. 228.
[1083] Там же, стр. 231.

Он работает над реализацией своих идеалов в жизни, строит систему идеального государства, пытается осуществить ее при дворе Дионисия Сиракузского, пишет «Законы» для Крита. Но к этим построениям Платона Соловьев относится с жестоким осуждением. В его государстве освящены война и рабство, его идеальная община «во взаимоотношении полов возвращается к дикому образу жизни по обычаю звериному»[1084]. Наконец «Законы» – это отречение от Сократа и философии, апофеоз «слепой, рабской, и лживой веры», «варварство уголовного права»[1085]. «Какая глубочайшая трагическая катастрофа, какая полнота внутреннего падения!». Немощь и падение «божественного» Платона важны потому, что резко подчеркивают и поясняют невозможность для человека исполнить свое назначение, то есть стать действительно сверхчеловеком, одною силою ума, гения и нравственной воли, – поясняют необходимость настоящего существенного богочеловека[1086]. Жизненная драма Платона близка к драме самого Соловьева. И он пережил катастрофу в любви, и он был ненадолго «затянут эротическим илом»[1087]. Но двадцать веков отделяет Соловьева от Платона. И в начале этих веков мост между духовным и телесным миром уже построен, лестница Иакова соединила небесное с земным, и имя этой лестницы *Мария.*

А с неба тот же свет и Деву Назарета,
И змия тщетный яд пред нею озарял[1088].

Так заканчивает Соловьев свое стихотворение «Знамение», написанное 8 марта 1898 г., по случаю взрыва в Курском

[1084] Соч., IX, стр. 237.
[1085] Там же, стр. 239.
[1086] Там же, стр. 234.
[1087] Там же, стр. 224.
[1088] Стих., стр. 159; Соч., XII, стр. 70.

монастыре, при чем осталась неповрежденной та самая икона Курской Богоматери, которую Соловьев носил по усадьбе Воробьевки вместе с Марьей Петровной Шеншиной, летом 1887 г.

Произнеся окончательный приговор над Платоном, жизнь которого является сменой трех периодов – ложного, отрешенного идеализма юности, неудачной попытки преодолеть дуализм эросом и полного упадка в «Государстве» и «Законах» – Соловьев отрекается и от другого увлечения своей юности, Оригена. «Согласие и взаимное проникновение религиозной веры и философского мышления существует у Оригена *лишь* отчасти: положительная истина христианства в ее целости не покрывается философскими убеждениями Оригена». При самом искреннем желании принять новое откровение он не может понять его специфическую сущность. Эта сущность – принципиальное и безусловное упразднение дуализма, *добрая весть* о спасении целого человека, со включением его телесного или чувственного бытия. Односторонне-идеалистический индивидуализм Оригена лишал его возможности понять христианский догмат о первородном грехе или о реальной солидарности всего человечества в его земных судьбах. Радикально расходится Ориген с христианством и во взгляде на *смерть.* Для идеалиста-платоника смерть вполне нормальный конец телесного существования, с каковым взглядом несовместимо утверждение апостола: «последний враг истребится – смерть»[1089].

Е. Трубецкой находит, что из отрицания субстанциональности души следует и отрицание ее предвечного существования, каковое мнение Оригена Соловьев разделял в эпоху «Чтений о богочеловечестве»[1090]. «Соловьев расстался

1089 Соч., X, стр. 446–447.

1090 Е. Трубецкой, II, стр. 252.

с собственным своим заблуждением, которое стояло между ним и христианством. В полном согласии с христианским учением о творении из ничего, он признал, что личность как существо сотворенное есть *ничто*, актом творения превращенное в нечто, призванное служить *подставкой* для Божества и от него получающее свою подлинную идею или качество»[1091].

Произнеся суд над величайшим мыслителем греческого мира, Соловьев сказал жесткое слово и о величайшем поэте своей родины, о Пушкине.

В 1897 г. в «Вестнике Европы» появилась статья Соловьева «Судьба Пушкина», возмутившая публику и вызвавшая «единодушную брань всей печати»[1092]. Указав в жизни Пушкина на противоречие между высоким призванием поэта и ничтожеством его среди «детей ничтожных мира», Соловьев видит в трагической судьбе великого поэта не действие самого рока, а разумную и благую волю Божию, провидение Божие. Автор «Пророка», понимавший, что «служенье муз не терпит суеты», подымавшийся к высотам христианского мировоззрения, пал жертвой своего мелочного самолюбия и гнева. Он был убит не выстрелом Дантеса, а своим выстрелом в Дантеса. Не следует жалеть, что Пушкин умер в расцвете своего таланта. Осквернив руки убийством, он не мог бы более «подниматься на вершины вдохновения для звуков сладких и молитв и приносить священную жертву светлому божеству поэзии», он мог бы только искупить свой грех путем долгого покаяния. «Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло: она есть *цветение* и *сияние* духовных сил – добрых, или злых. У ада есть свой мимолетный цвет и свое обманчивое сияние. Поэзия Пушкина не была и не могла быть таким

[1091] Е. Трубецкой, II, стр. 251.

[1092] Соч., IX, стр. 286.

цветом и “сиянием ада”[1093]... Провидение избавило Пушкина от долгого и тяжелого пути: страданиями нескольких дней он искупил грехи своей злобы и самолюбия и умер, примиренный с Богом. Судьба его добрая и разумная.

Можно представить, какое негодование в публике вызвала эта статья. Она показалась верхом самомнения и хулой на великого поэта. Л. И. Поливанов, разделявший общее негодование, писал Полонскому, что с Соловьевым лучше на эту тему не разговаривать, так как он сильно раздражается, когда затрагивают “Судьбу Пушкина”.

Весной 1899 г. предстоял столетний юбилей со дня рождения Пушкина. Соловьев обещал статью для Пушкинского номера “Мира искусства”. “Мир искусства” был новый художественный журнал, под редакцией С. Дягилева, где сгруппировались первые русские ницшеанцы и декаденты: Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Н. М. Минский, Д. В. Философов, начинавшие в “Северном Вестнике”. К ним примкнули из более старых В. В. Розанов и Ф. Соллогуб. Соловьев не мог не сознавать, какое влияние приобретают идеи Ницше в России и что с этой стороны для христианской мысли надвигается серьезная опасность. Но философу, выросшему на Канте и Гегеле, было трудно понять все значение Ницше, едва ли он даже прочел его внимательно и пробовал ограничиться в полемике с ним шуткой и иронией. В 1897 г. в газете “Русь”, издававшейся Гайдебуровым, Соловьев поместил небольшую статью “Словесность или истина?”, где называет Ницше не сверхчеловеком, а сверх филологом». «Сверхчеловек есть лишь предмет университетского преподавания, вновь учреждаемая кафедра на филологическом факультете»[1094]. Ницше сошел с ума. «Этим он доказал искренность

[1093] Соч., IX, стр. 59.

[1094] Соч., X, стр. 31.

и благородство своей натуры и, наверное, спас свою душу». Но пример Ницше не произвел никакого впечатления на его последователей, которые с увлечением отдались соблазну. Более серьезно говорит Соловьев о Ницше в статье «Идея сверхчеловека», напечатанной в «Мире искусства» за 1899 г., в № 9. Здесь Соловьев указывает на три модные идеи: экономический материализм (Карл Маркс), отвлеченный морализм (Лев Толстой) и демонизм «сверхчеловека» (Фридрих Ницше). Последнюю идею Соловьев считает самой интересной[1095]. Самую идею сверхчеловека Соловьев признает верной: человеческое должно быть превзойдено. Но истинный сверхчеловек уже был явлен в истории в лице «Богочеловека» Христа, путь к сверхчеловечеству лежит через нравственный подвиг, а не через эгоизм и гордость, цель сверхчеловечества – победа над смертью. Во всяком случае с ницшеанцами логически возможен и требуется серьезный разговор[1096]. Но скоро у Соловьева с кружком «Мира искусства» происходит решительный разрыв.

В апреле 1899 года Соловьев уехал на Ривьеру, в Канн, где остановился в Villa Marie-Mélanie. Здесь, под пальмами, в несколько дней написан первый разговор о войне[1097]. 26-го мая Соловьев пишет Стасюлевичу уже из Лозанны: «Только что я прочел в Вашем письме, что Вы не одобряете названия моего жилища, как сейчас же его покинул, хотя скрепя сердце, ибо жилище и по живописности местоположения, и по обилию цветов и плодов, и по удобству внутреннего расположения не оставляло желать ничего лучшего. Да и относительно названия – почему Mélanie у Вас, ученого специалиста по древней истории Греции, соединилось вдруг с представлением о прачке Меланье, а не с греческим словом

[1095] Соч., IX, стр. 266.
[1096] Там же, стр. 274.
[1097] Соч., X, стр. 83.

μελαίνη черная? А разве все черное враждебно поэзии?»[1098] Из Канна Соловьев отправился в Женеву, «город, прославленный сукиным сыном Руссо и чертовым сыном Кальвином», и остановился в Hôtel des Borgnes. Оттуда он «проследовал в Lausanne, Ouchy, Hôtel Beau Rivage». «Лозанна есть город не столько поэтический, сколько педагогический», пишет он Стасюлевичу от 26 мая, «что явствует уже из ее названия, которое, очевидно, происходит от русского слова лоза. Название же Уши, по мнению некоторых, также имеет педагогический смысл, а по другим – кулинарный, будучи лишь французским произношением русского восклицания ухи!, что подтверждается и озером, кишащим форелями»[1099]. В Лозанне написано предисловие к переводу творений Платона. И в Канне, и в Уши Соловьев жил среди семьи Хитрово. Хитрово сняли с него несколько фотографических карточек. На ярком солнце Ривьеры лицо Соловьева все в резких тонах кажется особенно тревожным, в руке он держит розу.

26 или 27 мая почтальон принес Соловьеву запоздалую посылку от «Мира искусства» – полное собрание сочинений Пушкина и заказное письмо с просьбой написать статьи для юбилейного номера, письмо было помечено первыми числами апреля. Соловьев, привыкший во всех мелочах усматривать проявление таинственной судьбы, увидел здесь «двойную услугу какой-то благодетельной силы»[1100]. Он прочел вслух семье Хитрово все лучшие произведения Пушкина и освежил их в своей памяти, а запоздавшая посылка избавила его от участия в пушкинском номере «Мира искусства». Познакомившись с этим номером по возвращении в Россию, Соловьев был глубоко возмущен и высмеял его в 7 № «Вестника Европы», в статье «Особое чествование Пушкина».

1098 П., IV, стр. 78.

1099 Там же, стр. 79.

1100 Соч., IX, стр. 287.

В Пушкинском номере «Мира искусства» были статьи Розанова, Мережковского, Минского и Соллогуба. Розанов относится к Пушкину отрицательно, находя в нем отсутствие «оргиазма», «пифизма». Розанов, по мнению Соловьева, прав. В поэзии Пушкина «сохранилось слишком много вдохновения, идущего сверху, не из расщелины, где серные, удушающие пары, а оттуда, где свободная и светлая, недвижимая и вечная красота.

Пришел сатрап к ущельям горным
И видит: тесные врата
Замком замкнуты непокорным,
Грозой грозится высота.
И, над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

В недостижимой – для г. Розанова не менее, чем для Олоферна. И для того и для другого поэзия не идет дальше пляшущих сандалей Юдифи, а Ветилуя – это "слишком строго", слишком серьезно»[1101]. Розанов противополагает Пушкину – Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Толстого. Чутье не обмануло его. «Розановского пифизма», положим, в них мало, но и Ветилуи настоящей почти не видать. Гоголь и Достоевский всю жизнь тосковали по ней, но в писаниях их она является более делом мысли и нравственного сознания, нежели прямого чувства и вдохновения, при том «главным образом» лишь по контрасту с разными Мертвыми душами и Мертвыми Домами, Лермонтов до злобного отчаяния рвался к ней – и не достигал, а Толстой подменил ее «Нирваной», чистой, но пустой и даже не белеющейся в вышине[1102]. Более всех

[1101] Соч., IX, стр. 284.

[1102] Там же, стр. 285.

возмутил Соловьева Минский, который, преклоняясь перед Пушкиным, навязывает ему свои собственные ницшеанские идеи: победу эстетического идеала над этическим и победу инстинкта над рассудком. Соловьев напоминает Минскому, что в романе Пушкина победа осталась не за «эстетическим» Онегиным, а за «этической» Татьяной, весьма позорно побившей героя. В заключение Соловьев называет Пушкинский номер «Мира искусства» покушением «сбросить белеющуюся Ветилую нашего несравненного поэта в темную и удушливую расщелину Пифона»[1103].

Д. Философов весьма резко отвечал Соловьеву в «Мире искусства», защищая своих друзей. По поводу «Ветилуи» он высказывал удивление, что Соловьев не видит «Ветилуи» – «дома Божьего», у Достоевского, создавшего старца Зосиму и Алешу. Соловьев возражал Философову в № 10 «Вестника Европы» статьей «Против исполнительного листа».

Пробыв 36 часов в Базеле[1104], Соловьев в начале июня вернулся в Петербург. По приезде написано им трогательное стихотворение «У себя», где выразилась вся его любовь к Петербургу.

Дождались меня белые ночи
Над простором густых островов...
Снова смотрят знакомые очи,
И мелькает былое без слов[1105].

Город, который в юности казался Соловьеву «чухонским содомом», теперь стал для Соловьева любимым, родным городом, где он был у «себя». Неоднократно он указывает на высокое государственное и культурное значение Петербурга,

---

[1103] Соч., IX, стр. 287.
[1104] П., IV, стр. 80.
[1105] Стих., стр. 184; Соч., XII, стр. 78.

ставя его рядом с Александрией и Константинополем[1106], патриотически говорит о «нашей невской воде»[1107] и пророчествует, что в конце истории папство, изгнанное из Рима, изберет своей резиденцией город Петра.

Немного пробыв в Петербурге, Соловьев приезжает в Москву и поселяется в «Славянском Базаре», где работает над переводом Платонова диалога «Протагор».

В середине июня мы встречали его с отцом в перелеске, на границе имения моих родных Коваленских «Дедово», по патриархальному обычаю с хлебом-солью. Вот показалась вдали его запыленная крылатка, черная широкополая шляпа и седые кудри. Запыленный, бледный и постаревший, он прищуривал близорукие глаза и, узнав нас, издал веселое ржанье: хе! Он привез рукопись первого разговора о войне и предисловие к переводу Платона. В тенистой библиотеке нашего дома, под портретом Сковороды, он читал нам разговор о войне. Речи генерала произносил с пафосом, в котором выражалась вся его любовь к старым боевым генералам. Соловьев имел много военных друзей, и раз один генерал обиделся на него, когда Соловьев воскликнул: «Как я вам завидую! Я всего больше желал быть военным!». Генерал принял это за насмешку, а Соловьев говорил вполне искренне. Речи «политика» Соловьев произносил искусственным голосом старого, бюрократического фата, подражая министру Горемыкину. Мой отец отнесся вполне сочувственно к апологии войны, как раньше он один поддерживал брата по вопросу о судьбе Пушкина. Моя мать и я стали возражать. Соловьев сначала говорил, что нельзя в словах генерала видеть кредо самого автора, но скоро оборвал разговор фразой:

1106 П., III, стр. 265.

1107 Соч., IX, стр. 60.

«Ну, здесь спорят четверо: с одной стороны двое мужчин, с другой – женщина и отрок. Ясно, кто прав».

Мы пили чай на балконе. Зашел разговор об «Особом чествовании Пушкина», и Соловьев принялся высмеивать Розанова. «Что ночь, когда родился Мухаммед, не была ли той самой Варфоломеевской ночью» и т. д. Моя мать, как-то органически не понимавшая Пушкина, задала Соловьеву вопрос: «Скажи, за что ты любишь Пушкина?» – «А вот за что», отвечал Соловьев

«Пришел сатрап к ущельям горным...»

и он продекламировал начало «Юдифи». Все замолкли пораженные.

Мы гуляли с отцом и дядей на уединенном пруду Коняшине, где была склоненная над водой плакучая береза, которую Соловьев особенно любил и ложился вдоль ее ствола, повисая над водой, и смотрел в небо... Два раза еще в это лето Соловьев приезжал в Дедово: 5 июля на мои именины, и 11 июля, на именины моей матери. Иногда мы обедали с отцом у него в «Славянском базаре». Он ел только икру, запивая ее вином. Любил он после обеда нанять лихача и ехать в Новодевичий монастырь поклониться родным могилам.

После смерти брата мой отец, вспоминая лето 1899 г., написал ко мне стихотворение:

Мы встречали его на границе земли,
На границе его обнимали.
Запыленные кони нас к дому везли,
Голоса наши в поле звучали.

Умолкло. Ледяная тень
Беззвучно проползла...
Мы будем помнить этот день,
День холода и зла.

И где-то в чуткой тишине,
Без жалобы, без слез,
Не на яву и не во сне
Застыл немой вопрос.

Неустанное солнце на той же черте
Все несется, коней погоняя.
И мы мчимся неслышно к заветной мечте,
Дню субботнему тайно внимая.

Мы не видим вблизи, мы не видим вдали,
И как сбудется день тот не знаем,
Но мы станем в тот день на границе земли,
На границе его повстречаем.

После «Особого чествования Пушкина» Соловьев задумал написать обширное исследование о поэзии Пушкина. В октябре 1899 г. он пишет Стасюлевичу: «Если мне удастся написать для декабря о поэзии Пушкина, то мне совершенно необходимо будет коснуться вначале немногими словами и «Судьбы Пушкина», так как иначе мое неограниченное восхваление его поэзии может показаться (по необязательной логике для читателей) некоторою ретрактацией моего прежнего взгляда на его характер и образ действий; что мое суждение об этом вовсе не относится к поэзии, никто ведь сам собой не примет во внимание, а непременно будут говорить так: «вот два года тому назад ругал Пушкина, а теперь восхваляет, и ясно почему: на синекуру в Пушкинскую Академию захотелось попасть. Во избежание такой диффамации я непременно должен статью “О поэзии Пушкина” начать упоминанием о моей прежней статье и заявлением, что я остаюсь при своем прежнем взгляде, как никем не опровергнутом»[1108]. Осенью 1899 г. написана первая глава о поэзии Пушкина и под заглавием «Значение поэзии в стихотворениях

[1108] П., IV, стр. 81.

Пушкина» напечатана в № 12 «Вестника Европы». Эта статья принадлежит к лучшим произведениям Соловьева и по мыслям и по форме. Высотой своего морального пафоса она превосходит «Оправдание добра». Ругнув в начале «пифизм», демонизм, сатанизм и прочие «новые красоты», в сущности столь же старые, как «черт и его бабушка», Соловьев говорит, что свет и огонь Пушкинской поэзии шли не из гниющего болота. Семиствольная цевница, которую дала ему Муза, была сделана из болотного тростника, но «тростник был оживлен божественным дыханьем»[1109]. Пушкин был выразитель чистой поэзии и здесь никто не может с ним сравниться. Можно предпочитать могучий ум «властителя дум» Байрона, религиозный мистицизм Мицкевича, но Пушкин остается непревзойденным идеалом чистой поэзии, не нуждающейся ни в чем, кроме красоты. Поэтическое творчество отличается от философского и ораторского тем, что основа его «безвольна, пассивна»[1110]. Во время поэтического вдохновения ум и воля потенциальны, самодеятельное начало в человеке гаснет, он пассивно отдается набегающим на него волнам лирического вдохновения. Таково именно творчество Пушкина, требовавшее полного отрешения от суеты, искавшее для своего проявления пустыню глухой осени в деревне. Взгляд Пушкина на значение поэзии раскрывается им в стихотворениях «Пророк», «Пока не требует поэта», «Поэт и чернь», «Памятник». Соловьев дает детальный и блестящий анализ этих стихотворений. Сначала он опровергает взгляд, что под пророком здесь надо разуметь действительного библейского пророка или Магомета. Пророк Пушкина – идеальный поэт. Поэзия рождается из понимания духовной жажды, когда мир повседневной жизни кажется мрачной пустынею.

1109 Соч., IX, стр. 300.

1110 Там же, стр. 307.

Прикосновение серафима раскрывает глаза и уши поэта, делая их более зоркими и чуткими. Подъем немощных, хотя не безгрешных чувств проходит не вполне безболезненно: глаза у поэта раскрываются, как у испуганной орлицы, уши его наполняет шум и звон. Но далее следует кровавая операция. Женственно-нежный серафим превращается в опытного хирурга. Для раскрытия зрения и слуха высшая сила только касается их легкими перстами, но грешный, лукавый и празднословный язык должен быть вырван и заменен жалом мудрой змеи. Но чтобы новый язык пророка не только *язвил* сердца людей, обличая их грехи, но и жег их огнем любви, плотяное, трепетное сердце должно быть вынуто и заменено пылающим углем. Как прежде мир стал для пророка пустыней, так теперь все пустое, не божье становится в нем *трупом.* «Смертно-животворный процесс конца»[1111]. Таков начертанный Пушкиным идеал поэта-пророка. Но он сам не воплотил его в жизни. Он не нашел выхода из роковой двойственности между «священной жертвой» и «ничтожеством среди детей ничтожных мира». Разбирая стихотворение «Поэт и чернь, Соловьев доказывает, что под чернью здесь нельзя разуметь простой народ и видеть в стихах выражение Пушкинского аристократизма. Чернь – это те, кто не понимает значения чистой поэзии и требует от поэта практической пользы. Пушкин был прав в своем гневе на эту чернь, которая «ценит на вес кумир Бельведерский». Неправда его в том, что он в личной жизни, в отношении к людям не мог стать выше предрассудков этой черни, не осуществил в действительности начертанный им высокий идеал поэта. Наконец последнее стихотворение «Памятник» – непостыдное соглашение Пушкина с потомством, с большим народом, со всеми племенами, населяющими великую Россию. Большой народ этот

[1111] Соч., IX, стр. 322.

не имеет ничего общего с «маленькой чернью», светской и старосветской. Поэт знает, что и этот большой народ не оценит его «звуков сладких и молитв», его «серафических вдохновений», но он оценит нравственное действие его поэзии. Народная тропа к памятнику великого поэта не зарастет потому, что он «пробуждал лирой *доброе* чувство», «восславил свободу в свой жестокий век» и «призывал милость к падшим»[1112].

Эта статья, которая вместе с «Жизненной драмой Платона» является лучшим из написанного Соловьевым в последние годы жизни, была только первой главой обширного труда о поэзии Пушкина. Летом 1900 г., за несколько недель до смерти, Соловьев пишет Стасюлевичу: «Я взял у Слиозберга летний аванс в размере несколько большем прежнего, но за это осенью заплатит сполна наш общий знакомый А. С. Пушкин»[1113].

Произнеся пророческий суровый суд над Пушкиным в «Судьбе Пушкина», Соловьев теперь произносит окончательный, беспощадный приговор над Лермонтовым. В Лермонтове видит он одного из предшественников Ницше, поэта ложного сверхчеловечества, соблазненного демоном зла, гордости и сладострастия. Недаром отдаленный предок Лермонтова Томас Лермонт, живший в XIII веке в Шотландии, был «вещий и демонический Фома Рофмог, с любовными песнями, мрачными предсказываниями, загадочным двойным существованием и роковым концом». «Он пропал безвозвратно, уйдя за двумя белыми оленями, присланными за ним, как говорили, из царства фей»[1114]. Первою особенностью Лермонтова являлось унаследованное от таинственного

[1112] Соч., IX, стр. 346.
[1113] П., IV, стр. 83.
[1114] Соч., IX, стр. 352.

предка двойное зрение, способность предугадывать свою судьбу, о чем свидетельствует стихотворение «Сон». Лермонтов с отроческих лет чувствовал свое великое призвание, но он не хотел смириться перед высшей силой, не хотел понять, что истинно великий человек подымается на высоты сверхчеловечества «только по трупам убитых им врагов, то есть злых личных страстей»[1115]. Рядом с демоном гордости в душе Лермонтова жил демон жестокости. В детстве он любил давить мух и сшибать камнями кур, юношей находил радость и наслаждение в разрушении спокойствия и чести светских барынь. Ослабевал демон кровожадности, уступая место своему брату, *демону нечистоты*. Если эротический демон Пушкина – «игривый бесенок, какой-то шутник гном», то «пером Лермонтова водил настоящий демон нечистоты»[1116]. Наконец дуэль Лермонтова с Мартыновым была фаталистическим опытом, вызовом высшим силам. «В страшную грозу, при блеске молний и раскатах грома, перешла эта бурная душа в иную область бытия»[1117]. Но при всем своем демонизме Лермонтов верил в то, что выше и лучше его самого, а в иные светлые минуты даже ощущал над собой это лучшее:

И в небесах я вижу Бога[1118]...

Обличить демонизм Лермонтова побуждал Соловьева долг любви к умершему. «Обличая ложь его демонизма,... мы уменьшаем тяжесть, лежащую на этой великой душе»[1119].

Статья о Лермонтове, прочитанная в виде публичной лекции, была таким же вызовом, как «Судьба Пушкина».

[1115] Соч., IX, стр. 359.
[1116] Там же, стр. 362.
[1117] Там же, стр. 365.
[1118] Там же, стр. 363.
[1119] Там же, стр. 367.

Соловьев предвидел, что она «должна раздразнить гусей разной масти еще более, чем “Судьба Пушкина”». Итак, Лермонтов для Соловьева – предшественник Ницше, жертва демонов гордости, кровожадности и нечистоты. Пушкин велик в своем художественном созерцании, но ничтожен в личной жизни, которая искупается только трагедией и мучимучительной смертью. Кто же из поэтов был «истинно-великим человеком?». Таковым Соловьев признает Адама Мицкевича. Пушкин верно сказал о своем славянском собрате: «Он вдохновен был свыше и с высоты взирал на жизнь». Смотреть на жизнь с высоты – не значит смотреть на нее свысока. Эта высота была достигнута нравственным подвигом. Мицкевичу пришлось пережить три роковых крушения: крушение личного счастья в любви к Марине Верещак, потерю родины и разрыв с церковным авторитетом. Мицкевич подчинил свое личное счастье счастью отчизны, выше отчизны поставил он «сверхродную и сверхнародную избранницу Церковь»[1120]. И он был осужден Римом. Но личная жизнь сердца не была уничтожена в нем любовным крушением. Отвергнутый и отчизной и церковью, он остался им верен. «Истинно был он великим человеком и мог смотреть на жизнь с высоты, потому что жизнь возвышала его... Он велик тем, что, поднимаясь на новые ступени нравственной высоты, он нес на ту же высоту с собою, не гордое и пустое отрицание, а любовь к тому, над чем возвышался»[1121].

Мы можем предположить, что, подводя итог своей жизни, Соловьев видел в ней не драму, подобную драме Платона или Пушкина, а постоянное возвышение, подобное возвышению Мицкевича. Конечно, подход Соловьева к поэтам

1120 Соч., IX, стр. 262.
1121 Там же, стр. 264.

односторонен. Можно было бы больше сказать о религиозности Лермонтова, и много сказать о демонизме Тютчева и Мицкевича. Последний дал несколько страниц, дышащих таким подлинно христианским чувством, какого мы не найдем у великих русских поэтов, а разве только у Достоевского. Но Соловьев просмотрел в «Книгах польского пилигримства» тот мистический национализм, с которым он сам так боролся и который можно сравнить только с национализмом Достоевского. По-видимому, этот мессианский национализм является трудно одолимым соблазном для славянского гения... В основном Соловьев прав, и Д. С. Мережковский только договорил его слова, когда в оправдание национализма Мицкевича указывал, что родной народ возвеличивается им не в момент своего политического торжества, а страдания и распятия, являясь символом страдающего Спасителя.

Мы не случайно соединили в одной главе «Теоретическую философию» Соловьева и его статью о Пушкине. Они проникнуты одним настроением. И там и здесь, и в философском познании, и в поэтическом творчестве подчеркивается пассивность, смирение души. Нет никаких субстанциональных единиц сознания: чтобы восприять истину, чтобы услышать голоса духовного мира, надо сознать себя только подставкой божества, надо предоставить серафиму самому открыть нам духовные очи легким, хоть и не безболезненным прикосновением, и душа станет прозрачной средой, где отражается лучезарная София, в ней только «свет, да вода» и «прозрачный туман», исчезли подводные скалы с гнездящимся под ним гадом эгоизма и самоутверждения.

Во внешней природе символом «белых дум» Соловьева являются воздушные, призрачные, высокие колокольчики Пустынного парка:

Мы живем, твои белые думы,
У заветных тропинок души.

Бродишь ты по дороге угрюмой,
Мы недвижно сияем в тиши[1122].

Это «белое море», плавно качаемое весенним ветром, еще бестелеснее, еще прозрачнее, чем «последняя любовь» Соловьева – «нежная» Сайма, которая волнуется и бьется в своих гранитных берегах. Белые колокольчики – это «белые ангелы».

Ангелы белые
Встали кругом[1123].

Что же это последнее настроение Соловьева? Квиэтизм, фатализм, полное безволие и пассивность? Мы возвращаемся к сравнению с Августином. Если юношеский период Соловьева напоминает первый период Августина, когда сын Моники, перейдя от натурализма манихеев к платонизму, закладывал фундамент христианской философии, если во втором периоде мужества Августин и Соловьев отдают все силы выяснению догмата о единстве церкви, первый в борьбе с расколом Доната, второй – в борьбе с центробежными устремлениями национальных церквей, то вечерняя пора Соловьева, начиная с «Оправдания добра», напоминает закат Августина, когда иппонский епископ в борьбе с Пелагием вырабатывал свое учение о благодати. Соловьев в «Оправдании добра» стоит на точке зрения Августина в вопросе о свободе воли. В феноменальном мире есть только свобода выбора зла, свобода выбора добра определяется благодатью. В споре с Лопатиным Соловьев иногда заостряет свои положения так, что только тонкая черта отделяет его от чистого детерминизма. Но он не перешел этой черты, как не перешел ее и Августин. Если односторонние последователи Августина впали в детерминизм

1122 Стих., стр. 185; Соч., XII, стр. 79.
1123 Стих., стр. 337; Соч., XII, стр. 98.

и дошли до идеи *безусловного предопределения* (Кальвин), то подобное может случиться и с близорукими последователями Соловьева. Но для Соловьева его детерминизм был только философским выражением его «нищеты духовной», смиренным признанием бессилия своего я, пока оно находится в своих границах, и радостной уверенностью в благой воле Провидения. «Возьми наши права и оправдай нас твоею истиной», как писал Соловьев еще в 1883 г.[1124]

Е. Трубецкой, упорно противополагая последний период Соловьева периоду 80-х годов, как будто просмотрел «Духовные основы жизни». Он не понимает того, что аскетизм этих «назидательных статей» был необходимой предпосылкой построений «Теократии» и «La Russie», в которых Е. Трубецкой видит только некое «искушение» и утопии Дон-Кихота Ламанчского. Мало обратил внимания Трубецкой и на те *отрицательные* стороны, которыми отмечен последний период Соловьева и которых не было в 80-х годах. С этими отрицательными сторонами мы познакомимся в последней главе.

Глава 7
Три разговора. Повесть об антихристе. Смерть

Замыслы смелые
Крепнут в груди.
Ангелы белые
Шепчут: иди!

В. Соловьев

Если занятия Платоном в 1875 г. вдохновили Соловьева на сочинение маленького диалога «Вечера в Каире»[1125], то теперь, окунувшись снова и глубже прежнего в вечно-свежий поток Платонова творчества, Соловьев задумывает изложить

[1124] Соч., III, стр. 335.
[1125] Лукьянов. М., III, стр. 248.

свои воззрения в трех диалогах, построенных по образцу Платона. Так создаются знаменитые «Три разговора». Какова их тема? Первоначально, в «Книжках недели»[1126] заглавие этого сочинения было: «Под пальмами. Три разговора о мирных и военных делах». В отдельном издании заглавие было изменено на «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе и с приложениями». Но это только частности. Вопрос шел о природе зла и действии его в мире. Предполагая осветить этот вопрос с метафизической точки зрения в своей «Теоретической философии», Соловьев предварительно излагает свой взгляд в популярной форме, доступной для всякого читателя. В предисловии к «Трем разговорам» Соловьев говорит: «Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия? Этот жизненный вопрос может отчетливо исследоваться и решаться лишь в целой метафизической системе. Начав работать над этим для тех, кто способен и склонен к умозрению, я, однако, чувствовал, насколько вопрос о зле важен для всех. Около двух лет тому назад особая перемена в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться, вызвала во мне сильное и устойчивое желание осветить наглядным и общедоступным образом те главные стороны в вопросе о зле, которые должны затрагивать всякого»[1127].

Влияние Платона заметно на всем построении диалогов. Роль Сократа играет г. Z., за которым легко узнать лицо

[1126] Кн. нед. 1899 г. октябрь.

[1127] Соч., X, стр. 83.

автора. В первом диалоге главная роль принадлежит старому боевому генералу, представителю «религиозно-бытовой точки зрения». Во втором диалоге политику, «мужу совета», представителю точки зрения культурно-прогрессивной. За этими двумя лицами автор признает относительную правду[1128]. Наконец прямо от своего лица Соловьев говорит в третьем диалоге устами г. Z. Четвертый собеседник – молодой князь, «моралист и народник» – жестокая карикатура на толстовцев, за этим лицом Соловьев, по-видимому, не признает никакой, даже относительной правды и отдает его на растерзание всем другим собеседникам. Платон допускал в своих философских диалогах иронию, но Соловьев пошел дальше своего образца. Его разговоры переполнены шутками и каламбурами, и пятый собеседник – дама играет роль шута Шекспировской драмы, высказывая иногда остроумные и глубокие мысли.

Итак, Соловьев, прямо говоря от лица г. Z., прячет свое лицо и за масками генерала и политика. К первому у него чувствуется горячая симпатия, второй говорит целыми страницами из «Оправдания добра» и «Национального вопроса», и нас поражает совпадение знакомых нам идей Соловьева с кредо старого политика, скептика и атеиста, сочувственно цитирующего своего любимого поэта Лукреция: «Tantum religio potuit suadere malorum».

В «Трех разговорах» Соловьев окончательно выражает свой взгляд на Толстого как на религиозного самозванца, как на фальсификатора христианства. «Истинная задача полемики здесь – не опровержение мнимой религии, а обнаружение действительного обмана»[1129]. Соловьев считает войну злом, но злом неизбежным и не верит в возможность прекращения

[1128] Соч., X, стр. 87.
[1129] Там же, стр. 85.

войн до конца всемирной истории. Миротворческая затея Николая II, его план всеобщего разоружения произвели на него впечатление лицемерия и отвода глаз. Он всей душой разделял идею Вильгельма II о необходимости сохранять солидарность христианской Европы ввиду неизбежности вооруженного столкновения с монгольской расой. В моих руках находится ценный документ, до сих пор не опубликованный. Это письмо Соловьева к княгине Елизавете Григорьевне Волконской, проживавшей в Риме. Вероятно письмо, сохранившееся в бумагах Соловьева, не было отправлено по адресу, а может быть Соловьев оставил у себя черновик или копию.

«Я совершенно не могу», пишет Соловьев кн. Волконской, «разделять Ваших чувств и взглядов относительно затеи 12 августа. Ее настоящие пружины гораздо виднее здесь, нежели в Риме. Это совсем дурное дело и его можно было бы назвать дьявольским, если бы оно не было так глупо. Единственная цель со стороны внушителей отвести глаза посредством внешнего шума от тех внутренних язв, которые правительство могло бы и должно бы, но *не хочет* исцелять, а напротив с какой-то адской любовью *к злу для зла* старается увеличивать. Я говорю о явных фактах; одновременно с циркуляром 12 августа произошли два других правительственных действия: решено принудительное обрусение Финляндии и изданы синодские правила, которыми 400 000 русских униатов, заявляющих себя католиками, окончательно объявлены «православными», в силу административного распоряжения 1875 г. Согласитесь, княгиня, что эти две меры бросают совершенно особенный свет на одновременную с ними миротворческую затею: ведь для уничтожения такой вопиющей мерзости, как «административное» (посредством штыков и нагаек) перечисление людей из одного вероисповедания в другое, требовался только росчерк пера, а для воздержания от ничем не вызванного нападения на их права, соблюдать

которые нападающий торжественно присягал, не требовалось совсем никакого действия, а нужно было только оставаться просто честным человеком. И вот, вместо удовлетворения самым элементарным обязанностям, объявляются такие задачи, которые не во власти, а следовательно и не по обязанности объявляющего! Ну можно ли серьезно слышать, как человек, не доросший до сознания минимальных нравственных требований, выступает как всемирный благодетель? И какое тут может быть другое побуждение с этой стороны, кроме самого низменного и идиотского тщеславия? Ведь это все равно, как если бы кто-нибудь придушил собственных детей и затем объявил в газетах, что он желает спасать вселенную. «Il paraît, que j'en ai dit assez et même trop. Summa: беременные сеном родят солому».

Резко разошелся Соловьев с общественным мнением и по вопросу о бурской войне. Прячась за маской политика, Соловьев в грубой форме высказал тот взгляд, который действительно принадлежал ему и высказывался им в беседах с друзьями. Соловьев отказывался подписывать сочувственные адреса Трансвальской республике, видя во всей этой шумихе глупость и лицемерие. Он не сочувствовал сепаративным стремлениям славянских народов освободиться от более культурных Австрии и Германии, стремлению буров к независимости от более культурной Англии. Национальным стремлениям народов противополагал он единство европейской культуры при гегемонии передовых и могучих наций Германии и Англии, сочувствовал и англороманскому движению[1130]. «Та степень слабоумия», говорит политик и здесь мы слышим голос автора, «которая позволяет действительным, трудовым преимуществам немцев

[1130] П., IV, стр. 197 (219).

противопоставлять воображаемый крест на Ая-Софии, – едва ли и встречается теперь где-нибудь»[1131].

Разные славянские комитеты называет он «вредными пустяками». Бурская война поощряется завистью континента к Англии[1132]. «Говоря серьезно, эти буры конечно европейцы, но плохие. Отчужденные от своей славной метрополии, они в значительной степени потеряли и свою культурность, окруженные дикарями, сами одичали, загрубели, и ставить их на одну доску с англичанами и даже доходить до того, чтобы желать им успеха в борьбе с Англией – cela n'a pas de sens».

Эти и подобные им места «Трех разговоров» вызвали большое негодование в прежних друзьях Соловьева. С. П. Хитрово говорила, что Соловьев в молодые годы никогда бы не поверил, что когда-нибудь он будет способен писать такие возмутительные вещи... Где можно было напечатать «Три разговора»? Сначала Соловьев надеялся на свой «Вестник Европы». 10/22 мая 1899 г. в Канне был закончен первый диалог, и Соловьев послал его Стасюлевичу. «Вот Вам, дорогой и глубокоуважаемый Михаил Матвеевич, последние шесть страниц посланной вчера статьи. Тороплюсь теперь на почту, а потому буду краток и деловит (последнего Вы, конечно, не примете за мое постоянное свойство). Если почта исполнит свои обязанности, то весь оригинал может быть в типографии в пятницу 14 мая, и значит с этой стороны статья может появиться в июньской книге, что было бы желательно по ее сюжету. Второй и третий разговор, насколько от меня зависит, последуют непременно. Думаю, что цензурных препятствий нет. Если бы первый "разговор" оказался *слишком* уж консервативным и благонамеренным

1131 Соч., X, стр. 144.
1132 Там же, стр. 153.

для моего однофамильца и несоответствующим текущей минуте, то можно поставить на вид, что все сомнительное в первом диалоге будет опровергаться в двух следующих. Для некоторых отдельных выражений потребуется может быть Ваша внутренняя цензура, мне кажется, что такой случай только один – по поводу Владимира Мономаха»[1133]. Но, при всей любви к Соловьеву, Стасюлевич отказался печатать в своем прогрессивном журнале «религиозно-бытовые» монологи генерала. Последнее произведение Соловьева не вмещалось в рамки «Вестника Европы», и ему пришлось укрыться в скромных «Книжках недели».

В октябре 1899 года Соловьев работает над статьей о поэзии Пушкина и вторым разговором. 19 октября окончен был в Москве второй разговор. Соловьев читал его у нас в доме в присутствии старого генерала А. Д. Доната. Тогда же он взял у меня Поливановское издание Пушкина. Статья о Пушкине написана в Москве. Соловьев читал ее в доме М. Л. Даниловой, кроме моего отца и меня никого больше не было.

В начале ноября Соловьев вернулся в Петербург. Здесь, когда он собирался приступить к третьему разговору, на него свалилась новая болезнь, остановившая его работу. У него сделалось отслоение сетчатки, один глаз уже совсем не видел. «Моя слепота умудрила меня на 27 лет и сделала Вашим ровесником», пишет Соловьев Стасюлевичу[1134]. В то же время количество визитов и писем все более утомляло Соловьева. Он дошел до того, что весь день проводил в сношениях с людьми, а ночь посвящал работе. В «трех разговорах» есть автобиографическая страница. Соловьев рассказывает о смерти своего приятеля, дошедшего до самоубийства

[1133] Соч., X, стр. 76.
[1134] П., IV, стр. 81.

благодаря своей чрезмерной вежливости. Его друг считал необходимым «читать все получаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и брошюры, присылаемые ему с требованием рецензий; на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать; старательно вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, вследствие чего он был весь день в хлопотах по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночи; далее – принимать все приглашения, а также всех посетителей, застававших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую он себе создал вследствие своей вежливости, хотя и удручала его, но не переходила в трагедию: вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, он брался за бутылку и, потянувши из нее, бодрее тянул и свою цепь. Но здоровья он был слабого и в сорок пять лет должен был отказаться от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собою»[1135]. Кроме заключительного самоубийства, здесь все автобиографично: и слабое здоровье, и 45 лет, и крепкие напитки. Действительно Соловьев для поддержания нервной энергии не мог в последние годы обходиться без вина, и не принято было приглашать его к обеду, не заготовив бутылку красного вина. Это вино он особенно любил и с удивлением вспоминал: «А папа совсем не признавал красного вина, он говорил: это чернила».

Потеряв один глаз, осаждаемый визитами и письмами, Соловьев был принужден наконец 23 ноября обратиться в «Новое время» с письмом следующего содержания: «В виду справедливого неудовольствия разных лиц, не получающих от меня никакого ответа на свои вопросы, желания

[1135] Соч., X, стр. 122.

и требования, я должен представить следующие объяснения. Недавно болезнь глаза принудила меня к двухмесячному воздержанию от книги и пера. Получивши это первое предостережение, и не желая вызывать дальнейших, я решил отказаться впредь от всякой побочной работы, как то: от чтения чужих рукописей и редактирования чужих переводов, от писания рецензий, заметок и критических статей по текущей литературе, а также от переписки с посторонними лицами. Такая решимость не есть следствие дурного характера, и я немедленно от нее откажусь, лишь только окончу начатые мною большие труды, которые кажутся мне главною и прямою моей обязанностью, к которым принадлежат:

1) Перевод Платона с этюдами о нем.
2) Теоретическая философия.
3) Эстетика.
4) Эстетический разбор Пушкина.
5) Библейская философия с переводом и толкованием Библии.

Если Бог и добрые люди дозволят мне кончить все это, то, конечно, вместе с досугом я приобрету и ту высокую степень старческой экспансивности, которая сделает меня приятнейшим почтовым собеседником для всех, мало знакомых или вовсе незнакомых, или пишущих мне о своих делах»[1136].

Приближается смерть, и опять, как в 1895 г., Соловьев слышит «призыв родных теней». В день своего рождения, 16-го января 1900 г., он написал стихотворение «Les revenants»:

Тайною тропинкою, скорбною и милою,
Вы к душе пробралися, и – спасибо вам!

[1136] П., III, стр. 185; ср. также Приложение № 1: Вл. С., «Отрывок из одного дневника».

Сладко мне приблизиться памятью унылою
К смертью занавешенным, тихим берегам[1137].

Любовь к умершим выражалась у Соловьева между прочим в частом писании некрологов. В январе 1900 г., на заседании Петербургского философского общества, Соловьев «поминает трех покойников», только что умерших Троицкого и Грота и своего старого учителя П. Д. Юркевича.

Эти «Три характеристики» блестящи[1138]. Характер Троицкого описан в стиле тихого и благодушного юмора, напоминающего лучшие страницы Гоголя. Троицкий был представитель английской эмпирической психологии, для которой все существующее сводится к «рядам субъективных состояний сознания», но это не исключало практической уверенности в житейской подлинности разных субъектов и объектов. «Я положительно знаю, что Матвей Михайлович нисколько не сомневался в практической, так сказать, субстанциональности ректора, попечителя, министра, и даже, я думаю, университетского казначея»[1139]. Упоминая о неприятностях Троицкого по службе, когда он был неожиданно заподозрен начальством в «безбожии», Соловьев говорит: «Несомненно, что для большинства русского общества в 80-х годах XIX века, различие между английской психологией и немецким материализмом было также неясно, как для наших предков различие между католичеством и протестантством. "Эмпирическая психология", – "позитивизм", – "материализм", – "безбожие", – "нигилизм" – все это соединялось вместе и "как зловещий итог получалось слово: *отставка*"[1140]. Состояние души Троицкого Соловьев сравнивает с "неподвижностью

[1137] Стих, стр. 186; Соч., XII, стр. 79.

[1138] Соч., IX, стр. 380.

[1139] Там же, стр. 384–385.

[1140] Там же, стр. 385.

и замкнутостью садового пруда или аквариума"[1141]. В некрологах Соловьева особенно проявлялась его всегдашняя сердечность, последние годы переходившая в какую-то нежную грусть. С любовью провожал он в могилу старого протоиерея Преображенского, редактора "Православного обозрения", на страницах которого Соловьев начал свою писательскую деятельность. Как с любовью изобразил он старого боевого генерала, у которого после расстрела башибузуков "на душе светлое Христово воскресение"[1142], так с любовью изображает он теперь старого батюшку-пчеловода, которого трудно весной застать в Москве, так как он на даче в Пушкине весь день "над маткой сидит"[1143]. Эти старые генералы и батюшки отходили в прошлое, и Соловьев, весь устремленный в грозное будущее, провожает с ласковой улыбкой эти тени религиозно-бытовой России. Мирно скончался старый протоиерей Преображенский, но судьба его сына надрывает сердце Соловьева. "Среди томительного дневного пути, далеко от ночлега, разбилось благородное сердце, кроткостью и раннею тягостью жизни заплатил этот труженик за право избранников подниматься на царственные высоты мысли и созерцания"[1144]. Некролог В. П. Преображенского, молодого философа и поклонника Ницше, скончавшегося 11 апреля 1900 г. на 36 году жизни и оставившего детей-сирот без матери, кончается следующими словами: "За краткую и тяжелую твою жизнь, дорогой и несчастный друг, за все, что ты успел претерпеть, и за все, чего не успел сделать, – пусть будет тебе хоть одно утешение: ты-то уж, конечно, не подвергался и не подвергнешься тому упреку, который считал самым тяжким – упреку в бессердечности – ты, благородное, разбитое жизнью

[1141] Соч., IX, стр. 386.
[1142] Соч., X, стр. 113.
[1143] Соч., IX, стр. 428–429.
[1144] Там же, стр. 428–430.

сердце!”. Можно представить, сколько слез капнуло на страницу бумаги, когда Соловьев поставил точку. Да, ведь он сам строит проекты, для исполнения которых надо попросить у Бога в аванс по крайней мере 100 лет, пять больших сочинений им начато, а не пора ли туда, вслед за дорогими тенями! И некролог Гроту[1145] кончается уже словами полной уверенности: “До свидания, добрый товарищ! – не так ли? До скорого свидания!” Удастся ли закончить теоретическую философию и написать библейский труд – неизвестно, но надо высказать, хотя бы в краткой, несовершенной форме, самое главное. “Ощутителен и не так уже далекий образ бледной смерти, тихо советующий не откладывать печатание этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки”. И Соловьев заканчивает “Три разговора” “Повестью об антихристе”. Тема конца мира и пришествия антихриста с отрочества волновала Соловьева. Мы видели, что ребенком он предавался аскетическим упражнениям, чтобы закалить себя для истязаний, которым антихрист подвергнет верных христиан. В 1897 г. Соловьев писал Величко из Пустыньки:

Есть бестолковица,
Сон уж не тот,
Что-то готовится,
Кто-то идет.

Ты догадываешься, что под “кто-то” я разумею самого антихриста. Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть неуловимым дуновением, – как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит море»[1146].

«Эти разговоры о зле», говорит Соловьев в предисловии к «Трем разговорам», «о военной и мирной борьбе с ним

[1145] Соч., IX, стр. 426–427.
[1146] П., I, стр. 232.

должны были закончиться определенным указанием на последнее, крайнее проявление зла в истории, представлением его краткого торжества и решительного падения. Первоначально этот предмет был мною изложен в той же разговорной форме, как и все предыдущее, и с такою же примесью шутки. Но дружеская критика убедила меня, что такой способ изложения здесь вдвойне неудобен: во-первых, потому, что требуемые диалогом перерывы и вставочные замечания мешают возбужденному интересу рассказа, а, во-вторых, потому, что житейский и в особенности шутливый тон разговора не соответствует религиозному значению предмета. Найдя это справедливым, я изменил редакцию третьего разговора, вставив в нее сплошное чтение “Краткой повести об антихристе” из рукописи умершего монаха. Эта повесть (предварительно прочитанная мною публично) вызвала и в обществе и в печати не мало недоумений и перетолкований, главная причина которых очень проста: недостаточное знакомство у нас с показаниями Слова Божия и церковного предания об антихристе».

Будущее рисуется Соловьеву в следующих чертах. Двадцатый век – век последних великих войн, междоусобий и переворотов. Идея *панмонголизма* объединяет Китай и Японию. Соединенные силы монголов движутся на Европу, проходят Россию, встречают отпор в Германии, но тут во Франции берет вверх партия запоздалого реванша и в тылу у Германии оказывается миллион французских штыков. Германская армия принуждена принять условия разоружения. Европа покорена монголами, это иго длится полвека. Но народы Европы объединяются, составляют тайный заговор, производят восстание, и монгольские полчища наголову разбиты всеевропейской армией. Освобожденная Европа в 21 веке представляет союз демократических государств, европейские соединенью штаты. Тогда появляется замечательный

человек, «верующий спиритуалист», возомнивший себя Мессией и получивший высшую санкцию от духа зла. Он стал знаменит на весь мир своей книгой «Открытый путь ко всеобщему миру и благоденствию», где с гениальной легкостью разрешал все политические и экономические вопросы. На международном учредительном собрании в Берлине «грядущий человек» избирается сначала «пожизненным президентом европейских соединенных штатов», а затем Римским императором. Он распространяет свою власть и на прочие части света. Наступает эра всеобщего мира и благоденствия. Но человечество post panem требует и circenses.

С Дальнего Востока приходит в Рим к императору великий чудодей Аполлоний, окутанный в густое облако странных былей и диких сказок, но – буддисты верят, что он божественного происхождения: от солнечного Бога Сурьи и какой-то речной химеры. Этот чудодей, полуазиат и полуевропеец, католический епископ in partibus infidelium, «удивительным образом соединит в себе обладание последними выводами и техническими приложениями западной науки с знанием и умением пользоваться всем тем, что есть действительно солидного и значительного в традиционной мистике Востока»[1147]. Он будет сводить огонь с неба и развлекать народ чудесами и знамениями. В четвертый год своего царствования император собирает вселенский собор в Иерусалиме, приглашая на него все вероисповедания. Папство давно уже изгнано из Рима, а последние папы живут в Петербурге. Папа умер на пути в Иерусалим, и на его место избран в Дамаске кардинал Симоне Барионини, с именем Петра Второго. Неофициальный вождь православных – старец Иоанн, епископ на покое, странствующий из монастыря в монастырь. Некоторые верят, что это никогда не умиравший

[1147] Соч., X, стр. 205.

апостол Иоанн Богослов. Во главе евангелистов стоит ученый, немецкий теолог, доктор Эрнест Паули. При открытии собора император обращается с речью к представителям христианских исповеданий. Желая всех привлечь к себе и примирить между собою, он обещает католикам, которым всего дороже *авторитет* и дисциплина, восстановление папства в Риме, со всеми прерогативами, полученными им со времен Константина Великого. Православным, которым всего дороже церковная старина, старые обряды и песни, он обещает Музей археологии в Константинополе, наконец для евангелистов, которым всего дороже свобода исследования Писания, он учреждает всемирный институт для исследования Священного Писания, с полутора миллионами марок годового бюджета. Большая часть христиан с ликованием поднимается на эстраду к императору. Но папа Петр Второй неподвижен, вокруг него смыкается небольшой кружок, и епископ Иоанн, «оставив свою скамью, перешел ближе к папе Петру и его кружку». Сюда «подсел» и профессор Эрнест Паули с меньшинством своих евангеликов. С грустью и обидой обращается император к этому меньшинству христиан, «осужденных народным чувством». Тогда, «как белая свеча», поднимается епископ Иоанн и требует, чтобы император исповедовал «Иисуса Христа, во плоти пришедшего, распятого, воскресшего и паки грядущего». Лицо императора темнеет от гнева, Аполлоний, под своей трехцветной мантией, скрывающей кардинальский пурпур, проделывает таинственные манипуляции. В окно видно, что нашла огромная черная туча. Старец Иоанн не сводит глаз с императора и в ужасе восклицает: «Детушки, антихрист!» Но тут молния убивает его: император торжествует: сам Бог поразил богохульника и отомстил за своего возлюбленного сына. Он велит секретарю записать, что вселенский собор признал державного императора Рима своим верховным владыкой. Но тут одно громкое

и отчетливое слово проносится по храму: contradicitur. Его произносит папа Петр Второй. Весь трясясь от гнева, он поднимает свой посох к императору, называя его «гнусным псом», отлучает его от Церкви и предает сатане. Аполлоний возобновляет свои магические операции, и последний папа падает бездыханным. Император покидает собрание, на эстраду всходит профессор Паули и, собрав оставшуюся горсть католиков, православных и евангеликов, идет с ними в пустыню ожидать второго пришествия Христова. Император устраивает соединение Церквей с новым папой Аполлонием. Греческий архиерей и евангелический пастор подносят папе акт соединения Церквей, и Аполлоний подписывает его со словами: «Accipio et approbo, et laetificatur cor meum». «Я такой же истинный православный и истинный евангелик, каков я истинный католик», – прибавил он и дружелюбно облобызался с греком и немцем. Спускается вечер, и во дворце и во храме происходят таинственные явления: носятся странные светлые существа, слышны ангельские голоса и неведомые ароматы, из под земли раздаются пронзительные, не то дьявольские, не то детские голоса: «Пришла пора, пустите нас, избавители, избавители!». Папа раздает народу бесчисленные индульгенции, которые превращаются в отвратительных жаб и змей. Между тем тела папы Петра и епископа Иоанна охраняются солдатами. Но дух жизни возвращается в тело, они оживают и соединяются с прочими верными христианами на пустынных холмах Иерихона. Здесь «среди темной ночи, на высоком и уединенном месте» происходит истинное соединение Церквей. Первый заговорил старец Иоанн: «Ну, вот, детушки, мы и не расстались. И вот что я скажу вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едины, как Он сам с Отцом едины. Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай

напоследок пасет овец Христовых. Так-то, брат!» И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули: «Tu es Petrus» – обратился он к папе: «jetzt ist es ja gründlich erwiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt». – И он крепко сжал его руку своею правою, а левую подал старцу Иоанну со словами: «So also, Väterchen, nun sind wir ja Eins in Christo». – На небе является знамение жены, облеченной в солнце. «Вот наша хоругвь!» восклицает папа Петр Второй и ведет толпу христиан к Божьей горе Синаю. Император-антихрист управляет всем миром. Делается обычным общение живых и мертвых, людей и демонов, развиваются новые, неслыханные виды мистического блуда и демонолатрий. Но на императора приходит нежданная беда. Евреи, сначала беспредельно преданные ему, узнав, что он не обрезан, восстали, дыша гневом и местью, и объявили ему священную войну. К ним присоединились и христиане. Несметные «языческие» полчища императора встречаются с небольшим войском евреев и верных христиан в Сирии. Происходит землетрясение, под Мертвым морем открывается кратер огромного вулкана, и пламенное озеро поглощает императора со всеми его полками. Христос сходит с неба в царском одеянии и с язвами гвоздей на распростертых руках и воцаряется с праведниками на тысячу лет.

Такова эта замечательная повесть, где Соловьев истолковывает священное Писание с помощью современных наук и наблюдений над политической жизнью, и во всей мощи развертывает свой художественный талант, соединяя черты Халкидонского собора с чисто гофмановской фантастикой и демонизмом. Но можно представить, какой дерзостью и безумием показалась эта лекция русской публике 1900 г.? Правда, часть публики аплодировала Соловьеву, но Розанов демонстративно свалился со стула, газеты наполнились глумлением, а студенты Московского Университета прислали

Соловьеву письмо, смысл которого сводится к следующему: «скажите, сумасшедший Вы или нет?». Соловьев ответил им очень строго:

«Несколько учащихся молодых людей, не получивших еще никакого права на чье-нибудь уважение, решились на основании передачи чтения из вторых, а может быть и третьих рук, послать строгий выговор человеку пожилому, лично им неизвестному, но за которым они сами признают уважаемое имя и заслуги в прошлом. Этот выговор оканчивается предположением помешательства у того, кому он посылается, что характеризует ваше настроение, лишенное всякого логического контроля.

Если вы не думаете серьезно о его помешательстве, то ваша выходка есть мальчишеская дерзость, которая недостойна не только студентов, но и благовоспитанных гимназистов приготовительного класса. Если же вы действительно считаете его страдающим умственным расстройством, то укорять больного его болезнью свидетельствовало бы о полной атрофии в вас всяких человеческих чувств, что я не хотел бы предположить в вас, а потому объясняю себе ваш поступок вашим неразумением и недомыслием... Вам теперь я пишу не потому, что ваше письмо могло затронуть мои убеждения, а из искренней жалости к беспомощному состоянию ваших мозгов и сердец»[1148].

В газете «Россия» 9 марта появился фельетон «Великопостные развлечения». Приведем его начало:

«Газетный переулок. Сумерки. Странные люди. – Г. Вл. Соловьев (лик письма греческого, от него пахнет кипарисом, глаголет): Се грядет антихрист 33 лет от роду... И число его 666...

[1148] П., IV, стр. 143–144.

И ныне имеет от роду лет 15 и уже курит нарицаемые папиросы... испепеляй... близится... бли-и-и-зится»[1149].

Весной 1900 г. я получил от Соловьева открытку, где были изображены какие-то снежные горы. Он писал мне:

Серега!
Эти валдайские горы
Знак, что увидимся скоро
И что пробыть мне в Москве
Или неделю иль две.

Был жаркий май. Я кончал экзамены из 4-го класса в 5-й.

Соловьев пришел к нам вечером с корректурными гранками «Повести об антихристе». Мы решили пригласить на чтение Б. Н. Бугаева, молодого поэта, жившего в одном с нами доме Богданова, на углу Арбата и Денежного переулка. Этот поэт, теперь известный под именем Андрея Белого, был весь охвачен идеями Соловьева и только что написал мистерию в стихах об антихристе, озаглавленную «Пришедший». В своей статье о Соловьеве (в книге «Арабески») Белый дает прекрасное описание этого незабвенного вечера в мае 1900 г., когда мы все в последний раз видели Соловьева. Читая «старец Иоанн поднялся, как белая свеча», Соловьев сам приподнялся в кресле. Помню, как отрывисто, захлебываясь яростью, гремел его голос: «анафема! анафема! анафема!» «Я написал это, чтоб высказать мой окончательный взгляд на церковный вопрос», сказал Соловьев, закончив чтение.

Перешли пить чай в гостиную. Соловьев сидел, сгорбившись, обложенный корректурными листами «Пасхальных писем». Некоторые из них он читал вслух за чаем. Андрей Белый находился в экстазе. Соловьев с радостным удивлением следил за этим молодым человеком, разделявшим

[1149] «Россия» 1900 г., № 313, 9 марта.

его идеи, которые для всех в то время казались безумием. Поднимался разговор о том, чтобы прочитать мистерию «Пришедший». Но было уже поздно, все устали. «До осени, Борис Николаевич», ласково простился Соловьев с Белым.

Соловьев был очень весел этот вечер. Узнав, что к кухарке пришел ее поклонник, он воскликнул: «Elle est comme la Samaritaine, qui avait six maris»... На столе оказалась книга стихов Мережковского. Соловьев начал читать вслух «Беду», но смех задушил его. Он ржал и топал ногами, дойдя до стиха:

Белее, чем морская пена
Из лебединого яйца.

Через несколько дней Соловьев уехал в Петербург. Какой-то предсмертной тишиной веет от его последнего письма к сестре Наде, которая в то время переезжала из дома Скородумова, от Успенья на Могильцах, в более скромную квартиру в одном из Арбатских переулков. «Здравствуй, милая Надя. Я без всяких приключений доехал до Петербурга в пустом вагоне... Надеюсь, милая Надя, что ты любезно перевезешь на новую квартиру мою полку с оленьими рогами – это воспоминание об умершем для меня Красном Роге и о нескольких покойниках».

«Красный Рог», «Великий спор», «мучительная и жгучая» любовь к Хитрово – как это все теперь далеко. Но Соловьев не забывает полки с оленьими рогами, с которой он скитался по Брянским лесам в 1883 г....

Между тем первое пророчество Соловьева, казалось, сбывается с неожиданной быстротой. В Пекине был убит германский посол, Вильгельм загремел доспехами, отправлялась карательная экспедиция в Китай из союзных европейских войск. Соловьев пришел в восторг от речи германского

императора, снова заговорило старое гибеллинство. 24 июня написано им стихотворение «Дракон» (Зигфриду):

Из-за кругов небес незримых
Дракон явил свое чело, –
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.

Ужель не смолкнут ликованья
И миру вечному хвала,
Беспечный смех и восклицанья:
«Жизнь хороша, и нет в ней зла!»

Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста,
Христов огонь в твоем булате,
И речь грозящая – свята.

Полно любовью Божье лоно,
Оно зовет нас всех равно...
Но перед пастию дракона
Ты понял: крест и меч – одно[1150].

«Вместо воображаемых новых, молодых народов нежданно занял историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого деньми китайца, и конец истории сошелся с ее началом», писал Соловьев в своей предсмертной статье «По поводу последних событий». Июнь Соловьев проводил между Пустынькой и Петербургом. Величко передает весьма значительные разговоры, которые он вел в эти дни со своим умирающим другом. По поводу «Повести об антихристе» Соловьев говорил:

«А как Вы думаете, что будет мне за это?

– От кого?

– Да от заинтересованного лица! От *самого*!

[1150] Вестник Европы, 1900 г. сент., стр. 316; Стих., стр. 187; Соч., XII, стр. 97.

– Ну, это еще не так скоро.

– Скорее, чем Вы думаете.»[1151].

Во второй половине июня 1900 г. Соловьев объяснял Величко, почему он не ходит теперь в церковь:

«Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин Богослужения. Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, – быть может менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу!»[1152].

Последние годы Соловьев все больше пытается заглушить шутками внутреннюю боль и тревогу. Его обычная ирония переходит уже в какое-то дикое шутовство. В этом отношении характерно письмо к Стасюлевичу из Канна № 57 (86)[1153]. Становится понятным значение того арлекина, который, по словам Величко, преследовал Соловьева в сновидениях, выскакивая из всех углов. Любопытно, какова была последняя фраза Соловьева при расставании с Величко. «В последний раз я видел почившего мыслителя приблизительно за месяц до его кончины», передает Величко. «Он был явно болен и сознавал это. Он был грустен, задумчив, говорил о религии, об антихристе; несколько раз за этот вечер он то выражал сомнение в возможности успеть сделать то или иное, то спрашивал немного дрожащим голосом, словно желая получить успокоительный утвердительный ответ: "Ведь мы же увидимся! Ведь не в последний раз мы видимся!!!". Меня поразило то, что ни разу за несколько часов беседы он не рассмеялся

1151 Величко, ук. соч., стр. 168.

1152 Величко, стр. 167–168.

1153 П., IV, стр. 78.

прежним смехом. Он это заметил и, уже сойдя по лестнице, пожелав рассеять мрачное впечатление, закричал снизу:

– А наша современная печать находится под сильным персидским влиянием!

Как так?

Она испоганилась! Помните город Испагань? Ха-ха-ха!»[1154].

Нельзя не упомянуть об одном эпизоде, который вероятно внес некоторую смуту во внутреннюю жизнь Соловьева в последний год. В Нижнем Новгороде проживала некая Анна Николаевна Шмидт, бедная репортерша «Нижегородского листка». Это А. Шмидт, не имея никакого философского образования, собственным умом построила гностическую систему, где повторяются известные мысли древних гностиков, каббалистов и Бемэ. Она выступила с проповедью новой церкви, которая должна родиться из православия, проповедывала третий Завет, учила о женственной природе третьей ипостаси. В марте 1900 г. Шмидт послала Соловьеву письмо на 16 страницах, где изложила свои «верования и чаяния» и учение, которое она считала «полученным ею от Бога». Соловьев был очень заинтересован. Получив письмо 7 марта, он отвечал 8-го: «Прочитав с величайшим вниманием ваше письмо, я рад был видеть, как близко подошли вы к истине по вопросу величайшей важности, заложенному в самой сущности христианства, но еще не поставленному отчетливо ни в церковном, ни в общественном сознании, хотя отдельные теософы и говорят об этой стороне христианства (особенно Яков Бемэ и его последователи: Гихтель, Подедж, Сан Мартэн, Баадер). Мне приходилось много раз с 1878 г. касаться этого вопроса в публичных чтениях, статьях и книгах, соблюдая должную осторожность. Думаю, на основании многих данных, что широкое раскрытие этой истины

[1154] Величко, стр. 202–203.

в сознании и жизни христианства и всего человечества предстанет в ближайшем будущем, и ваше появление кажется мне очень важным и знаменательным...»[1155].

Но далее Соловьев должен был быть неприятно поражен и встревожен. Бедная женщина воображала себя «ангелом церкви», а Соловьева считала новым воплощением Христа, своим возлюбленным женихом. Она утверждала, что стихи Соловьева, обращенные к «вечной подруге», написаны только к ней, к А. Н. Шмидт. Соловьев скоро понял, что А.Н. не совсем нормальна и старался деликатно и осторожно рассеять ее иллюзии. 22 апреля он пишет ей из Петербурга: «Дорогая Анна Николаевна! *Не уявися, что будем.* А пока мы верно чувствуем великое, но нестерпимо фантазируем и путаемся в пустяках... Исповедь ваша возбуждает величайшую жалость и скорбно ходатайствует о Вас перед Всевышним. Хорошо, что Вы раз это написали, но прошу Вас больше к этому предмету не возвращаться. Уезжая сегодня в Москву, я сожгу фактическую исповедь в обоих изложениях не только ради предосторожности, но и в знак того, что все это только пепел... Пожалуйста, ни с кем обо мне не разговаривайте, а лучше всего все свободные минуты молитесь Богу»[1156].

Можно представить, какие тревоги, воспоминания и, быть может, сожаления пробудили в душе Соловьева признания Шмидт относительно его мессианского значения. Призраки Каирской «Софии» должны были всплыть перед его умственным взором. Соловьев назначил свидание Анне Николаевне на полдороге между Москвой и Нижним, во Владимире на Клязьме. 30 апреля они имели двухчасовую беседу во Владимире. «Он мне сказал, что преобразиться вслед за Христом нужно и другим... и мне. Сказал, что все написанное мною

1155 П., IV, стр. 8.

1156 Там же, стр. 11.

внушено свыше, только изложено по-моему»[1157], передает Анна Николаевна. Мы полагаем, что к этим словам Шмидт надо относиться с большой осторожностью. Во-первых, из великодушия и сострадания Соловьев воздержался от резкого осуждения ее болезненных фантазий, а во-вторых она могла с бессознательной ложью придать его словам иной смысл. Что Соловьев не мог признавать ***все,*** написанное Шмидт, *внушением свыше,* видно хотя бы из 7 члена ее символа веры: «И восшедшего на небеса, и седящего одесную Отца; оставаясь в нетленном теле на небесах, вторично воплотившегося на земле в 1853 г. человеческим естеством, божеское же естество вторично принявшего в 1876 г. при видении Церкви в Египте, и скоро грядущего судить живых и мертвых, Его же царствию не будет конца»[1158]. Представить Соловьева, слушающего всерьез подобные варианты никейского символа, я отказываюсь. Не мог же Соловьев поддерживать в ком-нибудь веру, что он, Владимир Сергеевич Соловьев, принял божеское естество и грядет судить живых и мертвых. Вероятно, Соловьев успокоил Анну Николаевну общими фразами о преображении и обожении всего человечества во Христе, что же касается веры в его собственную божественность, то мы имеем свидетельство, что он «настаивал» перед безумною женщиной на «субъективности ее видений». Два письма, написанные им после свидания со Шмидт, очень кратки, очень внешни и благожелательно холодны. По-видимому, Анна Николаевна была сильно встревожена тем отпором, который встретила в Соловьеве во время их двухчасовой беседы. «Вот два слова в успокоение», пишет ей Соловьев. «Я жив, по-прежнему сохраняю к Вам неизменные чувства интереса и симпатии, никакого неблагоприятного впечатления свидание с Вами

[1157] Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. 1916 г., стр. 267.
[1158] Там же, стр. 274.

не оставило, одним словом все по-старому»[1159]. И в следующем письме от 22 июня: «Очень рад, что Вы сами сомневаетесь в объективном значении известных видений и внушений или сообщений, которых Вы не знаете. Настаивать еще на их сомнительности было бы с моей стороны не великодушно»[1160].

Я лично хорошо знал А. Н. Шмидт. Она производила впечатление доброй, глубоко несчастной и помешанной женщины, отталкивала в ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее «Третий Завет» стар, как все произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы. Интересно в писаниях Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая ни гностиков, ни каббалы, ни даже Соловьева, с которым ознакомилась позднее. Это показывает, что известные идеи, повторяющиеся из века в век, имеют объективное бытие. Вероятно мы имеем здесь факты действительного «внушения», но в том, что эти внушения идут свыше, мы более чем сомневаемся. Июнь 1900 г. Соловьев проводил в Пустыньке, строя вновь планы разных путешествий. 22 июня он извещает А. Н. Шмидт: «На днях я еду в южную Россию на неопределенное время»[1161]. Письмо к Стасюлевичу № 62 (91)[1162] начинается так: «География: Пустынька, Петербург, Москва, Калужская Губерния, Тамбовская губ. – и обратно». В P. S. говорится: «Я в воскресенье уезжаю в Калугу и Полтаву»[1163].

[1159] П., IV, стр. 12.

[1160] Там же, стр. 13.

[1161] Там же, стр. 13.

[1162] Там же, стр. 82.

[1163] П., IV, стр. 82–83.

В калужской губ. было имение Даниловых, Железцево, где жила сестра Соловьева Поликсена Сергеевна, в Тамбовской губ. жил Д. М. Цертелев, в Полтавской губ. находился хутор В. Л. Величко.

В Пустыньке Соловьев каждое утро обходил кругом обширный парк, где в 1886 г. «мелькали призраки загадочных очей», подолгу оставался у светлого камня, здесь он задумывался и говорил: «Здесь моя могила». Иногда, возвращаясь с утренней прогулки, он еще издали радостно кричал Софье Петровне: «j'ai fait encore une piste». Софья Петровна была в то время в большом горе. Она потеряла старшего сына Андрея. «Мать его не пришла в себя и находится в каком-то окамении», писал Соловьев сестре Наде. Подрастал в Пустыньке и сын Елизаветы Михайловны Хитрово, Миша Муханов, называвший друга своей бабушки просто «куку». Вновь зацвели белые колокольчики.

В грозные, знойные
Летние дни
Белые, стройные
Те же они.

Призраки вешние
Пусть сожжены,
Здесь вы, нездешние,
Верные сны.

Зло позабытое
Тонет в крови.
Всходит омытое
Солнце любви.

Замыслы смелые
Крепнут в груди,
Ангелы белые
Шепчут: иди!

Стройно-воздушные
Те же они
В знойные, душные,
Тяжкие дни[1164].

Стихи эти, написанные в Пустыньке 8 июля, были последними. В. Брюсов придает значение тому, что последний стих, написанный Соловьевым, заключает в себе слово «тяжкие дни»[1165].

«Замыслы смелые» крепли в сердце. Пусть русская теократия лежит в развалинах, там, в Германии, воскрес Зигфрид и наследник меченосной рати. Но Провидение избавило Соловьева от нового разочарования. Шелест белых колокольчиков, шепот белых ангелов – «иди» – не обманул.

«5-го июля», вспоминает Л. Слонимский, «был он в последний раз в редакции “Вестника Европы”, в обычные часы “присутствия” (по его всегдашнему выражению). Ничто не предвещало скорого конца: он имел такой же вид, как всегда, – бодрый и светлый духом, хотя и утомленный и слабый телом. Он говорил о статьях, которые предполагал доставить для журнала к осени (о Пушкине), прочитал нам заметку о китайских делах, которую думал поместить в одной газете, и после краткого разговора решил дополнить и развить заключительную часть этой записки, чтобы напечатать ее в “Вестнике Европы”. Написанное им ранее стихотворение “Дракон”, посвященное “Зигфриду” (то есть императору Вильгельму Второму), он нашел уже несвоевременным, ввиду некоторых изменившихся обстоятельств. Собираясь ехать в Пустыньку, затем в Москву, откуда он намеревался отправиться еще на короткое время в калужскую и тамбовскую губернии, он казался уже более уставшим, и лицо его было

[1164] Стих., стр. 188; Соч., XII, стр. 97–98.
[1165] В. Брюсов «Далекое и близкое».

грустное, сумрачное, что с ним бывало часто, под влиянием мимолетного настроения»[1166].

Проведя несколько дней в Пустыньке и простившись с белыми колокольчиками, Соловьев вечером 14 июля приехал в Москву и провел ночь в «Славянском базаре». Передаю перо С. Н. Трубецкому: «Выехал он совершенно здоровый из с. Пустыньки, но уже по приезде в Москву почувствовал себя нездоровым. 15-го утром, в день своих именин, он был в редакции “Вопросов философии”, где оставался довольно долго и послал рассыльного переговорить со мной по телефону. Я звал его к себе, в подмосковную моего брата, с. Узкое, и предложил ему ехать из Москвы с Н. В. Давыдовым, его хорошим знакомым и моим родственником, которого я ждал к обеду. В редакции Владимир Сергеевич не производил впечатления больного. Был разговорчив и даже написал юмористическое стихотворение[1167]. Из редакции он отправился к своему другу А. Г. Петровскому, которого он поразил своим дурным видом, а от него уже совсем больной прибыл на квартиру Н. В. Давыдова. Не заставши его дома, он вошел и лег на диван, страдая сильной головною болью и рвотой. Через несколько времени Н. В. Давыдов вернулся домой и был очень встревожен состоянием В. С., объявившего ему, что едет с ним ко мне в Узкое. Он несколько раз пытался отговорить его от этой поездки, предлагал ему остаться у себя, но В. С. решительно настаивал: “Этот вопрос принципиально решенный, – сказал он, – и не терпящий изменения. Я еду, и если Вы не поедете со мной, то поеду один, а тогда

[1166] Вестник Европы, 1900 сент., стр. 421.

[1167] Я привожу эти стихи на память, за точность некоторых слов не ручаюсь. Отныне дружба для меня – не миф. / Я сильную любовь к журналу ощущаю: / На чай в билетиках кредитных получив. / Я пью еще стакан естественного чаю.

хуже будет". Н. В. Давыдов спрашивал меня по телефону, и я, думая, что у Соловьева простая мигрень, советовал предоставить ему делать, как он хочет. Прошло несколько часов, в продолжение которых больной просил оставить его отлежаться. Наконец он сделал усилие, встал и потребовал, чтобы его усадили на извозчика. Наступил вечер, погода была скверная и холодная, шел дождик, предстояло ехать 16 верст, но оставаться Соловьев не хотел. Дорогой ему стало хуже, он чувствовал дурноту и полный упадок сил, и когда он подъехал, его почти вынесли из пролетки и уложили на диван в кабинете моего брата, где он пролежал сутки не раздеваясь.

На другой день, 16-го, был вызван доктор А. Н. Бернштейн, а 17-го приехал Н. Н. Афанасьев, который и пользовал В. С. до самой его смерти. Кроме того, его посещали московские доктора А. А. Корнилов, бывший у него три раза, профессор А. А. Остроумов, следивший за болезнью, и А. Т. Петровский. Так как Н. Н. Афанасьев должен был временно отлучаться по делам службы, то на помощь ему был приглашен А. В. Власов, ординатор профессора Черинова, находившийся при больном безотлучно.

Врачи нашли полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию. Ко всему этому примешался по-видимому и какой-то острый процесс, который послужил толчком к развитию болезни.

В последние дни температура сильно поднялась (в день смерти до 40°), появились отек легких и воспаление сердца... Первые дни В. С. сильно страдал от острых болей во всех членах, особенно в почках, спине, голове и шее, которую он не мог повернуть. Затем боли несколько утихли, но осталось дурнотное чувство и мучительная слабость, на которую он жаловался. Больной бредил и сам замечал это. По-видимому, он все время отдавал себе отчет в своем

положении, несмотря на свою крайнюю слабость. Он впадал в состояние полузабытья, но почти до конца отвечал на вопросы и при усилии мог узнавать окружающих.

Первую неделю он иногда разговаривал, особенно по общим вопросам, и даже просил, чтобы ему читали телеграммы в газетах. Его мысль работала и сохраняла ясность еще тогда, когда он с трудом мог разбираться во внешних своих восприятиях. Он приехал под впечатлением тех мировых событий, которым посвящена последняя подписанная им статья, помещенная выше[1168]. Он собирался ее дополнить и обработать, хотел мне ее прочесть, но не мог. Он пенял мне на мою заметку, помещенную в "Вопросах философии" и набросанную еще до разгара китайского движения. Я обещал ему исправить мою невольную ошибку и, сидя около него, перекидывался с ним словами о великом и грозном историческом перевороте, который мы переживаем и который он давно предсказывал и предчувствовал. Я вспомнил его замечательное стихотворение "Панмонголизм", написанное еще в 1894 г. и последняя строфа которого врезалась мне в память.

– Какое твое *личное* отношение к китайским событиям теперь, что они наступили? спросил я В. С.

– Я говорю об этом в моем письме в редакцию "Вестника Европы", – отвечал он. Это – крик моего сердца. Мое отношение такое, что все кончено, та магистраль всеобщей истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу... Профессора всеобщей истории упраздняются... их предмет теряет свое жизненное значение для настоящего, о войне алой и белой роз больше говорить нельзя будет. Кончено все!... И с каким нравственным багажом

[1168] Речь идет о статье «По поводу последних событий», т. X, стр. 222.

идут европейские народы на борьбу с Китаем!... Христианства нет, идеал не больше, чем в эпоху троянской войны, только тогда были молодые богатыри, а теперь старички идут! – Иль говорили об убожестве европейской дипломатии, проглядевшей надвигающуюся опасность, об ее мелких, алчных расчетах, об ее неспособности обнять великую проблему, которая ей ставится, и разрешить ее разделом Китая. Мы говорили о том, как у нас иные все еще мечтают о союзе с Китаем против англичан, а у англичан о союзе с японцами против нас. В. С. прочитал мне свое последнее стихотворение, написанное по поводу речи императора Вильгельма к войскам, отправлявшимся на Дальний Восток. Он приветствует эту речь, на которую обрушились и русские, и даже немецкие газеты, он видит в ней речь крестоносца, "потомка меченосной рати", который "пред пастью дракона" понял, что "крест и меч – одно". Затем речь снова вернулась к нам, и В. С. высказал ту мысль, которую он проводил еще десять лет тому назад в своей статье "Китай и Европа", – что нельзя бороться с Китаем, не преодолев у себя внутренней китайщины. В культе большого кулака мы все равно за китайцами угнаться не можем, они будут и последовательнее и сильнее нас на этой почве. В. С. говорит и о внешних осложнениях, о грозящей опасности панисламизма, о возможном столкновении с Западом, о безумных усилиях иных патриотов наших создать без всякой нужды очаг смуты в Финляндии под самой столицей...

Это была самая значительная беседа наша за время болезни В. С. На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го он объявил, что хочет исповедоваться и причаститься, "только не запасными дарами, как умирающий, а завтра после обедни". Потом он много молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник.

18 он исповедовался и причастился св. Таин с полным сознанием. Силы его слабели, он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним возможно меньше, он продолжал молиться то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, осеняя себя Крестом. Молился он и в сознании, и в полузабытьи. Раз он сказал моей жене: "Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться", и стал громко читать псалмы по-еврейски... Смерти он не боялся, – он боялся, что ему придется "влачить существование", – и молился, чтобы Бог послал ему скорую смерть. 24 числа приехала мать В. С. и его сестры. Он узнал их и обрадовался их приезду. Но силы его падали с каждым днем. 27 ему стало как бы легче, он меньше бредил, легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы, но температура начала быстро повышаться, 30 появились отечные хрипы, а 31, в 9 и ½ вечера, он тихо скончался»[1169]. Гроб поставили в церковь. Никто даже не читал над покойником. Вечером второго августа мы с отцом достигли наконец Узкого. О смерти Соловьева мы узнали в этот день, 2-го августа, на пути из Швейцарии, купив газету на станции между Смоленском и Можайском. Двинулись мы в Россию, получив неожиданную телеграмму: Ton frère Vladimir est malade à Moscou, chez Troubetzkoï, reviens.

С. Н. Трубецкой встретил нас на крыльце. Он горячо сжал руку моего отца и голосом, в котором слышались слезы, сказал: «Ах, Михаил Сергеевич, как я вас ждал!». Он повел нас в церковь, снял с лица умершего мешок со льдом. Голова Соловьева, гладко остриженная, казалась неожиданно маленькой. Ничего из Моисеева величия. Мой отец пожелал остаться наедине с братом, мы вышли на церковное крыльцо,

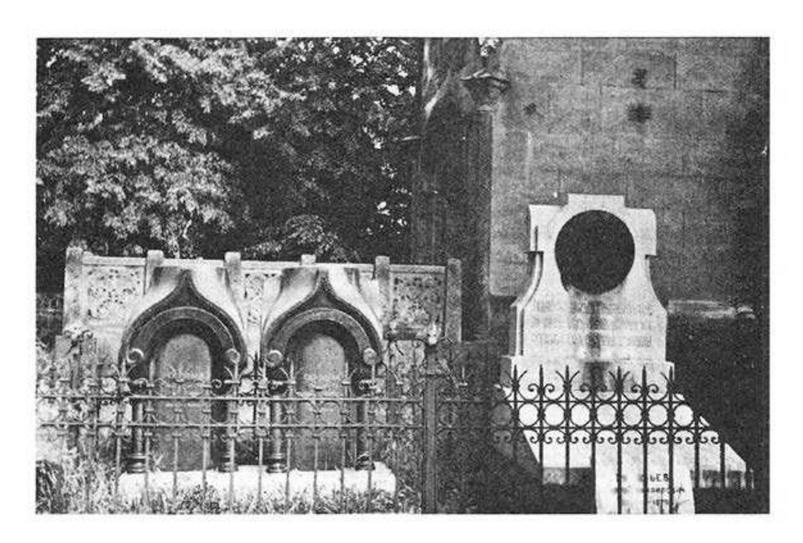
---

[1169] Вестник Европы, 1900 сентябрь, стр. 412.

под черное августовское небо, усеянное звездами. Мы узнали, что в этот день приезжала Софья Петровна и говорила о желании Соловьева быть похороненным в Пустыньке. Но сестры покойного отнеслись к Хитрово холодно...

Утром 3 августа состоялось отпевание в университетской церкви св. Татианы, той самой, где мальчику Володе при звуках херувимской песни явилась дева, пронизанная лазурью золотистой, с цветком нездешних стран в руке. Москва была совсем пуста, в церкви небольшая кучка народа. В отпевании приняли участие: сакелларий Благовещенского собора, Н. И. Иванцов, брат А. М. Иванцова-Платонова, молодой иеромонах Петр Зверев (теперь епископ), старый духовник Соловьевых Ф. М. Ловцов от Успенья на Могильцах. Из Петербурга приехал князь А. Д. Оболенский. Гроб украсили венками. На одном из них было написано: «Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!».

Кадила звенели, старый Федор Мартынович Ловцов плакал, утирая слезы платком с широкой красной каймой. Замороженное лицо умершего начало оттаивать, по щекам стекали капли, похожие на слезы... Похоронная процессия двинулась от Университета к Новодевичьему монастырю. Маленькая фигурка А. Н. Шмидт шла около гроба. В глазах ее был тихий экстаз, быть может, она верила, что ее возлюбленный воскреснет. Над могилой были произнесены речи. Поклонник Соловьева Гартунг патетически восклицал: «И начатые песни Гарольд не скончал и лежит под могильным холмом». Молодой философ Сперанский говорил весьма напыщенно о том, что «все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Но вот выросла над ямой сухая фигура В. И. Герье. Он сказал несколько хороших, простых слов: «Радость и надежду приносил ты с собой, Владимир Сергеевич!» был лейтмотив его речи.



Могилы Влад. С. Соловьева и его отца С. М. Соловьева. Москва, кладбище Новодевичьего монастыря

Вечером С. Н. Трубецкой пришел к нам и, тяжело опустившись в кресло, сказал: «Да, сегодня мы схоронили самого большого русского человека!».

Заключение

После смерти Соловьева его идеи начинают завоевывать умы и на его родине, и в Европе. Теперь общим местом стало признание Соловьева великим русским гением, имя его ставится рядом с именами Пушкина и Достоевского, Карлейла и Ньюмана. Но в чем же его главное значение? Конечно Соловьев был крупным русским философом, а при убогости русской философии едва ли можно спорить, что в России он не имеет себе равных. А. М. Лопатин верно указал, что Соловьев для русской философии был тем же, чем Пушкин для поэзии. Соловьев был и самым крупным богословом в России и имел для своей родины то же значение, какое Ньюман для Англии. Был он выдающимся поэтом, критиком и публицистом. Но что отличает его от всех, это сознанные им за собой от начала и до конца жизни право и долг быть «пророком во Израиле», быть совестью русского общества и обличителем его грехов. Здесь его можно сравнить с Толстым и Карлейлом. Но пути Соловьева были иные, чем пути этих двух великих людей России и Англии. Дух библейского пророчества роднит Соловьева с Толстым, но у последнего этот дух постепенно уступает поверхностному рационализму и буддийской пассивности. Если Карлейл остался до конца жизни потомком шотландских пуритан, с их глубокой религиозностью и прямотой и с узостью умственного кругозора, то Соловьев с библейским пафосом Карлейла соединил тонкий ум и широту взгляда Ньюмана. Конец его был иной, чем великого английского богослова. Кардинальский пурпур увенчал твердого и непреклонного представителя саксонской расы. Чистый славянин Соловьев кончает жизнь странником подобно своему предку Сковороде. И если злые языки, как например язык брата Всеволода, говорили, что он мечтает о кардинальском пурпуре, то в действительности Соловьев

не променял бы своей поношенной крылатки, «безрукавной летучей мыши», ни на какие золото и пурпур. Он создан был не для власти и сопряженным с ней ограничением свободы, а для «пророчества», вольного слушания, странничества. Как нельзя представить Соловьева ректором университета, отцом семейства, так нельзя представить его и епископом. Но при характере странника Соловьев был далек от возведения своего странничества в принцип. Свобода пророческого служения не исключает, а требует рядом с собою законных и определенных форм государственных и церковных...

И я думаю, что голос любви и духовной и кровной не обманул меня, когда я в моем труде выдвигал те стороны жизни Соловьева, которые часто замалчиваются. Мне дорог в Соловьеве не фантаст и романтик, не автор каламбуров и Дон Жуан великосветских салонов и не профессор философии. Мне дорог добрый человек, любивший нищих, голубей и белые колокольчики Пустыньки. Мне дорог человек, празднословный и лукавый язык которого был вырван серафимом и заменен мудрым жалом змеи. Это жало ядом своей диалектики болезненно уязвляло противников истины, тех кто не видел пылающего угля любви, вдвинутого тем же серафимом на место плотяного и трепетного сердца. Много празднословил язык Соловьева, особенно когда на это празднословие являлся жадный спрос, но не из трепетного сердца вышли «Духовные основы жизни» и «История теократии», не лукавым языком сказаны эти слова. Если в 80-х годах Соловьев подымался на вершину Синая, если в 1891 г. он чувствовал себя лежащим на дне долины и коснеющим в пустынном Мидиане, то, приближаясь к концу, он восходит уже на иную гору. Не на «мрачную и дымную» гору Синая, а исполненную света гору Фавора. «Осилившие его на миг искушения» ломали его философскую гордыню, очищали его ум

от опасных иллюзий, арлекином которых явился «Третий Завет» А. Шмидт, «Прекрасная дама» Блока и т. д.

Если мы сравним уверенное, планомерное восхождение Соловьева вверх в 80-х годах с растерянностью, неопределенностью его замыслов и жизни в 90-х годах, то мы почувствуем глубокую, пережитую им трагедию. Но эта трагедия не была бесповоротной, как трагедия Гамлета. Если в «Теократии» нас пленяет чистое золото сияющей и неподвижной истины, то в писаниях 90-х годов мы иногда принуждены выискивать ценные жемчужины из груды мусора. Для тех, кому дороги жемчужины, а не мусор, я писал эту книгу, с надеждой, что они отнесутся снисходительно к недостаткам моей работы. Feci quod potui, faciant meliora potentes.

Октябрь 1922 г. – август 1923 г.

Приложение

Отрывок из одного дневника

Не так давно умер в Петербурге скоропостижно один литератор. Я не знаю, было ли вскрытие, но думаю, что он сам покончил с собою. У него на столе были найдены последние листы дневника, писанные, по-видимому, в день смерти. Мне разрешено их напечатать, разумеется, без имени. Покойный был классик и всегда издевался над декадентами. Но он под конец, очевидно, сделался декадентом в душе. Эти листки представляют явно-психопатический характер и с этой стороны могут быть любопытны.

Нет, не могу больше терпеть этого адскаго состояния. Перед ним настоящее рабство, действительная каторга – идеал жизни человеческой. Сколько раз я всею душой уносился в мечтания о временах древнего рабства и воображал себя собственностью какой-нибудь одной известной мне семьи, которая могла бы быть доброю, патриархальною, и я жил бы как у Христа за пазухой, на всем готовом, мирно отдавшись полезному труду по своим способностям, в простом добром согласии и общении с богами, с людьми и с прочею тварью. А попались дурные господа – тут интерес действительного трагизма, и притом двоякого, на выбор: или трагизм внутреннего подвига, или трагизм и надежды внешней борьбы. Положим, я молод и к ресигнации не способен – выбираю борьбу. Мой злой господин, зная, что я литературно образован и притом слаб здоровьем, нарочно, вместо того, чтобы давать мне переписывать в доме греческие и латинские рукописи, или переводить сирийские и халдейские, заставляет меня целые дни работать мельничными жерновами на открытом воздухе и кормит овсянкой, как собаку. Через год такой жизни становлюсь Геркулесом – простите предсмертный каламбур. Ну, думаю, погоди ты, недочищенный варвар!

Всю ту силу, которую теперь трачу понапрасну на то, чтобы быть неизменно учтивым со всем множеством своих принудительных корреспондентов, – я сосредоточил бы тогда на одном: приобрести расположение своего господина, чтобы вернее покончить с ним. Нравственных сомнений у меня не было бы, да и не могло бы быть, ведь я военно-пленный, и мой победитель своим обращением доказывает мне, что военное положение между нами не кончено; значит, здесь всякий обман есть позволительная и одобрительная военная хитрость; притом другого-то оружия у меня пока и нет.

И вот мне удается расположить к себе злого господина и стать главным управляющим. Как всякий главный управляющий, я живу барином и, главное, имею много свободного времени, чтобы хорошо обдумать свой замысел и подготовить его исполнение, – а отказываться от него из-за хорошей жизни я уже никак не стану: я знаю, что мгновенная прихоть злого и глупого хозяина может меня вернуть к мельничным жерновам и овсянке, а то и привязать на крест. Господин едет осматривать свои поместья в южной Италии и берет меня с собой. Что за красота этот объезд Парфенопейского залива между лазурным морем, светлыми серыми горами, и розовым небом по вечерам! Разжиревший варвар ничего не понимает и дрыхнет, сопя и поминутно икая, в своей дурацкой колеснице. Наслаждаюсь один я и зрелищем прекрасной страны, и предвкушением еще иного, жгучего наслаждения. Я уже завел знакомства и сговорился с сицилийскими пиратами. Господин ужинает в своей вилле и в знак особой благосклонности, велит мне служить ему за столом. А рабы на вилле уже стороною обработаны, но без моего видимого участия, а то бы, наверное, нашлись предатели. Прислуживая хозяину за ужином, я обдумываю, чем бы его прихлопнуть. В Риме, когда я получил от него в первый раз много серебра в дар, я сейчас-же пошел к одной ведьме и отдал ей

это серебро за драгоценный яд, привезенный ею из Индии. Я мог-бы теперь легко поднести его хозяину в вине или подливке, но мне вдруг захотелось своими глазами посмотреть, какая кровь у этого животного, и я решил приберечь яд до другого случая, а хозяину лишь понемногу убавлял долю воды в чашах с вином. Когда же он, охмелевши захрапел, я вышел в сад, еще раз поглядел на серебрянное море и, взяв хороший белый камень, вернулся к своему единственному врагу и, с радостным замиранием сердца, размозжил ему голову.

Лампады ярко светили. Я увидел красную струю, но мне показалось мало видеть, я прильнул к ней губами и потянул в себя теплую противную жидкость. Вдруг мертвый как-будто затрепетал и вздохнул. Я на миг испугался но тотчас-же понял, что это были только газы. Я пошел на кухню, взял большой острый нож, которым разрезали свиные туши, и вернулся к мертвому, чтобы отрезать ему голову. Это было дело не легкое: не за что было ухватить эту безбородую и лысую голову. Наконец, мне удалось перерезать шейный позвонок и, завернув голову в кухонное полотенце, я привязал ее к своему поясу для поднесения в дар кому следует. Между тем, морские разбойники причалили и, встреченные нашими рабами, как освободители, занялись сообща грабежом виллы, а потом зажгли ее. Я видел ее зарево, когда горными тропинками пробирался в лагерь Спартака, с легким мечом у бедра и тяжелым трофеем за поясом.

Какой яркий сон! А действительность? – Эта груда писем и сочинение скучных и лживых ответов. У-у-у! Раб может обмануть и убить своего господина и убежать к Спартаку, но какой Спартак, или какой Алкид, избавит меня от несчетноголовой, несчетноименной гидры всероссийского празднomыслия, празднописания и неделания? Каким камнем

размозжу я эти бесчисленные головы и какую простоквашу буду тянуть из их артерий! Нет, кончено, не хочу! Знаю, что иду в ад, – я не так наивен и прекраснодушен, чтобы не верить в Бога и в дьявола. Знаю, что иду в ад, но знаю также, что там будет лучше. Досадно, конечно, что и в аду люди живут (не говоря уже о чертях), но, по крайней мере, писем-то уж не будет.

Нет, – *Главный ад, Геенская улица,* – на почте таких адресов не принимают. Знаю я все аргументы против самоубийства и знаю, что все они справедливы, но перед одним мигом уверенности, что вот завтра не придется принуждать себя писать неизвестным лицам о неинтересных вещах, перед мыслью о возможности этой сладкой уверенности умолкают все рассуждения.

Прощайте, досточтимые мои корреспонденты, прощайте, люди столь пустые, что даже тот микроскопический ореол публичного мужчины, что украшает мою голову, возбуждает в вас неудержимое стремление почтовым путем приобщиться к его сиянию. Прощайте, бесчисленные нули, все не с той стороны заходящие за мою единицу, – счастливо оставаться.

На этом рукопись оканчивалась. Предшествовавшие листки, вероятно сожженные самоубийцей, объяснили бы, как развилась его душевная болезнь. Возможно, впрочем, что она имела только физические причины. Дело темное.

Стихотворения

1

Лишь год назад – с мучительной тоскою,
С тоской безумною тебя я покидал,
И мнилось мне – навеки я с тобою
И жизнь, и свет, и счастье потерял.

Лишь год прошел – в ничтожестве забвенья
Исчезла ты, как давний, давний сон,
И лишь порой я вспомню на мгновенье
Былые дни, когда мне снился он.

23 декабря 1874

2

«Соловьева в Фивиаде»
Вам списали в лучшем виде
В черную тетрадь.
Я хотел приехать в Сходню
Чтобы завтрашнему ко дню
Вам его послать.
Но меня бранили б строго
Вы за то, да и немного
Дней осталось ждать.

3

Я. П. Полонскому

С жизнью алмазная свадьба поэта!
Боги – хранители прочных союзов!
Дайте увидеть ему вслед за этой
Свадьбу алмазную с верною музой.

4 декабря 1895

4

Эпиграмма на К. П. Победоносцева

Сановный блюститель
Духовного здравья,
Ты, рабства, бесправья,
Гонений ревнитель,
Кощей православья!

Исполненный лести,
Коварства и злобы,
Наушник без чести,
Скопец от утробы!

Зачем без нужды себя вновь замарал?
Зачем у старушки ты книги украл?

Кого обокрал ты?
Не ксендза, не ламу:
Придворную даму!...
И как не пропал ты
От сраму?

Когда в Колывани,
Верны убежденью,
Свершают крещенье
Свое лютеране,
Печать уж заране
Кричит: преступленье!
Всех их в заточенье!
В острог!

Тебе ж комплименты
Строчат рецензенты
За явный подлог.

Крести ты хоть Ригу,
Как крестишь чукчей,
Бурят, лопарей;
Но... крестишь ты книгу
Чужую своей!
Где соль тут? Где перец?
Она – иноверец?
Она – униат?
Иль, мнишь ты, спасенный,
В рай внидет крещенный
Тобой плагиат?

Скажи мне, какой укусил тебя овод?
С какою ты целью?
Иль так, по безделью?
Иль в старости вдруг захотел ты дать повод
Веселью?

И выбрал же время
Ты! В этакий год!
Народ на народ
И племя на племя,
Хлебов недород!

Исполнилась чаша!
Готовится каша:
Политика ваша
Даст плод.

Святитель во фраке!
За подлость и враки
Пусть спят твой мощи
В осиновой роще –
Не в раке,

Они хоть и тощи,
Не глядя на это,
В голодное лето
В именье у тещи
Их сгложут собаки
В глухом буераке.

1892

5

Что сталось вдруг с тобой? В твоих глазах чудесных
Откуда принесла ты этот дивный свет?
Быть может, он зажжен и не в лучах небесных,
Но на земле, у нас, такого тоже нет...

На что ты так глядишь? Что слушаешь так жадно,
Не видя никого и целый мир забыв?
О чем мечтаешь ты то грустно, то отрадно?
Куда тебя унес неведомый призыв?

Но миг – и свет угас! – привычно и послушно
Вступаешь снова ты в начатый разговор, –
И, будто огонек далекий, равнодушно
Едва мерцает нам твой потускневший взор.

6

Я не люблю таких ироний.
Как люди непомерно злы!
Ведь то прогресс, что ныне кони,
Где прежде были лишь ослы.

7

11 июня 1898 г.

Стая туч на небосклоне
Собралася и растет...
На земном иссохшем лоне
Все живое влаги ждет.

Но упорный и докучный
Ветер гонит облака.
Зной все тот же неотлучный,
Влага жизни далека.

Так душевные надежды
Гонит прочь житейский шум,
Голос злобы, крик невежды,
Вечный ветер праздных дум.

Май или июнь 1898

Три статьи

Тяжкое дело и легкие слова

Недели две тому назад «Московские Ведомости» посвятили несколько столбцов (в № 304) точным и документальным доказательствам того, что латинское слово inquisitor значит следователь, изыскатель и что Цицерон и другие древние писатели употребляли это слово без всякого отношения к так называемой инквизиции. А между тем, дело шло вовсе не о Цицероне и прочих классиках, а об уголовном законе императора Феодосия **против еретиков,** где слово inquisitor относится к следователям **по религиозным преступлениям.** Теперь в этой же газете (№ 318) профессор духовной академии Заозерский напечатал целый трактат, из которого явствует: 1) что византийское законодательство против еретиков и вообще неправомыслящих было крайне жестоко; 2) что это жестокое законодательство не оставалось мертвою буквою, а применялось в полной мере; 3) что уголовные законы против еретиков издавались государственною властью и 4) что византийская инквизиция (т. е. уголовный процесс по религиозным преступлениям) отличалась от инквизиции римской. Все эти положения совершенно бесспорны и так же мало требуют особых доказательств, как и та истина, что Цицерон ничего не знал о средневековой инквизиции.

Но почтенный профессор уверен, что собранные им с разных сторон аргументы идут гораздо дальше: из того, что в Византии не было римской инквизиции, он хочет вывести, что там не было вообще никакой. Заключение ошибочное. Сам г. Заозерский упоминает об **испанской** инквизиции, а ведь она весьма отличалась от римской. Основанная Фердинандом и Изабеллой, испанская инквизиция при участии духовных сановников была **государственным, королевским**

учреждением, она нередко вступала в борьбу с римской курией, и ее представители бывали даже отлучаемы папами от церкви.

Инквизиция вообще есть отвлеченное понятие stu rationis; в исторической действительности существовали разные инквизиции: была римская папская, была испанская королевская, была раньше всех византийская императорская (были также в более поздние времена инквизиционные учреждения в Женеве и в Москве). Несмотря на важные различия между ними, все эти учреждения справедливо соединяются под одним общим названием, так как все они выходили из одного общего начала религиозной нетерпимости и приходили к одному общему концу – казни людей за их убеждения. Вот тяжкое **дело,** которое в течение многих веков закономерно и правильно, как нечто должное, совершалось во всем христианском мире во имя Бога любви. А в какие процессуальные формы облекалось это злое дело там или здесь, какое участие, прямое или косвенное, принимала в нем та или другая власть – это сущности дела не изменяет. Ведь вполне и исключительно церковным учреждением инквизиция не была и в Риме: и там священный трибунал не приговаривал обличенного еретика ни к какой определенной казни, а предавал его светской власти для наказания «без пролития крови», т. е. для сожжения. Такое формальное различие между духовною и светскою функциями в деле истребления еретиков мы находим и у нашего ревнителя инквизиции, Иосифа Волоцкого, писавшего великому князю: «А иные, господине, говорят, что грех еретика осуждати: ино, господине, не токмо их осуждати велено, но и казнити и в заточение посылати, точию смерти предати епискупам не повелено есть, а царие благочестивии и смерти предаша от жидов и от еретиков многих непокаяшихся». Г. Заозерский видит здесь «исконное православно-церковное воззрение». Неужели он забыл

знаменитую формулу: sine sanguinis effusione? Западные епископы были еще стыдливее Иосифа Волоцкого: они не только сами не казнили еретиков, но даже, передавая эту обязанность «благочестивой» светской власти, находили нужным прибегать к эвфемизмам.

Вообще черная работа в этом деле везде и всегда возлагалась на мирское начальство. Ни приговаривать к смертной казни, ни тем паче приводить ее в исполнение духовные лица не могли по каноническому праву обеих церквей. Это формальное ограничение сохранилось на Западе, как и на Востоке: и там и здесь оно реального значения не имело. Когда установилась полная принципиальная солидарность между двумя властями в деле преследования и истребления «еретиков», тогда большая или меньшая степень практического почина с той или другой стороны зависела уже от внешних исторических условий: какая власть оказалась самостоятельнее и могущественнее, та больше и действовала. Но как физический вред для мучимых и казнимых, так и нравственный вред для общества, воспитываемого на этих ужасах, нисколько не изменяется от того, совершаются ли они государством при согласии иерархии или же иерархией при помощи государства. С точки зрения этики и философии истории те процессуальные различия, на которых так настаивает почтенный г. Заозерский, так же важны, как вопрос о материале, из которого строились костры на Востоке и на Западе. Весьма вероятно, что протопопа Аввакума и Квирина Кульмана сожгли на осиновых дровах, тогда как Джордано Бруно – скорее на дубовых. Впрочем, боюсь обнаружить здесь свое «полное неведение» и спешу предоставить документальное исследование и окончательное решение этого вопроса «ученым специалистам» «Московских Ведомостей».

Решительно отрицая существование византийской инквизиции на основании различия между восточными и западными дровами, г. Заозерский не обратил достаточного внимания на одно обстоятельство, хотя ему и пришлось о нем упомянуть. Положим, он серьезно думает, что собранные в его статье данные были мне неизвестны или что я нарочно их замолчал ради своих злохудожных целей. Но можно ли предположить что-нибудь подобное о проф. Чельцове? Очевидно, ни в полном неведении, ни в злоумышлениях против всего священного никак уже нельзя заподозрить заслуженного церковного историка, который тем не менее публично и торжественно сказал, а потом напечатал известные г. Заозерскому слова: «Не папистическая церковь, мм. гг., изобрела инквизицию; она была в этом отношении только достойною ученицею византийской церковной политики». Г. Заозерский – это, конечно, делает ему честь – не умолчал об этом свидетельстве, но отнесся к нему довольно странно. То он говорит о «неясной фразе проф. Чельцова», то эта фраза оказывается совершенно ясной, но я ее не понял – не понял, что проф. Чельцов говорит о церковной политике византийских императоров, – как будто я говорил о чем-нибудь другом, когда ссылался на инквизиционные законы императора Феодосия и на инквизиционные подвиги императрицы Феодоры; то, наконец, мы узнаем, что «г. Чельцов слово **инквизиция** употребил совсем не точно и исторически неверно».

Прежде чем делать такие упреки заслуженному ученому, следовало бы позаботиться о большей точности собственного изложения. А то мы встречаемся с таким, например, курьезом: «До какой степени, – пишет г. Заозерский, – каноническое право восточной церкви чуждо инквизиционного отношения к еретикам, до какой степени оно в этом случае противоположно каноническому праву западной церкви, это можно видеть из тех правил карфагенского собора, которые

содержат предписания и наставления епископам в отношении их к раскольникам донатистам: 77, 80, 103 правила этого собора предписывают епархиальным епископам испытать все меры кроткого и исполненного любви отношения к донатистам – «может быть тогда как мы с кротостью, – говорят отцы собора, – собираем разномыслящих, по слову апостола, даст им Бог покаяние в разум истины». Далее г. Заозерский приводит из византийского канониста Аристина схолию к этому правилу, передающую его смысл в более пространных выражениях. Было бы легко по этому поводу уличить г. Заозерского в полном неведении такого элементарного церковно-исторического факта, как тот, что карфагенская церковь искони принадлежала к западной, латинской, а не к восточной, греческой половине христианского мира. Но я по совести не могу поверить возможности такого крайнего невежества со стороны почтенного профессора и охотно готов здесь видеть лишь минутное затмение под влиянием излишней полемической ревности. Но и г. Заозерский должен с своей стороны согласиться, что «научная точность» и «историческая верность» не позволяют в примере **восточной** кротости приводить постановление **западного** собора, хотя бы авторитет этого собора, бывшего задолго до разделения церквей, признавался и на Востоке: ведь и догматическое постановление папы Льва Великого было принято на вселенском соборе в Халкидоне как некая норма правой веры – неужели отсюда следует, что папу нужно считать представителем именно восточной церкви и в этом качестве противополагать представителям церкви западной?

А между тем, чем же собственно вызвано это крайнее полемическое увлечение, доходящее даже до превращения стран света? Факт, ополчивший на меня г. Заозерского, был бы в самом деле важен, если бы только он не был вымышлен. Почтенный профессор неоднократно утверждает, что я взвел

на св. православную церковь дерзкую и нелепую клевету, именно – обвинивши ее в изобретении и применении инквизиции. Весьма удивительно, что г. Заозерский, сделавший так много выписок из разных книг, не выписал сначала тех моих слов, которые побудили его ко всей этой работе. Если бы он попробовал быть точным в этом случае, то сейчас же бы увидал, что ему не из чего хлопотать, так как никакого обвинения, а следовательно и никакой клеветы против св. православной церкви я не высказывал. Я только утверждал ту несомненную истину, что инквизиция существовала на византийском Востоке прежде ее учреждения на Западе. Под инквизицией же я (вместе с проф. Чельцовым, С. М. Соловьевым и всеми писателями, имевшими в виду сущность дела) разумею правильное, законом установленное судебное преследование так называемых еретиков и вообще иноверцев, подвергающее их уголовным наказаниям до смертной казни включительно.

Святая православная церковь не может быть виновна в инквизиции и ни в каком другом дурном деле именно потому, что она свята, непорочна и божественна. Но может быть г. Заозерский, смешавши Запад с Востоком, смешивает и св. православную церковь с чем-нибудь другим, например, с византийской иерархией? Тогда дело другое. Насколько эта иерархия была солидарна с «церковною политикою византийских императоров», настолько она виновна и в инквизиции. А была ли солидарна – это решить довольно легко. Пусть г. Заозерский за всю специфически-византийскую эпоху[1170] укажет хотя бы **только три** случая, когда представители византийской иерархии принципиально осудили преследование и казни еретиков и тем проявили восточную

[1170] Т. е. от половины IX века, когда сложился окончательно византийский строй жизни и установились отношения между двумя властями, – и до взятия Константинополя турками.

кротость, противоположную западной свирепости. На шесть веков три свидетельства – кажется, требование умеренное. Если г. Заозерский его исполнит, я обязуюсь признать себя неправым относительно византийского востока, хотя, разумеется, останусь при том убеждении, что византийская (и какая бы то ни была другая) иерархия еще не составляет святой православной церкви.

Многовековыя мучения и убийства людей за их убеждения – тяжкий грех, общий всему христианскому миру. И пока это страшное дело не перейдет всецело и окончательно в область прошедшего, пока дух, его производивший, не умер, – полезно и необходимо указывать на это дело во всем его объеме и значении. И хотя бы такому напоминанию было противопоставлено не сорок, а сорок тысяч полемических статей, – все эти обильные, но легкие слова не перевесят тяжелого факта с его тяжелыми последствиями.

Владимир Соловьев
18-го ноября 1891 г.

Решенный вопрос

Для окончательного уяснения одного исторического вопроса я предложил профессору Московской духовной академии, г. Заозерскому, по поводу его статьи в № 318 «Московских Ведомостей», указать (за эпоху от половины IX до половины XV века) хотя бы три случая, когда представители византийской иерархии выразили **принципиальное осуждение тем** преследованиям и казням еретиков и иноверцев, какие санкционировались византийскими законами (еще со времен Феодосия Великого) и широко практиковались византийским правительством. Я знал (как и все сколько-нибудь знакомые с предметом), что случаев такого принципиального иерархического протеста вовсе не бывало.

Проф. Заозерский, также это знающий, мог бы промолчать на мой вызов: такое молчание по крайней мере одною стороною могло бы быть приписано не тому, что нечего было отвечать, а каким-нибудь другим мотивам. Таким образом, дело не было бы вполне выяснено. Но г. Заозерский постарался предотвратить такой сомнительный результат. Он принял вызов и привел (Моск. Вед. № 329) три случая, в которых будто бы выразилось принципиальное осуждение со стороны византийской иерархии религиозных гонений и казней. Мне остается только привести эти три случая, как они изложены г. Заозерским, – и затем вывести из них очевидное заключение, окончательно разрешающее этот вопрос.

«Случай 1-й. В царствование императора Мануила Комнина был патриарх Косьма Аттик (1146–1147), "муж, украшавшийся жизнию и словом"[1171].

Он был свергнут с престола по следующей причине... Был один человек, принявший монашество, по имени Нифонт: энциклопедического образования он не имел и за светские науки вовсе не брался, но с детства постоянно занимался священным писанием. Этот Нифонт еще в то время, когда престол церкви принадлежал Михаилу... был обвинен соборным судом за то, что пред многими обнаруживал нездравые понятия о христианской вере (был приверженцем Богомильской ереси), лишен бороды, которая простиралась у него до пят, и заключен в тюрьму. Когда же тот Михаил скончался и вместо него украшением престола сделался Косьма, Нифонт получил свободы больше прежнего: всегда окружаем был народом в собраниях и на площадях и ничего иного не делал, как рассеивал свое учение и отвергал еврейского Бога, ища в этом личной пользы; и Косьма

[1171] Сей случай рассказываю по истории Иоанна Киннама. Византийские историки, переведенные с греческого. Перевод под редакцией проф. В. Н. Карпова. СПб., 1859, стр. 67–70.

чрезвычайно любил его, делил с ним беседы, произнесенный против него прежний соборный приговор называл несправедливым. Это многим не нравилось. Посему некоторые из числа тех, которым жаль было Косьму, воспользовались случаем, пришли к нему и говорили: “Что это значит, святейший пастырь, что ты вверился волку? Разве не знаешь, что за это не хорошо посматривает на тебя паства? Расторгни гибельную связь с ним. Общение с человеком отверженным и само по себе есть уже достаточное обвинение”. Это и подобное этому говорили они. Напротив, те, которые ненавидели архиерея, гласно кричали и требовали на него суда Божия и государства. Но этих Косьма ставил ни во что, а к Нифонту привязался крепко и не хотел оставить его, если бы даже и случилось что-нибудь. И вот он, забывая себя, по излишней простоте сердца, терпит немаловажные бедствия. Однажды, по приказанию царя снова посадить Нифонта в темницу, явились люди, долженствовавшие взять и отвести его. Патриарх сперва смутился было немного и молчал, но потом, собравшись с духом, пошел пешком к церковному двору в намерении отнять Нифонта у людей, его ведших, а так как они не отдавали, решился сам идти с ним в темницу. Отсюда произошло в церкви волнение, и причиной того был Косьма. Эти смуты кончились не прежде, как с прибытием царя в Византию... Тогда-то именно Косьма лишен был престола, а каким образом, сейчас скажу. Призывая к себе каждого из архиереев порознь, царь спрашивал его, как он думает о благочестии Нифонта. Когда таким образом каждый искренно показал, что ему представлялось, вопрос дошел наконец и до Косьмы. Но Косьма по обычаю тотчас произнес Нифонту длинное похвальное слово – открыто называл его мужем благочестивым и неподражаемо добродетельным. Тогда дело уже предоставлено было суду, а царь не спрашивал более архиереев поодиночке, но предложил

вопрос всем вообще, каких они мыслей о Нифонте, и архиереи ясно назвали его нечестивым. Таково было их мнение. После того царь обратил свое слово к Косьме: “А ты, владыко, как думаешь об этом человеке?” Когда же патриарх по своей простоте стал смело настаивать на прежнем мнении, все собрание закричало, что он недостоин более занимать престол. Вот почему свергнут этот человек, богатый всеми добрыми качествами, кроме того только, что он был излишне прост[1172].

Вот случай: **я думаю,** что сей представитель византийской иерархии принципиально осуждал преследование и градские казни еретиков.

Случай 2-й: Иоанн, митрополит Киевский (1080–1089), родом грек, ставленник византийского патриарха и представитель греческой иерархии в России, издал, между прочим, следующее правило: “И сии иже опресноком служат и в сырную неделю мяса едят в крови и удавленину: сообщаться с ними или служить (т. е. иметь молитвенное общение) не подобает, ясти же с ними нужно суще, Христовы любве ради не отынудь возбранно. Аше кто хощет сего убегати, извет имея чистоты ради или немощи, отбегает (т. е. пусть таковый избегает и общения в пище). Блюдется же, да не соблазн от сего, или вражда велика и злопоминанье родится: подобает от большого зла изволити меньшее”[1173].

Вот случай: **полагаю,** что сей представитель средневековой византийской иерархии принципиально осуждал преследование, истязание и другие казни еретиков.

1172 Этот рассказ находится и у другого византика, Никиты Хониата. Его передает в своей статье «Очерки византийско-восточной церкви от конца XI до половины XV в.» проф. Московской духовной академии А. П. Лебедев, См. творения св. отцов. 1891 г., кн. 1, стр. 134–138. На сих основаниях думаю, что это – факт подлинный.

1173 А. С. Павлов «Памятники канонического права», стр. 3, № 1.

Случай 3-й. Иоанн, епископ кипрский (XII век), весьма авторитетный канонист своего и последующего времени, получил следующий запрос от Константина, архиепископа диррахийского:

“Позволительно ли армянам, живущим в некоторых городах, строить церкви безусловно или же нужно препятствовать, или же оставлять на их произвол – как хотят, так и делают?” На этот запрос последовал следующий ответ:

“В христианских селениях и городах искони представлено право жить и иноземцам, и инославным, как, например, иудеям, армянам, измаилитам, агарянам и прочим таковым, впрочем, не смешано с христианами, а отдельно от них, вследствие чего и отделяются каждой фракцией их особые кварталы или внутри, или вне города, для того, чтоб они приписывались к какому-либо из сих и не переходили в другой. А придумано сие издревле императорами, как мне кажется, по следующим трем причинам: во-первых, дабы стеснением и отделением мест их жительства дать им почувствовать, что они осуждены общественным мнением как отверженные за свою ересь; во-вторых, дабы мало-помалу, чрез постоянное собеседование с христианами, содействовать обращению если не всех их, то хотя некоторых, тех, коих спасение возлюбило; в-третьих, дабы пользоваться изделиями ремесл их полезными для жизни. Итак, и армяне в кварталах, к коим они приписаны, и храмы строят, и отправляют в них свое еретическое богослужение и да пребывают в полном спокойствии. Сие да соблюдается и относительно иудеев и измаилитов”.

Вот случай. **Полагаю,** что сии представители средневековой иерархии, так применявшие к жизни жестокое уголовное византийское право и политику, принципиально осуждали инквизицию и смертную казнь еретиков. Да будет бессмертна память их!»

Вот три случая, найденные г. Заозерским. Единственный недостаток этих примеров тот, что в них нет даже намека на **принципиальное осуждение** гонений и казней еретиков. Первый случай состоит в том, что патриарх Косьма Аттик «по простоте» считал «нечестивого еретика» Нифонта благочестивым человеком и любил его, за что и был низложен. Второй случай касается едения мяса в сырную неделю в России, за что виновные по распоряжению киевского митрополита отлучались от богослужебного общения, хотя и не запрещалось с ними есть. Третий случай относится к **иноземцам** (и евреям), на которых византийские уголовно-религиозные законы против еретиков, раскольников и язычников – **не распространялись. «Я, –** говорит г. Заозерский, – **думаю»**, что тут было принципиальное осуждение религиозных гонений. Но ведь дело не в том, что думает этот автор, а в том, что думали византийские иерархи. Они были люди весьма словесные и грамотные, и если бы они думали, что вообще еретиков преследовать и казнить не следует, то так бы сами и сказали и не возложили бы на г. Заозерского напрасного труда думать об их предполагаемом мнении по поводу случаев, к делу не относящихся.

Если бы в византийской истории (за означенную эпоху) был хоть один случай **принципиального** осуждения религиозных гонений, конечно г. Заозерский его бы отыскал и указал мне, а если он этого не сделал, то конечно потому, что ни одного такого случая в действительности не было.

Г. Заозерскому принадлежит несомненная, хотя лишь отрицательная и невольная заслуга окончательного решения этого интересного и важного исторического вопроса.

Владимир Соловьев
28-го ноября 1891 г.

Ответ А. С. Павлову[1174]

Заслуженный профессор Московского университета А. С. Павлов, известный знаток источников канонического права, приложил недавно печать своего бесспорного ученого авторитета к решению одного важного исторического вопроса. Дело идет об отношении византийской иерархии за эпоху от половины IX и до половины XV века к религиозной политике греческих императоров, которые на основании законов подвергали еретиков и раскольников уголовному преследованию и казнению. Утверждая, что это отношение в лучшем случае сводилось к молчаливому согласию, я просил проф. Заозерского (нападавшего на меня по этому предмету в «Московских Ведомостях»), чтобы он привел за помянутую эпоху хотя три случая принципиального протеста со стороны византийской иерархии против религиозных гонений, производящихся на основании государственных законов. Почтенный профессор принял вызов, но приведенные им три случая столь мало относились к делу, что редакция «Московских Ведомостей» нашла необходимым обратиться к А. С. Павлову для разъяснения дела. Выбор авторитета был бесспорно наилучший и окончательный; после А. С. Павлова обращаться по этому предмету более уже не к кому. Но как ни велика в данном случае компетентность нашего ученого, однако и к нему приложимо a fortiori то, что́ некоторые св. отцы говорят о существе абсолютном: и для него невозможно сделать, чтобы бывшее стало небывшим. Указанное мною отношение византийской иерархии к вопросу о веротерпимости есть совершившийся факт и изменить его в прошедшем безусловно невозможно для кого бы то ни было.

[1174] Этот ответ несколько запоздал вследствие того, что, уехавши из Москвы, я не читал **Московских Ведомостей** и узнал о статье А. С. Павлова лишь две недели спустя после ее появления.

К величайшему удивлению, во главе выставленных против нас А. С. Павловым свидетелей мы находим св. Феодора Студита. Этот великий деятель вселенской церкви, сочинения которого мне пришлось специально изучать[1175], в письме к епископу Феофилу, утверждавшему, что еретиков следует убивать, доказывал напротив, что их убивать не следует. Кто же тут однако представитель византийской иерархии: епископ ли Феофил, или гонимый монах Феодор, никогда не имевший святительского сана и знаменитый между прочим своею борьбою против константинопольских патриархов? Помимо этого, св. Феодор Студит (скончавшийся в 826 г.), как оговаривается и сам А. С. Павлов, не принадлежит к обозначенной мною эпохе. Свою ссылку на него почтенный профессор пытается оправдать тем мнением, что специально-византийскую эпоху следует начинать не с половины IX века, как я думаю, а от императора Юстиниана, или еще раньше. Конечно, с той или другой точки зрения можно вести начало византизма не только от Юстиниана, но и от Константина Великого. А. С. Павлов допустил, однако, что и в половине IX века произошли события великой исключительной важности (напр., разделение церквей), окончательно определившие судьбу Византии и ее духовный строй. Для юриста издатель кодекса и пандектов имеет, понятно, чрезвычайное значение, но с общей религиозно-исторической точки зрения патриарх Фотий гораздо важнее. Св. Феодор Студит, подвижник и учитель вселенской церкви, одинаково признаваемый на Востоке и на Западе, принадлежит к великой святоотеческой, а не к специально-византийской эпохе, и во всяком случае его нельзя считать представителем греческой иерархии. Веротерпимость св. отцов не подлежала спору,

[1175] Для приготовляемого к печати второго тома моей « Истории теократии».

и мне самому приходилось о ней упоминать по поводу св. Мартина Турского и св. Амвросия Медиоланского, протестовавших против казни присциллиан. Что же касается до византийских иерархов, о которых одних был у нас спор, то из свидетельства, приведенного А. С. Павловым, явствует как раз обратное тому, что он хотел доказать; оказывается, что еще ранее обозначенной мною эпохи эти иерархи, как епископ Феофил, уже утверждали, что еретиков нужно убивать.

Второе свидетельство, которое А. С. Павлов очень кстати привел и в греческом подлиннике, принадлежит Феофилакту Болгарскому; этот церковный писатель бесспорно может быть отнесен к представителям византийской иерархии XI века; но в его словах нет ни принципиального осуждения религиозно-уголовных преследований, ни даже упоминания о таких преследованиях, а говорится лишь о практическом неудобстве истреблять **войною** (dia polemon) целые населения зараженных ересью местностей. Такие массовые истребления Феофилакт осуждает и считает недозволенными Богом, но не по мотиву веротерпимости, а только потому, что при такой суммарной расправе вместе с еретиками могут погибнуть и праведные, т. е. православные. Вот подлинный текст: Ho Theos ou synchorei tous hairetikous dia polemon analiskesthai hina me sympaschosi kai synanaliskontai kai hoi dikaioi. Ясно, что в такой мотивировке розыск и казнь отдельных еретиков не только не исключается, а напротив предполагается.

Дальнейшее свидетельство – Никона Черногорца – по двум причинам не относится к делу. Во-первых, как замечает и сам А. С. Павлов, упомянутый писатель, как простой монах, не был представителем византийской иерархии. Но, возражает на это почтенный профессор, он ведь ссылается на Василия Великого и Иоанна Златоуста. Что же, однако, отсюда следует? Эти два вселенские учителя и святителя

не принадлежали собственно к византийским иерархам даже на взгляд моего противника, ибо жили задолго до Юстиниана, от которого он ведет начало византизма. На такие универсальные авторитеты ссылаюсь и я в свою пользу, что не делает, однако, моих взглядов выражением специально-византийского иерархического миросозерцания. А вовторых, в самом свидетельстве Никона Черногорца говорится только о **личной** благожелательности православных к еретикам. Такая благожелательность всегда предписывалась и на Западе, даже самими инквизиторами, которые именно будто бы из любви к еретикам и из желания им блага старались посредством пыток принудить их отречься от пагубного заблуждения и спасти свою душу.

Следующий свидетель есть русский митрополит Иоанн II, который дал своему **духовенству** такое правило: «занимающихся чародейством и волшебством (это были наши первоначальные "еретики"), будут ли то мужчины или женщины, сначала отвращать от этих злых дел словами и наставлениями; если же пребудут неизменными, то в отвращение зла наказывать их с большою строгостью, но не убивать и не подвергать членовредительным наказаниям, ибо этого не допускает церковное учение и дисциплина».

Наконец, последний свидетель, тоже русский митрополит Фотий, предписывал так обращаться с псковскими еретиками-стригольниками: «Благоуветне всяко тех приводяще от помрачения во прозрение духовных очию и в познание истины Евангелия, а зело нерадящих о сем – и нужами; точию кровь и смерть да не будет на таковых[1176], но инако всяко и заточенми приводите тех в познание». И далее (из другого послания того же иерарха): «казньми, толико не смертными, но внешними и заточеньми приводяще тех... в познание и обращение к Богу».

[1176] По-латыни это называется sine sanguinis effusione.

Если читатель вспомнит, что дело у нас шло о принципиальном осуждении религиозных преследований, то конечно разделит мое удивление по поводу двух последних свидесвидетельств А. С. Павлова. Я, по крайней мере, отказываюсь понять, каким образом предписание наказывать еретиков заточениями и всякими другими «внешними» карами, за исключением только смертной казни и членовредительства, может считаться выражением принципиальной веротерпимости.

Мне уже приходилось ссылаться в пользу своего мнения на слова проф. Чельцова. Позволю себе привести другое, еще более авторитетное свидетельство.

В VII томе истории русской церкви высокопреосвященного митрополита московского Макария излагается и обсуждается между прочим книга Иосифа Волоцкого «Просветитель». В этой книге, ссылаясь на различные иерархические авторитеты – Порфирия Газского, Феодора Эдесского и других, – Иосиф доказывает, что, когда еретики прельщают православных, пастыри церкви обязаны вооружаться против еретиков и не только осуждать их, но и проклинать и вредить им. Далее он доказывает, что цари, князья и судьи обязаны действовать против еретиков гражданскими мерами, и ссылается при этом на статьи Кормчей, по которым еретики признаются повинными смертной казни. Наконец, Иосиф утверждает, что всякий православный должен всячески, с ревностью, употребляя даже «богопремудростные коварства», разузнавать, искать, истязать о еретиках и отступниках. Приведя все это, преосв. Макарий замечает: «Можно не соглашаться с мыслями Иосифа, можно, если кто желает, осуждать и порицать их, но в таком случае порицание должно падать не на Иосифа, а на самые законы и систему,

издревле действовавшие в православной церкви»[1177] (Пр. Макария, История русской церкви, т. VII, стр. 229). Только о последнем утверждении Иосифа, именно насчет обязательности для каждого частного лица разыскивать еретиков, пр. Макарий замечает: «Эти мысли должны быть вменяемы ему лично».

Впрочем, нам нет надобности останавливаться на единичных свидетелях, хотя бы и на таких почтенных, как проф. Чельцов и преп. Макарий, когда у нас есть иерархическое свидетельство **коллективное** и тем самым гораздо более важное. На великом московском соборе 1667 г., на котором, кроме русских иерархов, присутствовали патриархи александрийский и антиохийский, был поставлен вопрос: «Подобает ли еретиков и раскольников наказывать градским законом, или только церковным наказанием?» На это дан ответ: **подобает их наказывать и градским казнением.**

Вот соборное решение, которое хотя и не имеет безусловного догматического авторитета, однако не могло быть доселе отменено высшею инстанциею (вселенским собором). Теперь А. С. Павлову остается одно из двух: или признать, что решение московского собора 1667 г. есть изобретение моего «гибкого диалектического ума», или согласиться, что он без достаточного основания присоединился к числу моих противников. Во всяком случае в пределах газетной полемики я считаю вопрос окончательно исчерпанным.

Владимир Соловьев.
Москва, 30-го дек. 1891 г.

[1177] Известно, что отшельник Нил Сорский и его ученики «заволжские старцы» не разделяли мнений Иосифа Волоцкого, но их взгляд, не поддержанный иерархическим авторитетом, остался уединенным явлением в нашей истории.

Сергей Михайлович Соловьёв

Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru